



Владимир Карлович Кантор – доктор философских наук, профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета – Высшей Школы Экономики (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных премий, трижды номинирован на премию Букера, историк русской культуры,

автор более пятисот опубликованных работ. Лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009, Москва). Область научных интересов – философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом *Le nouvel observateur* (hors serie), вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности как «законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, сербский, эстонский языки.

Владимир КАНТОР Любовь к ДВОЙНИКУ

Владимир КАНТОР Любовь к ДВОЙНИКУ

*Миф и реальность
русской культуры*

Редакционный совет:

- К. Э. Разлогов
(председатель)
А. К. Сорокин
(сопредседатель)
Е. А. Воронцова
(составитель)
В. А. Рабинович
(составитель)
А. В. Агошков
О. Ю. Артемова
С. А. Арутюнов
О. Н. Астафьева
Д. П. Бак
И. М. Быховская
А. Г. Васильев
Д. Б. Дондурей
Г. С. Кнабе
И. В. Кондаков
Н. А. Кочеляева
Т. Ф. Кузнецова
В. М. Межуев
Ю. М. Резник
В. М. Розин
А. Н. Рылёва
Д. Л. Спивак
В. А. Тишков
Д. В. Трубочкин
Н. А. Хренов
Э. А. Шулепова



Российский институт культурологии

АКТИВАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Владимир КАНТОР

ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ

*Миф и реальность
русской культуры*

Очерки



МОСКВА * РОССПЭН * 2013

УДК 008
ББК 71.0
К19

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»*

Рецензент: академик РАН В.А. Лекторский

Кантор В.К.

К19 Любовь к двойнику. Миф и реальность русской культуры.
Очерки / В.К. Кантор. — М. : Научно-политическая книга,
2013. — 654 с. — (Актуальная культурология).

ISBN 978-5-906594-01-3

Новая книга Владимира Кантора, писателя и философа, доктора философских наук, ординарного профессора НИУ-ВШЭ, члена редколлегии журнала «Вопросы философии», известного историка русской мысли, составлена из статей, публиковавшихся в течение последних десяти лет в разных сборниках и журналах. Вместе с тем все они подчинены решению одной проблемы — выяснению взаимоотношения мифа и реальности в русской культуре. В. Кантор рассматривает такие мифы, как «Москва — третий Рим», миф двойничества, миф «народная правда», миф «Серебряный век», миф «безымянная Русь», и пытается показать реальность, стоящую за этими мифами. На взгляд автора, главная задача исследователя, да и просто мыслящего человека — пробиться сквозь пелену иллюзий, составляющих интеллектуальное пространство, в котором всегда живет общество. Поэтому задача эта остается актуальной во все времена.

УДК 008
ББК 71.0

ISBN 978-5-906594-01-3

© Кантор В.К., 2013
© Российский институт культурологии, 2013
© Научно-политическая книга, 2013

ОБ ИЛЛЮЗИЯХ (вместо вступления)

А действительность вокруг нас на самом деле такая, какой принято считать, или наше её восприятие сильно искажено разными иллюзиями, объективными и субъективными, которые кто-то когда-то нам навязал? Но если так — тогда жизнь и свою, и своей семьи, и страны, и мира можно понять совершенно иначе?

Многие привычные явления при тщательным анализе оказываются далеко совсем не такими, как кажутся. И, вспоминая шекспировское «Весь мир — театр, а люди в нём — актёры», вдруг приходишь к выводу: а может, весь мир — иллюзия и всё в нём — иллюзорно? Как разобраться в этом хитросплетении правды и мифов?

В 2005 г. широко известный французский журнал “Le nouvel Observateur hors-série” назвал Владимира Кантора в числе 25 крупнейших мыслителей современности. Его французы считают «продолжателем той философско-художественной традиции, которую в России представляли Достоевский, Соловьев, Бердяев...»

Как философ и писатель, он, конечно же, все время должен сталкиваться с проблемой адекватного понимания сущего, а значит — преодоления иллюзий. Что в нашей жизни реально, а что иллюзорно, как освобо-

¹ Опубликовано в журнале «Персона». 2005. № 6–7. С. 13–17 под заголовком: «Что такое дважды два...»

даться от навязанных нам представлений о мире, чтобы воспринимать его в максимальной степени таким, каков он есть на самом деле, — обо всём этом мы говорили с Владимиром Карловичем.

— Мир действительно можно воспринимать как иллюзию. Декарт замечательно рассуждал об этом. Несложно вообразить, писал он, что всё, что предстоит перед нашим умственным зрением, нашими ощущениями, — выдумал для нас некий «злой гений» с целью обмануть нас, что небо, воздух и земля, цвета, формы, звуки и все остальные вещи — лишь иллюзии и грезы, которыми он расставил сети нашему легковерию. И потому всё может оказаться обманным, недостоверным. Как же быть в такой ситуации, как ее преодолеть? Известен его ответ на вопрос: «Что же не иллюзорно в этом мире?» — «Только мысль. Я мыслю, следовательно, я существую». То есть нельзя помыслить, что я не мыслю. Значит, я есмь. Это мощная попытка наиболее радикального выхода из мира иллюзий.

Мы пережили эпоху гигантской иллюзии коммунистического строительства, поэтому мы имеем некую прививку против идеологических иллюзий. Нынешний мир, с одной стороны, чрезвычайно иллюзорен. По телевизору и радио нам вещают политпиарщики и прочие иллюзионисты массовой медиа, мы слушаем бесконечные споры интеллектуалов, которые напоминают споры схоластов — сколько чертей поместится на кончике иглы.

Более того, все эти телевизионные споры проводятся в форме разнообразных шоу, то есть являются производством все той же фабрики грез. Более или менее развитому сознанию это внятно. Поэтому у людей, так сказать, «развитых», повторю этот термин девятнадцатого века, сегодня иллюзий мало осталось. Мы понимаем: каждый отработывает кусок хлеба, пытаясь воздействовать на массовое сознание.

Конечно, мы не верим пиар-компаниям. С идеологическими грезами сегодня плоховато, слишком мало времени прошло, чтоб мы забыли шутки, которыми кончилась

прежняя идеология. Помните: «Всё для человека, всё на благо человека. И мы даже знаем имя этого человека». И сейчас мы знаем людей, в пользу которых раскручиваются новые мифы и иллюзии. Но чуть больше трезвости в голове, и иллюзии пропадают.

Но на уровне массового сознания иллюзий по-прежнему много. По простой причине. Достоевский гениально показал: люди хотят верить. Жить без иллюзий чудовищно трудно. Чёрт в «Братьях Карамазовых» говорит: «Хочется стать семипудовой купчихой и Богу свечки ставить». Трудно не верить во что-то, жить без иллюзий. Видимо, по устройству психики человек стремится к иллюзиям. Хочется верить, что сделаешь что-то значительное, что ближние твои будут жить хорошо, что твоя страна наконец выберется из того болота, в котором пребывает столетия... Хочется верить.

— **Например, хочется верить, что мы живём в демократическом государстве — или это наша иллюзия, порождённая агрессивным пропагандистским напором новых «большевиков», шьющих «новое платье короля»?**

— С какими-то допущениями — да, общество демократическое. Но и сталинское государство считалось демократическим. Конституция 1936 года выглядела очень демократичной. Как это ни парадоксально, но Сталин приучил людей приходить на выборы.

Выборов, конечно, не было, и язык зафиксировал важное — ходили *голосовать*, не выбирать, а именно *голосовать*! Говорили: «Проголосила?» — «Проголосила, и бутерброд дали». Были у людей иллюзии? Тут странно, как во всяком тоталитарном обществе: было и то, и другое. Ходили, чтоб бутерброд съесть, но и чтоб «жила бы страна родная — и нету других забот»! Сталин не хотел, чтоб люди легально выражали свои взгляды, но приучал их к этому. Приучал к форме легального выражения взглядов. И оказалось, что сквозь иллюзию выборов проросла некая настоящая реальность.

И в перестройку, когда стало возможным кого-то выбирать, люди охотно это делали. Благодаря чему произошла *легальная* смена власти без привычного русского бунта, несмотря на танки, ГКЧП, который тоже был вполне фантомным образованием, как мы понимаем теперь, хотя, конечно, было немного не по себе, когда в городе войска и танки...

Вообще мир построен так, что иллюзии — необходимый его компонент. И так не только у нас. Вот Запад считает себя Западом, что не всегда справедливо. Потому что проблема «европеизации» Европы по-прежнему существует. Европа рухнула в ту же пропасть, как и Россия в XX веке, — да ещё с каким треском! Германия, Италия, Испания, Португалия... После фашистской катастрофы многие европейские страны вполне резонно могли задать себе вопрос: «А Европа ли мы?» Не иллюзия ли это?

Выступая как-то в немецком университете с докладом о России, я сказал, что немцы могут понять россиян, ибо у нас был схожий опыт, на что ректор быстро отреагировал: «Мы от этого опыта отказались, мы теперь — европейцы». То есть в людях страх сидит, что их могут счесть «неевропейцами».

Что есть Европа вообще? Как говорила одна героиня Достоевского, Европа — это наш русский сон. Но не иллюзорны ли представления о ней самих европейцев?!

Очевидно, что нет, ибо есть некие базовые ценности, которые считаются европейскими. Эти ценности формировались на базе античности и христианства, именно на этом фундаменте создана европейская культура. В этом смысле Россия — европейская страна. К сожалению, и мы, и Запад далеко не всегда соответствуем этим базовым ценностям.

Многими психологами и педагогами замечено — почти каждый ребёнок в верующих и даже в неверующих семьях лет в 6—8 задаёт вопрос: «Есть ли Бог на самом деле, или, может, это выдумка?» Недавно мне мои студенты подарили очень любопытные записи интернетных разговоров детей с Богом. Фантастические по глубине вопросы! Один особо пронзил: «Господи, люди на земле так страдают, неужели в

Твоём аду ещё хуже?» Чем не Достоевский! А это «Радик, 4-й класс». Прямо Родион Раскольников! В этом возрасте задают запредельные вопросы, которые потом уходят, происходит то, что называют «социализацией»: человек привыкает жить в коллективе, реагировать на оценки, на учителей, на компанию... И конечные вопросы из головы детей улетучиваются. К сожалению или к счастью...

Хотя социализация — тоже иллюзорное явление. Социализуясь, человек начинает жить по законам своего мирка. Скажем, предлагают ему выпить — если он это делает «грамотно», значит, отвечает неким ценностям этого мирка. Если отказывается — может приобрести плохую репутацию. Или человек хочет достичь высокого положения в обществе, а друзья говорят: «Зачем тебе это?» И он перестает рваться вверх. Но для кого-то карьера — главная цель, в которой он видит смысл жизни. Но, как говорил у Булгакова, кажется, Коровьев: «Бац! А тут и саркома». И чего рвался?..

Самая большая иллюзия — слава. Человек думает, что получает её навсегда, но проходит пара десятков лет, и про гремевшую знаменитость могут забыть. В СССР было столько «великих» писателей, которых никто не читает уже, но остался мало кому тогда известный Андрей Платонов.

Бахтин как-то написал, что существует «малое время» и «большое время». Каждый живущий в «малом времени» воображает, что живет в «большом». Но подлинность рано или поздно прокладывает себе дорогу. И не надо думать, что уж в наше время не до подлинности. Думаю, что другие времена были не многим лучше, а то и хуже нынешнего.

Для меня лет в 6—7 тоже возник «запредельный» вопрос: я знал, что Сталин вездесущ, всё знает, но вдруг решил проверить — а что если про себя сказать: «Сталин — дурак, Ленин — дурак»? Шепнул и ждал, что случится. Думал — грянет гром, непременно кто-то догадается о моем гнусном поступке, и меня накажут. На удивление, ничего не произошло. Я тогда так и не понял, что произошло, но первый шаг по снятию иллюзорных табу был сделан. Оказывается,

можно переступить через некую иллюзию — и ты становишься свободнее. Со временем понимаешь, что есть лишь одна неиллюзорная ценность — это человеческая жизнь. Она и должна быть точкой отсчета в понимании мира.

— Говорят, что российский человек в сильной степени подвержен влиянию ложных представлений об обществе. Не виновата ли в порождении многих наших иллюзий «великая русская литература»?

— Это весьма точный и жестокий вопрос, наша литература действительно создала много иллюзий. Но начинала она с другого — с десакрализации почти всех слоев русского общества. Ни в одном не находили писатели благолепия, изображая все без прикрас и иллюзий. Гоголь — помещиков, Щедрин — чиновников, Островский — купцов, Чехов — интеллигенцию, Куприн — армию, Бунин — деревню... Мечтаете о «русском духе»? Вот вам «карамазовщина»! После такой десакрализации жизни и общества писатели испугались и начали срочно искать идеалы — что же можно противопоставить? Достоевский придумал «старчество», которое было в жизни, но он довёл его в «Братьях Карамазовых» до уровня «интеллектуального события», и тогда вдруг к старцам потянулись все.

Но на эти иллюзии очень жестоко ответила жизнь. Достоевский писал: «Придут серые зипуны, и скажут всю правду...» Пришёл «зипун» — Гришка Распутин — и старец, и из народа. Вот такой парадоксальный ответ был на иллюзию Достоевского. Жизнь освобождает от иллюзий.

— Хорошо, если бы человек, освобождаясь от иллюзий, оставался свободным от них, но возникают новые. Иллюзии иллюзиями спасаются. Или они закон природы? Впечатление, что против тебя играет в карты шулер. А хочется играть по чётким правилам. По-честному!

— Мы с вами добираемся уже до конечных вопросов. Вернусь к детским «вопросам к Богу», вот ещё один: «Господи, а не являемся ли мы твоими игрушками?!» — спрашивает девочка. Это примерно то же, о чём мы говорим.

Играем ли мы «в шахматы», или нами кто-то играет? Казалось бы, возможный вариант ответа — атеизм: не верить в Бога, отказываясь принять этот «божественный миропорядок», и жить по своему разумению.

Но не получается, как точно показал Достоевский, «если Бога нет — тогда всё позволено». И возникает такое количество иллюзий! Не верят в Бога, но верят в коммунизм, фашизм, Ленина, Сталина, Гитлера...

Самое печальное в таких ситуациях, что часто человека, понимающего, что дважды два — четыре, просто не слышат, не воспринимают. У Коржавина есть замечательные строки:

«Что дважды два? попробуй разобраться!..»

Еретики шептали, что пятнадцать.

Но, обходя запреты и барьеры,

«Четырнадцать», — ревели малoverы...

А всех печальней было в этом мире

Тому, кто знал, что дважды два — четыре.

Главное — не обманывать самих себя.

Что касается России, у меня есть интеллектуальный тест. Рассказываю студентам анекдот (это к вопросу о шулерстве) и жду их реакции.

Возвращается человек из заграникомандировки с кейсом, набитом фунтами стерлингов, выигранными в карты «честно», и объясняет: когда ему сказали, что в приличном обществе привыкли верить на слово, ему вдруг «такая везуха пошла!»... Весь курс хохочет. Спрашиваю: «Почему смеётесь?» — «Так ведь «везуха пошла». Рассказываю анекдот иностранцам — мёртвое молчание. Недоумённо спрашивают: «Что произошло?» Говорю: «Карта к нему пошла, везуха». — «А почему?» — «Потому что привыкли верить на слово». — «Правильно, так должно быть». Потом самый догадливый: «Так он их обманул?!» — «Да». — «А что тут смешного?»

Вот вам пример поразительно разных ментальностей. Кто живёт в мире иллюзий? Люди, которые считают, что

надо верить на слово? Или те, кто считает, что нужно обмануть? У нас у каждого своя «иллюзорная материя». Некоторые обман считают доблестью. «Везуха пошла».

— **Как-то в разговоре с английским журналистом я попенял ему, что российская интеллигенция надеялась на помощь Запада в её борьбе за демократию, но Запад не помог. На что был ответ: «У нас были тогда большие экономические проблемы, их решали и за счёт России». Запад тоже обманывает, причём «по-честному».**

— Запад часто сам не отвечает выработанным им коренным принципам бытия. Реакция на мой анекдот — это уровень среднего западного обывателя, приученного не обманывать. А верхи европейские, за редким исключением, конечно, были всегда малосимпатичны. Разумеется, каждая страна действует так, как ей выгодно. Это надо понимать, и от иллюзий, что «Запад — это всегда хорошо», надо избавляться.

Еще иллюзия: нас там примут с распростёртыми объятьями. Никто никого нигде с распростёртыми объятьями не принимает. Разве что влюбившаяся в вас женщина. Всё остальное в мире надо завоёвывать. Пушкин говорил: «Пётр вошёл в Европу под гром пушек и стук топора». Вот это реальный путь на Запад. Не с тем, чтоб его завоёвывать, а чтобы войти туда самостоятельно, без зова.

Идеализировать Запад ни в коем случае нельзя. Но есть уровень среднего европейца — он честен. Правда, он «по-честному» может принять Гитлера. Для меня до сих пор загадка — как страна разума, Канта и Гегеля, Шиллера и Гёте приняла абсолютного безумца? Какое-то марево дьявола было напущено. Древние тексты об искушениях дьявольских порождены реальными наблюдениями за жизнью. Мир может поддаться каким-то страшным иллюзиям. Например, иллюзия коммунизма, который скоро построят. Страны болеют таким помешательством! Каковы механизмы этих заболеваний? Ответ пока никем не найден.

Но иллюзии могут быть и прекрасными, например в отношении любимого человека — и ему, и тебе от этого только хорошо. Вспоминаю маму, которая до какого-то момента верила, что всё у нас в стране хорошо. Она была честной пионеркой, честной комсомолкой, в войну рыла окопы под Москвой... Может, это самая страшная иллюзия — верить в то, что всё у нас так, как должно быть. Сегодня такие иллюзии ушли. Богатые понимают, что многое ими нажито не совсем честно. Недавние выступления пенсионеров показали, что люди просто в шоке оттого, что у них отобрали даже тот мизер, который им позволял просто существовать. Как можно сейчас жить на полторы-две тысячи рублей в месяц?! Это же порядками ниже прожиточного минимума. Власть делает вид, что все нормально. Но это уже не проходит.

У кого в России остались иллюзии? Не у правительства же. У интеллигенции тоже нет никаких иллюзий — у врачей, инженеров, учителей, работающих за копейки... Даже пенсионеры поняли, что их дураят. Все понимают: так жить нельзя.

Когда у нас пытаются придумать национальную идеологию, это говорит о беспомощности правящего слоя, значит, худо у них дело... Идеологии не возникают по заказу, иллюзорность не кормит. Реальное обеспечение нормальной жизни народа — это и есть требуемая идеология.

— «Криминальная революция» в России была на самом деле, или это сильно искажённое понимание произошедшего?

— Криминальная революция происходила в России постоянно. Знаю по крайней мере три победивших криминальных революции. Это Смута, когда бандитов было так много... Например, против бандитов атамана Хлопка Борис Годунов выслал *регулярную* армию. А кто шёл с Лжедмитрием? Воры. Говорят: «поляки захватили Кремль» — да поляков было тысяча человек! Смешно. С ними шли воры, разбойники. Это была, видимо, первая победа «криминальной революции». Потом кое-как «вырулили» из этого.

Вторая мощная «криминальная революция» (не говорю уж о разинщине и пугачёвщине, непобедивших) — октябрь 17-го. В чистом виде победа «криминала», по всем параметрам. Была выкрикнута ленинская идея-лозунг «Грабь награбленное!», через которую шло не перераспределение собственности, а настоящий грабёж — с убийствами, бессудными расстрелами. И не случайно у Сталина возникает термин «социально близкие» — это о ворах и бандитах. Поразительная проговорка!

Третья «криминальная революция» — сегодняшняя. Но ещё у Белинского было замечательное рассуждение в знаменитом письме Гоголю, это формула на все времена для России: «Здесь нет гарантии чести, достоинству, собственности, а есть только разные корпорации воров и грабителей, которые нас грабят». Эти «корпорации» остались. Если смотреть на реальность без иллюзий, мы их многожды увидим везде.

Как же реагировать на мир, когда нам говорят (и мы понимаем, что это очень малый кусочек вершины айсберга) про «оборотней в погонах» — а ведь это те, кто нас должен *защищать*! Когда про губернаторов мы знаем, что они берут взятки. Когда мы знаем, что происходят какие-то странные нераскрываемые убийства. По поводу всего этого ни у кого нет иллюзий. Понятно, что их и не хотят раскрывать. Чем-то человек мешал.

В общем, на новый лад повторяется формула Черчилля: «Что такое в России политическая борьба? Борьба под ковром: ничего не видно, но время от времени из-под ковра выбрасывают труп». Трупы продолжают выбрасывать, только это уже политической борьбой не называется. Теперь это «передел собственности». Слова, скрывающие суть явления. Или вот слово «киллер». Сказать: «Пошёл работать убийцей» — плохо. Но «киллером» — почётно, красивое название!..

Это не иллюзия, а некое пристойное замещение того, что скрывается, попытка прикрыть всё флёрком... Криминалитет реально существует и влияет на нашу жизнь.

Но при всей иллюзорности человеческого сознания мы живем в странную эпоху, когда у людей иллюзий уже почти нет. Потому что стоит хоть немного пораскинуть умом, и мы избавляемся от иллюзий. Однако иллюзии — это и плохо, и одновременно совсем не плохо.

Иллюзии — явление естественное. В чём-то ужасное, в чём-то опасное, в чём-то благотворное. Иллюзии помогают верить. Я должен иметь иллюзию, что женщина, выбранный женой, самая лучшая. Хорошо иметь иллюзию, что твои друзья — очень надёжные. На этих опорах строится наша жизнь, на этих достаточно иллюзорных, но вместе с тем надёжных понятиях.

— Помогите разобраться: Россия — Евразия или Азиопа?

— Сейчас это отчасти фантомный спор. Когда-то он был реальным. Евразийцы выступили в ситуации, когда Россия рухнула, и, спасая свою веру в Россию, они тогда выдвинули идею, что у России отличный от Европы путь развития. Идея понравилась Кремлю, ибо отвлекала умы от противостояния Советам (надо ещё учесть, что не случайно под конец евразийцам манифесты сочиняли в ЧК). К этой идее вернулись, когда после развала коммунистического государства надо было найти другую идеологию. Сейчас она худо-бедно существует...

Но люди западнически настроенные с тоской говорят: «Нет, мы Азиопа».

Есть простая проверка: Россия — часть Европы или нет? Когда произошла Октябрьская революция и Россия выпала из европейского состава народов, образовалась пропасть, в которую посыпались другие народы. Об этом сразу же предупреждали русские философы-эмигранты. Далее была фашистская итальянская революция, национал-социалистическая немецкая, испанская... Без России Европы быть не может. Как и России без Европы.

Идеи как Евразии, так и Азиопы вполне иллюзорны. Мы ни то, ни другое. Мы — часть Европы. Со своей слож-

ной судьбой. Но ведь и у всех европейских стран судьбы тоже непростые.

Кто-то хорошо написал: «Когда-то Россия была изгнана с берегов Балтики (а начиналась-то она именно оттуда), и потом Пётр вернулся назад на Балтику, приведя с собой Скифию-Сибирь, ставшую христианской и частью его Балтийской Империи».

— Что является эталоном европейскости? Как определить, сколько её в человеке?

— Можно ответить очень просто — это соблюдение приличий, не допускающее «вульгарности». Помните, у Пушкина: «Что в высшем ангельском кругу зовется “вульгар”? Не могу, как ни люблю я это слово, но не могу перевести». Слово, однако, прижилось.

Важное слово для определения европейскости: «комфорт» — не изнеженное сладострастие восточное, а удобство, должно быть удобно работать, удобно отдыхать. Должны быть цивилизованные отношения с людьми, когда, например, уважается время другого человека. В Европе нельзя прийти на встречу раньше и опоздать более чем на 10 минут. Нельзя нарушить время хозяина дома. В назначенное время он свободен именно для тебя, но только в это время. Самое главное в определении европейскости — это умение видеть Другого, понимать, что ему нужно, не нарушать его «прайвизи» (частную жизнь), как говорят американцы, — во времени, пространстве и т. д.

У Федотова было хорошее определение разницы между свободой и волей: «Русская воля не знает Другого, она беспредельна. Отсюда вольница, произвол. Для европейца его свобода кончается там, где начинается свобода другого». Как-то читал об истории французского парламента: споря, два депутата подрались, и один другому заехал по носу; обиженный подал в суд, где обидчик заявил о своей свободе размахивать руками; на это судья вынес решение:

«Ваша свобода размахивать руками кончается там, где начинается свобода чужого носа».

Если вы не нарушаете подобное европейское правило, можете претендовать на европейскость. Можно говорить всякие высокие слова о свободе, о христианстве, о личностном начале — всё это правильно, но есть простые нормы и правила, соблюдаемые приличными людьми. Нормы уважения другого человека характеризуют цивилизованность.

— **Вы в своих книгах часто цитируете «Подростка» Достоевского, когда Версилов говорит: «Тогда во всей Европе не было ни одного европейца! Только я один... как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*». Но ведь в XX веке европейцы часто и грубо изменяли своей высокой цивилизованности, воюя между собой, нападая на других. Так кто же больше европейцы?! Иногда лучшим русским удавалось быть европейцами 96-й пробы. И падение России в пропасть в 17-м году не произошло бы, если б европейцы не начали мировую войну и союзники не предали б Россию. Как понять эти парадоксы?**

— В XIX веке Россия только ещё строилась как Европа, отсюда брали квинтэссенцию европейской культуры и цивилизации, и люди, бравшие это, получали всё в «очищенном» виде. И как говорил Федотов, настоящий европеец жил на берегах Невы или Москвы-реки, а не на берегах Сены, Темзы или Шпрее. Таких было несколько тысяч в России.

А европейские страны между собой всегда воевали. Это вообще-то «нормальное» состояние всех государств мира. Европа только во второй половине XX века, испугавшись страшных катастроф, пытается как-то найти консенсус между всеми. Но концлагеря изобрели ведь тоже европейцы — их использовали французы в франко-прусскую войну. Зло, к сожалению, имеет свойство увеличиваться. Ведь первые концлагеря были просто лагерями для интернированных. Но уже в Германии они становились всё страшней, пока не дошли до Освенцима и Дахау.

В Советской России был Холмогорский лагерь смерти, Соловки, Колыма и другие не менее страшные лагеря. Достаточно почитать Шаламова.

Победа над фашизмом и коммунизмом — это победа над иллюзиями. Эта победа говорит о жизнестойкости европейского сознания, избавившегося от страшного идеологического наркотика.

— Видимо, можно различать хорошие и плохие иллюзии. К ним лучше относиться прагматически. Если иллюзия помогает жить, пусть сохраняется, если вредит, надо от неё избавляться. Но могут ли помочь философы в построении нормального мира?

— Пожалуй, философские построения только однажды привели к благому итогу — это английская философия Гоббса и Локка. Локк, по сути, создал европейскую и американскую демократии. Есть такое понятие — востребованность идей, а также понятие коэффициента преломления идей в странах, не подготовленных к их восприятию. Французские просветители, мыслители замечательные, но породили якобинцев, хотя они же породили и единственного в России «философа на троне» — Екатерину Вторую. Она много читала Монтескье, переписывалась с Дидро и Вольтером и, опираясь на идеи Монтескье, написала «Наказ», естественно, без якобинских выводов, пытаясь построить Российское государство. Строить может только правитель. Философ лишь предлагает идеи, схемы. Германия дала величайших философов. «Человек как самоцель», — говорил Кант, но именно в этой стране возник гитлеризм. Кант виноват? Вряд ли.

Дело, очевидно, не в философах, а в неких интенциях культуры, которые не исправляются приказами сверху, а, к сожалению, прорабатываются и вырабатываются столетиями.

У Пушкина есть прекрасные строчки с ответом на вопрос, когда у нас, наконец, наступит цивилизация:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчислению
Философических таблиц
Лет чрез пятьсот)...

А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 7

Эта формула очень жестокая, сказанная, как всегда, мимоходом и гениально, но она справедливая.

Все культуры вырабатываются и меняются. Был мощный рывок в России — это реформы Петра. Фантастический рывок! Со времён Петра и Пушкина у нас есть к чему возвращаться. Возвращаться к Ивану Грозному неохота. А ведь только на возврате строится и развивается культура, накоплением культурных смыслов.

Локк — не самый великий философ на свете, но он сформулировал то, что оказалось пригодно для стран, подошедших к определенному этапу и сумевших использовать его идеи.

Локка звали потом на государственную службу, он отказался, он не думал о политике, не хотел больше в ней непосредственно участвовать. Но тем не менее идеи Локка усвоили англичане, американцы — совпали умонастроение народа и идеи философа. Кстати, Пётр приказал перевести книгу Локка «О веротерпимости» в России. Пётр старался брать всё самое разумное. Подействовала ли книга на россиян — трудно сказать, но на Петра подействовала, он прекратил тогда преследовать старообрядцев, разрешив им жить свободно и спокойно. Немало, кстати сказать. Появится ли сейчас философ, который скажет, как жить лучше?.. Можно задать и встречный вопрос: а воспримут ли его идеи соотечественники?

Когда в России победил большевизм и в Германии — нацизм, философ Фёдор Степун писал: «Произошла победа идеократии над интересократией». С точки зрения интересов это было всё невыгодно. Народ пошёл за некоей иллюзией — и в том, и в другом случае.

Англия исходит из своих интересов — да, это европейский путь. Путь иллюзорный — это путь мифологического сознания. И в той мере, в какой мы находимся внутри такого сознания, а мы продолжаем, к сожалению, внутри него находиться, мы подвержены опасности идеократии, иллюзорности и т. д.

Когда я говорю, что у нас сегодня нет иллюзий, это не значит, что завтра не появится какой-то новый фюрер, который родит некую сумасшедшую и фантомную идею. Сегодня, пожалуй, на нечто подобное похожи «нацболы» во главе с Лимоновым и программой, столь похожей на программу печально известного Нечаева, породившего русскую «бесовщину».

А поскольку мифологическое сознание в России еще сильно, никуда не ушло, может произойти чёрт знает что. Философия всегда была хороша тем, что пыталась *проблематизировать* мир, выйти за пределы мифологического сознания и вывести оттуда человека. В той мере, в какой философии удаётся это сделать, чтоб человек перестал жить мифом, а стал жить головой, она выполняет свою функцию, возложенную на нее Богом. Пора уйти от мифологического заклęcia, что «умом Россию не понять», а пытаться всё происходящее понимать умом, чтобы такое понимание стало национальной добродетелью, — вот тогда, возможно, будут какие-то реальные результаты и в развитии социальном, и в политическом. Когда есть опора на свой разум...

— По сути, вы дали ответ на вопрос, почему в России столько проблем, — потому что типичному российскому человеку свойственна мифологичность сознания, а среднему европейцу это присуще в меньшей степени. У него более прагматичное сознание, он работает с конкретными реалиями, а не мифологемами.

— Хотя и там, как показала история XX века, хватило мифологического сознания, чтобы поверить Гитлеру и Муссолини и пойти за ними. Томас Манн замечательно

говорил: «В Европе мы видим, к сожалению, растущее презрение к разуму, веру в иррациональное, в миф. И это всё может кончиться очень страшно». И ещё: «Пещерный медведь национал-социализма победил Германию».

Мифологическое сознание бывает симпатично, оно уютно, мило, когда мы читаем о мифах двух-трёх племён, живущих где-то в джунглях, но оно может породить страшные катастрофы в больших странах. Что мы и наблюдали не так давно.

– Вы советуете держать курс в сторону большей рационализации сознания? И освобождения от иллюзий...

– Надо выработать самостоятельные взгляды на всё. Формула Декарта в этом смысле универсальна. Нельзя помыслить, что я не мыслю. Всё остальное может оказаться иллюзорным. Но процесс мысли не иллюзорен, опираясь на мысль, я могу анализировать всё остальное: что реально и что нереально. Иллюзия это или не иллюзия.

Иллюзии хороши на бытовом уровне — нужны иллюзии любви, дружбы, без них жить нельзя. Но у Пушкина есть ироническая фраза: «У меня тоже есть друзья, один из них меня завтра зарежет». Кстати, у нас есть иллюзия, что Пушкин жил в окружении друзей. А он в конце жизни был в полном одиночестве. Его оставили все, включая Вяземского, когда-то ближайшего друга. Поэт Баратынский, перебирая бумаги Пушкина, писал жене: «Знаешь, оказывается, Пушкин был умный человек». Настолько он был не оценён современниками.

Есть иллюзия общепризнанного героя, гения Пушкина, но поздние его сочинения чуть было не пропали — его вдова, Наталья Николаевна Ланская, не знала, куда их деть, хранились они в сундуках, а в сундуки надо было складывать приданое детям. И она предложила губернатору города, где жила, распорядиться архивами.

А у губернатора был брат — известный литератор Павел Васильевич Анненков, которому он и предложил эти рукописи. Павел Васильевич приехал и занялся разборкой ру-

кописей. Неизданного Пушкина набралось на огромный том, то есть поздний великий Пушкин был издан лишь в 1857 году, спустя 20 лет после смерти. А эти бумаги могли быть просто выкинуты. Вот судьба Пушкина.

Есть еще миф, что он любимец императора, любимец женщин... Хотя женщины, может, и любили... Есть миф, что было много друзей, вставших на его защиту. Но лицейский друг Данзас едет на дуэль секундантом Пушкина, то есть поступает вроде бы по правилам чести, но никак не мешает Дантесу убить поэта. Только Пущин, который был в ссылке в Сибири, сказал: «Если б я был там, пуля Дантеса встретила б мою грудь». Да Чаадаев твердо заявил, что никогда не допустил бы Пушкина до дуэли.

— То есть даже лучшие друзья не оценили по достоинству личность Пушкина...

— Да. Понять, что перед ними величайший гений России, жизнь которого — просто подарок народу и стране, не смогли. Разве что Жуковский да Чаадаев... А сегодня у нас представления о судьбе Пушкина совершенно другое. И какое из них верное, а какое иллюзорное?!

Беседовал Владимир Поляков

Часть I. К СТАНОВЛЕНИЮ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Италия как духовный ориентир русской культуры: пять эпизодов кросс-культурной коммуникации

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечный зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков.
Пречистая и наш божественный спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах.

А.С. Пушкин. Мадона

Культурно-политическое влияние Италии, точнее Рима, на Россию невозможно хоть сколько-нибудь понять, не обратившись к теме империи. Идея империи никогда не умирала в западноевропейском сознании. Пожалуй, именно она противостояла разнузданности варваров. Карл Великий строил империю, чтоб европеизировать германцев, собрать племена, расселившиеся по всей Европе, и убедить их в том, что они римляне. «На Западе Римская империя, — писал Аверинцев, — перестала существовать “всего лишь” в действительности, в эмпирии — но не в идее. Окончив реальное существование, она получила взамен “семиотическое” существование <...> Знаком из знаков становится для Запада многократно разоренный варварами город Рим. Когда в

800 г. Запад впервые после падения Ромула Августа получает “вселенского” государя в лице Карла Великого, этот король франков коронуется в Риме римским императором и от руки римского папы. “Священная Римская империя германского народа” — это позднейшая формула, отлично передающая сакральную знаковость имени города Рима. Это имя — драгоценная инсигния императоров и пап»¹.

Римская империя была чем-то большим, чем просто государственным образованием, но символом того, как надо жить *неварвару*. Это было пространство, необходимое для существования цивилизованного человека, поэтому так ласкало «Рим» слух русских европейских поэтов, или, по слову Мандельштама:

Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Пусть имена цветущих городов...

Как замечал С. Аверинцев, «уже Тертуллиан, ненавидевший языческую Римскую империю, все же верил, что конец Рима будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил. Тем охотнее усматривали в существовании Римской империи заградительную стену против Антихриста и некое эсхатологическое “знамение”, когда империя эта стала христианской»². Соответственно, вся доимперская русская жизнь воспринималась просвещенной Россией как жизнь варварская. Потому понятно, что именно эта идея цивилизации пространства, как я покажу дальше, воодушевляла Петра Великого при построении Российской империи.

Не забудем и самого важного, что именно из Рима в Европу пришла идея Христа.

¹ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 115–116.

² Там же. С. 124.

* * *

Рассмотрим пять эпизодов культурных контактов России и Италии и начнем издалека, с предпосылок, которые позволили Древней Руси войти в число христианских стран. Начнем с *эпизода создания славянской письменности* и роли в этом процессе Рима.

Известно, что патриарх Фотий послал солунских братьев Константина и Мефодия из Константинополя в Великую Моравию, которая тогда находилась в подчинении епископства Пассау (Бавария), для создания славянской азбуки и распространения христианства среди славянских племен. Исследователи пишут, что немецкое духовенство выступило против служения Литургии на славянском языке и требовало, как это было принято в Риме, совершать Литургию на латыни. Братья не могли сделать священниками подготовленных ими учеников и в 867 году отправились в Венецию, предполагая оттуда двинуться в Константинополь и там совершить их поставление. Получив приглашение от римского папы, Константин и Мефодий из Венеции направились в 868 году в Рим.

В Риме их встретили приветливо. Папа Адриан II освятил славянские книги и приказал положить их в римских церквях, а ученики Константина и Мефодия стали священниками и дьяконами. Стоит привести отрывок из «Буллы папы Иоанна VIII от июня 880 года»: «Письмена, наконец, славянские, изобретенные покойным Константином Философом, чтобы с их помощью раздавались надлежащие хвалы Богу, по праву одобряем и предписываем, чтобы на этом языке возглашалась слава деяний Христа Господа нашего, ибо мы наставлены святым авторитетом, чтобы воздавали хвалу Господу не только на трех, но на всех языках. <...> И ничто ни в вере, ни в учении не препятствует, на том же самом славянском языке ни петь мессы, ни читать святое Евангелие или Божественные чтения из Старого и Нового завета, хорошо переведенные и истолкованные, или петь все остальные обряды,

ибо Тот, Кто создал три главных языка, то есть еврейский, греческий и латинский, Тот создал и все остальные к Своей хвале и славе»³. Так католическая церковь приветствовала появление священных книг на новых языках, тем самым включая их в число священных языков. В Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года окончательно слёг, принял монашеское имя Кирилл, и через 50 дней (14 февраля) скончался. Философ похоронен в Риме в базилике Святого Климента. Мефодий был рукоположён в епископский сан.

Следующим важным эпизодом культурно-политической коммуникации России с Италией стоит назвать *Ферраро-Флорентийский собор 1439 года*. Напомню весьма важный для русской культуры эпизод, когда едва ли не впервые жители не Киевской, а Московской Руси примерно на двухсотом году татарского ига посетили Западную Европу. Я имею в виду «Хождение на Флорентийский собор», состоявшееся в 1437–1440 годах и записанное по свежим следам безымянным суздальским монахом. На этом соборе была подписана византийским императором, патриархом и римским папой уния, собиравшая в единое целое христианскую Европу, дабы противостоять туркам-сельджукам, мусульманам. Однако московский митрополит Исидор, подписавший вместе с патриархом эту унию, по возвращении в Москву был низложен, уния расторгнута и выбран новый митрополит. Духовный контакт России с Европой был отныне затруднен на многие столетия, и в каком-то смысле все наше западничество есть побочный результат этого разрыва, отказа Руси войти в «концерт европейских народов».

Не вдаваясь в конфессиональные тонкости этого сложного вопроса, сыгравшие свою роль в отторжении унии, отметим исторические причины неприятия этого соглашения. Во-первых, византийцы сами приучили русских не доверять

³ Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 197.

«латинянам». На эту причину указывали многие, например Василий Розанов. Известно, что в традиционных обществах привычки живут весьма долго. Во-вторых, на тот момент у Руси отсутствовала реальная потребность в союзе с далёким Римом. Византия боялась наступавших на нее турок, а Русь *уже* была захвачена татарами, отвыкла от Европы, не имея с ней контактов, во всяком случае видела в ней не союзника, а скорее конфессионального противника.

Тем не менее коммуникация русских людей с Италией на её территории состоялась, оставшись в литературе, а стало быть, и в сознании. Что же поразило русского путешественника прежде всего? А его именно *поразило*, поэтому почти в каждом абзаце он пишет о своем великом «удивлении» вещам, открывавшимся его взору. Он удивлен и восхищен богатством, разработанностью и насыщенностью религиозной жизни Западной Европы: множество церквей, монастырей. Описание изобилия и разнообразных удивительных для него и восхищающих чудес технического толка имеется в рассказе почти о каждом городе. В Риме путешественникам не удалось побывать, но вот описание Флоренции: «Тот славный город Флоренция очень большой, и того, что в нем есть, не видели мы в ранее описанных городах: храмы в нем очень красивы и велики, и здания построены из белого камня, очень высокие и искусно отделаны. И посреди города течет река большая и очень быстрая Арно; и построен на той реке мост каменный, очень широкий; и по обеим сторонам на мосту построены дома. <...> И есть в этом городе храм великий, построенный из белого и черного мрамора; а около того храма воздвигнута колокольня также из белого мрамора, и искусности, с которой она построена, наш ум не способен постигнуть; и поднимались мы на ту колокольню по лестнице, насчитав четыреста пятьдесят ступеней...»⁴ Завершение описания — обратная дорога в

⁴ «Хождение» на Флорентийский собор // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века / вступ. ст.

Россию — лишь перечисление населенных пунктов и расстояний между ними...

Возможно, отказ от унии объясняется вполне практическими причинами. Уже тогда московско-татарская власть догадалась о том, что было внятно любому средневековому государству: идеология — не только лучший страж границ, но и замечательный предлог для экспансии. Соперницей поднимавшегося Московского княжества была Литовская Русь. В 1386 году Литва в результате династического брака (литовского князя Ягайло и наследницы польского престола Ядвиги) приняла католичество, но те земли, где жили русские, остались православными. Они-то, эти земли, и были предметом спора. Нежелание унии вытекало из боязни ослабить влияние Москвы на православных подданных Западной, Литовской Руси в борьбе за земельное наследство разгромленной татарами Киевской Руси. Латиняне из мифических стали идеологическими врагами.

Однако если бы был возможен взгляд из XV столетия на несколько столетий вперед, то последствия отказа от унии смотрелись бы иначе. В годы Октябрьской катастрофы именно об этом отказе пожалеют русские религиозные мыслители, не получив в борьбе с большевиками-атеистами поддержку христианского Запада.

Как писал С. Булгаков, бежавший от большевиков из Советской России, по-новому осмысляя религиозную историю России, — на Ферраро-Флорентийском соборе «был цвет византийского богословия и науки, так что бой был настоящий и решительный. Греки отвергли собор уже после падения Византии, когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали сделать и “вост. патриархи” (и тогда уже только церковно-исторические статисты, как и теперь), а в Москве мальчишка-князь (20 лет) Василий Темный просто арестовал Исидора — и все. Такими средствами не может быть упразднен все-

ленский собор, который требует себе признания хотя бы через 500 лет. Греки, а вместе с ними и мы, и вся восточная церковь совершили клятвoprеступление, т. к. при совместном совершении литургии после собора перед Св. Дарами дали обет сохранять ему верность. Если до этого собора (не считая Лионского) в схизме можно было считать повинными обе стороны, то теперь схизматики мы, восточная церковь. И этот грех влечет за собой неотвратимое наказание — пала Византия, а вместе с ней оскудела восточная церковь. Теперь пала наша Византия, и оскудела русская церковь»⁵. Оскудение русской церкви было результатом ее отказа от идеи всемирности, «православие, — замечал С.Н. Булгаков, — находится в национальном окостенении»⁶.

Третьим важнейшим эпизодом межкультурной политической коммуникации следует назвать *женитьбу Московского князя Ивана III на Софье Палеолог*. При Иване III произошло в 1480 году знаменитое стояние на реке Угре, когда татары впервые не осмелились напасть на русских в открытом поле (впрочем, русские не решились тоже). К этому моменту Орда уже распалась на не очень большие ханства (прежде всего в результате внутренних междоусобиц, а также после разгрома татар на рубеже XIV—XV веков Тамерланом). Эти ханства по-прежнему представляли опасность для Руси, хотя и перестали быть постоянной угрозой, ломавшей внутреннюю жизнь народа.

К этому моменту Московский Великий князь Иван III уже 8 лет был женат на племяннице византийского императора Софье, жившей до брака в Риме и сосватанной князю не без участия римского папы. По мысли известного рус-

⁵Булгаков С.Н. Jaltica (Письмо к другу) // Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 184.

⁶Булгаков С.Н. Из «Дневника» // Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 369—370.

ского историка, Иван III вполне осознал *государственную выгоду* от контактов с Западной Европой — через голову Польши и Литвы. Именно политические интересы стимулировали культурную коммуникацию. От римского папы «вышло предположение устроить брак молодого московского князя с племянницей последнего константинопольского императора Зоей-Софией Палеолог. После взятия Царьграда турками (1453) брат убитого императора Константина Палеолога, по имени Фома, бежал с семейством в Италию и там умер, оставив детей на попечение папы. Дети были воспитаны в духе Флорентийской унии, и папа имел основания надеяться, что, выдав Софью за московского князя, он получит возможность ввести унию в Москву»⁷. Не очень давний пример Литвы и Польши, крестившихся в католичество, обнадеживал римскую курию. Причем заинтересованность Москвы в этом браке была такова, что приехавшие за невестой послы (а главным поверенным великого князя был его подданный Иван Фрязин, «венецианского происхождения», замечает Карамзин) уверяли папу «*о ревности их монарха к благословенному соединению церквей*»⁸.

В 1472 году произошло венчание Ивана III и Софьи. Однако в результате Рим остался ни с чем, выиграл лишь московский князь, получивший право называться преемником византийского императора. Соединения же церквей не произошло, Иван Фрязин был обвинен в латинстве и посажен в тюрьму, а Софья приняла православие. Но, как писал Карамзин, «главным действием сего брака <...> было то, что Россия стала известнее в Европе <...> начались государственные сношения, пересылки; увидели москвитян дома и в чужих землях; говорили об их

⁷Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 186. (Полагаю, что в этой цитате опечатка, и вместо слова «предположение» надо читать «предложение». — В. К.)

⁸Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V—VIII. Калуга, 1993. С. 200 (курсив Н.М. Карамзина. — В. К.).

странных обычаях, но угадывали и могущество»⁹. Москва использовала этот брак в своих интересах: женившись на греческой царевне, Иван III взял себе византийский герб — двуглавого орла, что должно было указывать на преемство его власти от византийских императоров, привез в Москву итальянских зодчих (Аристотель Фиорованти и др.), отстроивших каменный Кремль (Успенский собор, Грановитую палату и пр.), по словам Мандельштама: «Успенье нежное — Флоренция в Москве».

И Кремль словно внес в Московию какие-то новые параметры — не скажу благостные, но создававшие почву для возможности трагического бытия человека. Федотов писал: «Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля, повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа, живет в кремлевском дворце, под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам»¹⁰.

Строительство Кремля с его итальянскими «ласточкиными хвостиками», как показала история русской культуры, не стало пустым эпизодом. Архитектура в русской культуре крепнет в слове. У Мандельштама есть интересное рассуждение о тех символических коммуникативных связях, которые встроили «итальянский» московский Кремль в парадигму русского слова, как центра, вокруг которого строилась русская культура, преодолевая свой хаос: «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неу-

⁹ Там же. С. 203.

¹⁰ Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. С. 59.

томимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории»¹¹.

Далее, уже при Василии III, и это *четвертый значимый эпизод*, возникает концепция о Москве как *третьем Риме*, «а четвертому не быти». Обычно ее воспринимают как выражение московского изоляционизма. Я бы назвал ее скорее «извращенным европеизмом». Вчитаемся в послание старца Филофея (автора этой концепции) великому князю Василию: «Старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и оскордами рассекли... Так, пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоём царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь. И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божиим»¹². Иными словами, Московская Русь в данном случае выступает в качестве ковчега, спасающего, укрывающего в себе христианский мир. Если же учесть, что в Средневековье христианский мир все-таки отождествлялся именно с европейской цивилизацией, то становится понятным, что, назвав себя третьим Римом (Римом! а не Стамбулом, не Сараем, не Багдадом, не Самаркандом), Москва равнялась на Европу, на ее тогдашний центр, полагая себя наследницей и правопреемницей «христианской Европы».

Наконец, последний, *пятый из рассматриваемых эпизодов*, — самая решительная и удачная попытка движения России к Риму связана с именем *Петра Великого*, который на Балтийском (Варяжском) море сознательно строит *Третий Рим*, наполняя город античными статуями и скульптурами, ориентируя его не на вто-

¹¹Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. «Сохрани мою речь...» М., 1994. С. 399.

¹²Послания старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 437.

рой, а на первый Рим, вводя римские черты даже в свой герб. Россия после долгой татарской и московской изоляции *возвращалась в Европу при Петре Великом как империя*. Именно как империю воспринимал Россию Запад и в лице просветителей приветствовал появление и европейскую инициативу «северного великана». Не забудем, что империя выступила в петровскую эпоху как гарант свободы разнообразия: «Всяк сущий в ней язык», — так Пушкин определил равноправие населявших русскую империю этносов. И петровская ориентация на римскую имперскость вовсе не означала внесение языка в страну, как попытался увидеть петровские реформы Д.С. Мережковский в романе «Антихрист (Петр и Алексей)». Не случайно в Римской империи формировались базовые ценности современной европейской цивилизации, включая и христианство.

Созданная Петром Великим русская империя была открыта всем народам («все флаги будут в гости к нам», — писал Пушкин), но прежде всего открыта она была Европе, с которой Россия вновь, как во времена Новгородско-Киевской Руси, ощутила внутреннее единство. Основанный и построенный Петром столичный град Санкт-Петербург создал духовное напряжение в России. Если Иван III приглашал из Италии архитекторов, то политика Петра был иная. Он посылал своих русских подданных учиться в Европу. Первым строителем Петербурга не случайно называют П.М. Еропкина, учившегося «архитектурному делу» по приказу Петра в Риме¹³. И Петербург стал городом, структурировавшим новую Россию, превратившим ее в империю.

Новую столицу Петр строил, опираясь на идею Рима. Стоит напомнить очень верное и глубокое наблюдение российских исследователей о том, что семиотическая соотнесенность с идеей «Москва — третий Рим» неожиданно

¹³ См.: *Карнов Г.М.* Архитектор Петербурга Петр Михайлович Еропкин // Вопросы истории. 2011. № 2. С. 131–143.

данно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. «Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперничестве за право исторического наследства с Римом католическим. <...> В этом новом контексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалась не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но и в ее гербе <...> герб Петербурга содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима <...> и это, конечно, не могло быть случайным»¹⁴. Рим создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. «Мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве, — писал, рассуждая об идее империи в начале XX века, Бердяев, — вековая мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с Римом, как понятием духовным, а не географическим»¹⁵.

Уход от Московскою царства, заявление Петра, когда ему поднесли титул императора, что Россия не будет очередной Византией, павшей от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о некоем сознательном историософском выборе Преобразователем новой ориен-

¹⁴Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 63—64.

¹⁵Бердяев Н.А. Конец Европы // Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 117.

тации в историческом и геополитическом пространстве: «Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; *надлежит стараться о пользе общей*, являемой Богом нам очевидно внутри и вне, *от чего народ получит облегчение*»¹⁶ (курсив мой. — В. К.). До националистического переворота Николая I все идейно-политические установки Петра сохраняли свою жизненную силу.

Важно отметить, что, принимая титул императора, Петр не только указывал на свою европейскую ориентацию, но и демонстрировал отказ как от византийского, так и татарского наследия. Империя означала наднациональную парадигму, где европеизм играл роль сверхидеи, на которую ориентировались все народы государства. Завоевав Древнюю Грецию, Рим оказался наследником древнегреческой религии и культуры, на этой почве преодолел национальную узость и сделал шаг к мировому величию. Но и Европа XVIII века воспринимала себя прямым воспроизведением, восстановлением Древней Греции: «Европа в настоящее время представляет собой увеличенную копию того, образцом чего раньше в миниатюре была Греция»¹⁷. Стало быть, и новый Рим — Россия — мог смело следовать примеру первого Рима, заимствуя культуру, технику и науку у Европы, не унижая, но возвеличивая себя, вбирая Европу в себя, как некогда Рим вобрал Элладу.

Похороны Петра Великого в Санкт-Петербурге стали религиозным и исторически знаковым событием. Рассматривая восприятие современниками Петра Великого как нового императора Константина Великого, современная исследовательница напоминает об ориентации Петра на первый Рим, город *святого Петра, похороненного в вечном городе*.

¹⁶Петр Великий в его изречениях. М., 1991. С. 88.

¹⁷Юм Д. О возникновении и развитии искусств и наук // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 637.

Но также о том, что Москва приобрела статус хранительницы православия, когда в нее переехал при Иване Калите и впоследствии был *там похоронен русский митрополит Петр*. «Новая столица Российской империи, — пишет автор, — была вписана в христианский контекст, традиция была соблюдена. <...> Три священные могилы трех Петров: св. апостола Петра — хранителя христианского Рима и всего «земного града» в соборе Св. Петра в Риме; св. Петра, митрополита Всея Руси — в Успенском соборе в Москве <...> связавшем Второй Рим и Третий. Наконец, могилы Петра Великого в Петропавловском соборе и первого христианского императора Константина <...> в храме Святых Апостолов создают для верующей Руси надежную опору соединения светской имперской, вселенской христианской и отечественной истории»¹⁸.

* * *

После катастрофы Октябрьской революции близость Петербурга великому Риму становится для русских эмигрантов несомненной, и эта мысль звучит страстно, тоскливо, преувеличенно, но звучит. В 1926 году Георгий Федотов написал: «Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобыт-

¹⁸Киселева М.С. Петербург в контексте христианской сакральности (Священные могилы священных столиц) // Петербург на философской карте мира. Вып. 3. СПб., 2004. С. 72.

нее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?»¹⁹

Как видим, кросс-культурные коммуникации расширяют и углубляют своеобразие культур: учеба России у Европы, как некогда Древнего Рима у Древней Греции, способствовала созданию великого государства и великой культуры. От нашествия же варваров как внешних, так и внутренних не застрахована самая великая цивилизация.

¹⁹ Федотов Г.П. Три столицы. С. 51.

2. Зарождение, затухание и актуализация мифа «Москва – третий Рим»

Начну свой текст с относительно недавней истории. В 2008 году я работал 4 месяца в Таллинском университете по гранту Юрия Лотмана. Вдруг мне звонит ректор университета Рейн Рауд и говорит: «Владимир, прошу тебя прийти на сегодняшний доклад. Турецкий профессор выступает с темой “Стамбул – третий Рим”. Кроме тебя, ответить некому». Я пошел, говорили мы по-английски, но темы были уж очень интимные как для России, так и для Турции. Название поразило меня. Сколь, оказывается, живучи мифы, и как могут они транслироваться в другую вроде бы культуру, меняя свою исходную установку.

Идея турецкого профессора имела два основания. 1. Вокруг Константинополя уже были поля, которые обрабатывали турки-сельджуки, так что падение Константинополя было лишь вопросом времени. 2. Если идея империи имеет в основании монотеистическую религию, то чем ислам хуже христианства. Вступать в конфессиональный спор было в данном случае бессмысленно.

Я только заметил, что существует «гений места», в данном случае в его роли выступает Константинополь, который есть центр Европы, Константин не случайно построил здесь столицу. Существовал, как известно, проект Екатерины Великой о создании «Великой Греко-Российской Восточной Державы», которую она прочила своему внуку Константину со столицей в Константинополе. Надо сказать, что о «византийском наследстве» начали говорить положительно со времен Екатерины, когда сквозь

Византию разглядели античную Грецию — родоначальницу европейской культуры. Поэтому именно Турция сейчас претендует на вступление в ЕС, а не Россия. Однако идея, миф третьего Рима — это не только мечта об империи, а *мечта о спасении христианства*. Это я хотел бы подчеркнуть. Если это не понять, то появление этой идеологии будет воспринято не в том ключе, как некий анахронизм в духе постмодернизма. Отвечал и вспомнил строчки Максимилиана Волошина:

И здесь, как муж, поял ее Ислам:
 Воль Азии вершитель и предстатель —
 Сквозь Бычий Ход Махмут-завоеватель
 Проник к ее заветным берегам.
 И зачала и понесла во чреве
 Русь — третий Рим — слепой и страстный плод:
 Да зачатое в пламени и в гневе
 С собой восток и запад сопряжет!

Неопалимая купина. Европа, 1918

Что это значит? Что ислам родил идею третьего Рима? Очевидно, нет. Но влияние его как явного вызова (по Тойнби) очевидно. Идея третьего Рима была ответом на вызов ислама. Идея третьего Рима возникает как результат завоевания исламом остатков Римской империи, последнего ее оплота — Константинополя. Оба Рима пали под ударами варваров. Разница была лишь в том, что западные варвары были христиане. Для византийцев западное варварство увеличивалось конфессиональными противоречиями. В результате на религиозное несогласие наложились еще и схизма, и завоевание Константинополя крестоносцами, неудача Флорентийской унии, а затем неудача, когда посланные на помощь Константинополю западные рыцари не смогли отстоять великий город. Тем самым Ферраро-Флорентийский собор и его решения ушли в небытие. Любопытно, однако, что после падения Города византийцы кинулись в Италию, и многое принесли на Запад: знаменитый Плетон, возродивший Платоновскую Академию, появление православного

изобретения — органа, ушедшего из православия и ставшего меткой западной церкви. Ислам, прибрав к рукам Второй Рим, активизировал мысль балканских славян, которые стали примерять к себе идею Нового Рима.

Начинается с того, конечно, о чем не раз писали русские историки (П.Н. Милюков и др.), что к московскому князю применяются понятия и идеи, установившиеся относительно югославянских государей. Цитирую Милюкова: «Программа для Москвы, новой наследницы Царьграда, была во всех главных чертах намечена югославянскими прецедентами. Намечена была тогда же и там же и самая идеология, пригодная для Москвы в ее новом положении»¹. Как полагает Милюков, о Новом Царьграде, т. е. о третьем Риме, мечтали южные славяне, готовя на эту роль град Тырново. После явного проигрыша южных славян византийцам, потом византийцев и самих южных славян туркам их интерес перемещается на восточнославянские земли, к Москве. Один духовный писатель (серб Пахомий) даже вкладывает в уста самого греческого царя Иоанна Палеолога признание за московским государем царского титула вместе с объяснением, почему он его еще не носит официально. В Москве, по этому мнимому заявлению византийского императора, перед Флорентийским собором сохраняется «большее православие» и «высшее христианство».

Затем на московского князя переносятся все предсказания и пророчества. Согласно преданиям, все знамения сбываются, и «русский род всего Измаила победит и Седмихолмный возьмет, и в нем воцарится»². Таково начало русской исторической миссии, связанное к тому же с женитьбой московского князя на племяннице последнего византийского басилевса. Однако дожидаться осуществления легендарных или юридических прав на Константинополь

¹ Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 3. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 43.

² Там же. С. 46.

вовсе не входило в задачи московской политики, тем более что легенда связывала это событие с последними временами (наступление их ожидалось тогда уже в конце XV века). Одно время даже называли дату — 1492 год — как дату всеобщего конца. На Руси глубоко и всерьез переживали грядущую гибель Вселенной, когда ждали второго пришествия Христа. Как замечал Н.И. Ульянов в своей знаменитой статье «Комплекс Филофея», именно «в такой психологической атмосфере зарождалось на Руси учение о третьем Риме»³. Надо учесть и общественно-историческую ситуацию, связанную с политическим и военным ослаблением югославян, мешавшую им и помогавшую России. Балканы захвачены турками, исламом. И только Москва, как им казалось, хранит истинное христианство. Его-то и надо спасти.

Чтобы долго не пересказывать сюжет, сошлюсь на размышления современной исследовательницы М.С. Киселевой, с которой я во многом согласен: «После падения Константинополя и завоевания православных земель Османской Империей лишь Русь могла претендовать на роль духовного центра всего православного мира. Византийская традиция соединения церковной и царской власти должна была быть переработана в национальных интересах государства, способного выполнить эту новую для него роль. Старые идеи о божественном происхождении власти вообще — и царской, и княжеской — продолжали крепить государство, но Москва нуждалась в более детальном обосновании своих прав, в котором были бы в равной степени оправданы и ее экспансия на русские княжества, и ее новое положение в мировой истории. Почти столетие потребовалось русским книжникам, чтобы разработать во всех подробностях национальный миф, подтверждающий божественные и исторические права Москвы и московских самодержцев на господство во всем православном

³ Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Вопросы истории. 1994, № 4. С. 154.

мире. Историчность новому мифу можно было придать, связав его с уже прожитой историей, с древними временами, включив в новые сюжеты примеры из начальной истории Руси. Но не только русская история нужна книжникам для выполнения этой задачи. Византийская древность — начальные века христианства также необходимы для создания нового мифа. <...> Русь представлена как оплот православия, а московский великий князь оказывается верховным блюстителем православной церкви, каким ранее был византийский император. <...> Московские власти постарались как можно быстрее закрепить идею о Москве (а не Константинополе!) как оплоте истинной веры и источнике благочестия. <...> Москва расширяла свои владения, по мере этого процесса креп и национальный миф. Скажем, покорение Василием III Пскова дало неожиданные результаты идеологического порядка. <...> Неожиданностью были не оппозиционные настроения псковичей, они-то как раз понятны. Неожиданным среди этих исторических событий были идеи, развиваемые в посланиях старца и игумена псковского Елеазаровского монастыря Филофея. Уже в “Первом послании Василию III”, написанном около 1514—1521 годов, Филофей формулирует идею, позволяющую псковичам, да и не только им, но и всем другим княжествам, подчиненным Москве, несколько иначе взглянуть на завоевателя. Дело в том, что именно Филофей формулирует идею “Москва — третий Рим”. В одном из последних посланий Филофея псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу (Мисюрю) Мунехину — на звездочетцев (1523 или 1524) эта идея разрабатывается в полемике с Николаем Булевым, астрологом и врачом при дворе Василия III, немцем из Любека и католиком, который утверждал, что первенство в христианском мире принадлежит католическому Риму. Библейские познания позволили Филофею взглянуть на Москву, так сказать, не из Пскова, увидеть в ней место, где находит свое завершение земная история (первый Рим погиб от руки варваров, вто-

рой, Константинополь, от турок, третий же, Москва, пребудет истинным центром христианства — ибо православие превосходит латинскую веру — до скончания веков), позволяли не только примириться с подчинением Москве, но и видеть в этом промысел Божий, осуществление христианской истории в Московском царстве. Библейская версия мировой истории приобретает характер национального мифа, насыщенной идеологемы, по форме же своего исполнения является книжным повествованием, нарративом с провидческим оттенком»⁴.

Обычно эту концепцию воспринимают как выражение московского изоляционизма, наподобие болгарского. Я бы назвал ее скорее *извращенным европеизмом*. Вчитаемся в послание старца Филофея (автора этой концепции) великому князю Василию: «Старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а эта теперь же третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится, — так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры сошлись в едином твоём царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь. И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божиим»⁵. Иными словами, Московская Русь в данном случае выступает в качестве ковчега, спасающего, укрывающего в себе христианский мир. Если же учесть, что в Средневековье христианский мир все-таки отождествлялся именно с европейской цивилизацией, то становится понятным, что, назвав

⁴ Киселева М.С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. М.: Индрик, 2000. С. 165—168.

⁵ Послания старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М.: Художественная литература, 1984. С. 437.

себя третьим Римом (Римом! а не Стамбулом, не Сараем, не Багдадом, не Самаркандом), Москва равнялась на Европу, на ее тогдашний центр, полагая себя наследницей и правопреемницей «христианской Европы». Можно даже найти некую переключку с идеей Ортеги-и-Гасета, объявившего Латинскую Америку ковчегом, в котором будут сохранены ценности европейской цивилизации. И в том, и в другом случае речь идет о маргиналах, не выступающих *против*, а, наоборот, желающих *стать*, желающих *быть центром* Европы, даже если придется для этого не признавать реальную европейскую жизнь, считать ее клонящейся к упадку и закату. Ибо, если не было бы этого «упадка», то ни к чему был бы ковчег и спаситель.

А ковчег необходим, поскольку мировую ситуацию Филофей видит достаточно эсхатологически. Он заявляет об «очевидной» для него гибели христианства на Западе, ибо католики, латиняне для него лжехристиане: «Девяносто лет как греческое царство разорено и не возобновится: и все это случилось грехов ради наших, потому что они предали православную греческую веру в католичество. И не удивляйся, избранник Божий, когда католики говорят: наше царство романское нерушимо пребывает, и если бы неправильно веровали, не позаботился бы о нас Господь. Не следует нам внимать прельщениям их, воистину они еретики, по своему желанию отпавшие от православной христианской веры особенно из-за службы с опресноками. Были с нами воедино семьсот лет и семьдесят, а отпали от правой веры семьсот и тридцать пять лет тому назад, в ересь Аполлинария впали, прельщенные Карлом-царем и папой Формозом»⁶. Реального Запада он не знал, повторяя византийские инвективы. Не знал церковных проблем своего времени. Но именно поэтому Москва воспринималась им как спасительный ковчег, в котором спасутся все христианские церкви...

⁶Послания старца Филофея... С. 449.

По справедливому наблюдению Н.И. Ульянова, русские в концепцию Москвы как третьего Рима не вкладывали политического содержания, они спасали христианство: «Нетрудно заметить, что югославянская версия значительно отличается от версии Филофея; она насквозь политична и проникнута не церковными, а государственными устремлениями. Это вполне понятно: возникла она на почве национально-освободительной борьбы, а не на основе святоотеческой литературы о конце мира. Но, несмотря на весь эффект, произведенный Пахомием, Русь не приняла ее в таком виде, в каком она выступает у сербов и болгар. На примере того же Филофея видно, что русские книжники восприняли ее более углубленно и в чисто религиозном плане. Мотив же государственной мощи и патриотического бахвальства не привился»⁷. Как бы ни приписывали потом русские мыслители и западные советологи Филофею великие государственные замыслы на всемирное господство, он думал лишь о спасении православия, которое для него было равно христианству. Любопытен европейский контрапункт писем Филофея. Именно в эти годы, когда он писал свои письма, в Германии шла реальная борьба с Римом. Создавал свои статьи и книги, переводил на немецкий язык Библию Мартин Лютер, обвинявший Рим в разврате и всяческих пороках. В 1517 году он вывесил на двери Замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов, с которых началась Реформация. Филофей, как мы знаем, даже отдаленно не задумывался, как Лютер, о таких проблемах.

Что же значит его письмо Московскому князю Василию III? Письмо, которое он начинает с явной лести, называя князя царем (за этот титул, кстати, еще будет бороться Иван Грозный). Дальше некуда. Победоносному исламу противостоит только Москва как третий Рим. Что же смущает старца? Откуда тревога? В центре письма три тревожных пункта. Но переходит он к ним не сразу. Поначалу

⁷ *Ульянов Н.И.* Комплекс Филофея. С. 158.

он требует отказаться от сребролюбия: «И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божиим, убойся Бога, давшего тебе это, не надейся на золото, и богатство, и славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается. Вспомни, царь, того праведного, который, скипетр в руке и царский венец на своей голове нося, говорил: “Богатству, что притекает, не отдавайте сердца”; и сказал премудрый Соломон: “Богатство и золото не в сокровищнице познается, но когда помогает нуждающимся”; апостол же Павел, им следуя, говорит: “Корень всякому злу — сребролюбие”, — не велит отказаться, но не возлагать надежды и тем более сердца на него, но уповать на все дающего Бога. Ибо вся твоя к Богу чистая вера и любовь — к Божиим святым церквам; да и еще, царь, соблюди две заповеди»⁸.

Какие же? Он начинает не с главного, ибо главная — третья.

1. «В твоём царстве не осеняют люди себя правильно знаменем святого креста»⁹. По тем временам грех немалый, но преодолимый хорошими наставниками. Беда, что наставников нет. И это следующая проблема.

2. «Второе: наполни святые соборные церкви епископами, пусть не вдовствует святая Божия церковь в твоё царствование! Не преступай, царь, завета, что положили твои предки — великий Константин, и блаженный святой Владимир, и великий богоизбранный Ярослав, и другие блаженные святые, того же корня, что и ты. Не обижай, царь, святых Божьих церквей и честных монастырей, как данных Богу в наследство вечных благ на память последующим родам, на что и священный великий Пятый собор строжайший запрет наложил»¹⁰. Надо сказать, проблема малого числа священнослужителей в русских церквях дожила до XIX столетия. Существовали жалобы на то, что один свя-

⁸ Послания старца Филофея. С. 438—439.

⁹ Там же. С. 439.

¹⁰ Там же.

щенник обслуживает слишком большое пространство, что ему не хватает ни времени, ни сил для полноценного исполнения своих обязанностей. Скажем, Н.С. Толстой, троюродный брат писателя Л.Н. Толстого, поветлужский помещик, оставил свои записки, относящиеся к середине XIX века. Я нашел их в маленькой библиотечке села Богородское в начале 1980-х годов и сделал выписки. Привожу одну из них: «О невыгодах местности нашей в отношении религиозном скажу, что расколы, старообрядства, лесные скиты или схимы и, наконец, совершенное безверие, заменяемое странными повериями, предрассудками и даже чем-то похожим на идолопоклонство, все происходит от местности. <...> В смертных случаях; душа умирающего жаждет утешения духовного, успокоения совести. А — реки разлились! А — церковь за 40 верст! Болота распустились!.. Дороги не проездимы!.. Духовника не будет!.. Причастия тоже!.. Пронести его нет никакой возможности, — и больной умирает без покаяния душевного!»

Отсюда, разумеется, возникала и другая проблема — оторванность от духовных центров, низкий интеллектуальный уровень священнослужителей. Знаменитый русский публицист Михаил Катков начале 1870-х годов, говоря о необходимости того, чтобы «в наших церковных учреждениях пробудился дух жизни»¹¹, писал о низком уровне православных пастырей в русской Церкви: «Церковь Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста почти утратила в нашей заглохшей среде дар учения и проповеди. <...> В нашем духовенстве иссякло даже знание тех языков, которые полагаются везде в основу умственного образования»¹². А потому «сама па-

¹¹ Катков М. Неправильности в положении православной церкви и православного духовенства в России // Катков М. Идеология охранительства. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 419.

¹² Там же. С. 415—416.

ства нашей Церкви имеет вид только как бы приписанных к ней населений. Громадное множество народа находится в совершенно внешних к ней отношениях, чуждое всякого, хотя бы поверхностного, разумения ее оснований, пребывая во тьме и коснея в грубейших суевериях»¹³. Как видим, религиозные проблемы, намеченные Филофеем, оказались слишком живучими.

Но было еще и то, о чем трудно говорить, но о чем Филофей пишет с откровенным простодушием, видимо, эта проблема зашкаливала. Он называет самое страшное, именую почти апокалиптический грех, тот, за который Господь уничтожил два города Содом и Гоморру. То есть Россия на грани истребления Божьим гневом.

3. «О третьей же заповеди пишу и с плачем горько говорю, чтобы искоренил ты в своем православном царстве сей горький плевел, о котором и ныне еще свидетельствует серный пламень горящего огня на площадях Содомских, о котором пророк Исайя, рыдая, повествовал: Вслушайтесь в слово Божие, князья Содомские, и воспримите Божий глагол, люди Гоморры: “Что мне жир жертв ваших и доношений ваших, переполнен я всесожжениями. И если принесете мне кадило — мерзко мне это, и праздники ваши ненавидит душа моя!” Так пойми, благочестивый царь, что пророк не мертвым, уже погибшим содомлянам такое говорил, но живым, творящим злые дела. Ибо сказано: “Изменяющий жене разрывает плоть свою, но творящий содомский блуд убивает плод своего чрева”. Бог сотворил человека и семя в нем для рождения детей, а мы сами свое семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И мерзость такая преумножилась не только среди мирян, но и среди прочих, о коих я умолчу, но читающий да разумеет. Увы мне, как долго терпит Милостивый, нас не судя!»¹⁴

¹³ Катков М. Необходимость уничтожения касты в православном духовенстве // Там же. С. 424.

¹⁴ Там же. С. 439.

Если же царь не обратит внимания на этот грех, не осудит его и не справится с ним, то Руси не быть. Вот плач Филофея. Ведь если падет и третий Рим, *последнее христианское царство*, то четвертому взяться будет неоткуда. «И если хорошо урядишь свое царство — будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать»¹⁵.

Такова была абсолютно трагическая идеологема, предложенная Филофеем Московскому князю. Но его схема была принята, хоть и не сразу, ибо родство с Римом московские цари любили подчеркивать, тем самым утверждая свое превосходство над современными им западными государями. «Мы от Августа Кесаря родством ведемся»¹⁶, — самодовольно писал Иван Грозный шведскому королю Юхану III.

До этого же было следующее. Идея о России как центре и хранителе всего христианского мира зазвучала не только в Пскове для Москвы, но и в городе, который резонно полагал себя отцом русских городов, городе с иной, немосковской политической структурой, в республиканском Великом Новгороде, своего рода пра-Петербурге. Здесь не Москва, а вся русская земля называется третьим Римом. Это говорит о серьезных сдвигах в восприятии русскими людьми геополитической картины мира того времени, которая не вызывала радужных настроений. Новгород поэтому говорит о том же самом, что и Москва: «Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и своевольству, в новом же Риме — в Константинополе притеснением мусульманским христианская вера погибнет также. И только в третьем Риме, то есть на Русской земле, благодать святого духа воссияет. Так знай

¹⁵Послания старца Филофея. С. 441.

¹⁶Послания Ивана Грозного // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века. М.: Художественная литература, 1986. С. 136.

же, Филофей (константинопольский патриарх; совпадение с именем старца Елиазарьевского монастыря кричащее и вряд ли случайное. — *В. К.*), что все христианские царства придут к своему концу и сойдутся в едином царстве русском на благо всего православия»¹⁷. Любопытно, что весть эту приносят патриарху Филофею первый римский «папа Селивестр» (еще хороший, признаваемый православием), ибо крестил императора Константина, и сам «благоверный царь Константин Римский»¹⁸, что говорит не только о религиозной благодати «Русской земли», но и о ее грядущем имперском значении. Поэтому Петр выразил своим деянием — построением Санкт-Петербурга с ориентацией на Рим, город Святого Петра, — как бы умонастроение не собственно московское, а всей русской земли, которая жила этим чувством и помимо Москвы.

Иван Грозный мог опираться на представление о себе как Рюриковиче, возводя свое происхождение к римским цезарям. «Люди средневековья представляли себе мировую политическую систему в виде империи со строгой иерархией. Королевства и княжества, составлявшие эту иерархию, занимали разные ее ступени. Принадлежность к единой христианской империи определяла харизматический характер власти монархов, нередко подкреплявшаяся ссылкой на некое символическое родство с императорской фамилией. В Московской Руси широкое распространение получила легенда о римских предках царя. В XVI веке много сотен русских князей вели свой род от Рюрика, но лишь Иван IV раздвинул рамки генеалогического мифа и выступил с претензией на родство через Рюрика с римскими цезарями»¹⁹. Петр на такой запас исторической легитимности не претен-

¹⁷ Повесть о новгородском белом клобуке // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М.: Художественная литература, 1985. С. 225.

¹⁸ Там же.

¹⁹ *Скрынников Р.Г.* Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 87.

довал. Хотя легитимнее его в тот момент в царской семье никого не было. Можно сколь угодно долго спорить, как было бы по-другому и хорошо без Петра Первого, но штука в том, что если даже стоять на законных нормах Московского царства, то *Петр — единственный законный наследник престола*: Федор умер, Иван был слабоумный, что понимали все, Софья в московской системе ценностей царицей стать не могла (не женское это тогда было дело), только в постпетровское время появились императрицы. Кроме Петра кто бы законно взялся управлять Россией? Варианта не было. Так что и спорить не о чем. А уж путь, им избранный, был путем законного правителя России.

Надо сказать, что к тому моменту и гордое самоименование Москвы «третьим Римом» из летописной публицистики практически ушло. Это именование оставалось достоянием лишь церковной литературы. В своей обстоятельной книге «Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции» (1998) Н.В. Синицына писала о том, что, пожалуй, самой важной вехой в истории идеи была эпоха учреждения патриаршества. Уложенная грамота Московского поместного Собора 1589 года, будучи памятником древнерусского канонического права, закрепила на историко-каноническом уровне определение «третьего Рима». В грамоте Московского собора 1589 года формула Третьего Рима была изложена от лица Константинопольского патриарха Иеремии II: «Твое же, о благочестивый царю, великое Росейское царствие, третий Рим, благочестием всех превзыде». Надо сказать, что для сугубо исторического взгляда на ситуацию влияние текста Филофея на русские идеологические построения представляется нелепым. Ведь лишь в XIX веке начинается научное изучение идеи. Впервые послания старца Филофея были опубликованы в «Православном собеседнике» в 1861—1863 годах, тогда-то о них узнала образованная публика. Но идеи имеют другую жизнь, нежели исторические документы. Церковная православная мысль была в каком-то смысле хранительницей основных архети-

пических смыслов русской культуры. Время от времени эти смыслы выходили на поверхность.

Параллель Петра Первого с Константином Великим это именование оживило, наполнив его новым смыслом. Петр совершил нечто *по замыслу* не менее грандиозное, чем император Константин. «Стоял он, дум великих полн», — написал Пушкин. Петр становится русским императором, уже этим именованием объявляя себя наследником римской властной структуры. Европа потрясена и шокирована. Но Петр имеет план, его замах грандиозен, замах, рожденный глубокой думой. И грандиозность его замысла проявилась в том числе и в строительстве новой столицы, которая не просто ближе к Европе, нет, замысел Преобразователя значительнее. «Семиотическая соотнесенность с идеей “Москва — третий Рим” неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперничестве за право исторического наследства с Римом католическим. <...> В этом новом контексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалась не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но и в ее гербе: <...> герб Петербурга содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима <...> и это, конечно, не могло быть случайным»²⁰. Скорее всего Петр не знал, во всяком случае не задумывался об идеологеме «Москва — третий Рим». Но реально он ориентировал новую столицу на первый Рим, совсем в этом

²⁰ Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. III. С. 205.

контексте не рассматривая Москву как соперницу первого и второго Рима. Не очень понятно, понимал ли Петр геополитическое значение своего шага, которое внятно его потомкам. Но очевидно, что в противовес Константину Великому, сделавшему строительством Константинополя шаг с Запада на Восток, Петр шагает с Востока на Запад. И его Петербург заново структурирует Европу.

Уход от Московского царства, заявление Петра, когда ему поднесли титул императора, что Россия не будет очередной Византией, павшей от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о некоем сознательном историософском выборе Преобразователем новой ориентации в историческом и геополитическом пространстве: «Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; *надлежит стараться о пользе общей*, являемой Богом нам очевидно внутри и вне, *от чего народ получит облегчение*»²¹ (курсив мой. — В. К.). До националистического переворота Николая I все идейно-политические установки Петра сохраняли свою жизненность. Любопытно отметить, что, принимая титул императора, Петр не только указывал на свою европейскую ориентацию, но и демонстрировал отход как от византийского, так и татарского наследия.

Впервые на русском престоле оказался владыка не менее подлинной, чем «первый Рим», империи, ибо «второй Рим» был обломком «первого», восточной его частью, а «третий» — тщеславный миф и неоправдавшаяся надежда русских книжников быть главными хранителями и защитниками христианства. Они остались чужды европейскому христианству, европейскому миру, а стало быть, и в скором времени отодвинули идею «третьего Рима» в область национального мифа, тешащего самолюбие и гордость. Петр — практик, принимающий все всерьез и через деятельность,

²¹ Петр Великий в его изречениях. С. 88.

человек, способный строить, владеть и организовывать жизнь, законодательствовать. А идея Рима — владычество над миром и организация всей европейской Ойкумены.

Таким образом, чисто религиозная идея забыта, про Филофея никто не вспоминает, но темы геополитические и религиозные остаются. Москва не третий Рим, Россия не третий Рим, Петр строит новую Римскую империю, точнее Русскую, но с ориентацией на первый Рим. И религиозные мотивы Филофея, как я уже поминал, связаны не с идеей третьего Рима, а с общехристианским мотивом покаяния.

Интересно, что Москва в русской публицистике XIX века хотя и противопоставлялась Петербургу, но все не в контексте идеологии третьего Рима. Так великий славянофил и религиозный мыслитель Алексей Хомяков в 1844 году бранит «двоедушие Москвы», призывая Русь к покаянию, не вспоминая или не думая, даже не зная о ней как о третьем Риме:

За рабство вековому плену,
За робость пред мечом Литвы,
За Новград и его измену,
За двоедушие Москвы;
За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разорённый Новоград;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость тёмного незнанья,
За плен народа; наконец,
...
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За тёмные отцов деянья,
За тёмный грех своих времён,

Пред Богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

И только в середине XIX века, после публикации писем Филофея, эта идея превращается в миф, который оказался удобным для журнально-общественной полемики. Скажем, для Владимира Соловьева был внятен мистический смысл мифа. В стихотворении «Панмонголизм» (1894) мыслитель ставит вопрос о достойном существовании России с явным движением мысли в сторону петровских реформ, императора, пытавшегося преодолеть византийское наследство и найти контакт с католическим Римом.

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

Пусть так! Орудий божьей кары
Запас еще не истощен.
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И Третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

После революции поэт и писатель Георгий Иванов написал роман о распаде Российской империи под названием «Гибель третьего Рима».

Поразительным образом миф «Москва — третий Рим» вспыхнул снова и весьма ярко после большевистской революции и создания третьего Интернационала. Это стало

темой русской эмиграции. Один из самых чутких к историческим движениям идей мыслитель (я имею в виду Бердяева) в 1938 году написал: «Доктрина о Москве как третьем Риме стала идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи». Как, однако, писали русские историки, ничего подобного не было. Бердяев опирался, конечно, на прочтение формулы Филофея русскими публицистами XIX века. Поэтому и писал он текст, где точные наблюдения переплетались с фантазией: «Искание царства, истинного царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории. Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной, православной веры. Совершенно так же и принадлежность к советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры. Под символикой мессианской идеи Москвы — третьего Рима произошла острая национализация церкви. Религиозное и национальное в московском царстве так же между собой срослось, как в сознании древнееврейского народа. И так же как юдаизму свойственно было мессианское сознание, оно свойственно было русскому православию»²². Федор Степун в статье 1960 года «Москва — третий Рим» подвел итоги возникшей после победы СССР во Второй мировой войне (как это чувствовалось русскими эмигрантами) полемики в связи с претензией Сталина на мировое господство: «Если не ошибаюсь, Бердяев первый, правда, мимоходом, как это он часто делал, бросил мысль, что за большевизмом стоит идея третьего Рима. Федотов в своей статье “Россия и свобода” в известном смысле присоединяется к этому мнению. С легкой руки религиозных мыслителей эту тему адаптировали социал-демократы Р.А. Абрамович, С.М. Шварц,

²²Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 9–10.

Б.И. Николаевский, Е. Юрьевский и использовали ее в интересах защиты дорогого их сердцу марксизма от “азиатского социализма” большевиков. <...> С опровержением этих авторов выступил Н.И. Ульянов. В большой обстоятельной статье он подтвердил известную истину, что учение инока Филофея о Москве как о третьем Риме не имело ничего общего с националистическим посягательством на завоевание мира, что связанное с ожиданием конца мира оно было ему внушено заботой о духовном состоянии русского народа и носило скорее эсхатологический, чем империалистический характер»²³. Именно об этом и впрямь писал Ульянов в уже цитированной мною статье 1956 года: «Объявление Москвы третьим Римом означало такое же избавление от апокалиптического страха, как учение Августина о граде Божием, грядущем на смену Риму, как высказывания византийских авторов о священной миссии Царьграда. “Музыка Филофея” меньше всего походила на марш Буденного»²⁴.

Следом за Ульяновым опровержение связи идеи Филофея с попыткой коммунистического мирового господства дала Н.В. Сеницына, за ней Маршал По, еще раз показавший, что тексты Филофея были прочитаны образованной русской публикой лишь во второй половине XIX столетия. Заметив, что в культурах важную роль играют «осевые моменты», как он перефразировал введенное Карлом Ясперсом понятие «осевого времени», определяющего дальнейшую жизнь народов, он тем не менее, призвал не преувеличивать их роль: «Российская история дает превосходный пример того, к чему приводит неумеренное обращение к логике “осевых моментов”. Несомненно, формирование доктрины “Москва — третий Рим” — это один из самых известных и неверно истолкованных эпизодов российской истории. Уже более столетия

²³ *Степун Ф.А.* Москва — третий Рим // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 600.

²⁴ *Ульянов Н.И.* Комплекс Филофея. С. 154.

рождение доктрины “третьего Рима” описывали и описывают в монографиях, обзорах и популярной литературе как фундаментальный перелом в исторической эволюции России»²⁵. Конечно, можно сказать, что Филофей так не думал, не думал, что он сочиняет культурно-политическую идеологему России, что это приобретение последующего развития русской мысли. Однако упорное бытование этой идеи в русской ментальности, в русской публицистике говорит о том, что однажды брошенное слово прорастает самым неожиданным образом, напомним строчки Тютчева: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется».

Прошли формулы Вл. Соловьева, призывавшего к нравственной политике, ушли в прошлое параллели между третьим Интернационалом и третьим Римом, исчез большевизм, нынешние националисты и коммунисты иногда вспоминают этот миф, но не живут им. Однако это ничего не значит. Раз возникнув, миф не исчезает из культуры. Выйдя из активной позиции, миф «Москва — третий Рим» не исчез, не растворился, он тлеет в почве культуры, как огонь в торфянике, до первой жары и сильного ветра. Так тлеет в Германии миф «крови и почвы», в США — миф фронта, в Великобритании — бремя белого человека. Не могу не привести в заключение верную, на мой взгляд, мысль Бердяева: «Коллективные массовые движения всегда вдохновлялись мифологией, а не наукой»²⁶. Об этом следовало бы помнить всем, кто восторгается мифом как смыслом человеческого бытия. Результаты мифологизации жизни чаще всего катастрофичны. Разумеется, Филофей в этом не виноват.

²⁵ По М. Изобретение концепции «Москва — третий Рим» // *Ab imperio*. 2000. № 2. С. 62.

²⁶ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2006. С. 207.

3. Имперский контекст русского православия

Вера в Бога, или Атрибут национальности

Одна из основных сегодняшних идейных установок, связанных с проблемой самоидентификации постсоветской России, — это полное и безоговорочное принятие православия государством и политиками как центральной несущей опоры, основной идеологической силы страны. Более того, как силы спасительной, силы, способной удержать страну от явно происходящего распада. Однако нынешними идеологами государственной необходимости православия Церковь воспринимается только *как атрибут национальности, как идеологический инструмент, консолидирующий* русский народ, но никаких собственно религиозных задач — приобщение к вере в Бога, к христианским ценностям — они перед ней могут и не ставить. Вот что пишут два современных «державника», в работах которых доселе никогда не звучало религиозных тем, стало быть, и подход их не религиозный, а вполне политический: «Для миллионов русских, для подавляющей части жителей Российской Федерации только через приобщение к традиционному религиозному обряду предков возможно в нынешней ситуации приобщение к русскости. Сейчас реставрация, хотя бы частично, прежнего влияния Православной Церкви на образ жизни дает шанс на формирование нового русского национального самосознания,

на возрождение российской идентичности»¹. Случайна ли такая позиция?

Разумеется, политологи ориентируются на умонастрое-ние значительной части нашего общества, поставленного перед вызовом глобализации, на который оно не может ответить, общества, уставшего от имперских тягот советского периода. Растерянному постсоветскому обывателю кажется, что спасителен только возврат в прошлое, когда не было советской власти, но и с миром Россия вроде бы разговаривала на равных. Сама церковь тоже поддерживает эту иллюзию, словно забыв, какой катастрофой было чревато это прошлое (Октябрь и гражданская война).

Ведь именно церковь сыграла не последнюю роль в крушении самодержавия. Во всяком случае не воспрепятствовала. Но трагедия русского православия у наших религиозных и политических деятелей словно прошла мимо их сознания, и чудится им, что стоит только отказаться от контактов с Западом, от имперских амбиций, как снова засияет Россия. Но где тот (который ищут в прошлом) светлый образ? Какая Россия имеется в виду? Московская Русь Ивана Грозного? Бориса Годунова? Смутного времени? Русь «тишайшего» Алексея Михайловича с бесконечными бунтами и расколом? Может, имперский период Петра Великого? И тут мы сталкиваемся с любопытной проблемой. Именно идея империи, утвердившаяся в России в петровскую эпоху, оказывается неприемлемой. Словно «империя» — это ругательное слово, словно не в Римской империи формировались базовые ценности современной европейской цивилизации, включая и христианство. Данте полагал империю спасением от противоречий и катастроф итальянского Возрождения. Империи бывают разные, советская во многом была анти-

¹ Мигранян А., Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут быть сильными только вместе // Мигранян А. Россия. От хаоса к порядку? (1995–2000 гг.). М., 2001. С. 192.

подом петровской. Империя может быть порабителем народов, илотируя их, а может быть и их воспитателем, если есть установка империи на развитие.

Один из наиболее ярких выразителей противопоставления русскости и православности идее петровской имперскости — Солженицын: «Именно православность, а не имперская державность создала русский культурный тип. Православие, сохраняемое в наших сердцах, обычаях и поступках, укрепит тот духовный смысл, который объединяет русских выше соображений племенных (? — В. К.). Если в предстоящие десятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории, и даже государственность — то одно нетленное и останется у нас: православная вера и источник из неё высокое мирочувствие»². Однако (скажем это, забегаая вперед) отказ от имперскости — это не просто отказ от неких политических амбиций, за этим, как ни парадоксально, отказ от идеи вселенскости христианства и шаг к его племенному присвоению.

Забывается, что уже Чаадаев вполне отрефлексировал по поводу подобного превращения православия, как он называл, в «племенную религию». Что уже в «Бесах» Достоевского признанием православия атрибутом национальности искушал Ставрогин Шатова, утверждая: «Не православный не может быть русским». В результате эта позиция приводит Шатова к неверию в Бога, что издевательски выясняет тот же искуситель Ставрогин. Он спрашивает Шатова, идеолога «народа-богоносца»:

²Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 187. Заметим, что в «Одном дне Ивана Денисовича» писатель гораздо реалистичнее описывал утрату веры в русском православном народе. Прячет Евангелие, переписанное в тетрадопку, баптист Алешка, крестятся хохлы-бендеровцы перед едой. «А русские — и какой рукой креститься, забыли» (Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Рассказы 1960-х годов. СПб., 2001. С. 14).

«— Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в исступлении Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога».

Иными словами, национализация христианства приводит, по Достоевскому, к потере высших ценностей христианства, т. е. к потере Бога. Во имя чего же нужно такое христианство? Да и является ли оно таковым в полном смысле слова? Ибо сказано было, что в христианстве «несть ни Еллина, ни Иудея», что вера эта наднациональна.

Экуменический пафос Древней Руси

Сегодня государство, очевидно, снова хочет использовать православную церковь, теперь уже — для строительства постсоветского общества. Чтобы оценить православный проект как явление современной жизни, его перспективы и возможности, *необходимо проследить взаимоотношения русской церкви с русским государством* в истории не с целью перечисления фактов и событий, а с тем, чтобы найти некий *алгоритм* этих взаимоотношений.

Известно, что князь Владимир крестил Русь в 988 году. Он поначалу пытался объединить Новгородско-Киевскую Русь, создав пантеон языческих богов, которые связывали бы разрозненные области его государства. Однако пантеон этот не способствовал мировым связям молодого государства, да и внутри, видимо, боги могли не уживаться друг с другом. Необходима была надплеменная религия, которая при этом обеспечивала бы контакты с наиболее развитыми регионами известной тогда Ойкумены. Таковым было христианство, принятое от Византии, но на древнеболгарском языке. Заметим, что славянская пись-

менность была создана так называемыми Солунскими братьями — Константином-Философом (Кириллом) и Мефодием — во время их моравской миссии. Посланные Константинополем, они были связаны и с римской курией и переводили Священные книги как с греческого, так и с латыни. После завершения работы они, однако, не решились вернуться в Константинополь (где начались в 867 году очередные раздоры, император Михаил был убит, а патриарх Фотий отлучен от церкви папой Николаем I), но отправились за поддержкой в Рим. Когда они туда прибыли, навстречу им, как сообщает летопись, вышел новый римский папа Адриан со всеми горожанами. «Новый папа признал славянскую литургию, освятил церковные книги на славянском языке, в церкви св. Марии началось богослужение на славянском языке»³. После смерти Константина-Философа папа хотел похоронить его в храме св. Петра, усыпальнице всех римских пап, но по просьбе Мефодия его похоронили в церкви св. Климента, мощи которого сам Философ привез в Рим. Мефодий же в 870 году стал римским архиепископом. Иными словами, славянская письменность создавалась совместными пожеланиями Византии и Рима. Так что перевод богослужебных книг на древнеболгарский и Крещение Руси состоялись до схизмы, несмотря на уже имевшиеся противоречия между западной и восточной ветвями христи-

³*Бернштейн С.Б.* Константин-Философ и Мефодий. М., 1984. С. 100. Стоит привести отрывок из «Буллы папы Иоанна VIII от июня 880 г.»: «Письмена, наконец, славянские, изобретенные покойным Константином-Философом, чтобы с их помощью раздавались надлежащие хвалы Богу, по праву одобряем и предписываем, чтобы на этом языке возглашалась слава деяний Христа Господа нашего, ибо мы наставлены святым авторитетом, чтобы воздавали хвалу Господу не только на трех, но на всех языках» (Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. С. 197).

анства. Во всяком случае русские князья в теологические тонкости этого конфликта не вдавались.

Заметим также, что христианство на Руси шло не снизу усилиями апостолов, подвижников и мучеников, но вслед княжеским решениям. Не случайно написано, что «к русским святым наименование великомученика не прилагалось»⁴. Христианским монахам и книжникам Древней Руси не приходило в голову войти в конфликт с властью. Силой власти, а не силой слова шло на Руси приобщение к христианской вере, так что с самого начала вера была державная. Если сопротивление и было, то со стороны язычников из народа, ибо православие поначалу отнюдь не было народной верой⁵. Федотов писал: «Христианство в Киевской Руси было, главным образом, религией цивилизованного, городского населения, верой аристократического общества»⁶. Христианство сразу задало серьезную задачу славяно-финским племенам, объединенным в Киевскую Русь, задачу преодоления своей племенной особенности. Существенно было и то, что православная церковь на Руси была тогда не национальной, а греческой (византийской) и ее главы были в основном греками.

Русское православие и имперские задачи церкви

Пока русское православие находилось в сфере влияния византийской теологической мысли и духовности, «в лоне вселенского организма Церкви» (Г.П. Федотов), оно напитывалось идеями всемирности и имперскости.

⁴ *Живов В.М.* Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. С. 25.

⁵ «Христианизация деревни — дело не XI и XII вв., а XV и XVI, даже XVII в.», см.: *Аничков Е.А.* Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. С. 306.

⁶ *Федотов Г.П.* Русская религиозность. Ч. I. Христианство Киевской Руси X—XII вв. // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 2001. С. 320.

Однако именно в силу духовной защищенности глубокой философско-теологической мыслью Византии от возможных идейных противников русское православие не выработало никаких собственных ученых и схоластических концепций. Поначалу это было неплохо, ибо оно не обращало внимания на схизму, выполняя по сути дела экуменическую роль. Скажем, так называемый путь из варяг в греки, путь торговый, приобрел и характер преодоления конфессиональной вражды. По сути дела, русские князья, роднясь и с Византией, и с Западом, чисто житейски преодолевали схизматические споры. Более того, в каком-то смысле именно русское православие отвечало в этот период имперской задаче христианства, примиряющего Восток и Запад. Христианство родилось в империи, соотносило себя с ней («кесарево кесарю», Лк, 20, 25, — говорил еще Христос), хотя поначалу и было гонимо Империей. Пока, наконец, с начала IV столетия в жизни церкви не наступила новая эпоха: «Империя — в лице “равноапостольного” кесаря — принимает христианство. Для церкви заканчивается ее вынужденная изоляция, и она принимает под свои священные своды ищущий спасения мир»⁷. Положение христианства в мире приходит теперь в соответствие с его вселенским пафосом.

Но раскол империи, но завоевание Рима варварами, но наступление мусульман на Византию привели к изоляционистской позиции и Рима, и Византии, где, по удачному выражению Флоровского, схизма противостояла церкви как принципу мирового единства. Киевская Русь, однако, стояла над конфессиональными спорами. Прежде всего на бытовом (торговом) и государственно-династическом уровне противоречий с Западом и католической церковью у Киевской Руси не было. Примеры известны: дочь Ярослава Мудрого стала королевой Франции, Владимир

⁷ Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация. С. 218.

Мономах был женат на дочери английского короля Харальда и т. д. и т. п. «В Киевский период, — писал Федотов, — еще не говорят о русском мессианизме как о единственности или исключительности национального религиозного призвания. Все народы призваны Богом, и среди них Русь»⁸. Бесспорно, поначалу православие не только не обособило, но, наоборот, ввело Русь в круг не азиатских, а европейских народов.

Именно православие в Киевской Руси решало одну из имперских задач — задачу воспитательную, цивилизационную: просвещение полудиких славянских и финских племен, преодоление не только их языческих верований, но прежде всего задачу суровой и жестокой критики нравственного облика народа, когда воспитатели не раз грозили своей пастве гневом Божиим. Стоит привести знаменитые «Слова» Серапиона Владимирского, увидевшего в татарском нашествии наказание за нравственное нестроение народа, когда даже разрушители Руси — татары выглядят под его пером привлекательнее, чем соотечественники: «Даже язычники, Божьего слова не зная, не убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клеветают, не крадут; не зарятся на чужое; никакой неверный не продаст своего брата, но если кого-то постигнет беда — выкупят его и на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, — всем покажут; мы же считаем себя православными, во имя Божье крещеными и, заповедь Божию зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немилосердия: братьев своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; доносами, завистью, если бы можно, так съели б друг друга, — но Бог охраняет!»⁹ Пожалуй, в Московский период уже никто, вплоть до Аввакума, не говорил таких горьких слов своему народу.

⁸ Федотов Г.П. Русская религиозность. Ч. I. С. 361.

⁹ «Слова» Серапиона Владимирского // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 455.

От имперскости к региональному национализму

В результате татаро-монгольского завоевания Русь оказывается в подчинении у татар, что приводит к изоляции от Запада (прекращаются династические браки, торговые отношения, политические контакты и т. п.) и в известном смысле к национализации русской веры, превращению ее в племенную. Как это произошло? Дело в том, что Русь стала одним из регионов обширной империи Чингисхана и его потомков. Всячески требуя от русского клира молиться за монгольских ханов, поощряя русскую церковь разнообразными льготами, завоеватели отнюдь не сделали православие религией всей татаро-монгольской империи, т. е. имперский пафос православия был заглушен, если не задушен. С другой стороны, к этому направляла церковных иерархов и борьба с татарами, которая тоже национализировала русское православие, ибо оно выступало едва ли не единственным объединителем Руси — безо всякой помощи извне. Таким образом, два этих разнонаправленных процесса (подчинения и борьбы) вели к одному и тому же результату. Латиняне из мифических стали идеологическими врагами, ибо контакт с ними грозил обретенному за несколько столетий национализму русской церкви. Спорить боялись, на помощь не надеялись — это отчетливо проявилось в отказе от Флорентийской унии 1439 года.

Но в годы Октябрьской катастрофы именно об этом отказе пожалеют русские религиозные мыслители, не получив в борьбе с большевиками-атеистами поддержку христианского Запада. Как писал С. Булгаков, на Ферраро-Флорентийском соборе «был цвет византийского богословия и науки, так что бой был настоящий и решительный. Греки отвергли собор уже после падения Византии, когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали сделать и “вост. патриархи” (и тогда уже только церковно-исторические статисты, как и теперь), а в

Москве мальчишка-князь (20 лет) Василий Темный просто арестовал Исидора — и все. Такими средствами не может быть упразднен вселенский собор, который требует себе признания хотя бы через 500 лет. Греки, а вместе с ними и мы, и вся восточная церковь совершили клятвопреступление, т. к. при совместном совершении литургии после собора перед Св. Дарами дали обет сохранять ему верность. Если до этого собора (не считая Лионского) в схизме можно было считать повинными обе стороны, то теперь схизматики мы, восточная церковь. И этот грех влечет за собой неотвратимое наказание — пала Византия, а вместе с ней оскудела восточная церковь. Теперь пала наша Византия, и оскудела русская церковь»¹⁰. Оскудение русской церкви было результатом ее отказа от идеи всемирности, «православие, — замечал тот же С. Булгаков, — находится в национальном окостенении»¹¹.

* * *

Начиная с XVI века утверждается миф о принятии Владимиром Мономахом византийских императорских регалий: тверской монах Спиридон-Савва в 10-е годы XVI века составил «Послание о Мономаховом венце», в котором утверждал преемство власти московского князя от римских императоров¹². Однако за этим утверждением еще нет пафоса имперскости. Просто Московский князь, получив власть над Русью, хочет казаться равным и с европейскими государями. Но Московия расширялась.

¹⁰ *Булгаков С.Н. Jaltica (Письмо к другу) // Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 184.*

¹¹ *Булгаков С.Н. Из «Дневника» // Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 369–370.*

¹² *См.: Киселева М.С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. М.: Индрик, 2000. С. 166.*

Иван Грозный присоединил Казанское, Астраханское и Сибирское царства, царства уже совсем не православные; замахивался царь и на Прибалтику. При этом положение Ивана IV было вполне двойственное: он еще не ставит себе имперских задач, однако должен их решать.

Грозный царь и церковь

Церковь не помощница расширяющемуся Московскому государству, а скорее помеха. Если борьба с татарами единила церковь и князей, то превращение Московии в своего рода протоимперию выявило и разногласие. Русь и ее князья отвыкли от церковной критики своих действий. Как писал Федотов, самодержавная идея Грозного своим «острием направлена против священства: точнее, против вмешательства священства в дела царства. <...> Смехотворно — “смеху быти” — “попу повиноваться”. И опять у Грозного готова историческая теория: всякое царство разоряется, “еже от попов владомое”. Это они, это попы, “во грехех царствие погубили и туркам повинуются”. Теперь уже гибель Византии ставится в вину не епархам, а попам, ограничившим власть императора. Так классическая православная теократия Востока, образец теократии русской, не находит оправдания в глазах царя»¹³.

В конфликте с митрополитом Филиппом, попытавшимся осудить опричнину, царь прибег к самому простому разрешению конфликта — к убийству митрополита-оппонента. Имперскость, которая начинала брезжить в сознании Ивана IV, пришла в противоречие с церковью, которая не входила в трудности управления совершенно новым типом государства в России. Впрочем, к этому новому типу правления не были готовы ни царь, ни церковь. Как пишут современные историки, формирование самодержавных порядков

¹³ Федотов Г.П. Святой Филипп, митрополит Московский // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 3. М., 2000. С. 97.

в России опиралось на материальные предпосылки — образование колоссального фонда государственной земельной собственности. Однако «власть монарха была ограничена системой традиционных институтов и порядков, сложившихся в период раздробленности. Эти порядки сохранялись до середины XVI века, когда непригодность их для управления обширной империей стала очевидна»¹⁴. Но попытки перестройки выродились в жестокую тиранию. Отсутствие сложившейся социальной жизни, отсутствие общества делало церковь заложником государства, единственного деятельного элемента в стране. Вероятно, церковь могла бы стать ферментом общественной жизни в России. Но выставить государю некие требования, которые повлияли бы благотворно на жизнь мирян, защитили бы их от произвола и в конечном счете способствовали бы созданию общественного мнения, а тем самым и социально-духовной структуризации страны, православная церковь не решилась, будучи много консервативнее царской власти. И церковь, за исключением св. Филиппа (праведника, но не общественного деятеля), склонилась перед тираном, так и не внеся лепты в устроение складывавшейся русской империи. По грустным словам Федотова: «Всякая постановка общественных целей для православной церкви отвергается как католический соблазн. <...> Благословляется всякая власть, все деяния этой власти. Вопрос о правде — общественной правде — не поднимается, считается не подлежащим церковному суду»¹⁵.

Автокефальность и Смута

Борис Годунов очень серьезно подошел к новым задачам России как государства имперского типа, что требовало не изоляции, а контактов с миром, прежде всего с

¹⁴ *Скрынников Р.Г.* Третий Рим. СПб., 1994. С. 88.

¹⁵ *Федотов Г.П.* Святой Филипп, митрополит Московский. С. 5.

христианским. Ему нужно было равенства хотя бы среди православных церквей. Поставив в 1589 году патриархом Иова, священника с «опричным прошлым»¹⁶, т. е. человека, привыкшего выполнять государевы указы, Борис хотел послушной церкви, которая помогла бы идее некоего равенства русского царя с василевсами второго Рима. Но, как отметил Карташев, «титул патриарха не изменил хода церковных дел»¹⁷, церковь оставалась по-прежнему все так же замкнутой и отгороженной от мира структурой.

Добившись автокефальности, Борис хотел одновременно каким-то образом ввести европейский элемент в Московию, хотел основать университет, отдать свою дочку замуж за европейского принца, однако немалым препятствием всем его протоимперским нововведениям оказалась как раз православная церковь: «Внутри России проекты учреждения университета и приглашения западных ученых неизменно наталкивались на сопротивление духовенства. Руководство православной церкви упорно не желало допустить в Москву иноверных ученых. По словам современников, монахи говорили, что земля Русская велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях и в речи; если же появятся иные языки, кроме родного, в стране возникнут распри и раздоры»¹⁸. К тому же автокефальность имела и обратную сторону: придав русской церкви самоуверенность и самомнение, эта независимость усилила националистический пафос, что, по сути, выбивало основу из-под «вселенскости» новой империи.

Правда, когда в смуту Московская Русь потерпела сокрушительное поражение от разнообразных врагов (внешних и внутренних — массового воровского элемента), православие, как во времена степных нашествий, оказалось той

¹⁶Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1979. С. 51.

¹⁷Карташев А.И. Очерки по истории русской церкви. Т. II. М.: Наука, 1991. С. 46.

¹⁸Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994. С. 182.

силой, что сумела противостоять иноверным захватчикам. Подвиг патриарха Гермогена (или Ермогена), призвавшего Русь к сопротивлению, монахов, защищавших Троице-Сергиеву лавру, — одна из самых достойных страниц в истории русской церкви. Скажем, посольство, отправленное к полякам просить Владислава на царство (куда входили митрополит Филарет и троицкий келарь Авраамий Палицын), жестко следовало требованию патриарха Гермогена: «Владислав крестится в православие теперь же под Смоленском, рукою митр. Филарета и Смоленского епископа Сергия и уже православным прибывает в Москву»¹⁹ и пр. В конечном счете именно это упрямство православно-патриотически настроенной части общества привело к избранию на царство национальной династии — Михаила Романова, сына патриарха Филарета, хоть и «тушинского», но убежденно православного деятеля.

Раскол и империя

Но становление империи продолжалось. Несмотря на то что XVII век назван веком «бунташным», Москва, одолевая бунты и восстания, взяла под свою руку Малороссию, сильно зараженную инославным элементом, а также более тесно связанную с греческой церковью, испытывавшей униатское и протестантское влияние. Возникает необходимость церковной реформы, инициированной сыном Михаила Романова — «тишайшим» царем Алексеем Михайловичем, ибо «нельзя было не позаботиться о церковно-обрядовом сближении с этой частью русской церкви, еще пребывающей в греческой юрисдикции КПльского патриарха. У южно-руссос обряд был греческий»²⁰. Как видим, Никон и раскол — результат

¹⁹ *Карташев А.И.* Очерки по истории русской церкви. Т. II. С. 74.

²⁰ Там же. С. 174.

расширения государства, превращения его в империю. Но тут едва ли не впервые в истории русского православия церковная власть в лице патриарха Никона попыталась соперничать с царской. В общей церковной сумятице раскола Никон, считавший себя инициатором реформы книжных и обрядовых исправлений (хотя Флоровский замечал, что он только озвучил идеи царя, да и очевидно, что реформа нужна была государству, а не церкви), с одной стороны, соперничал с царем, заявляя, что священство выше царства, с другой — не умел договориться с раскольниками, тоже ведь православными. Никон начал гонения на старообрядцев, создав все предпосылки для развала складывавшейся империи. Церковь в лице патриарха втравила государство в вооруженную борьбу с частью собственного народа. К тому же стремление духовного лица встать выше светского государя не имело иной причины, кроме банальной борьбы за власть. Церковь здесь отнюдь не была выразительницей более осмысленного (или хотя бы нового) взгляда на развитие страны. В 1666 году Никон был осужден послушными царю церковными иерархами. Отстранение самоуверенного патриарха, однако, не решало проблемы взаимоотношений церкви и государства.

Более того, осудив Никона, церковь по-прежнему мешала попыткам европейского устройства государства — даже в проблемах династических связей Руси. К примеру, царь Михаил Федорович хотел выдать свою дочь Ирину за датского королевича Вальдемара, была достигнута предварительная договоренность, что королевич, уже находящийся в Москве, останется в своем вероисповедании. Церковь требовала обязательного перехода Вальдемара в православие через перекрещивание. Брак не состоялся.

К сожалению, именно православие оказалось на страже невежества. Поразительным образом и в этот относительно независимый период русская церковь не ставила себе задач пастырского наставления населения. Лишь старо-

обрядцы впервые в послетатарский период были охвачены истинно христианским пафосом в изучении церковных книг, христианского воспитания и строгости нравов, соблюдении уставов, трудолюбии и отвращении к греху у всех членов раскольничьих общин. Церковь к этому воспитанию народа отношения не имела, потеряв к тому же контроль над значительной частью православного населения, демонстрируя свою неспособность решать имперские задачи.

Империя против национализма церкви

Реформу Петра обычно называют губительной для церкви и ее свободы. Впрочем, еще славянофил Хомяков отвел это главное обвинение от Петра: «Не должно его (Петра. — В. К.) обвинять в порабощении церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве»²¹. Не говорим уж о детских впечатлениях десятилетнего царя, когда в Кремль ворвалась толпа стрельцов (русская армия), возглавляемая православными попами, и на глазах у Петра растерзала его родных дядей, но и далее церковь оказалась по меньшей мере не способной помочь его сознательному строительству России как империи, что требовало от церкви гибкости и знаний.

Лучшее определение империи и ее задач, которую построил Петр в России, дал, на мой взгляд, В.С. Соловьев: «Настоящая империя есть возвышение над культурно-политической односторонностью Востока и Запада, настоящая империя не может быть ни исключительно восточною, ни исключительно западною державою. Рим стал империей, когда силы латино-кельтского запада уравно-

²¹ Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 461.

весились в нем всеми богатствами греко-восточной культуры. Россия стала подлинною империею, ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда с обратным ходом истории полуазиатское царство Московское, не отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, отрехлось от их исключительности, могучей рукой Петра распахнуло широкое окно в мир западноевропейской образованности и, утверждаясь в христианской истине, признало — по крайней мере в принципе — свое братство со всеми народами»²². *Империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри своей культуры и с варварскими окраинами, она несет просвещение, устанавливает общую наднациональную цель.* Ни в деле просвещения, ни в деле замирения внутренних религиозных конфликтов (раскол) церковь не была сильна, поневоле вынуждая государство к жестоким решениям²³. Петр долго колебался, как ему быть с патриаршеством. Почти двадцать лет патриарший престол оставался незанятым. Но проблему старообрядцев решил он сам, усвоив современные ему принципы европейской философии толерантности (кстати, именно Петру принадлежит заслуга в принесении идей и книг Локка из Голландии): «Петр отказывается от “проведывания” старообрядцев. <...> Смягчение правительственной политики тотчас сказыва-

²² Соловьев В.С. Мир Востока и Запада // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 602–603.

²³ «Посмотрим, что Петр получил в наследство. Быть может, самая трагическая, самая горькая его часть — церковный раскол, за который Петр во всяком случае не несет ответственности. Положение до крайности обострилось именно в правление Софьи. В Великом посту 1685 г. (отроку-царю не исполнилось еще тринадцати лет) были приняты 12 карательных статей против старообрядцев» (Панченко А.М. Петр I и веротерпимость // Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб.: Азбука, 2000. С. 385).

вается. Резко падает число самосожжений. Некоторые беглецы возвращаются из-за рубежа. Расцветает староверское Выголексинское общежительство в Карелии. Когда в 1702 году царь по дороге из Архангельска оказался на Выгу, там было приготовились к бегству в леса и к “огненной смерти”, но Петр пообещал выговцам своего рода духовную автономию — и сдержал слова»²⁴. Веротерпимость, замечал Герцен, составляла одну из основ империи, созданной Петром. Эта веротерпимость была результатом главной задачи Петра — европеизации как наднациональной цели для всех народов империи.

Империи была нужна столица, открытая миру. Вместо Москвы, виртуального третьего Рима, Петр построил реальный третий Рим — город святого Петра, Санкт-Петербург, ориентируясь на всеприемлемость первого Рима. Ему, однако, было очевидно несоответствие националистической православной парадигмы задачам империи. Петр образует Синод по принципу, как отмечали разные исследователи, протестантских церквей, скажем, англиканской, где король — глава церкви. Однако это всего лишь внешнее сходство. Святейший Правительствующий Синод, образованный в 1721 году Петром, лишь в принципе управлялся государем, но, по сути, был подчинен одному из чиновников царя — обер-прокурору. Церковь становится одним среди прочих департаментов государства и отныне не может препятствовать контактам с Западом и не пугает иноконфессиональных подданных внутри Империи. А таких появилось немало. Если по порядку, то это и мусульмане, и протестанты, и католики, и буддисты, в каком-то смысле и старообрядцы, и пр.

Интересно, замечал Федотов, что в последнюю четверть XVII века, в эпоху юности Петра, на Руси наблюдается «0 (ноль) святости», что «говорит об омертвлении

²⁴Панченко А.М. Петр I и веротерпимость. С. 388–389.

русской жизни, душа которой отлетела»²⁵. Но в результате петровских реформ меняется ситуация не только в церковном управлении, поразительно, что просыпается, на первый взгляд, слишком глубоко уснувшая душа русского православия. «Как раз век Империи, — пишет Федотов, — столь, казалось бы, неблагоприятный для оживления древнерусской религиозности, принес возрождение мистической святости. На самом пороге новой эпохи Паисий Величковский, ученик православного Востока, находит творения Нила Сорского и завещает их Оптиной пустыни. Еще святитель Тихон Задонский, ученик латинской школы, хранит в своем кротком облике фамильные черты Сергиева дома»²⁶.

При Петре стало очевидным напряжение между провинциализмом православия как религиозной институции и идеологической доктрины и имперским замахом России. При Византии и экуменизме киевских русских князей этого напряжения не было. Потом при татарах православный провинциализм и национализм малой части ордынской империи был уместен. Уместен он был и в Московской Руси, пока, кроме мечтаний и притязаний, ничего не было. Провинциалы всегда мечтают. Провал русско-православного национализма стал очевиден, когда при Петре Россия вернулась в Европу. Православие оказалось не готовым к контактам с Западом. Однако созданием Синода Петр не решил проблемы бытия церкви в Империи, он лишь загнал противоречие, как некую болезнь, внутрь организма. Русская православная Церковь и после Петра не приобрела вселенской широты, не осознала сути имперских задач. Поэтому всегда оставался шанс националистически-православной контрреформы.

²⁵ *Федотов Г.П.* Святые Древней Руси // Собр. соч.: В 12 т. Т. VIII. М., 2000. С. 161.

²⁶ *Федотов Г.П.* Трагедия древнерусской святости // Там же. С. 228.

Националистическая контрреформа

Эту антипетровскую контрреформу совершил Николай I; при нем была сформулирована знаменитая идеологическая триада: «Православие, самодержавие, народность», т. е. три столпа, на которых должно держаться Российское государство. Заметим, что некоторые современники почти сразу определили этот пафос нового царствования: «Известно, что с начала царствования Николая I так называемая реакция против переворота, произведенного Петром Великим, никогда не переставшая тайно гнездиться посреди общества, внезапно обнаружилась со всею полнотою и решительностью, которые она только могла иметь в России»²⁷. Интересно, что «православие» (в этой триаде) стоит на первом месте — и это в многонациональной и многоконфессиональной империи, а «самодержавие» на втором, т. е. как бы уступая верховенство церкви, что фактически было неправдой, а идеологически рождало некую смуту в сознании. Не император обнимает своей властью все подвластные ему народы, а есть некая главная вера и главный народ, что поневоле возбуждало к противодействию центру окраины Империи, расшатывая ее прочность. По сути, именно политику Николая продолжил в конце XIX века накануне краха империи К.П. Победоносцев, самый влиятельный обер-прокурор Святейшего Синода, которому писал письма Достоевский, но которого современники называли Великим инквизитором, полагая его прототипом персонажа, выступившего против Христа: «Государство признает одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к предосуждению всех

²⁷ Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М., 1989. С. 93.

остальных церквей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что все остальные церкви не признаются истинными или вполне истинными»²⁸. Именно к Николаю в отчаянии обращался Пушкин («во всем будь пращуру подобен»), видя, как уходит идея империи из русской жизни, именно поэт говорил впервые в русской литературе о том, что идея Христа выше любой конфессии, по сути, формулируя возможность имперского надконфессионального христианства. «Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, — писал поэт Чаадаеву. — Не заключается ли оно *в идее Христа*»²⁹ (курсив мой. — В. К.).

Нельзя не учитывать еще одного обстоятельства созданной Николаем ситуации: ведь при том, что православие и народ вроде бы два столпа государства, пастырская деятельность православных священников, по сути, была невозможна, ибо обращение к народу шло на языке старославянском, народу мало понятном. Перевод Библии на русский язык готовился еще при Николае, но усилиями адмирала Шишкова первое издание Библии по-русски *было сожжено*. Первое русское издание Библии вышло только в 1875 году. Вместе с тем социалистические учения в самом диком — разбойно-анархистском — виде (Бакунин, Ткачев, Нечаев) к этому моменту стали фактом русской жизни. В 1880-е годы Россия получила уже тексты Маркса, которые приняла с религиозной истовостью. Здоровые идеи христианского социализма не могли привиться на русской почве, ибо не было русскоязычных проповедников этих идей (намек на христианский социализм можно найти у Достоевского). Священнослужители были далеки от современного прочтения Библии.

²⁸ *Победоносцев К.П.* Церковь и государство // Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 220—221.

²⁹ Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 275.

Немалую роль в умственном окостенении и неумении работать с паствой играло и то, что церковь выступала не как духовная сила, а как принудительная официальная идеология, что не могло не смущать наиболее тонких и умных русских политических деятелей. «Мы, по-видимому, с величайшей заботливостью, — писал М.Н. Катков, — охраняем нашу православную церковь; но в способах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великою христианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она представляла собою хорошо выработанный бюрократический механизм, и весьма естественно, что она дает у нас только такие результаты, которые свойственны механизму этого рода»³⁰. Более того, возникло напряженное противоречие между реальным *подчиненным* положением церкви и заявленной правительством ее первенствующей роли. Опора на православие привела и к противоречию между «*вселенскостью*» империи, дающей народам, населяющим ее, наднациональные цели, и национальным характером православия.

С этого момента пошло разрушение империи и имперского сознания, патриотизм уже был не имперским, а привязывался к одной конфессии, стало быть, и к одной национальности, ибо крещенный в православную веру, как замечал М.Н. Катков, автоматически русифицировался³¹.

³⁰ Катков М.Н. О церкви. М., 1905. С. 20.

³¹ Впрочем, верно и обратное, православие считалось как бы своего рода этническим свойством. П.Н. Милюков писал: «Ни государство, ни церковь не предусмотрели возможности перемены веры по личному убеждению. Вера казалась чем-то прирожденным, не отъемлемым от национальности, так сказать, второй натурой. <...> Природный русский и православный, сколько бы он ни менял свои религиозные убеждения, юридически не мог пе-

С одной стороны, русская церковь оставалась в параличе (Достоевский), с другой, должна была окормлять всю Россию, причем (после реформ Александра II) Россию, начавшую развиваться.

Кризис церкви

С одной стороны, церковь поддерживала все националистические начинания самодержавия, изменившего имперскости, но с другой — сама и препятствовала в тех случаях, когда правительству нужен был контакт с Западом, устраивала гонения на старообрядцев, духовоборов, баптистов, привлекая к этому власть, вместо терпимости внося нетерпимость в общественную жизнь. Можно сказать даже, что именно национализм православия оказал влияние на русификаторскую политику самодержавия, что в конечном счете подорвало империю. Усиление религиозного национализма, по сути, укрепляло конфликтную ситуацию в многоконфессиональной империи. Не случайно так опасался созыва Собора реалист премьер-министр Петр Столыпин, желавший вернуть православную церковь к уровню обычного департамента, как было при Петре Великом: «У Столыпина был свой план: подчинить православную церковь всеохватывающему министерству исповеданий, которому будут подотчетны также все религиозные организации в пределах империи. Синод будет главным управлением православной религии, занимающая равное положение с управлениями католиков, лютеран, старообрядцев, сектантов, мусульман и буддистов»³². Иными словами, раз православие не в состоянии идти на экуменический контакт, он хотел сделать его просто одной среди прочих религий, не превращая в главную. Столыпин

рестать быть православным» (Миллюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. М., 1994. С. 199).

³² Там же. С. 300—301.

был, пожалуй, последний в России государственный деятель, который пытался сохранить Россию как империю. Именно поэтому он с сомнением смотрел на националистическое православие.

Церковь не воспитывала паству в христианском духе, потакая народному самомнению и слабостям народа, не смея критиковать его, как когда-то это делал Серапион Владимирский, не думая о насущных делах в жизни страны. Да и могла ли она? Дело в том, что народонаселение России увеличивалось, количество же церквей и священнослужителей — нет. Стало быть, в процентном отношении церковь могла воздействовать на гораздо меньшее количество людей. П.Н. Милюков приводит следующие данные: «В 1738 г. в России было никак не более 16 млн православного населения, в 1840 г. этого населения считалось уже 44 млн, в 1890 г. — 72 млн. При сравнении с этими цифрами — число религиозных учреждений и духовенства непрерывно и быстро падает. На каждого православного жителя империи приходилось к концу XIX в. вдвое меньше церквей, в 2,5 раза меньше монахов, почти в шесть раз меньше монастырей, чем полтора столетия перед тем»³³. Эту задачу — просвещения и критики

³³ Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. С. 198. Сегодня ситуация еще хуже: «Обычно РПЦ ссылается на то, что эта Церковь объединяет в качестве своих членов *от 80 до 100 млн* граждан России. <...> Эту астрономическую цифру можно поставить под вопрос. Даже механическое умножение количества храмов РПЦ в России (8500) на тысячу (хотя далеко не каждый храм способен вместить такое количество прихожан) дает более чем скромную цифру в 8,5 млн человек. То есть в России не более 10 миллионов человек, которые могли бы достаточно регулярно посещать церковные богослужения (без чего, по каноническим определениям, человек вряд ли может считаться членом церкви). Большинство 100-миллионной “паствы” РПЦ в храмы не ходит, в церковной жизни не участвует и даже в Бога “по-настоящему” (т. е. в соответствии с православными

народа — взяла на себя русская литература, ставшая по существу для русского общества второй церковью. Не случайно, что именно светская мысль родила мощное неохристианское движение рубежа веков (от Достоевского и Соловьева до Бердяева, Булгакова, Розанова и др.). Святыми с XIX века стали не иереи, а писатели. Однако эта светская святость имела тенденцию переходить на абсолютно нерелигиозные движения, что и произошло, когда личная жертвенность революционеров была воспринята как религиозная. Отсюда лишь шаг до лжецеркви большевиков — со своими соборами-съездами, своими мучениками, святыми и нетленными мощами (Ленин в мавзолее), угодниками-революционерами, еретиками-оппозиционерами и пр.

К началу революций 1917 года религиозность народа упала почти до нулевой отметки. Сошлюсь на современного историка и богослова А.Б. Зубова: «По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался к моменту революции один человек из ста»³⁴. Но уже в 1918 году С.Н. Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов»: «Церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. <...> Русский народ вдруг оказался нехристианским...»³⁵

догматами) не верит» (*Солдатов А.* Священный «капитал» и его «олигархи» // *Отечественные записки.* 2001. № 1. С. 18)

³⁴ *Зубов А.Б.* Сорок дней или сорок лет? // *Преемственность и возрождение России.* Сб. статей. М.: Посев, 2001. С. 95.

³⁵ *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 609.

Задачи церкви сегодня

Но происходит ли восстановление православия сейчас, не храмов, а церкви как таковой, то есть единение людей, верующих в Христа. Интересно, что православие, как показал опыт пореволюционный, оказалось способно к противостоянию и мученичеству в лице многих своих иереев (в 1920-е и 1930-е годы десятки тысяч расстрелянных священников!), как было оно мужественно в первую русскую Смуту, гражданскую войну начала XVII века, но далее, снова пойдя на компромисс с властью, на православный «конкордат» 1944 года (по выражению протоиерея Иоанна Мейендорфа), когда «собранные из лагерей и ссылок 18 архиереев избрали митрополита Сергия патриархом»³⁶. Сталину в этот момент церковь была нужна как орудие национального сопротивления иноземцам, да к тому же уже в 1930-е годы он от наднационального марксизма совершил переход на позиции самодержавного национализма. В конечном счете, в руках преемников Сталина национализм привел к крушению империи, но при этом к возрождению православия как почти государственного института, где патриарх (по крайней мере внешне) стоит в чиновной иерархии следом за президентом.

Что же сейчас? По наблюдению историка и социолога Д.Е. Фурмана: «Религия, православие стали символом, объединяющим очень разные мировоззренческие тенденции. <...> Одним словом, за религию — все. Но при этом практически *никто не верит* (курсив мой. — В. К.) и, почти несомненно, и не будет верить. Если в момент падения КПСС и СССР и всеобщего стремления к религии “религиозного возрождения” тем не менее не получилось, очень мало шансов, что оно произойдет в будущем»³⁷.

³⁶ *Мейендорф Иоанн, протоиерей.* Православие в современном мире. М., 1997. С. 191.

³⁷ *Каарийнен К., Фурман Д.Е.* Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской религиозности) // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 50.

Таким образом, мы возвращаемся к трагическому вопросу, поставленному Достоевским в «Бесах», не является ли массовое православное сознание лишь эвфемизмом националистического, ибо лишено главного и основного смысла христианства — веры. Речь, разумеется, не идет в данном случае о тех нескольких десятках или сотнях тысяч истинно верующих, которые были и в самые тяжелые времена. Повторяю, речь идет о массовом сознании; вполне возможно «безрелигиозное христианство» (Д. Бонхоффер), т. е. когда люди выполняют основные заповеди Христа, не будучи воцерковленными. Но вот возможно ли религиозное по виду христианство без веры — вопрос удручающий.

4. О причинах поражения демократии в России (от времен Новгородско-Киевской Руси до начала XX века)

Гражданское общество в России всегда было очень слабо; его зачатки появляются только в начале XIX века. Как писали русские мыслители середины XX века, до конца XVIII века в России не было общества, было только государство. Государство и до сих пор часто берет на себя функции гражданского общества; то есть то, что должно делать общество, делает государство. Объясняется это прежде всего слабостью наших самодеятельных демократических традиций. Как писал знаменитый историк и конституционный демократ П.Н. Миллюков: «Самый рост деспотизма государства в процессе исторического строительства являлся <...> столько же причиной, сколько и следствием слабости социального расслоения русского общества»¹. Как шла и развивалась демократическая тенденция в России и возможна ли она здесь в принципе?

Почему у нас никак не может установиться демократия европейско-американского типа, хотя попытки к тому делались не раз, и есть ли у нас сегодня какие-нибудь шансы на ее установление? Слушая русское радио, телевидение, читая газеты, кажется, что есть только стая шакалов, которые грызут друг друга. Если вспомнить рассказ Марка Твена «Как меня выбирали в губернаторы», то становится

¹ Миллюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1993. С. 38.

понятным, что ложь, клевета и проч. «компромат», обрушивающийся на вступающего в политику человека, — одна из издержек демократии. Стоит, однако, процитировать знаменитый афоризм У. Черчилля: «Демократия — самый худший вид правления, не считая остальных».

Одна из коренных особенностей общественно-политического и государственного устройства России, сказывающаяся в ее истории на протяжении столетий, основана на своеобразном парадоксе. В стране, где в течение практически всего ее существования народ находился в состоянии рабов, крепостных, шла постоянная апелляция верховной власти, начиная с самодержавной и кончая сталинской, к народу — причем апелляция реальная, а не только демагогическая. Впрочем, еще Д. Юм замечал, что «так как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские системы правления, так и на самые свободные и демократические»². Социокультурное наблюдение Юма имеет, на мой взгляд, достаточно общезначимый характер и применимо к разным социально-историческим структурам.

Власть опиралась на народ и на народное мнение, но при этом жестоко и нещадно эксплуатировала свой народ (временами почти до уничтожения). И вместе с тем абсолютно не считалась с ним при проведении крупномасштабных реформ, организациистроек и перестроек. Более того, идеологемы монархической России — «православие, самодержавие, народность» — и России советской — *«единство партии и народа»* — в каком-то смысле отражали историко-политическую реальность. Не поддержанная народным мнением власть в России, как правило, не держа-

² Юм Д. О первоначальных принципах правления // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 588.

лась³. Когда она падала, народ устанавливал новую власть, подчиняясь наиболее деспотической силе: особенно ярко это сказалось в большевистской диктатуре. Почему же в России мнение народное поддерживало то тиранов, то самозванцев? Каковы причины этого? Их понимание существенно для выяснения возможности или невозможности существования в России демократии европейско-американского типа, опирающейся на неотъемлемые права и свободы личности, когда в основе развития общества и государства лежат интересы индивида, а не традиционно-коллективистская установка. А ведь какова установка народного сознания, такова и демократия.

Дело в том, что демократия вообще как таковая, т. е. правление народа (*греч.* *demos* – народ + *kratia* – правление), чревата тиранией (после смерти Сократа эта проблема определила социальные идеи Платона), если она не обеспечена некими правовыми законами. Народ отдавал власть учрежденному или демократически выбранному им правительству, чтобы государственным усилием решить не только внешние, но и внутренние проблемы (экономическое благосостояние, защита граждан от социальных неурядиц и т. п.). Но, по резонному соображению Ф. Хайека, если «демократия решает свои задачи при помощи власти, не ограниченной твердо установленными правилами, она неизбежно вырождается в деспотию»⁴.

Любопытно, что даже наиболее тиранические структуры предпочитали себя именовать демократией. После 1917 года мы пережили тоталитарную «сталинскую демократию», относительно либеральную «советскую демокра-

³ Вспомним пушкинское:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?

Не войском, нет, не польскою помощью,

А мнением, да! мнением народным.

⁴ *Хайек Ф.А.* Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990, № 4. С. 151.

тию» (брежневский вариант), а последние годы возникла так называемая авторитарная демократия⁵.

Кажется, что в замысле большевиков все-таки была европейская идея реального народоправия, во всяком случае эта идея воодушевляла российских революционеров, поэтому даже в самые лютые годы сохранялась демократическая фразеология. Но и оппоненты власти, т. е. диссиденты, называли себя демократическим движением, искали причины перерождения желаемой революционерами демократии в тоталитаризм. Диссиденты пытались превратить провозглашенные властью лозунги и терминологию в реальность. Мы хотим, говорили диссиденты, исполнения записанных в конституции законов. Об этом же писал еще Белинский (1847): России нужны «гарантии для личности, чести и собственности», а также «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, сколько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение»⁶. Ситуация не очень сильно изменилась в наше время: по-прежнему для демократии нужны права, которые стоят над государем, над правительством, над любой партией и *над народом*. Диссиденты добавляли, что это должен быть закон, обязательный к исполнению.

⁵ Такое отношение к понятию демократии характерно не только для России. Как писал Карл Шмитт о европейских политических структурах XIX–XX веков: «Доказательством поразительной очевидности демократических идей является именно то, что и социализм, который выступил в качестве новой идеи XIX в., решил связать себя с демократией. <...> Таким образом, демократия обладала очевидностью неотразимо грядущей и распространяющейся силы» (*Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 167*).

⁶ *Белинский В.Г. Письмо Н.В. Гоголю // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1982. С. 282.*

В связи этим интересно одно высказывание русского мыслителя Евгения Николаевича Трубецкого, относящееся ко времени после первой русской революции: «Есть два типа демократизма, два противоположных понимания демократии. Из них одно утверждает народовластие на праве силы; с этой точки зрения народ не ограничен в своем властвовании никакими нравственными началами: беспредельная власть должна принадлежать народу потому, что народ — сила. Такое понимание демократии не совместимо со свободой... Если сила народа является высшим источником всех действующих в общезжитии норм, то это значит, что сам народ не связан никакими нормами: жизнь, свобода, имущество личности зависят всецело от усмотрения или, точнее говоря, от прихоти большинства. Таким образом понятая демократия вырождается в массовый деспотизм... Другое понимание демократии кладет в основу народовластия незыблемые нравственные начала, и прежде всего — признание человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом основании»⁷.

Как мы знаем, в результате трех русских революций победило первое понимание демократии. Используя всю свою мощь, народ отбросил обветшавшую самодержавную структуру. И надел на себя ярмо новой деспотии. Причем, что весьма важно, воспитанная в идеях народолюбия российская интеллигенция в массе своей приняла большевистскую систему: такова-де воля народа.

Однако понятно, что народ, выступающий по своей воле, по своей прихоти, никакого правового государства создать не может. Это хорошо видно из русской истории. Многие полагают, что именно большевики силой навязали народу чуждые ему государственные стеснения. Но в России исто-

⁷ *Трубецкой Е.Н. Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 302–303.*

рически сложился своеобразный опыт отношения народа с властью. У этого опыта могли быть различные виды, но типологически он однороден, что позволяет понять роль народа в учреждении российской власти и принцип его участия или неучастия в управлении страной. Посмотрим на этот опыт с исторической точки зрения.

* * *

Первые сведения о взаимоотношении народа и власти доходят до нас из времен Киевской Руси. Самое раннее русское государственное образование возникает после утверждения среди славяно-финских племен варяжских дружин со своими князьями, «руси». Если верить «Повести временных лет», то варяги были приглашены. Даже если допустить, что это легенда (вероятно, варяги пришли сами как завоеватели), можно понять причину ее появления. Между князем и горожанами существовали «ряды», т. е. некоторый вид договора: от поддержки князя народом зависело, какой князь будет править в данном городе. Это был своего рода правовой порядок. Город не мог ничего сделать против князя без обращения к договору. Но и князь ограничивался по договору в каких-то правах. Ни один князь не владел полновластно Киевской Русью, владел род, и князья по принципу старшинства переезжали из одного города в другой, нигде не закрепляясь навсегда. А поскольку из-за этой очередности между ними постоянно возникали конфликты и междоусобицы, то роль народа в поддержке того или иного князя постепенно стала весьма значительной. Тем более что древнерусские города, и не только такие крупные, как Новгород или Киев, имели свои дружины. Так что дружина была не только у князя. И город всегда мог выставить против князя свою дружину.

Именно поэтому среди отечественных историков господствует мнение, что в Киевской Руси народ составлял главную силу князей. Именно народ, а не дружина. Княжество — необходимый институт древней русской го-

сударственности для осуществления «внешней защиты и внутреннего “наряда”»⁸. Разумеется, под народом здесь понимаются не рабы-холопы, не «закупы», т. е. полусвободные жители, не челядь, а свободные горожане и земледельцы. Как и античная Греция, Древняя Русь держалась на рабовладении, а в политической жизни участвовали только свободные люди. Второй опорой князя была дружина — ядро княжеских воинов-телохранителей, постоянные спутники и советники князя, которые в случае нужды выступали вождями народного ополчения.

Могло ли это перерасти в некий протопарламент, политическую хартию, определяющую политическую жизнь страны на столетия вперед? Может быть, и могло. Но Русь постоянно подвергалась набегам степняков. И хотя она сдерживала эти набеги с огромным напряжением, охраняя окраины Европы от нашествия кочевников, славянам приходилось отступать из степной в лесную полосу, на северо-восток.

Массовый отток населения с юга, колонизация пространств вдоль Оки и Волги ослабляли Киевскую Русь, усиливали центробежные тенденции княжеств, страна шла к удельному периоду. Северная, Суздальская Русь ушла с торговых путей и надеялась «отсидеться» в своем углу от набегов степняков. Это, казалось бы, чисто географическое передвижение привело к необратимым последствиям, резко обособив северо-восточную Русь от мировых центров культуры и цивилизации. Но именно здесь закладывалась определенная модель государства, получившая под дальнейшим воздействием татарского завоевания решающее значение и приведшая к возникновению московского типа социально-политических отношений. Русь к XIII веку распадается на уделы. Новая структура Руси еще только формировалась, когда была разрушена татаро-монгольским нашествием.

⁸Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М.: Наука, 1993. С. 405.

Оно сломало социально-политический порядок Древней Руси. Раньше князья приходили в уже готовые города, и поэтому народ и князь выступали на равных, между ними были договоры. Когда же князь основывал город, и народ приходил туда, как это было, например, с Владимиром, в котором жил Андрей Боголюбский, то отношения между князем и народом складывались совсем иные. Князь звал не бояр, а народ с тем, чтобы опереться на него. Так возникла смычка — народа и Великого князя против боярства, против того слоя, который был заинтересован в правовых отношениях. А ведь боярство было хранителем норм социальной жизни Киевской Руси. Так, обладая *правом ухода* к другому князю, боярин как бы подчеркивал политическое единство Киевской Руси. В ситуации, когда уделы превратились, по сути, в обособленные вотчинные хозяйства, это право ухода стало потихоньку отмирать. К тому же с падением реальной социально-политической роли бояр, бывших теперь не сподвижниками, а в лучшем случае советниками князя, чинимые боярством притеснения не имели отныне оправдания в глазах простолюдинов. По мысли В.О. Ключевского, мелкие удельные князья и бояре-землевладельцы, сидя по своим углам, опускались и дичали, не имея ни веса, ни значения. И с XIII века общество северо-восточной Суздальской Руси, слагавшееся под влиянием колонизации, стало беднее и проще по составу⁹.

Новгородско-Киевская Русь торговала со всем миром. По территории Руси проходил знаменитый путь «из варяг в греки»; русские князья состояли в родстве со многими европейскими королевскими семьями, существовало единое европейское пространство. И вот Русь как восточный форпост Европы оказалась захвачена степью. Русские историки сравнивали это нашествие (типологически оно сходно) с переселением народов, когда варвары захватили и покорили античный Рим. На его развалинах поселились вар-

⁹ Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. I. С. 329.

варские племена, и прошло десять столетий, прежде чем Европа сумела подняться до прежнего культурного уровня. Удар, который пережила Русь, сходен с этим варварским нашествием. Все элементы цивилизации были разрушены, в том числе и вече, этот «предпарламент».

Разъединенные удельные княжества не смогли противостоять татаро-монгольскому нашествию. Степь теперь уже окончательно поглотила крайний восточный угол Европы. Если раньше она лишь мешала его нормальному европейскому развитию, то с середины XIII века она навязала русским княжествам свой единый порядок, основа которого покоилась на полном и абсолютном бесправии, на равенстве рабства. По отношению к хану были одинаково беспомощны и бесправны и князь, и боярин, и крестьянин, и холоп. Строго говоря, холопами стали все, оказавшись в зависимости не от прав и законов, а от прихоти и произвола хана и его баскаков.

Историческая судьба России изменилась.

Что же произошло? Начать с того, например, что было установлено исходное монгольское право на землю. На Руси существовало частное право на землю. С приходом монголов это право было уничтожено. Монгольское право землевладения состояло в том, что вся земля принадлежала хану. Известно, что русские князья ездили за ярлыками. А почему они ездили? Потому что их земля не принадлежала им, а принадлежала хану. То же самое и бояре. Было отменено самое важное право, на котором строилась независимость личности. Владение землей гарантировало человеку независимость. В результате ига земля стала ханской. Потом московский князь, постепенно освободившись от власти Орды, перенял этот принцип монгольского права на землю. Вместо вотчин появились поместья. Вотчины — это собственность, поместье — это земли, жалованные за службу. Пока боярин, дворянин, боярский сын служит, он имеет поместье. Когда к московскому княжеству присоединялась какая-нибудь независимая часть территории, то

права на эту землю у владельца отбирались, а ему давалось поместье в другом месте, подальше от родовых земель, а новое — входило в Московскую землю.

Постепенно, с усилением московского князя, начинается процесс собирания русских земель вокруг Москвы и высвобождение из-под ордынского ига. Но сам этот процесс происходил под эгидой хана, отчасти даже с его помощью. Московской власти легко было усвоить основной принцип властвования ордынцев — полное бесправие подчиненных: от князя до смерда все стали холопами великого князя московского.

Но у многих бояр оставалась еще частная собственность. Ее-то и пытался отобрать царь. И у царя, и у народа земля была ничья — государева. У бояр она была своя. Единственное право, которое еще оставалось у бояр, дружинное право — право отъезда. Дружинник мог покинуть своего князя и перейти к другому, и это не считалось предательством. Такое право вступало в конфликт с властью князя. Как его разрешить? По тем временам это было сделать довольно трудно. Последний, кто совершил отъезд, — был князь Курбский. Он уехал от Ивана Грозного, но это уже было воспринято как предательство России, хотя Курбский считал, что воспользовался старинным дружинным правом. Последнее право, которое было потеряно русскими боярами, было право отъезда.

* * *

В эпоху Ивана Грозного происходит опробование нового принципа правления. Если татаро-монголы правили Русью жестоко насаждая бесправие, но правили извне, то теперь свой князь устанавливает те же принципы правления — правления, которое основано на абсолютном бесправии подданных и осуществлявшееся уже изнутри. Ситуация в России, казалось бы, вынуждала Ивана Грозного идти на такие суровые меры.

Взойдя на престол, Иван IV начал с реформ, создав Избранную раду. Царя, однако, скоро испугало уменьшение его самовластия, да и боярство, как класс слуг, привыкший подчиняться кнуту и силе, а в спокойных ситуациях строивший козни против своего господина и продолжающий промышлять разбоем, доверия у царя не вызывало. И Иван через голову бояр обращается к народу и получает у него санкцию на истребление своих недругов. Народ поддерживал царскую грозу против верховных служилых людей, поддержал, видя в ней избавление от многочисленных бед.

Дело в том, что к моменту прихода к власти Ивана IV поистине национальным бедствием стало *разбойничество*. Разбойничество охватило всю страну, а чиновные люди, которые должны искоренять преступность, всячески увиливали от своих обязанностей. Однако разбойничество было не самой большой напастью. Еще больше простой народ боялся боярства. Из писаний публициста XVI века Ивашки Пересветова, посвященных в основном обличению «самоуправства» бояр, вполне можно представить степень одичания этого верхнего служилого сословия, потерявшего по большей части понимание государственных задач и заинтересованность в их решении. Государственные интересы подчинялись интересам частным, которые, по словам Пересветова, не шли дальше разбоя, а то и примитивного грабежа и убийства соотечественников. И само социальное угнетение, идущее от боярства, воспринималось народом в общей ситуации той эпохи как самый настоящий разбой.

У России в тот момент были два пути в борьбе с этими бедами и неурядицами, «безнарядьем», как говорили тогда. Первый путь — это реформы и медленное внедрение законности в сознание всех классов общества. Второй путь — это жесткая, тираническая организация жизни страны, при полном бесправии всех подданных. Второй путь казался народу привычнее и естественнее. Освобождение от татарского ига устранило грозу внешнего централизованного правления, но к другому варианту жизни народ не привык,

общество стало неуправляемым, саморазрушающимся. В желании самовластного и самодержавного правления сошлись две силы: народ и царь. *Народ* опасался возникших в результате реформ боярских прав, по печальному опыту зная, что ничего, кроме распада и «воровства», боярское правление ему не приносило. *Царь* тем более боялся боярских прав, которые могли не только ограничить его власть (как это произошло в Англии, и Иван это знал), но и сменить династию.

Царь создает опричнину, организацию — прототип Третьего отделения или ВЧК, организацию, существующую «*опричь закона*», т. е. помимо закона, вне закона. Не Сталин и не Ленин первыми придумали тип организации, подобной ВЧК. Она была придумана раньше. Не случайно Н.А. Бердяев называл империю Ивана Грозного первой русской тоталитарной империей. Строго говоря, вся опричнина была направлена не на реализацию идеи централизации или борьбу с боярством, а против идеи закона и права. И это важно понять, поскольку социальные институты (боярство, дворянство и т. п.) более скоротечны, нежели *идея*, определяющая сам тип общественного устройства. Именно при Иване Грозном формируется особый принцип государственного управления, принцип, который я бы назвал *демократически-беззаконным*, или *легитимно-неправовым*. Это особый тип деспотического правления, который базируется на абсолютной народной поддержке. Суть его заключается в том, что легитимная власть строится на неправовых началах.

Вот поразительный феномен русской истории: *власть законная*, но она *не подчиняется закону*. К чему приводит подобный тип правления, прекрасно показало Смутное время. Смута — один из самых загадочных, но вместе с тем и ключевых моментов российской истории, важных для понимания роли и значения народа в судьбах государственного правления. Опричнина превратила беззаконность и преступность в государственный принцип, в стиль отношений

сословий и частных лиц. Смуту уже можно назвать эпохой тотальной уголовщины, когда в противоправные и противозаконные отношения, сопровождаемые поиском только личной выгоды, а отнюдь не высшей религиозной идеей, а также и не идеей лучшего устройства общества, вступили все сословия Московского государства — от бояр до крестьян и холопов.

Как период торжества преступности понимали это время русские историки. Самого царя Бориса называл Карамзин «державным преступником»¹⁰, а эпоху Смутного времени в России сравнивал с периодом татарского нашествия, когда мечами и саблями завоевателей были уничтожены все права русских княжеств.

Пока дела нового царя шли благополучно, боярство могло лишь безуспешно интриговать и затевать заговоры. Трехлетний великий голод, потрясший Россию в начале XVII века, привел к росту народного недовольства, обнищанию как крестьян-земледельцев, так и мелких землевладельцев. Крестьяне массами бежали с неурожайных земель. Когда Борис был вынужден подтвердить поначалу отмененное прикрепление земледельцев к земле, в ответ начались повсеместные разбои и бунты. В голодные годы толпы народа для спасения от смерти собирались в шайки, добывая себе пропитание разбоем. Ни одна область России не была свободной от разбойников; опять возникает этот тотальный разбой — царя, бояр, священников и народа.

В этой ситуации начинается боярская интрига против Бориса. Приходит Самозванец. Как легко прошел Самозванец по России; с минимальным войском (не более трех тысяч) он дошел до Москвы и взял ее. После победы Самозванца боярство вскоре, всего через год, убивает его и ставит своего, боярского, царя — Василия Шуйского. Но, оказавшись один на один с разбуженным им же народом,

¹⁰Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX—XII. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 382.

боярство начало терять страну, которая стала неуправляемой. Поляки, казаки и «воры»-разбойники рвали страну на куски, грабя все и всех. Апелляция к народному бунту обернулась катастрофой.

Неправовая стихия народной жизни продолжала торжествовать и на Земском соборе 1613 года, где происходили выборы нового царя. Тон задавали казаки, т. е. та часть народа, которая была наиболее активна в противоправном, «воровском» движении Смуты. Казаки предложили на выбор две кандидатуры: либо «воренка», сына Марины Мнишек и Тушинского Вора (к тому времени уже убитого), либо сына *тушинского* патриарха Филарета, иными словами, «своих», замешанных в «воровстве» персонажей. Этот выбор скорее напоминал *требование* взбунтовавшихся людей, а не свободное волеизъявление всей земли, ибо, строго говоря, выбора-то практически не было — оба кандидата вполне устраивали не признававшее никаких законов казачье войско. Таким образом, династия Романовых была возведена на трон в результате хотя и народного, но «воровского», антизаконного, безвыборного выбора, и пала, кстати, в результате новой Смуты спустя три столетия, расстрелянная так же, «по-воровски», как и была коронована.

В Смуту народ показал себя как сила, способная созидать государство и возводить государей на престол, но *сила противоправная*. Не случайно лучшие представители народа — нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, собравшие народное ополчение для спасения Москвы, победившие поляков, были использованы, а в дальнейшем оттеснены представителями стихийного начала — казаками. Первые десятилетия правления новая династия еще зависит от народных возмущений, созывает соборы, отдает народу на растерзание ненавистные ему роды служилых людей: не увольняет ненавистных чиновников, а убивает руками народа и по требованию народа. Другого способа выражения своих пожеланий, нежели как через бунт, народ не знал.

XVII век историки называют «бунташным веком»: это все продолжение Смутного времени, когда бунты приводили к победе народных инстинктов и даже к определению государственно-политического устройства страны.

Романовы пытаются обуздать бунтарские инстинкты народа, все более и более ограничивая его свободу и формируя новый служилый класс — дворянство, в котором растворилось измельчавшее боярство и в который был открыт доступ полезным государству выходцам из низов. С этим классом у государства нет конфронтации, как с боярством, более того, дворяне — реальная опора династии Романовых, они осуществляют хозяйственное и политическое управление, служат проводниками необходимых государству европейских связей. Ряд законов и указов в течение столетия (с 1682 по 1785 год) окончательно конституируют дворянство, которое получило беспрецедентные права. Вместе с сословными приобретениями росла и политическая сила этого слоя: дворяне имели свое корпоративное самоуправление, право «делать представления и жалобы» верховной власти.

Царь обособляется от народа, государство пытается хотя бы на уровне одного дворянского сословия усвоить принцип правовой жизни, подзаконного состояния общества. Но народ остается целиком и полностью по-прежнему вне возникающего в России правового пространства. Пугачевская война — это последняя надежда народа в начале дворянской эпохи не договориться с царем, а, как в прежние времена, полтора-два столетия назад, поставить своего царя, искоренив при этом совершенно непривычное новое образование — дворянство. Но если раньше царь вместе с народом выступал против функционально бесполезного боярства, то теперь вместе с необходимым ему дворянством царь оказался против народа. Пугачевская война, как раньше Смута, покачнула государство, но невероятным усилием дворянство сломало хребет бунту, тем самым подтвердив свою полезность как опоры трона. Никакой де-

мократией — ни законной, ни незаконной — государство отныне не прельщается.

И все-таки мифологема народоправства, единства царя и народа оставалась, но использовалась она лишь идеологически. Царское правительство не звало и не собиралось звать в управление народных представителей, но вот для неправового поступка оно, как правило, прибегало к демагогии, выступая как бы от имени народа. Бюрократическое самодержавное государство хотело использовать и использовало идею народной власти и народной воли для легитимации своего правления и незаконной расправы над появившимися в стране оппонентами самодержавного строя.

К середине позапрошлого века в России возник довольно обширный так называемый образованный слой, связанный в основном с дворянской средой. Слой этот требовал уже не только гражданских прав, но и политических, попутно выступая за предоставление гражданских прав народу, т. е. за отмену крепостничества. Рано или поздно многих своих оппонентов самодержавие «выталкивало» неправовыми действиями в революцию. И тогда они тоже апеллировали к народной воле, желая необузданной и насильственной вспышкой народного гнева уничтожить самодержавную власть. Но вместо него предлагали даже не бюрократические, а тоталитарные формы правления, возвращаясь к принципам допетровской, татаро-московской Руси.

Этим двум типам демагогического обращения к народу, обращения, отказывающего народу в способности к правосознанию, противостояла твердо и четко выраженная концепция демократии с ориентацией на единственную в то время демократическую страну, на Соединенные Штаты Америки. Эта концепция была высказана одним из самых трагических мыслителей России, не понятым ни сторонниками, ни противниками, идеи которого исказили последователи. Я говорю о Н.Г. Чернышевском. Относясь скептически к уравнилельным идеям народа и понимая, что в грядущей народной революции будет и «грязь, и пьяные

мужики с дубьем», что образованный класс может трагически погибнуть под ударами народной стихии, Чернышевский призывал к «юридическим формам» как единственному шансу выбраться из трясины российского произвола и немого цивилизовать человеческие отношения. Более всего он протестовал против идеализации народа: «Разве народ — собрание римских пап, существ непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей»¹¹. Как видим, здесь четко сформулирована позиция *против обожествления* народа. Для него «глас народа» никогда не был «гласом Божьим». К несчастью, эта критическая тенденция, направленная на преодоление народопоклонства при всем уважении к его будущей самостоятельности, основанной на развитии и юридическом закреплении в нем независимой и свободной личности, была насильственно вычеркнута самодержавием (арест, каторга и ссылка в Сибирь мыслителя) из общественного процесса.

* * *

Однако русская история знает попытки выйти на правовой путь развития. Их было не так много, но они были ощутимы и заметны, став к концу XIX века важным фактором общественной жизни России. Именно такие неоднократные усилия, несмотря на их неудачи, позволяют сегодня говорить о накоплении в российской истории своеобразного правового «строительного материала», который, как коралловый риф, растет в пучинах самодержавно-народной стихии, казалось бы, полностью лишенной сознания законности, представления о возможности жить не по произволу, а в жестких рамках закона, внутри правового пространства.

Уже к Смуте многим стало понятно, что неограниченное самодержавие есть угроза для существования

¹¹ Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. X. М.: ГИХЛ, 1951. С. 506.

Великорусского государства, не имеющего никаких договорных отношений ни с одним слоем общества. Выборы Бориса Годунова не ликвидировали кризиса, ибо не было выработано нового принципа взаимоотношения власти и населения, а также слишком сильно было противоречие самодержца с его ближайшим боярским окружением, которое желало получить хотя бы элементарные права. При этом надо учесть, что не одни бояре страдали от царского произвола: на их примере только яснее видны все безудержные проявления господствовавшего в стране беззакония.

Поэтому Василий Шуйский как «боярский царь» в момент своего венчания на царство (1606) «дал присягу, дотоле неслыханную: 1) не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имущества, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо»¹². Здесь едва ли не впервые до Екатерины II формулируются гражданские права, которых абсолютно было лишено русское общество и которые, по сути, должны были переменить национальный менталитет. Ни о каких специфических боярских привилегиях здесь не было речи. Что же касается боярского суда, то опора на наиболее грамотное сословие была вполне естественным делом, но в огне народной войны (1610–1613), в эпоху Смуты понятия о правах исчезли за ненадобностью, ибо тогда все решалось силой принуждения и произвола.

Династия Романовых ищет новые пути государственного устройства через союз с новым служилым сословием — дворянством и через создание нового типа государства — империи, где прерывание династии (смерть Петра II или даже Елизаветы Петровны) отнюдь не приводило к

¹²Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX—XII. С. 457.

потрясению основ: у дворянства появились сверхличные — имперские и сословные — цели, позволявшие ему производить смену монархов, не нарушая течения государственных дел. Но сам принцип самодержавия дворянство до поры до времени устраивает. Также другие сословия, например служилые землевладельцы и тяглые посадские торговцы добиваются определенных гарантий, обеспечивающих их классовые интересы¹³. Конечно, существовали и конституционные монархии, что не мешало им быть империями, например Англия. И русскому дворянству этот пример был знаком.

«Верховники», т. е. высшие слои дворянства и остатки боярских родов, еще пытались добиться для себя каких-то особых политических привилегий, потребовав от Анны Иоанновны подписать «кондиции». Но это предполагало утверждение определенного конституционного порядка, на что императрица не пошла, разорвав принятые было условия конституционной монархии и тем самым закрепив в России неограниченное самодержавие. Этот провал, как полагал Петр Струве, в результате дал России ленинизм: «Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 г. отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого герцогиня курляндская Анна Иоанновна, победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами-верховниками и добивавшееся вольностей, но боявшееся «сильных персон» шляхетство и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред не зависимой от них верховной властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 г. имели для политических судеб России роковой предопреде-

¹³Пресняков А.Е. Московское царство // Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М.: Книга, 1990. С. 120.

ляющий характер»¹⁴. В эпоху Екатерины была последний раз после Смуты вспышка стихийного бунта (пугачевская война). Нужно было напряжение всего дворянства, чтобы противостоять взрывам народной стихийной силы в течение полутора столетий: от восстаний Кондратия Булавина и Степана Разина до крестьянской войны Емельяна Пугачева. Разумеется, в такой социально-исторической ситуации вставить в политическую конфронтацию с самодержавием и требовать себе политических прав было бы для дворянства самоубийственным актом. Заметим, что только с Екатерины Второй в России возрождается принцип частного землевладения. Екатерина уравнила в правах поместья с вотчинами. Поместье стало частным землевладением, стало собственностью независимо от службы дворянина. На чем строится гражданское общество? На том, что оно не зависит от государства. Оно само делает себя. А если жизнь человека ничего не стоит, если обществу опереться не на что, что тогда? Естественно, что после правления Екатерины II, когда часть нации получила права и свободы, снова встает вопрос об ограничении самодержавия законами, чтобы не законы подчинялись императору, а император — законам.

Печальный опыт Павла I показал эту необходимость и русскому самодержцу. К трону Александра I был приближен Михаил Сперанский, первый русский реформатор, полагавший, что монархия отличается от деспотии тем, что в монархии законы определяют жизнь, а Россия, несмотря на множество указов, остается страной по существу беззаконной. И путь у деспотии к монархии только один: когда правительство подотчетно населению через выборных законодателей. Как отмечал сам Сперанский, «никакая сила не может родить в государстве свободы гражданской, не

¹⁴Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 462—464.

установив свободы политической. <...> Права гражданские должны быть основаны на правах политических, точно так же, как и закон гражданский не может быть тверд без закона политического»¹⁵. И только после утверждения политической свободы гражданское рабство уменьшится само собой. Декабристы, выведя на площадь солдат, учили их кричать: «За князя Константина и его жену Конституцию!» Мифологичность народного сознания, не понимавшего реального смысла конституции, хорошо видна в этом эпизоде.

Завязанность России на европейские страны, намного дальше ее продвинувшихся в решении социально-политических проблем, торопила исторический ход внутри страны. Отказ от реформ Сперанского и провал восстания декабристов помимо чисто политических причин и дворцовых интриг можно объяснить еще и тем, что перед государством стоял колоссальнейшей сложности социальный вопрос: освобождение крепостных крестьян. Но реформаторы боялись, что освобожденные в условиях конституционного государства крестьяне, не привыкшие даже к гражданским правам, могут дезорганизовать всю законодательно-политическую жизнь в стране. Не давать крестьянам политических прав? Такой сложности вопрос возник в 1860-е годы после Великих реформ Александра II и отмены крепостного права. Вновь проснулись надежды дворян на конституцию. Как ни странно, против конституции выступили русские либералы.

К.Д. Кавелин, один из самых влиятельных теоретиков либерализма, исходил из того соображения, что крестьянская реформа была проведена правительством вопреки желанию большинства дворянства, опасавшегося губительных для себя последствий. Таким образом, появление

¹⁵Цит. по: *Чибиряев С.А.* Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность и политические взгляды М.М. Сперанского. М.: Воскресение, 1993. С. 54.

«дворянской конституции», «дворянского парламента» могло создать сильное противодействие дальнейшим реформам, что привело бы к революционному взрыву и, на взгляд Кавелина, отбросило бы Россию назад. В своем письме Герцену от 11 июня 1862 года он замечал: «Выгнать династию, перерезать царствующий дом — это очень не трудно и часто зависит от глупейшего случая; снести головы дворянам, натравивши на них крестьян, — это вовсе не так невозможно, как кажется... Только что будет за тем?»¹⁶ Что касается среднего, третьего, сословия, то оно, по мнению Кавелина, было столь малочисленно, что его еще можно было брать в расчет. Следовательно, говорить о всеобщем представительном правлении можно, только учитывая крестьянство, *мужицкое царство*, составлявшее 80% населения. Крестьяне же, справедливо полагал Кавелин, не были еще готовы даже к гражданскому самоуправлению. Герцен обиделся за народ и обвинил бывшего приятеля во вражде к народу. Правда, позже, спустя почти десять лет, в своих предсмертных письмах «К старому товарищу» Герцен, по сути, согласится с Кавелиным: «Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался»¹⁷.

С конца 1860-х годов возрастает революционный террор, апеллировавший к народу и проводившийся вроде бы во имя народа. Желая хоть как-то противостоять революционному напору, к концу 1870-х годов правительство задумывается о возможности представительных учреждений. Однако после убийства народолюбцами 1 марта 1881 года Александра II движение к конституционной монархии прервалось. Возможный опыт участия пусть и не всего народа

¹⁶ Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 56.

¹⁷ Герцен А.И. К старому товарищу // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XX. М.: АН СССР, 1955. С. 584.

в политически-законодательной деятельности государства не состоялся. Дворянство не прошло конституционной школы, как прошли ее высшие классы в Западной Европе. Сказался этот недостаток политического опыта российского населения после революции 1905 года, когда впервые начали созываться Государственные думы. Имеет смысл привести воспоминания политического деятеля начала прошлого века В.А. Маклакова: «Все неконституционные поступки и заявления как отдельных членов, так и целой Думы вытекали из того понимания, которое они имели о себе и своей роли. Они считали ее одну выразительницею “воли народа”, которая выше конституционных “формальностей”. <...> Такое понимание было <...> отрывком идеологии главной язвы России — Самодержавия, — при котором утверждение, что “закон” должен быть выше “воли” Монарха, считалось признаком “неблагонадежности”. Для первой Госуд. Думы аналогичное утверждение относительно ее самой казалось “отсталостью”; “воля” народа, которую она выражает, выше законов. <...> Идеология Думы в этом совпадала с Самодержавием»¹⁸. Мемуарист, как видим, констатирует довольно тягостный для нашей ментальности факт. Оказывается, даже в период, который сегодня воспринимается как расцвет российского конституционализма, в общественном сознании не выработалось представления о первенстве закона над волей — будь то воля самодержца или воля народа.

* * *

Это была эпоха, когда решилась, по сути, новая антиправовая устроенность будущего советского государства. Но все же если не забегать вперед, то, несмотря на сомнения, православие виделось определяющим духовный склад народа. А потому резонным казалось вовлечение народа в

¹⁸Маклаков В.А. Вторая Государственная Дума. London, 1991. С. 7.

пробудившуюся политическую жизнь через опору на христианство. Примерно так я бы описал закономерность появления в России идей христианской демократии.

В этом смысле формулировка указанной проблемы Евг. Трубецким представляется мне едва ли не классической: «То анархическое движение, которое на наших глазах разрастается, не может быть остановлено никакой внешней, материальной силой. Вещественное оружие бессильно, когда падает в прах весь государственный механизм. Только сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему разложению, резне, грабежу, анархии общественной и правительственной. Христианство — та единая и единственная нравственная сила, перед которою у нас склоняются народные массы; иной у нас нет. И если русская демократия не определится как демократия христианская, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно»¹⁹. Разумеется, у этой идеи была своя предыстория, и важнейшим ее моментом можно назвать прокламировавшуюся В.С. Соловьевым идею «христианской политики». Напомню достаточно известное высказывание Соловьева, но от него стоит оттолкнуться, чтобы подойти к той реальной проблематике XX века, какой она встала перед русскими мыслителями. Соловьев писал: «Поскольку христианство не упразднило закона, оно не могло упразднить и государство. Но из этого разумного и необходимого факта — неупразднения государства как внешней силы вовсе не следует, чтобы внутреннее отношение людей к этой силе, а чрез это и самый характер ее деятельности — в общем и в частности — остался безо всякой перемены. Химическое вещество не упразднено в телах растительных и животных, но получило в них новые особенности. <...> Подобное же есть основание и для *христианской политики*. Христианское государство, если только оно не оста-

¹⁹ *Трубецкой Е.Н.* Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. С. 301–302.

ется пустым именем, должно иметь определенные отличия от государства языческого, хотя оба они как *государства* имеют одинаковую основу и общую задачу»²⁰.

Однако всемирная теократия, какой ее задумывал поначалу Соловьев, явно не работала в ситуации все увеличивающегося давления масс, которые никак не учитывались в соловьевской конструкции. Е.Н. Трубецкой вспоминал, что в начале 1890-х годов симпатии Соловьева к представительным учреждениям связывались с идеей *всеобщего царского священства*. Участие общества в *царском деле* он представлял себе в виде народного представительства. А для того Россия должна взять с запада все вообще *формы* общественной жизни как церковной, так и государственной. Однако отрезвление Соловьева к концу XIX столетия было все более решительным, и он уже с сомнением глядел и на народное представительство. Трубецкой констатировал: «Увлечение конституционными идеями оказалось, однако, на этот раз весьма непродолжительным. Это обуславливается частью особенностями учения Соловьева, частью же впечатлениями действительности того времени. Несовместимость теократии с представительным образом правления при современных условиях жизни бросается в глаза. <...> Но среди современного общества, частью индифферентного, частью безбожного, демократическая теократия — самая неосуществимая из всех утопий»²¹.

Проблема православия заключалась в его отказе от социальной активности. Однако даже весьма религиозно ориентированные мыслители понимали, что миновать политику нельзя. С. Булгаков утверждал: «По учению христианства, история есть богочеловеческий процесс, в

²⁰ Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. [1911—1913]. Т. 8. СПб.: Просвещение. С. 486.

²¹ Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева: В 2 т. Т. 2. М.: Московский философский фонд, Медиум, 1995. С. 13.

котором собирается и организуется единое человечество, “тело Христово”. Для этой задачи мало одних усилий личного усовершенствования и душеспасительства, но необходимо воздействие и на общественные формы и на внешние отношения людей между собою, необходима не только личная, но и социальная мораль, т. е. политика. Политика есть средство внешнего устройства человечества, и в этом смысле средство хотя и преходящего значения, но неоспоримой важности. Для того чтобы отрицать политику и общественность, нужно отрицать историю, а для того чтобы отрицать значение истории, нужно отрицать и человечество как целое, рассыпая его единое тело на атомы — отдельные личности; т. е. отрицать, в конце концов, Христа и христианство. Отсюда вывод: христианин не может и не должен быть индифферентен к задачам политики и общественности, выдвигаемым современностью»²².

Но в России понятие права и религиозной правды не срослись в народном сознании. И не только в народном. Знаменитый русский философ Степун, будучи последователем В.С. Соловьева и религиозным либералом, констатировал антиправовую направленность и религиозной русской мысли: «Русская религиозная философская школа никогда не понимала, что во всякой действительно совершенной форме (научной, художественной, правовой) неизбежно наличествует некоторый минимум религиозного содержания, ибо всякий образ совершенства возможен только как отображение абсолютного, совершенного Существа»²³.

²² *Булгаков С.Н.* Неотложная задача (О Союзе христианской политики) // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1991. С. 31.

²³ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк VIII. Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция // Степун Ф.А. Жизнь и творчество. Избр. соч. / вступ. ст., сост. и коммент. В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 413.

С этим непониманием связаны все типично русские оценки и утверждения — окончательно не понятные для европейца и такие почти самоочевидные на характерно русский слух. «Что право может быть не могилой правды, а ее прославлением, что простая порядочность никоим образом не может быть простою вещью, а неизбежно должна быть вещью весьма сложною — это для философской стихии русского духа никогда не было по-настоящему убедительно. Оттого были ей так близки бездны и безмерности Достоевского и так далеки меры и закономерности Пушкина»²⁴.

В русских романах («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» Достоевского и «Воскресение» Л. Толстого) проблема права становится предметом художественного анализа. Толстой, однако, просто отверг систему гражданско-правового устройства, заявив, что оно против человека, а у Достоевского праву противостоит «народная правда»; как он сформулировал в последнем романе: «мужички за себя постояли» и «покончили Митю», то есть осудили героя, *формально* не виновного в убийстве, но они судят якобы по *Божьей правде* его за *намерения*.

Действительно, население вполне примирилось с диктатурой большевиков, ибо само вело себя точно так же перед этим, отбирая, насилуя и уничтожая. Почему же Христианство оказалось в России не совместимым с властью народа, то есть с демократией? Христианство есть религия личностная, поэтому оно противостоит любым видам насилия как «*Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории*. Демократия — не что иное, как политическая проекция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает *лицо* человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания»²⁵. Но это в принципе,

²⁴ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк VIII. С. 414.

²⁵ *Там же.* Очерк V // Там же. С. 343 (курсив Ф. Степуна. — В. К.).

однако бывают ситуации, когда идеи христианства не действуют или действуют ослаблено, там не прививается и демократия. Трубецкой фиксирует причину такого положения дел: «Власть стихийного начала в нашей общественной жизни обуславливается слабостью развития у нас личности. Безумие нашей революции, как и безумие нашей реакции, обуславливается, главным образом, одной общей причиной — тем, что у нас личность еще недостаточно выделилась из бесформенной массы. Этим обуславливаются внезапные резкие переходы от полной неподвижности и косности к стихийному бунтарству, от наивной покорности к столь же наивному революционному утопизму»²⁶.

Как видим, народная правда равнялась христианской правде, которая опирается на личность. По мысли Степуна, «всякий добрый европеец, не верующий в Бога, далеко еще не безбожный человек; в нем в той или иной степени всегда или почти всегда жива вера: вера в нравственность, в право, в культуру, в науку, во все ризы отрицаемого им Божества. Народная же Россия всем этим верованиям всегда была чужда. Никогда не верила она ни в науку, ни в право, а всегда только в Бога, в нагого, не облаченного Бога»²⁷. И катастрофа произошла тогда, когда в революцию случилось мгновенное падение, крушение народной веры. Нерасчлененность, неоформленность народного сознания не дала ему удержаться во внешних формах. Вера в *нагого* Бога сразу, почти без перехода, как плюс бесконечность на минус бесконечность, перешла в *голое* циническое безбожие. В этом срыве народной души, полагал Степун, и надо искать объяснение как невероятной напряженности и высоты метафизической проблематики русской революции, так и ее предельному окаянству. Как увидел сразу Н.В. Устрялов, «думали пе-

²⁶ Трубецкой Е.Н. Два зверя. С. 323.

²⁷ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк VII // Степун Ф.А. Жизнь и творчество. С. 407–408.

рерасти “правовое государство”, а на деле не доросли до него»²⁸. Таким образом, народная правда оказалась губительна для только еще утверждавшегося в России правового сознания.

В результате идеи законности, правопорядка, строгого выполнения существующих норм права, разработка конституционных правил и гарантий собственности, личной независимости и неприкосновенности и т. п. отошли на задний план. Последствия не заставили себя ждать. Власть оказалась в руках наиболее бескомпромиссных и решительных противников всяких юридических и конституционных форм жизни.

²⁸ Устрялов Н.В. «Товарищ» и «гражданин» // Устрялов Н.В. Очерки философии эпохи. М.: Вузовская книга, 2006. С. 170.

Часть II. ПЕТРОВСКАЯ РОССИЯ

5. Петр Великий как культурный герой

Вот что поразительно: до сих пор в России Петр Великий нуждается в защитниках. Деятель, без которого Россия исчезла бы, а значение бранящей Петра интеллигенции и вовсе было бы равно корню из минус единицы, числу мнимому, наделяется всеми мыслимыми и немыслимыми пороками и как человек, и как государственный деятель. С какой-то душевной грубостью забывается, что восторженные слова о Петре писали величайшие люди русской культуры — Ломоносов, Пушкин, С. Соловьев и т. д. И все же сыну великого историка великому русскому философу В.С. Соловьеву, в сущности, создателю русской философии, пришлось (помимо рассыпанных замечаний по другим его текстам) писать специальную статью «Несколько слов в защиту Петра Великого». Там он жестко и просто определил критерий, с которым надо подходить к фигурам такого масштаба: «Я вовсе не преувеличиваю достоинств и значения Петра. <...> Наш исторический великан был похож на великанов мифических: как и они, он был огромною, в человеческом образе воплощенною стихийною силою. <...> Но он всем своим существом почувствовал, что в данную минуту нужно было сделать для России»¹. И этой стихийной мощью он переборол стихию, губившую Россию.

¹ Соловьев В. Несколько слов в защиту Петра Великого // Соловьев В. Национальный вопрос в России. М.: АСТ, 2007. С. 215.

Как известно, Европа пережила по крайней мере три варварских степных нашествия: первая волна — IV—V века (гунны, готы, германцы), вторая — VIII—X века (мадьяры, печенеги, славяне), наконец, третья — XIII век (монголы, громившие городское и оседлое население). В книге о второй варварской волне французский ученый замечает, что «процесс, который вывел на арену мадьяр, а вслед за ними хазар, печенегов и куманов (половцев), идентичен тому, который пятью веками раньше воодушевлял гуннов, так же как и другие степные народы»². А дело заключалось в том, что именно у городского населения Европы были те ценности, орудия и предметы быта, не говоря уж о перво-степенной важности потребности — в продуктах сельского хозяйства. Противостоять кочевым набегам могла лишь та самая городская структура (крепости, замки, укрепленные городские стены), что и привлекала варварские народы. Из величайших цивилизаторов постримской Европы вспоминают прежде всего и справедливо Карла Великого.

Татаро-монголы были врагами городской структуры. По мысли С.М. Соловьева, основное противоречие развития России — между пытающейся встать из руин городской цивилизацией и постоянным ее уничтожением со стороны Степи, насылавшей то печенегов и половцев, то завоевателей-татар, то казаков, пока все это степное брожение не вылилось в Смуту, чуть не уничтожившую Московское государство. Московские цари ничего не могли этой Смуте противопоставить, носили Смуту в себе, ибо опирались на полный произвол, опасаясь каких-либо проявлений общественной самостоятельности, унижая и уничтожая торговлю — фактор богатства города и государства. С.М. Соловьев писал: «Уже не раз было нами говорено, что в основе преобразований должно было находиться преобразование экономическое. Для того чтобы видеть плод от преднамеренных

² *Мюссе Л.* Варварские нашествия на Европу. Вторая волна / пер. с фр. СПб.: Евразия, 2001. С. 14.

великих дел, необходимых в народной жизни, нужны были большие финансовые средства, которых бедное, земледельческое, государство дать не могло. <...> Нужно было вывести государство из этой односторонности поднятием промышленного и торгового движения, *поднятием города* (курсив мой. — В. К.), который впоследствии мог поднять и освободить село»³. В своей работе «Социальные причины падения античной культуры» Макс Вебер исходя из соображения, что античная культура прежде всего городская, венцом которой стал Рим и римская империя, доказывал, что в тот момент, когда античная культура «сделалась деревенской», наступил крах Римской империи⁴. Вхождение России в Европу требовало создания городской структуры, города, как некой песчинки в раковине, из которой возникла бы жемчужина европейской России.

Москва на эту роль не годилась. Не годилась она и на роль военной столицы, ибо мало того, что века пребывала в рабском подчинении, ее не раз дотла сжигали за непослушание татары (в последний раз при Иване Грозном), ее захватывали войска с Запада, говоря современным языком, она *не держала удара*. Последний раз перед Петром она была взята горстью поляков, о чем с насмешкой писал Хомяков: «Даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша история, желание иметь веру свободную сильнее действовало, чем патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над какою-то горстью поляков»⁵. Москва не могла решить церковные споры, т. е.

³ Соловьев С.М. Публичные чтение о Петре Великом // Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 71.

⁴ См.: Вебер М. Социальные причины падения античной культуры // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 447–468.

⁵ Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Московский философский фонд; Медимум, 1994. С. 468.

не могла провести удачно ни одной реформы, энергия народа ушла в бунты и раскол. Московское государство перед Петром — на грани распада, цари и бояре прячутся по монастырям от собственной армии, бегают от бунтующих стрельцов из Москвы, которой владеет разнузданная чернь и солдаты. Восточное, даже не восточноевропейское, а азиатское начало Москвы очень точно ощутили евразийцы. Н.Н. Алексеев писал: «Власть московских государей получила свое идеологическое обоснование в Византии. В то же время Московское государство было не только государством православным, но и государством *восточным*, и монархические традиции Востока внедрялись в него не окольным путем, через Цареград, но непосредственно из азиатского мира. В силу этого черты восточной языческой монархии в Московском государстве были выражены не менее, если не более ярко, чем в Византии. И это признается в настоящее время не только “евразийцами”, к признанию этого все более и более склоняется современная историческая наука. В непрерывной борьбе с Азией и в постоянном соприкосновении с азиатством Москва, естественно, проникалась бытом и понятиями Востока. Правда московские цари любили ссылаться на римских и византийских императоров, на Августа и Константина; но в их придворном быту, управлении не было тех республиканских повадок, которые давали о себе знать и в языческом Риме, и христианской Византии. Московское самодержавие походило гораздо более на восточный халифат, на тогдашнюю Турцию»⁶ (курсив Н.Н. Алексеева. — В. К.).

В этой ситуации *при принципиальной установке Москвы на антигероизм, на подчиненность, на раболепие, на вражду православия к просвещению казалось бы немислимо было появиться культурному герою (англ.*

⁶Алексеев Н.Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 60.

Culture hero; нем. Hellbringer), которого требует любая национальная структура, выходящая на уровень цивилизации. Англичанин Флетчер, живший в Москве в конце XVI века, полагал, что весьма «трудно изменить образ правления в России в настоящем ее положении. <...> Ни дворянство, ни простой народ не имеют возможности отважиться на какое-либо нововведение»⁷. Он даже писал о «безнадёжном состоянии вещей внутри государства»⁸. Однако каждая культура, цивилизуясь, обретает своего культурного героя, который добывает или создает для людей инструменты цивилизации (огонь, культурные растения, орудия труда), прокладывает дороги, уничтожает нечисть, учит ремеслам и искусствам, создает социальную структуру, ритуалы и праздники — короче, приносит блага цивилизации. Вспоминаются сразу и Прометей, и Геракл, и Тесей в Древней Греции, а еще раньше шумеро-вавилонский Гильгамеш, создатель культурного центра Двуречья — города Урук, а в Англии король Артур и рыцари Круглого стола, герои скандинавских саг, Гайавата из индийского эпоса; в Древней Руси — Илья Муромец, Добрыня Никитич и другие богатыри новгородско-киевского цикла. Их усилия, однако, как рассказывают былины, были поглощены хаосом татарского нашествия. Как мы знаем, помимо мифологических или полумифологических культурных героев бывают культурные герои исторические — таков, к примеру, император Константин, Карл Великий, Генрих VIII в Англии, в России таковыми были Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, *Петр Великий*. Это очень чувствовали современники Преобразователя, называвшие его творцом России, сравнивавшие с князем Владимиром и императором Константином, но и после его смерти значение Петра для судьбы России ощущалось как ключевое. Все харак-

⁷ Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии. М.: Международные отношения, 1991. С. 57–58.

⁸ Там же. С. 58.

теристики культурного героя мы находим у Ломоносова в «Надписи 1 к статуе Петра Великого» (1751) — первого памятника Петру при Елизавете Петровне работы Растрелли:

Се образ изваян премудрого героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и, царствуя, служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатом,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;
И словом, се есть Петр, отечества Отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.

Следом за Ломоносовым И. Голиков называл Петра «ироем», Пушкин это определение подхватывает: «то академик, то герой...», и, наконец, это восторженное отношение к деяниям Петра получило завершение в канонической формуле Погодина: «Место в системе Европейских Государств, управление, разделение, судопроизводство, права сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля, внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, военные училища, академия — суть памятники его неутомимой деятельности и его Гения»⁹. Это тоже, как видим, характерное определение деятельности культурного героя.

⁹Погодин М.П. Петр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 343.

Хотя стоит добавить важнейшее. Если перед нами действительно культурный герой, то он должен любить свой народ, свое племя, которое он цивилизует, верить в его возможности. Петра очень часто упрекали в нелюбви к русскому народу.

Но вот строчки Пушкина, которые стоят сотен инвектив:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Стансы, 1826

Конечно, гения мог понять только гений. Академик А.В. Никитенко написал в 1838 году: «Петр Великий есть одно из тех необычайных явлений нравственного мира, коих изучение составляет задачу для мудрых и кои только отважному взору гения допускают коснуться до глубокой тайны своих сил и начинаний»¹⁰. Первыми поняли Петра Ломоносов и Пушкин. Именно Ломоносова и Пушкина называет Вл. Соловьев великим результатом преобразования русской культуры Петром: «Нет надобности доказывать, что петровской же реформе Россия обязана всем своим наличным образованием и всеми сокровищами своей литературы. Если бы тут мог быть какой-нибудь вопрос, то на него уже ответили два величайших представителя русского образования и литературы в прошлом и в настоящем веке — Ломоносов и Пушкин, неразрывно связавшие свои

¹⁰ *Никитенко А.В.* Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу Всероссийскому, Отцу Отечества // *Петр Великий: pro et contra.* Антология. СПб.: РХГА, 2003. С. 155.

имена с именем Петра»¹¹. По сути, Петр, как Прометей, принес в Россию науки, напомним хотя бы о его любви к естественным наукам, о создании Академии, постройке Кунсткамеры, а уже в зрелости он удивлял своими познаниями иностранцев: например, в 1717 году он посетил Париж. «Отношение Петра к культурным и техническим диковинкам Парижа было действительно не поверхностным, а серьезным. Он внимательно изучал самые разнообразные учреждения: арсенал, монетный двор, фабрики и заводы, типографии, ботанический сад и “аптекарский огород”, анатомический театр, обсерваторию, кабинеты математические, физические, механические. Он смотрел химические опыты и медицинские операции; все примечательное записывал и зачерчивал и, по своему давнему обычаю, все норовил испробовать сам, своею рукой. <...> Все поражались его знаниями, быстротою усвоения, ненасытную любознательность, серьезным достоинством и неприужденностью, с какими он подходил ко всякому делу»¹².

Но, чтобы возможно было такое преобразование культуры, Петр решает задачу всемирно-историческую, ставящую и впрямь вспомнить мифологических героев древности. Он возводит город, соревнующийся с Римом, тем самым вступая в соревнование с мифологическим Ромулом, основателем Рима, а, стало быть, в каком-то смысле и Римской империи. Не случайно так быстро Петр приобрел черты Основателя России; как справедливо заметил Константин Кавелин: «Петр Великий и его эпоха есть начало нашего героического века. Не прошло еще и двух столетий, а величавый, удивительный образ его стал

¹¹ Соловьев В. Несколько слов в защиту Петра Великого // Соловьев В. Национальный вопрос в России. М.: АСТ, 2007. С. 219.

¹² Платонов С.Ф. Петр Великий. Жизнь и деятельность // Платонов С.Ф. Под шапкой Мономаха. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 440.

уже облекаться в мифическое сказание. Не будь у нас под руками несомненных исторических свидетельств, нельзя было бы поверить, что перед нами живое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная повесть о его ранней молодости дышит легендой и мифом»¹³.

Петр, строя Петербург, строил именно *город*, возвращал Россию в ее европейское прошлое, когда ее называли Гардарики. После татарского погрома страна стала деревенской, но именно в этом хотели почвенники всех мастей видеть ее исконную суть, в тихой жизни вне истории. Шпенглер возмущался, что Петр навязал историческую жизнь «народу, предназначением которого было еще на продолжении поколений жить вне истории»¹⁴. Петр не только вернул Россию в Европу, когда, по выражению Тютчева, *Европа Петра Великого вышла навстречу Европе Карла Великого*, Петр, вопреки ненавистникам России, вернул ее в историю. Один из принципов исторического бытия — это отказ от поклонения кумирам, которые держат народ в мифологическом пространстве. Петр не только способствовал развитию наук, но, судя по деталям, немало и практически боролся с суевериями и народными соблазнами. Один из мужиков, бродивших с проклятьями по строящемуся городу, объявил, что когда поднимется вода в Неве до некоего дерева, то Петербург утонет. Петр приказал дерево спилить, а на образовавшемся пне выпороть плетью смущавшего людей мужика. Город рождает исторический смысл культуры. Москва в течение столетий выступала как своего рода столица-антигород, продолжившая татарское уничтожение городской Руси (Новгород, Псков, Тверь). Но именно в Москву, не знавшую напряжения и соблазнов исторической жизни, мечтали снова вернуть сто-

¹³Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 240.

¹⁴Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М.: Мысль, 1998. С. 198.

лицу славянофилы. «Мы <...> желаем видеть в Москве, — писал Иван Аксаков, — правительственное средоточие, свободное от начал, воплощаемых Санкт-Петербургом, и убеждены, что рано или поздно столица русской земли как прежде была столицей русского государства, так и снова будет!..»¹⁵ Забывалось, однако, что без петровских реформ, без Петербурга, без петербургского периода просто не было бы России как государственно-политической единицы¹⁶, не было бы Пушкина и всей последующей великой русской литературы, искусства, науки. Впрочем, антипушкинских проклятий Петру в русской поэзии тоже было немало, как правило, публицистических, хотя и в стихотворной форме: от культурфилософского, славянофильского пафосу, но сохраняющего все же некую объективность сочинения Константина Аксакова «Петру» до графоманского стиха «Проклятие Петру» Бориса Чичибабина.

Бунин назвал Петербург городом, созданным Петром и Пушкиным. В известном смысле это очень точно. Существует, наверно, так называемое божество места. Петр воспитывался в московской Немецкой слободе (где позже, на Басманной, жил духовный наставник Пушкина Чаадаев), именно там родился и Пушкин, молодость и юность проведенный уже в Петербурге. Император создал город, поэт, «певец империи и свободы» (Г.П. Федотов), его одухотворил и

¹⁵Аксаков И.С. Петербург или Киев? // Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 178—179.

¹⁶Михаил Погодин, историк славянофильского толка, тем не менее воспел балтийский прорыв Петра: «Не думаю я, чтоб кто-нибудь сказал еще, что нам не нужны были берега, и Петр Первый должен был оставить их за Шведами, Поляками, Турками: в таком случае вопрос о самом политическом существовании России подвергся бы сомнению, о существовании, без коего нельзя было теперь и рассуждать о действиях Петровых» (*Погодин М.П. Петр Великий* // Погодин М.П. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 347).

осмыслил. В них обоих была страсть к морю, которой ранее не знала русская культура. Пушкин море назвал «свободной стихией», но Петра называл «шкипером», помня, что он — покоритель стихии. На море и был возведен новый русский город, но не просто город, а столица. Почему, однако, увел Петр столицу из географического центра страны? Это смущало многих, в том числе и европейцев. Дидро писал Екатерине: «Мне представлялось бы весьма разумным перенести столицу в центр страны. Весьма нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца. <...> Пограничные города по самой своей природе должны быть крепостями, местами обороны или обмена»¹⁷.

Можно, конечно, в этом контексте вспомнить по крайней мере две великие столицы, основанные на берегу моря: Александрию, созданную Александром Македонским, и Константинополь, второй Рим, построенный римским императором Константином. Более того, можно вспомнить и великого мыслителя эпохи Возрождения, Макиавелли, писавшего: «Когда Александр Великий, стремясь увековечить свое имя, хотел заложить новый город, к нему явился архитектор Динократ и предложил построить его на горе Афон, которая не только хорошо защищена, но и могла быть приспособлена ко всем человеческим потребностям, так что город был бы единственным в своем роде и достойным величия Александра. Но когда Александр спросил архитектора, чем будут жить его обитатели, тот ответил, что не подумал об этом; посмеявшись, Александр отставил этот проект и основал Александрию, заселению которой благоприятствовали урожайность почвы и близость моря и Нила»¹⁸. Но, конечно, в каждом конкретном случае были свои причины подобных деяний.

¹⁷ Дидро Д. Замечания на наказ е. и. в. депутатам комиссии по составлению законов // Дидро Д. Собр. соч.: В 10 т. Т. X. ROSSICA. Произведения, относящиеся к России. М.: ГИХЛ, 1947. С. 424.

¹⁸ Макиавелли Н. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 13.

Заметим лишь одно существенное отличие Петербурга от этих двух мировых городов. Александр и Константин шли с Запада на Восток: Александр, чтобы примирить, найти синтез западной и восточной культуры, Константин же уходил от варваров, наступавших по всему полуострову Европы на Римскую империю. Но в обоих случаях эти города оказались проводниками восточных влияний на Запад. Петр же вперекор и Александру, и Константину (с которыми его не раз сравнивали панегиристы) переносит столицу Российского государства *на Запад, центрируя сызнова Европу*, связывая восток и запад в новое единство, направляя западное влияние на Восток. Ибо Петербург — Запад России, но не запад *всей* Европы. Более того, «столица России после длительного странствования вновь вернулась к исходной точке, а Россия снова вошла в систему объединяющей земной шар европейской цивилизации. Вернулась, приведя с собой в Европу целую гигантскую “Скифию”»¹⁹.

В этом контексте еще раз стоит сравнить московское и петровское государство. Сошлюсь на свидетельство западного путешественника, видевшего допетровскую Русь. Адам Олеарий (1599—1671), немецкий ученый, энциклопедически образованный, историк, этнограф, лингвист, создатель знаменитого Готторпского глобуса, побывал в Московии дважды: в посольстве 1635—1639 годов и в 1643 году. Так что его наблюдениям можно доверять: «Если иметь в виду, что общее отличие закономерного правления от тиранического заключается в том, что в первом из них соблюдается благополучие подданных, а во втором личная выгода государя, то русское управление должно считаться находящимся в близком родстве с тираническим»²⁰. Именно Петр

¹⁹ *Мачинский Д.* Русско-шведский Пра-Петербург // Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998. С. 16.

²⁰ *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию // Россия XV—XVII веков глазами иностранцев / подгот. текстов, вступ. ст.

отказался от личных выгод во имя служению государству, должного ввести Россию в цивилизованный мир Европы. Характерна его фраза, объясняющая суть имперского понимания законов: «Когда Государь повинуется закону, то да не дерзнет никто противиться оному»²¹. История полна символическими моментами, их надо только видеть. Поэтому любопытно отметить, что глобус Олеария («шедевр естественной и технической мысли того времени»²²) был подарен в 1714 году Петру I.

Надо сказать, что если князь Владимир Святой два года скитался по морям с викингами, то ни к одному московскому царю название «скипера» не подходило. Ведь именно Петр создал флот и вывел Россию на берега Балтийского моря, по которому плавал когда-то Креститель Руси, которое Гердер сравнивал со Средиземным по его культурной роли в судьбе Северной Европы. Царь-преобразователь строит новую столицу на берегу этого Балтийского моря, совершая — и успешно — фаустовский поступок, ибо, как мы помним, Фауст последним и лучшим своим деянием считал отвоевание суши у моря:

И я решил: построив гать,
Валы насыпав и плотины,
Любой ценою у пучины
Кусок земли отвоевать.

И. Гете. Фауст

Кого имел в виду Гете, Петра, Константина Великого, Александра Македонского, осваивавших морской берег, не известно. Но это был некий культурный факт, требовавший осмысления и зафиксированный поэтом как высшая точка деятельности Фауста, символа европей-

и коммент. Ю.А. Лимонова. Л.: Лениздат, 1986. С. 354.

²¹ Петр Великий в его изречениях. С. 32.

²² Лимонов Ю.А. Россия в западноевропейских сочинениях XV—XVII вв. // Россия XV—XVII глазами иностранцев. С. 13.

ской культуры. Можно оспаривать любые дела Петра, говорить, что он всего лишь продолжал дело своего отца и даже Софьи, тоже мечтавших о заимствовании некоторых европейских структур, но создание столичного града Санкт-Петербурга совершенно очевидно никто до него даже в замысле не держал, это несомненный факт, более того, это *город, ни разу в отличие от Москвы не побежденный внешним врагом*, город, который создал духовное напряжение в России. Строго говоря, это был город, структурировавший новую Россию.

Но повторим вопрос: как же в антигероической Москве появился Петр? Явление его, строго говоря, не объяснимо ни историческими предпосылками, ни генетическими. Предшественники были слабы, неумелы, реформы рушились, шажки вперед были едва заметны. Реформаторские попытки Алексея Михайловича, Федора Алексеевича и царицы Софьи сегодня поневоле воспринимаются на фоне гигантского прорыва, совершенного Петром.

Какая возможность вызвала к жизни фигуру такого масштаба?

Пушкин предложил свою формулу России, русской истории, ее шанса вырваться из объятий горя-злочастья. *И его формула основана на вере в чудо христианского откровения и преображения*. Он говорил о том, что человек «видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая* — мощного, мгновенного орудия провидения»²³ (курсив Пушкина. — В. К.). Именно Петр стал тем *случаем*, тем *орудием провидения*, тем перво двигателем, «скипером славным», «кем наша

²³Пушкин А.С. О втором томе «Истории русского народа» Полевого // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 324 (в дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте; курсив в стихах Пушкина везде мой. — В. К.).

двинулась земля», кто удержал Россию «над самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в диких бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»; 6, 408), которого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо было это — *явление*, т. е. *случай*, для России случай спасительный. Но культурный герой и должен быть божественным орудием, это происхождение сближает реального исторического деятеля с мифологическим культурным героем, который способен противостоять и адским силам.

6. От Москвы к Петербургу: городская структура

Город рождает исторический смысл культуры, выводит народ на уровень цивилизации. Когда-то Русь называли Гардарики, страной городов, форпостом Европы в противостоянии Степи. После монгольского нашествия Россия стала страной деревенской, в глубине души ненавидящей города. Это чувствовали и западные философы. Шпенглер утверждал, что «никаких русских городов никогда и не было. Москва была крепостью — Кремлем, вокруг которого расстилался гигантский рынок. <...> У Москвы никогда не было собственной души. Однако возврат в городскую цивилизацию начался именно с Москвы. Москва начала приобретать городской облик в эпоху Ивана III, который взял себе византийский герб — двуглавого орла, привез в Москву итальянских зодчих (Аристотеля Фиорованти и др.), отстроивших ему каменный Кремль (Успенский собор, Грановитую палату и пр.), по словам Мандельштама, «Успенье нежное — Флоренция в Москве»¹. И Кремль

¹ Написано поэтом в 1916 году, когда Москва еще не была большевистской:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

внес в Московию новые параметры, создававшие почву для возможного трагического бытия человека. Строительство Кремля с его итальянскими «ласточкиными хвостиками», как показала история русской культуры, не стало пустым эпизодом. К этому надо добавить строительство так называемой Немецкой слободы, где была воспроизведена структура западной городской культуры. Возникло пространство, где могли появляться люди европейские по своим устремлениям.

Не забудем, что Петр Великий родился в Москве. Возврат России в Европу требовал, однако, создания более сложной городской структуры, города. Петр, строя Петербург, строил именно *город*, возвращал Россию в ее европейское прошлое, когда ее называли Гардарики. Основанный и построенный Петром столичный град Санкт-Петербург создал духовное напряжение в России. Если Иван III приглашал из Италии архитекторов, то политика Петра был иная. Он не только приглашал великих европейских архитекторов, но и посылал своих русских подданных учиться в Европу. Первым строителем Петербурга не случайно называют П.М. Еропкина, учившегося «архитектурному делу» по приказу Петра в Риме. И Петербург стал городом, структурировавшим новую Россию.

Москва, несмотря на свое тяготение к Италии, в течение столетий выступала как своего рода столица-антигород, продолжившая татарское уничтожение городской Руси (Новгород, Псков, Тверь). Слишком велико было влия-

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

ние антигородского монгольского наследства. Но именно в Москву, не знавшую напряжения и соблазнов исторической жизни, мечтали сызнова вернуть столицу славянофилов: «Мы <...> желаем видеть в Москве, — писал Иван Аксаков, — правительственное средоточие, свободное от начал, воплощаемых Санкт-Петербургом, и убеждены, что рано или поздно столица русской земли как прежде была столицей русского государства, так и снова будет!..»² Забывалось, однако, что без петровских реформ, без Петербурга, без петербургского периода не было бы России как государственно-политической единицы³, не было бы Пушкина и всей последующей великой русской литературы, искусства, культуры, науки. Пушкинский период петербургской культуры завершается Блоком, Мандельштамом и Ахматовой, написавшей трагические строки о возвращении правительства в Кремль:

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.

Стансы, 1940

Бунин назвал Петербург городом, созданным Петром и Пушкиным. В известном смысле это очень точно.

² Аксаков И.С. Петербург или Киев? // Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 178—179.

³ Михаил Погодин, историк славянофильского толка, тем не менее воспел балтийский прорыв Петра: «Не думаю я, чтоб кто-нибудь сказал еще, что нам не нужны были берега, и Петр Первый должен был оставить их за Шведами, Поляками, Турками: в таком случае вопрос о самом политическом существовании России подвергся бы сомнению, о существовании, без коего нельзя б было теперь и рассуждать о действиях Петровых» (Погодин М.П. Петр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 347).

Существует, наверно, так называемое божество места. Петр воспитывался в московской Немецкой слободе (где позже, на Басманной, жил духовный наставник Пушкина Чаадаев), именно там родился и Пушкин, молодость и юность проведенный уже в Петербурге. Император создал город, поэт, «певец империи и свободы» (Г.П. Федотов), его одухотворил и осмыслил. В них обоих была страсть к морю, которой ранее не знала русская культура. Пушкин море назвал «свободной стихией», но Петра называл «шкипером», помня, что он — покоритель стихии. На море и был возведен новый русский город, но не просто город, а столица. Почему, однако, увел Петр столицу из географического центра страны?

Можно, конечно, в этом контексте вспомнить по крайней мере две великие столицы, основанные на берегу моря: Александрию, созданную Александром Македонским, и Константинополь, второй Рим, построенный римским императором Константином. Более того, можно вспомнить и великого мыслителя эпохи Возрождения, Макиавелли, писавшего: «Когда Александр Великий, стремясь увековечить свое имя, хотел заложить новый город, к нему явился архитектор Динократ и предложил построить его на горе Афон, которая не только хорошо защищена, но и могла быть приспособлена ко всем человеческим потребностям, так что город был бы единственным в своем роде и достойным величия Александра. Но когда Александр спросил архитектора, чем будут жить его обитатели, тот ответил, что не подумал об этом; посмеявшись, Александр отставил этот проект и основал Александрию, заселению которой благоприятствовали урожайность почвы и близость моря и Нила»⁴. Но, конечно, в каждом конкретном случае были свои причины подобных деяний.

⁴ *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // *Макиавелли Н.* Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 13.

Петербург создавал городскую Россию, не опровергая, но продолжая, переосмысливая движение Москвы к Европе, прежде всего к Италии. Москву ее идеологи называли третьим Римом, но именно Петербург Петр строил как третий Рим, с опорой на первый, это был город Святого Петра. Москва в системе новых координат, по ироническому слову Герцена, «служила станцией между Петербургом и тем светом»⁵.

По мысли С.М. Соловьева, основное противоречие развития России — между пытающейся встать из руин городской цивилизацией и постоянным ее уничтожением со стороны Степи, насылавшей то печенегов и половцев, то завоевателей-татар, то казаков, пока все это степное брожение не вылилось в Смуту, чуть не уничтожившую Московское государство. Московские цари ничего не могли этой Смуте противопоставить, носили Смуту в себе, ибо опирались на полный произвол, опасаясь всяческих проявлений общественной самостоятельности, унижая и уничтожая торговлю — фактор богатства города и государства. Соловьев писал: «Уже не раз было нами говорено, что в основе преобразований должно было находиться преобразование экономическое. Для того чтобы видеть плод от преднамеренных великих дел, необходимых в народной жизни, нужны были большие финансовые средства, которых бедное, земледельческое государство дать не могло. <...> Нужно было вывести государство из этой односторонности поднятием промышленного и торгового движения, *поднятием города* (курсив мой. — В. К.), который впоследствии мог поднять и освободить село»⁶. В своей работе «Социальные причины падения античной культуры» Макс Вебер, исходя из соображения, что античная культура прежде всего городская, венцом которой стал Рим и Римская

⁵ Герцен А.И. Москва и Петербург // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. II. М.: Изд. АН СССР, 1954. С. 35.

⁶ Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. Кн. XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 71.

империя, доказывал, что в тот момент, когда античная культура «сделалась деревенской», наступил крах Римской империи⁷. Вхождение России в Европу требовало создания городской структуры, города, как песчинки в раковине, из которой возникла бы жемчужина европейской России.

Москва на эту роль не годилась. Не годилась она и на роль военной столицы, ибо мало того, что была века в рабском подчинении, ее не раз дотла сжигали за непослушание татары (в последний раз при Иване Грозном), ее захватывали силы с Запада, говоря современным языком, она *не держала удара*. Последний раз перед Петром — горстью поляков, о чем с насмешкой писал Хомяков: «Даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша история, желание иметь веру свободную сильнее действовало, чем патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над какою-то горстью поляков»⁸. Москва не могла решить церковные споры, т. е. не могла провести удачно ни одной реформы, энергия народа ушла в бунты и раскол. Московское государство перед Петром — на грани распада, цари и бояре прячутся по монастырям от собственной армии, бегают от бунтующих стрельцов из Москвы, которой владеет разнузданная чернь и солдатчина. Восточное, даже не восточноевропейское, а азиатское начало Москвы очень точно ощутили евразийцы. Н.Н. Алексеев писал: «Власть московских государей получила свое идеологическое обоснование в Византии. В то же время Московское государство было не только государством православным, но и государством *восточным*, и монархические традиции Востока внедрялись в него не окольным путем, через Цареград, но непосредственно из азиатского мира. В силу этого черты восточной языческой монархии в Московском

⁷ См.: Вебер М. Социальные причины падения античной культуры // Вебер М. Избранное. Образ общества. С. 447–468.

⁸ Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Московский философский фонд; Медимум, 1994. С. 468.

государстве были выражены не менее, если не более, ярко, чем в Византии. И это признается в настоящее время не только «евразийцами», к признанию этого все более и более склоняется современная историческая наука. В непрерывной борьбе с Азией и в постоянном соприкосновении с азиатством Москва, естественно, проникалась бытом и понятиями Востока. Правда московские цари любили ссылаться на римских и византийских императоров, на Августа и Константина; но в их придворном быту, в их управлении не было тех республиканских повадок, которые давали себя знать и в языческом Риме, и в христианской Византии. Московское самодержавие походило гораздо более на восточный халифат, на тогдашнюю Турцию»⁹.

После октябрьской революции в Москве стали очевидны две ее стороны — мировой столицы и глухого азиатского угла. Замятин писал: «Бомба революции упала в феврале 1917 года, но она еще долго крутилась, еще долгие месяцы после этого все жили, как во сне, в ожидании самого взрыва. Когда дым этого страшного взрыва рассеялся, — все оказалось перевернутым — история, литература, люди, славы. <...> Неожиданно для Петербурга — и еще неожиданней для себя самой — Москва оказалась столицей, резиденцией новой власти»¹⁰. Маяковский видел в коммунистической Москве центр мироздания, причем даже царский Кремль обретал символ нового советского бытия.

Начинается земля,
как известно, от Кремля.
За морем,
за сушею —
коммунистов слушают.

Прочти и катуй в Париж и Китай, 1927

⁹ *Алексеев Н.Н.* Христианство и идея монархии // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 60.

¹⁰ *Замятин Е.И.* Москва — Петербург // Замятин Е.И. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 195.

У Есенина Москва — носительница Азии, причем самой что ни на есть маргинальной ее части:

Низкий дом мой давно ссутулился,
Старый пёс мой давно издох,
На московских изогнутых улицах
Помереть, знать, судил мне Бог.
А я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
А когда ночью светит месяц...
Когда светит чёрт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак;
Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролёт до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.

«Да! Теперь решено...», 1927

Москва, по сути, стала снова выразительницей насилия и захвата страны. Переезд правительства большевиков в Москву символически завершал мечты славянофильствующих противников петровской Империи. Москва стала строиться как великая деспотия. Интересен новый архитектурный символ Москвы — мавзолей (абсолютно азиатский символ). На создании мавзолея для Ленина настоял Сталин, окончательно достроивший в России вариант азиатской деспотии. Приведу наблюдение современного искусствоведа: «Внешне Мавзолей напоминает египетские или вавилонские пирамиды, в которых хоронили древних властителей. Но различие более существенно. Мумия фараона после погребения была не доступна для обозрения смертными. Неприкосновенность мумии внутри пирамид считалась, возможно, основной предпосылкой ничем не омраченного существования по ту сторону бытия. <...> С самого начала Мавзолей Ленина является нам в виде

комбинации пирамиды и Британского музея»¹¹. Это и в самом деле чудовищное сочетание символа древнего властителя в стилистическом обличье современного музея, но не забудем, что посетители видят в этом помещении мертвеца, перед которым должны благоговеть, которого должны бояться. Мертвец, переживший всех живых, всех своих соратников, даже уничтожившего его Сталина. Ведь архитектура — это сообщение, как власть представляет себе свои взаимоотношения с народом. Сталинские высотки (блистательная затея установить свою вертикаль власти) были единственным после Октября архитектурным сообщением, которое от власти пришло к народу. Оно означало, что народ подавлен (психологически) новыми деспотами, что он — никто. Не забудем о бараках и коммуналках, в которых жило большинство не сидевшего в лагерях и тюрьмах населения советской столицы, жило как бы вне истории. История творилась вождями-богами. Большевицкая Россия выкинула за рубеж несколько миллионов российских интеллектуалов, а далее уничтожила еще несколько миллионов людей, способных к критическому самостоятельному взгляду на жизнь, то есть потенциальных личностей. Заметим, однако, что, судя по количеству изгнанных и уничтоженных, процент потенциальных личностей был достаточно велик. Но в тоталитарном обществе ценится не особенность, не творческая сила личности, а чистое умение приложить знания к потребностям идеологии. Культура замирает в таких случаях, если не умирает вовсе.

Переход к структурам доисторического сознания, разумеется, приводил к мифологической системе миропонимания, к выпадению из исторического процесса. Западные либеральные мыслители констатировали это вполне отчетливо: «Бесклассовое общество — цель большевизма — обретается по ту сторону истории; оно — заново обретенная

¹¹ Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 353.

предыстория»¹². И здесь очевидно вступают в действие до-исторические структуры сознания. Но эти структуры рожают уже нечто новое — тоталитаризм, т. е. тот строй, где тирания помножена на идеологическое оправдание этой тирании, призывающая народ воспринимать эту тиранию как свое произведение. И в каком-то смысле это правда, ибо в тоталитаризме работают архаические стереотипы сознания.

Не случайна, думаю, не утихавшая ненависть большевиков к городу русской петровской Империи, который вроде бы был «колыбелью революции», но революцию не принял. Отсюда и «кировский поток» в 1930-е годы, и страшный ленинградский голод, выморивший почти весь город, а потом сразу после войны — «ленинградское дело». Город хранил в себе память о европейской Империи, столь ненавистную строившим восточную деспотию большевикам. Именно верность Петербурга Империи отмечает Замятин: «Петербург рос как правительственный, императорский город, его строила казна, государство, система. Большая часть зданий, определяющих его лицо, — великолепные работы Растрелли, Гваренги, Томона, Воронихина — вышли из эпохи Екатерины, первых Александра и Николая. Безвкусие последних императоров, к счастью, не успело наложить на северную столицу своей печати: к этому времени основная архитектурная композиция Петербурга оказалась уже законченной. Таким он встретил и революцию, и эта его законченность, архитектурная полнота была причиной того, что и после революции он сохранил свое прежнее лицо»¹³. Конечно, Петербург — трагический и фантастический город. На его улицах случается все что угодно: здесь может зародиться мысль о преступлении и найти свое завершение, а в следующий момент преступник будет читать

¹² *Розеншток-Хюсси О.* Великие революции. Автобиография западного человека. Tenefly N. J. Hermitage Publishers. 1993. С. 101.

¹³ Там же. С. 184.

«вечную книгу» вместе с блудницей, чтобы постичь смысл жизни. Человеку трудно жить и дышать в этом городе, но ни у одного из героев не возникает мысли покинуть его. И поэтому несправедливо было бы воспринимать Петербург как воплощенную метафору катастрофы. Иначе непонятно, какая сила собрала здесь столько людей, верований, надежд, искусств и пр., почему этот город стал средоточьем русского искусства. Достоевский это понимал.

Стоит обратиться к Достоевскому, который, говоря о сложности города, видел в нем центр России. Сравнивая его с традиционалистской Москвой, он писал: «Не таков Петербург. Здесь что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент и идея настоящего момента. Пожалуй: в некотором отношении здесь все хаос, все смесь; многое может быть пищею карикатуры; но зато все жизнь и движение. *Петербург и глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движения. Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. Это здание в растреллевском вкусе напоминает екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, — позднейшее время, но все вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга в целой России* (курсив мой. — В. К.). И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще создается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. Следственно, все начинают жить. Все — промышленность, торговля, науки, литература, образованность, начало и устройство общественной жизни, — все живет и поддерживается одним Петербургом. Все, кто даже не хочет рассуждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся

к новой жизни. И кто же, скажите, обвинит тот народ, который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, то есть тот момент, когда он в первый раз начал жить. Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которая, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить, а жизненности и принципа станет для него на веки веков»¹⁴. Только еще Пушкин так воспел Санкт-Петербург. От Достоевского никто не ждет хвалы городу. А она есть.

Архитектуру он очень чувствовал, и не только трущобные углы, но и другую ипостась города, почти итальянскую, которую имел в виду Пушкин с цитатой из Альгаротти (прорубленное окно — это итальянская балконная дверь). В «Белых ночах» такое дивное описание: «Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна. <...> Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светлорозовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком».

¹⁴Достоевский Ф.М. Петербургская летопись <1 июня> 1847 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 26.

А сделать шаг из туманного Петербурга, до заставы только пройти — и тут же Италия: «Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению; забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. <...> И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах».

Итак, Италия. Но вот историософский анализ, показывающий неслучайность ощущения героя «Белых ночей». Мы знаем, что новую столицу Петр строил, опираясь на идею Рима. Стоит напомнить очень верное и глубокое наблюдение российских исследователей о том, что семиотическая соотнесенность с идеей «Москва — третий Рим» неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной идеей императорского Рима, — Петр избрал второй. «Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперничестве за право исторического наследия с Римом католическим. <...> В этом новом контексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но и в ее гербе: <...> герб Петербурга содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима <...> и это, конечно, не могло быть случайным. <...> Символика герба Петербурга расшифровывается именно в этой связи. С одной стороны, якорь — символ спасения и веры. <...> Но одновременно якорь метонимически обозначает флот — помещенный на место ключей апостола Петра, он знаменует то, чем Петр

(император, а не апостол) намерен отворить дверь своего “парадиза”»¹⁵. Рим создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. «Мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве, — писал, рассуждая об идее империи в начале XX века, Бердяев, — вековая мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и донныне с Римом, как понятием духовным, а не географическим»¹⁶. Прозвучавшие в Москве итальянские мотивы окрепли в Петербурге.

Повторю: город рождает исторический смысл культуры. «Все флаги будут в гости к нам», — произнес Петр устами Пушкина («Медный всадник»). Спустя сто лет это подтвердил Мандельштам: «А над Невой — посольства полумира» («Петербургские строфы»). А в марте 1917 года один из наиболее чутких к общественному бытию культуры русских мыслителей (я говорю об Н.В. Устрялове) увидел сущностный для России смысл Петербурга (незадолго до превращения его в Ленинград): «Нет, не случайно, не по царской прихоти и не по историческому недоразумению Великая Россия самоопределилась именно в Петербурге. Тяга на Запад связана с исконными традициями русской истории, и путь Европы, как и путь в Европу, — исторический русский путь. Петербург — подлинно русский город, несмотря на его интернациональную внешность и немецкое имя. *Его призрачность призрачна*, ибо корни его уходят глубоко в русскую почву, неразрывны с некоторыми существеннейшими чертами нашей национальной души. Он сроднился с

¹⁵Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. III. Таллинн: Александра, 1993. С. 205—206.

¹⁶Бердяев Н.А. Конец Европы // Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 117.

Россией, вошел в ее плоть и кровь, стал неотъемлемой частью ее существа. *Через Петербург превратилась Русь в Великую Россию*¹⁷ (курсив Н.В. Устрялова. — В. К.). По сути, это утверждение того, что, пока жива Россия, будет жить и ее главный город.

В «Поэме без героя» Ахматова лаконично и просто передает исчезновение Петербурга. Достоевский запрещен, Петербурга, создавшего русскую культуру, тоже не стало. Вместо него на географической карте появился сначала славянофильский Петроград, а затем и Ленинград. Все поглотил туман, в котором роились бесы:

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

И тем не менее видевший из-за рубежа нечто более важное Г.П. Федотов предсказывал: «Что же может быть теперь Петербург для России? <...> Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надышан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целые десятилетия. <...> Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли рождаются в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли»¹⁸. Так оно и произошло. И немалую роль сыграло то, *какие* мысли были рождены в этом городе.

Чудо культуры в том, что «камень, который отвергли строители, сделался главою угла» (Псал. 117, 22). Это великий закон, открытый библейской интуицией и повто-

¹⁷Устрялов Н.В. Судьба Петербурга // Устрялов Н.В. Очерки философии эпохи. М.: Вузовская книга, 2006. С. 182.

¹⁸Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб.: София, 1991. С. 53.

ренный в христианстве. Этим камнем оказался Петербург. Не случайно питерский поэт Мандельштам назвал словом «Камень» первый сборник своих стихов. Именно петербургская интеллигенция, изгнанная в эмиграцию (и оставшаяся здесь — Ахматова, Мандельштам) была среди тех, кто способствовал новому возрождению (антисоветской и постсоветской) высокой русской культуры.

Я хотел бы закончить эту главу строчками поэта Наума Коржавина:

Великий город над Невой!..
Как странно слышать мне сегодня,
Что ты — просторный и живой —
Казался мертвым и холодным.

Ведь все такое же: дворцы
И главный штаб с массивной аркой,
Проспекты, площадей торцы,
Нева, мосты, каналы, парки.

...

Мост над Фонтанкою-рекой
На Невском знаешь?
Где в разгоне
Вдруг человеческой рукой
В прыжке задержанные кони.

В уже начавшемся прыжке,
В уже прорвавшейся стихии...
Но конь в узде, узда — в руке!..
Так Петербург владел Россией.

Петербург

7. Явление Михаила Ломоносова русской культуре

Фигура Ломоносова всегда мне казалась необычной. Когда смотрел в молодости на памятник, то охватывало сильное сомнение, думалось, наверное, придумали, наверное, такого не было. И когда учился в Московском университете, ходил мимо Ломоносова, мимо символа университета, но как ко всякому официальному символу относился с недоверием, мстилось, что все рассказы о его величии (тем более что культурным контекстом еще не владел) своего рода пропагандистский миф, поскольку одновременно говорилось, что Россия — Родина слонов, а то и крокодилов. Потом начал читать и задумался: Господи, а ведь было же! И было это — потрясающим явлением. Первое, что я хотел бы сказать, — это о месте, где Ломоносов вырос.

Архангельск и Холмогоры до Санкт-Петербурга были воротами России в мир, морскими портами, связывавшими Московию с северной Европой. Это же, в сущности, были почти русские Афины. На чём вырастает античность? Это мореходство, это связь с миром, морская связь между островами, где существовали другие народы. Вспомним путешествие Одиссея. Если поморы общались с немцами, англичанами, голландцами, то возникла необходимость знать иностранные языки, отсюда шла и поликультурность. Вообще, на поликультурности вырастают самые сильные государства. Возьмём Великобританию, возьмём Великороссию. Это смесь разных этносов, разных ментальностей, которые в новом единстве и дают великую культуру. И вот Ломоносов идёт оттуда. Я не говорю о той версии, что он сын Петра

Великого, много фактов «за». Не забудем, что царь почти месяц работал на архангельских верфях, как раньше на сардамских. В 1711 году, когда родился Михаил Ломоносов, царь-преобразователь был в самой мужской поре. Версия об отцовстве Петра основана на всем известном желании Петра иметь наследника, которым якобы воспользовались старообрядцы, подложив царю Елену Иванову. Думаю, не надо стыдливо делать вид, что Петр не мог себе позволить эротический грех с архангельской крестьянкой. Странные отношения Ломоносова с официальным отцом, который не желал содержать сына, забил до смерти мать мальчика, тоже стоят в ряду объяснений, играющих на руку этому предположению. Годы учебы Михайло Ломоносов жил впроголодь, хотя его отец из бедняка, каковым он был до рождения сына, стал вдруг весьма богатым помором. Помощь холмогорскому юноше от сильных мира сего, связанных с петровским делом, тоже вряд ли была случайна. Но дело все же не в этом. Важнее, конечно то, что он, очевидно, продолжает петровскую линию. Петр для него создатель той России, которой он хотел служить и служил. Интересно, что Ломоносов, как и Петр, учился у немцев, сохраняя при этом независимость и достоинство российского человека, перенимавшего все науки, чтобы строить великую. Россию.

О нем можно говорить, как о прямом наследнике петровской идеи просвещения России. Быть может, самый энциклопедический русский ученый, создатель отечественной науки и словесности, равно почитаемый и западниками, и славянофилами, Ломоносов чувствовал, что своим существованием он обязан петровской ревности к наукам. Петр казался ему Творцом России, «земным божеством России». Он сделал пять надписей к статуе Петра Великого работы Растрелли. Первую я приводил. Они, конечно, хороши, каждая по-своему. Ведь как он определяет в пятой надписи заслуги Преобразователя, прекрасно понимая невероятную их значимость. Здесь каждое предложение можно акцентировать:

Гремящие по всем концам земным победы,
И россов чрез весь свет торжествовавших следы,
Собрание наук, исправленны суды,
Премненное в реках течение воды,
Покрытый флотом понт, среди волн грады новы...

Но полностью я все же приведу надпись четвертую.

Зваянным образам, что в древни времена
Героям ставили за славные походы,
Невежеством веков честь божеска дана,
И чтили жертвой их последовавши роды,
Что вера правая творить всегда претит.
Но вам простительно, о поздые потомки,
Когда, услышав вы дела Петровы громки,
Поставите олтарь пред сей геройский вид;
Мы вас давно своим примером оправдали:
Чудась делам его, превышим смертных сил,
Не верили, что он един от смертных был,
Но в жизнь его уже за бога почитали.

Как видим, он упорно повторяет мысль о божественном предназначении Петра, ибо только божество, на его взгляд, может создать великую страну.

Ломоносов, в сущности, здесь превзошел в похвале даже сподвижника Петра Великого, архиепископа Феофана Прокоповича, видевшего в деяниях Петра все же исполнителя указаний Бога, а не самого Бога: «Се день, о сынове российстии, прежде нам великую материю радости подававший, ныне же непрестающую скорбь и печаль вящше возбуждающий, день тезоименитства Петра Великого! Прежде в сей день торжествовала Россия, благодаря смотрению божию за дарованного себе монарха, первого толика славы в царех российских первому апостолу тезоименного и не всуе имя сие имевшаго, твердаго в вере, крепкаго в деле и как на утверждение отечества, так и на сокрушение супостат наших каменю подобнаго. Ныне же день сей, тоежде блаженство наше нам воспоминая, но уже от нас взятое, всех обще сердца наша, доселе от горести

не услажденная, еще и паче огорчается. Но что на пользу весьма побеждатися болезнию, когда так не возвратим, чего мы лишились! Не лучше ли то нам сделать, что и Богу и Петру нашему должны мы: то есть предложить на среду славныя таланты, дела же и действия Петрова. Вем, что сих воспоминание покажет, коликая нам сделалася трата, и тако великая в нас возбудит стенания. Обаче, о слышателие, какового нас чудный муж сей исполнял духа, то есть крепкаго, мужественнаго и в христианской философии искуснаго, таковым духом и сие последнее послужение наше совершить ему долженствуем. Скорбим и сетуим, но не яко окамененнии; плачима и рыдаим, но не яко отчаяннии; тужим от горести сердца, но не яко немии и чувств лишившийся. Многая одоужают нас, да не умолчим богоданных дарований, которыми нас обогатил изобильно, а весь свет довольно удивил сущий сей отец наш Петр воистинну Великий. Требует того от нас превысокое не по власти токмо, но и по силе достоинство его; требует раболепное и сыновнее благодарствие наше; требует и наипаче явленное нам чрез него великое благодеяние божие. Петрова бо дела предлагая, предложим дела божия, которая по всей селенней проповедуемая; аще мы умолчим, то якоже отъятием делателя недостойни их являемся, тако и молчанием неблагодарни Богу явимася»¹.

Я приводил уже формулу Михаила Погодина, в которой он перечислил начинания Петра в России, оказывається, практически всё, начиная с мореплавания и кончая

¹ *Прокопович Феофан*. Слово на похвалу блаженныя и вечнодостоинныя памяти Петра Великаго, Императора и Самодержца Всероссийскаго, и прочая, и прочая, в день тезоименитства его проповеданное в царствующем Санктъпетербурге, в церкви Живоначалныя Троицы, святейшаго правительствующаго Синода вице-президентом, преосвященнейшим Феофаном, архиепископом Псковским и Нарвским // Прокопович Феофан. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 202–203.

садоводством. Это и создавало из России Европу, русскую Европу, о которой мечтал Пушкин, за ним Тютчев, русские философы-эмигранты. Ломоносов — тот русский, я очень люблю этот термин, едва ли не первый ставший «русским европейцем», каковыми были все великие русские ученые-естествоиспытатели от Сеченова до Менделеева и Вернадского. Спрашивают часто, кто по масштабу, по разнообразию деятельности равен Ломоносову? Многогранность его фантастична. Ну, Пётр Великий, разумеется, который мог и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. А все началось с усвоения многих культур, с Немецкой слободы, с поездки в Голландию. При Алексее Михайловиче в России языков не знали. Были толмачи, которые переводили довольно плохо. Это была проблема, но уже Ломоносов свободно говорил по-немецки, был женат на немке. Я довольно долго был в Марбурге, видел дом, где он жил. Был в тех местах, где его, рослого и здорового мужчину, схватили и сделали прусским солдатом. Но он бежал. За побег грозила смертная казнь. Можно вообразить смелость и силу этого молодого русского ученого, я имею в виду физическую силу, который перелез через стену и бежал двадцать километров, не останавливаясь. Пока добежал до города, который входил в другое немецкое государство, где его уже не могли тронуть. У нас часто говорят, что наука дело немецкое, а мы живем чувством, духом, верой и т. п. Но вера в Бога никогда не мешала науке, напротив, помогала. Вот эта вера Ломоносова в себя и в Бога, она поразительна.

Творец! покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи.

Он верил, что Бог ему дает силы: «Устами движет Бог; я с Ним начну вещать», — писал он. И у Некрасова, поэта странного, есть строчка о Ломоносове: «по своей и Божьей воле стал разумен и велик». И это действительно так, была и своя воля, и Божья воля. Вот соединением и усилением этих двух волей он доказал одну важную и простую вещь, что рус-

ские люди могут быть великими учёными, если они открыты миру и мировой науке. Путь Ломоносова весьма показателен. Только восприняв иную культуру, в данном случае культуру европейского ареала, он поднял российский уровень. Великий Рим учился у Греции, но учеба никогда не мешала самостоятельности ученика, если у него было свое Я. Ломоносов несколько лет пробыл в Германии. Известно, что в России Ломоносов спорил с немцами, но у него был лучший друг Георг Рихман (*Georg Wilhelm Richmann*), погибший при проведении опыта, учился в Марбурге у Христиана Вольфа, любил свою жену-немку, да, спорил с немцами, а как не спорить, он действительно хотел ввести науку в Россию. Понимал, что русские не хотят учиться, их надо заставить. Убедить, что они тоже это *могут!* И эту проблему Ломоносов решал. Он был примером. Он был тот случай, то явление, которое показало миру, и даже не миру, миру, наверное, было наплевать, показало России, что это возможно.

Вы понимаете, что значит сила примера? Можно сколько угодно говорить красивые слова о необходимости современных технологий, о Сколково, о создании условий для того, чтобы российские ученые не уезжали на Запад, но была уверенность человека, доказавшего и показавшего своим примером русский путь:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

У нас обычно повторяют строчки о Невтонах и Платонах, забывая установку Ломоносова, что это должны быть люди,

которые сменяют ученых и инженеров «от стран чуждых». Можно об этом произносить много красивых и важных речей. Но прислушаемся к словам Хайдеггера, у которого есть прекрасное рассуждение, что не призывом, а бытием мы даём смысл явлению. Вот Ломоносов и был это бытие. Он был то, что есть, он был то, чем стал. Ну, вот опять вопрос: учился — не учился. Наверное, не так, может быть, учился, как учатся сегодняшние школьники. Сами знаете, как они учатся. Не буду об этом говорить. Но вот величайший мыслитель и поэт Возрождения Данте. Он окончил флорентийскую коммунальную школу, как назвать её точнее, не знаю. И больше не учился. Всё, что он дальше познал, он познал, разъезжая по Италии, читая книги, вступая в контакты со своими коллегами поэтами, богословами и т. д. Ведь обучение вещь странная. Оно неизвестно как приходит. Это, кстати, к вопросу о Шекспире. Я не очень верю в актёра Шекспира, но, несомненно, был некто, кто, возможно, тоже не кончал университетов, но этот воздух, пропитанный идеями, вдыхал жадно, сумел из воздуха воспринять идеи — это очевидно. Так и Данте воспринимал, и Ломоносов воспринимал. Он умел учиться, он умел слышать. Мне нравится идея о Ломоносове как истинном русском американце (хотя и европейце тоже). Он сумел свою науку сделать делом. Американец всегда знает, что и как делать, американцы, а до них англичане, умели превращать науку в дело и в деньги. То, что умел делать Ломоносов. В России к этому относились плохо. Есть прекрасный сюжет про Ползунова² и Уатта³. Ползунов изобрёл параллельно с Уаттом, а может быть и раньше свою паровую машину,

² *Иван Иванович Ползунов* (1728—1766) — русский изобретатель, создатель первой в России паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.

³ *Джеймс Уатт* (англ. *James Watt*; 1736—1719) — шотландский инженер, изобретатель-механик. Его именем названа единица мощности — ватт. Изобрел универсальную паровую машину

ему помогали немецкие *бергинженеры* (которые с легкой руки Петра объявились в России), но соотечественники на него все наплевали, и он умер, так и не увидев, как его машина заработала. Ползунов был тем, что называется хорошим русским словом «самородок». Всё против него, но он идет наперекор всему. Идею Уатта подхватили промышленники, подхватили ученые люди («Лунное общество»), миллионеры, они сказали: это должно работать, это принесёт деньги⁴. Джеймс Уатт скончался в возрасте 83 лет и был похоронен в приходской церкви (S. Mary's Church) в Хэндсворте. А вскоре в Вестминстерском аббатстве ему был воздвигнут памятник. Где похоронен Ползунов? Неизвестно. Известно, что где-то на Алтае есть Ползуново пепелище, где сгорела его «огненная машина».

Ломоносов показал, что возможно не только Ползуново пепелище, а возможна Академия, возможен университет. И вы представьте себе XVIII век. Была императрица, были влиятельные придворные люди, но в 1754 году Ломоносов составляет проект Московского университета, и он появляется через год! Не случайны слова Пушкина, что Ломоносов, в сущности, «сам был первым университетом»⁵. При этом Михаил Васильевич признавал свою значимость. Его понимание собственного достоинства осталось в русской культуре как планка. Пушкин писал: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у Господа Бога»⁶. Конечно, прежде всего он был ученым, но

двойного действия. Работы Уатта положили начало промышленной революции сначала в Англии, а затем и во всем мире.

⁴ См. об этом: *Киселева М.С.* Две судьбы одного изобретения: И.И. Ползунов и Джеймс Уатт. Роль культурного контекста // Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 396—418.

⁵ *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Критика и публицистика. М.: Художественная литература, 1962. С. 385.

⁶ *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Письма. С. 187.

нес в себе энергию *человека Возрождения*, став создателем и русской поэзии. Опять вынужден напомнить слова первого поэта России о Ломоносове: «Первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественно-го языка его, дает законы и образцы классического красноречия; с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает машины, дарит художества мозаичными произведениями и, наконец, *открывает нам истинные источники нашего поэтического языка* (курсив мой. — В. К.)»⁷.

Стоит привести его классические строчки, вспомнить Тютчева и поставить их в контекст тютчевского космизма:

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна.

Здесь очевидный исток тютчевской философской лирики.

Явление Ломоносова говорит нам о невероятном потенциале России, который губится на корню разными дурными обстоятельствами. Я бы назвал два. У нас говорят: дураки и дороги. Это красиво, это образ. Я бы сказал: отсутствие контактов с Европой и чудовищное правительство, которое время от времени перекрывает доступ воздуха и не даёт русским людям нормально общаться с миром. Как только чуть-чуть это разрешается... Стоит вспомнить XIX век, сороковые годы, когда граф Строганов стал посылать русских студентов в Германию учиться. Какая плеяда мыслителей, учёных вернулась в Россию! Юные ученые не остались там. У нас часто с дурным самоедским сладострастием говорят: вот Борис Годунов отправил шестнадцать ребятишек учиться-

⁷ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. С. 12–13.

ся в Европу — ни один не вернулся. Дескать, и правильно. Что, мол, делать в этой России! А куда было возвращаться-то? Смута была, Смутное время. Вот когда молодых людей Пётр отправил, они вернулись и начали строить петровскую Россию. Вот для этого должны быть правители, которые понимают, каких людей надо посылать, и готовить то место, куда можно вернуться, чтобы строить.

Как пишет современная исследовательница, «имя Ломоносова стало легендарным практически сразу же после его смерти. <...> Последующие поколения тем самым вывели имя ученого из зоны критики, создали опасную иллюзию завершенности в изучении его наследия. Вместе с тем энциклопедическое наследие Ломоносова может стать объектом исследования ученых разных специальностей, как и вектор изучения его деятельности может быть направлен на множество интересных тем в истории философии и истории идей, включая проблемы интеллектуальной коммуникации и философской компаративистики»⁸.

Ломоносовский период в истории русской культуры — поразительный период большой близости государства и ученых, писателей и поэтов в просветительской деятельности. Это была поразительно светлая эпоха в осознании России своей имперской мощи, которая позволила ей войти в Европу, а не противостоять Западу. Именно тогда утверждается сравнение России с Римской империей как наследницей и объединительницей всех европейских смыслов. Разницу Ломоносов видел только в том, что Россия возвысилась при единодержавном правлении, а Рим при республиканском. Он писал: «Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству

⁸ *Артемова Т.В.* Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711–1765) // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 125.

первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась. Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь великими примерами. Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохранению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать можно»⁹.

Интересно, что свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную инвективами против государства, Радищев заключает панегирическим «Словом о Ломоносове». В последней главе «Черная грязь» он пишет: «Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановись пред столом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. <...> Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и

⁹ *Ломоносов М.В.* Древняя Российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 г. // *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 6. М.; Л.: АН СССР, 1952. С. 7.

могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу»¹⁰. Парадоксально, что в поисках явления, которое можно было бы противопоставить империи Петра, Радищев находит Ломоносова, рожденного этой империей, не раз певшего хвалу Петру Великому. Но Радищев видит в нем силу личности, личности, которая *равна* государству. То есть *один* может противостоять *целому*. И противостоять именно в слове: «В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно»¹¹. Конечно, он думал о собственном противостоянии Екатерине Великой. Но дело-то в том, что Ломоносов был тот случай в русской истории, когда великая личность абсолютно адекватна интересам государства, хотя порой и спорит с ним. Восхваляя Ломоносова, первый русский путешественник был его абсолютным антагонистом.

Ибо Ломоносов, будучи великим творцом, никогда не мыслил, что в противостоянии Богу или государству он найдет себя:

Сие, о смертный, рассуждая,
Представь Зиждителю власть,
Святую волю почитая,
Имей свою в терпении часть.
Он всё на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси.

Ода, выбранная из Иова, 1751

Радищев был настроен иначе. Но о нем в следующей главе.

¹⁰ Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб.: Наука, 1992. С. 115.

¹¹ Там же. С. 123.

8. Радищев: попытка вернуться в Московскую Русь («Путешествие из Петербурга в Москву»: новое прочтение)

Вышли персты руки человеческой
и писали против лампы на извести
стены чертога царского.

(Дан 5, 5)

Миф и загадка Радищева

Почему путешественник отправился в Москву? Дворянин мог поехать в свое имение, мог путешествовать *с целью* (вроде Чичикова) по российским просторам. Путь чиновника лежал бы скорее в столицу, то есть город Святого Петра. Путешественник вовсе не спешит в Москву на «ярмарку невест» (Пушкин) и не к забытой в странствиях возлюбленной, как Чацкий. Даже и не в университет, хотя похвальное слово Ломоносову произносит. Что же влечет его в первопрестольную? Конечно, во времена Радищева не было еще тех историософских сравнений двух столиц, которые характерны для эпохи Гоголя, Белинского, Аксаковых, Герцена, ибо не сложились четко обозначившиеся идейные направления — славянофильство и западничество. Но хоть направлений и не было, но проблема уже была. И, кажется, одним из первых на нее обратил внимание Радищев¹.

¹ Это не замечается, и характерно, что В.Н. Топоров не включил книгу Радищева в свой «петербургский текст». «Начало

Вообще, проблем он поставил множество. До сих пор его и третируют, и апеллируют к нему, и не могут отказаться от него. Он и первый дворянский революционер, и «бунтовщик хуже Пугачева» (Екатерина II), он и первый западник (так его определил Герцен, найдя Радищеву антитезу в лице Михаила Щербатова как предтечи славянофильства), он и первый интеллигент (Бердяев), и первый русский гуманист (Эйдельман), римский стоик (скажем, Биллингтон), первый русский самоубийца (Чхарташвили). По мнению Григория Чхарташвили, Радищев проложил путь русским писателям-самоубийцам, не вынесшим политических катаклизмов России, «открыл длинный мартиролог русских писателей-самоубийц»². Это и вправду стало расхожей мыслью, *хотя строгий подход требует говорить об убийствах поэтов в России*. В фундаментальном труде Биллингтона, обобщившем основные точки зрения на русскую культуру, сказано: «Радищев был, быть может, первый, кто обратил специально внимание на монолог Гамлета в своей последней работе “О человеке, его смертности и бессмертии” и решил вопрос, взяв собственную жизнь согласно этому образцу, в 1802 году. Последнее десятилетие XVIII столетия отмечено числом аристократических самоубийств. Героическое самоубийство рекомендовалось римскими стойками, которые были для аристократов XVIII столетия героями классической античности»³.

Петербургскому тексту было положено на рубеже 20–30-х годов XIX в. Пушкиным» (Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы». Введение в тему // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: Издат. группа «Прогресс» — «Культура», 1995. С. 275.

²Чхарташвили Григорий. Писатель и самоубийство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 205.

³Billington James H. The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. New York, Vintage Books, 1970. P. 355.

В римских республиканцев играли и деятели французского Конвента. Легенда об отравлении-самоубийстве Радищева идет от Пушкина (статья «Александр Радищев») и Герцена: «Налил себе стакан купоросного масла и выпил его»⁴. Очень хотелось иметь реального русского стойка, вроде римских. Мифов много, это один из них.

Начнем с него, попытаемся его разобрать.

Тема самоубийства у Радищева была (даже и в «Путешествии», в первых строках⁵), но скорее как дань моде, все бредили римским республиканизмом и стоицизмом. Лотман писал осторожно об этой теме мыслителя: «Радищевым поднимался вопрос о праве на самоубийство. <...> Рассуждение о героическом самоубийстве как следствии готовности погибнуть, но не покориться тирану, было удобной и вполне понятной читателю XVIII века формой выражения. <...> В литературе XVIII века имелась прочная традиция прославления тираноборческих подвигов античных “героев-самоубийц”»⁶. Тирана перед Радищевым не было.

Рассказывают обычно так. Радищев потребовал в 1802 году в законодательной комиссии отмены крепост-

⁴ Герцен А.И. Император Александр I и В.Н. Каразин // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. XVI. М.: АН СССР, 1959. С. 65.

⁵ «Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончающегося бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна» (*Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / изд. подгот. В.А. Западов. СПб.: Наука, 1992. С. 9. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте).

⁶ Лотман Ю.М. Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в Москву» // Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993): История русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство-СПб., 1997. С. 251.

ного права и дворянских привилегий. Граф Завадовский спросил его, не хочет ли он снова в Сибирь. Радищев бросился домой, выпил стакан ядовитой жидкости, которой его сын чистил эполеты, начались жуткие боли, пытался зарезаться бритвой, бритву отобрали. Умер в страшных муках. Такова история, с которой согласны все. Но, думаю, что если бы Радищев испугался сибирских тягот и бед, то вряд ли бы он избрал намного более страшные мучения перед смертью в результате отравления кислотой. Не случайно, выпив ее, хотел перерезать себе горло бритвой. Бритва и была той всеми отмеченной попыткой самоубийства, чтобы избавиться от диких болей, которые причиняла ему выпитая (похоже, что по ошибке) жидкость. К сожалению, я не могу доказать фактически свое утверждение, но ведь и сторонники версии самоубийства также не располагают никакими реальными доказательствами.

Существенно, однако, что Радищев в свои последние годы был не в оппозиционном, а в правительственном лагере, ибо его антикрепостническая позиция, по сути, совпадала с позицией Александра I. Приведем соображения весьма кропотливого современного исследователя: «Последний год жизни Радищева отмечен усиленным вниманием к нему со стороны императора: Радищев был единственным из всех чиновников комиссии по составлению нового Уложения, вызванным на коронацию в Москву (вместе с графом Завадовским). В течение 1802 года все прочнее делалось служебное положение Радищева, ему повышен оклад (с полутора тысяч до двух, что равняло Радищева с другими членами комиссии), возвращен орден св. Владимира 4-й степени. Наконец, находясь в стесненном материальном положении, Радищев обращается к императору с просьбой о значительной денежной ссуде. <...> В день смерти Радищева, когда весть о тяжелом состоянии писателя достигла Зимнего дворца, император присылает своего лейб-медика Виллие — факт, на важность которого обратил внимание Ю.М. Лотман. Кроме Радищева в

XIX веке подобной чести удостоились еще только два русских писателя — Н.М. Карамзин и Пушкин»⁷.

На мой взгляд, загадка самоубийства — мнимая загадка. Думаю, подробного и продолжительного обсуждения она не заслуживает. Задумаемся лучше о другом.

Вектор движения

Почему все же Москва?

XVIII век — это построение Петровской империи, а далее (вплоть до сего дня) проверка ее жизнеспособности. Весь век у Петровских реформ есть друзья и враги. Первые враги появились в конце XVIII века — это Пугачев и Радищев, поэтому такой пристальный интерес к ним у наиболее последовательного сторонника Петра Великого и его преобразований — у Пушкина.

У Герцена рядом поставлены два инакомысла этого столетия — Щербатов и Радищев. Только он считал, что Щербатов оборачивается назад, а «Радищев — смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века»⁸. Радищев, в отличие от Щербатова, полагал Герцен, против *допетровской* жизни. Я бы позволил себе в этом усомниться. При этом надо сказать, именно Герцен замечает, что «путешественник» «предается полному отчаянию»⁹. Противоречивость герценовской оценки здесь

⁷ *Немировский И.В.* Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: Гиперион, 2003. С. 310–311.

⁸ *Герцен А.И.* <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева> // Герцен А.И. Указ. изд. Т. XIII. С. 272.

⁹ Там же. С. 277. Столь же опрометчиво было и Щербатова отнести к ревнителям старины. Как справедливо пишет современная исследовательница: «Нужно совсем не знать Щербатова, чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуждал отдельные петровские начинания, однако был искренне убежден, что “в рассуждении просвещения и славы” Россия в годы

очевидна. Радищева с его легкой руки называют западником, а тот и сам каялся, что начитался возмутительных французских книжек¹⁰, но отсюда еще не следует его западничество, более того, мы знаем, что славянофилы начинали как раз с освоения западноевропейских идей.

Если посмотреть непредвзято на текст радищевского «Путешествия», то станет очевидно: вся книга о возможной гибели Петербургской империи. Не случайно, комментируя Радищева, Герцен писал: «Петербургская Россия <...> очевидно не есть достигнутое состояние, а достижение чего-то, это репные зубы, которые должны выпасть; она носит во всех начинаниях — характер переходного, временного, империя стропил — столько же, сколько фасад, она не в самом деле, не “взаправду”, как говорят дети»¹¹. Историческое движение постпетровской имперской России было из Москвы в Петербург. Само название книги Радищева требовало попятного движения, назад, в Москву. «Путешествие из Петербурга в Москву» — это

его правления продвинулась далеко вперед» (*Артемьева Т.В.* От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетей, 2005. С. 272–273).

¹⁰В своих показаниях Тайной экспедиции Радищев писал: «Между другими коммерческими книгами купил я историю о Индиях Реналья. Сию то книгу могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 1780, или 81 году. Слог его мне понравился. Я высокопарный (*amroulé*) его стиль почитал истинным вкусом, и видя ее общечитаемою, я захотел подражать его слогу. <...> И так могу сказать по истине, что слог Реналева, водя меня из путаницы в путаницу, довел до совершения моей безумной книги, которая готова была в исходе 1788 года» (*Бабкин Д.С.* Процесс Радищева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 188–189).

¹¹*Герцен А.И.* <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 277.

даже на первый взгляд явный отказ от петербургской империи, возврат в московскую старину, когда были счастливы бары и крестьяне, не было рекрутских наборов и пр. Певец империи Пушкин, разделял взгляды Радищева на необходимость свободы, но полагал возможность свободы лишь в империи, ибо остальное — пугачевщина. Он ответил ему «Путешествием из Москвы в Петербург». К сожалению, мало кто вдумывается в символику названий этих двух путешествий. Пушкин полагал, что будущность России связана с движением из Москвы в Петербург.

Мы говорим о том, что Пушкин пытался возродить память о Радищеве, писал, что «вослед Радищеву восславил я свободу», но забываем, что сам он от этой строчки отказался, и, думается, не только из цензурных соображений, а уточняя свою поэтическую и политическую позицию. Более того, признавая значение книги и отчаянную смелость поступка Радищева, Пушкин идейно по всем пунктам с ним не соглашается. Конечно, его мысль постоянно возвращается к радищевским темам, думаю, в том же регистре, в каком он постоянно обращался к теме Пугачева: как к двум противникам Петровской империи и дела Петра. Пугачев им описывается вполне объективно, а в «Капитанской дочке» даже с симпатией, почти как Роб Рой. Там же Пушкин рисует образ дворянина Швабрина, с испугу принявшего крестьянский бунт. *Тема Радищева?..*

Вчитаемся в комментарий Пушкина к словам Екатерины (поэт именно здесь видел причину ненависти императрицы к путешественнику): «Он хуже Пугачева; он хвалит Франклина. — Слово глубоко замечательное: монархия, стремившаяся к соединению всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии¹². Радищев предан был

¹²Надо сказать, Герцен не оценил точности пушкинского понимания, может быть, по собственной ненависти к Петербургу. Он писал, что Пушкин находит сравнение Екатериной Радищева с

суду. Сенат осудил его на смерть. <...> Государыня смягчила приговор»¹³. Мрачная сила радищевских инвектив и пророчеств своей убежденностью в неминуемой гибели империи, своим невероятным дальновидением невольно напоминала, конечно, Франклина, но не только: можно вспомнить по крайней мере Нострадамуса, предсказавшего, как известно, падение французского королевского дома. Когда французская революция началась, все вспоминали исполнившееся пророчество Казота. И в атмосфере случившегося катаклизма, который казался потрясением мировых основ, пророчеств пугались не меньше, если не больше, чем прямых обличений. Не меньше крестьянской войны. С крестьянами уже научились справляться. Да к тому же Пугачев думал о *власти*, а не о развале империи. Такое придумать мог только субъект *из своих*: Пугачев из университета, дворянский Нострадамус.

Но для начала поглядим на степень неблагодарности, столь характерной для пишущего человека, и сегодня пытающегося отрицать дело Петра, забывающего, что без усилий Петра и Екатерины не было бы и его собственно-го образования, не было бы вообще русской классической литературы.

Литература и империя

Как начиналась новая русская литература?

Без сомнения, с Петровских реформ, скажет любой. Об этом еще и Пушкин писал: «Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в пору мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словес-

Франклином «глубоко знаменательным — нам оно кажется чрезвычайно глупым» (*Герцен А.И.* <Предисловие к «Путешествию из С.-Петербурга в Москву» А. Радищева>. С. 279.

¹³*Пушкин А.С.* Александр Радищев // *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1962. С. 214.

ность взор рассеянный, но пронизательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не взлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике *вечного труженика* Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища. Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться»¹⁴. Что ж, инициированная реформами первого русского императора, она поначалу и была связана с задачами и успехами империи.

И вот уже сын «холмогорского рыбака», сиречь Ломоносов, обращается к императрице Елизавете, «Петровой дщери»:

Народов Твоя державы
Различна речь, одежды, нравы,
Но всех согласна похвала.

И просит Музу:
Гласи со мной в концы земные,
Коль ныне радостна Россия!
Она, коснувшись облаков,
Конца не зрит своей державы,
Гремящей насыщённа славы...

Ода на день восшествия на престол... 1746

Именно обширность империи, разнородность и разноставность ее народов, беспредельность Государства восхищают поэта. Это географическое величие страны должно подтвердить само *солнце*:

В Российской ты державе всходишь,
Над нею дневный путь проводишь
И в волны кроешь пламень свой...

Ода на день брачного сочетания... 1745

¹⁴Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А.С. Указ. изд. Т. 6. С. 409.

Имперское сознание определяет творчество первых русских поэтов XVIII века, даже сатира Кантемира и Фонвизина решала вполне государственные задачи, была *служилой*, воспитывая подданных в должном духе, духе *государственного просветительства*, что предполагало необходимыми составляющими «апофеозу» Отечества, его военной мощи, завоевательной политики, расширявшей пределы державы. Не только Ломоносов, но и второй великий поэт того же столетия Державин, певец «Фелицы», гордо мог воскликнуть:

О кровь славян! Сын предков славных,
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Взросший на полсвета рос!

На взятие Измаила, 1791

Иными словами, любовь к родине отождествлялась с любовью к империи. Радищев выдвигает иной принцип: «уязвленность» человеческими страданиями, стыд жить величием, когда страдают «малые сей земли». Послушаем Н. Эйдельмана: «Радищев погиб, оставя главное наследие, свою совесть, свой стыд; они придают особую нервную энергию даже архаическим, малопонятным главам “Путешествия”»: и вот в чем, полагаем, главная тайна этой книги.

Радищевский стыд унаследовала великая русская литература, прежде всего писатели из дворян, которые “не умели” принадлежать своему классу»¹⁵.

Но так ли это? Ведь стыд за себя — категория не национальная, а все-таки общечеловеческая. Поэтому определять через нее пафос всей русской литературы кажется слишком опрометчивым. Было ведь и понятие «дворянской

¹⁵ *Эйдельман Н.Я.* Путешествие с Радищевым // Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., Книга. 1990. С. 14–15.

чести», и бунинская нелюбовь к «деревне». «Власть тьмы» даже Толстой увидел...

Существенно для нашей темы, однако, что этот стыд предполагал разрыв с имперским сознанием, противопоставление совестливой личности величию государства. Поэтому в момент торжественного и стремительного становления империи таможенный чиновник Александр Радищев издает полулегально книжку сентиментального путешественника, который в силу своей сентиментальности преисполняется состраданием к простому народу, встреченному им на дороге. Он путешествует из Петербурга в Москву, а дорога эта даже в те времена занимала не более шести-семи дней. Обширности империи и проблем ее разных народов путешественник не заметил. Конечно, можно сказать, что немало на этом пути ему все-таки удалось увидеть, о многом подумать. И вот, глядя окрест себя и уязвив свою душу страданиями человечества, а точнее, русского крестьянства, автор вдруг предрекает не больше, не меньше как грядущий *распад империи*, надеясь, что из этого для народа впоследствии вытекает благо. Именно это ставилось ему обычно в заслугу. Но был ли уж так напрямую связан распад империи с народным благом? Сегодня позволительно в этом если и не усомниться, то во всяком случае над этим задуматься.

Пушкин сказал о Петре: «кем наша двинулась земля». Почти то же самое говорит Радищев. Почти, да другое. 8 августа 1782 года Радищев присутствовал на открытии памятника Петру Первому. Он как бы стыдится хвалить Петра: «И хотя бы *Петр* не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что *дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенствующее вещество была без действия*. Да не уничижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь *властного само-*

держца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстить невозможно!»¹⁶ (курсив мой. — В. К.). Итак, мы возвращаемся к мысли Бердяева: неужели Радищев сторонник «дикой вольности»? Неужели ослепленность собственными чувствами может привести человека, заметившего ужасы французской революции, о которой он резко отрицательно написал в «Путешествии», к дикому отрицанию законопорядка?

В «Путешествии» Радищев весьма резко отзывается о французской революции: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей» («Краткое повествование о происхождении цензуры». С. 91). У Радищева не было иллюзий относительно французской революции с самого начала¹⁷. Интересно, что Бастильскую крепость он называет пропастью, но вот пафос империи ему чужд.

¹⁶Радищев А.Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего // Радищев А.Н. Избранные философские сочинения. М.: Госполитиздат, 1949. С. 204.

¹⁷Любопытно, однако, как сильна сила традиционного восприятия. Даже серьезные современные историки воспринимают Радищева не иначе как революционера. Можно взять практически любую книгу об этой эпохе, чтобы увидеть следование традиционному прочтению Радищева.

Желание вольности, или Страх бунта?

Интересна мысль Радищева: Петр дал стремление обширной громаде, но он же убрал последние остатки вольности.

Но что такое вольность?

Радищев, говорят, был крепостник, крут с крестьянами. Впрочем, уже в первой главе он признается, что «намеревался сделать преступление на спине комиссарской» («София». С. 8), то есть обломать палку о спину дорожного зрителя, какого-нибудь Самсона Вырина. Сообщает, правда, об этом с сентиментальной ужимкой. По мнению французов, сентиментальность есть чувствительность грубых нервов. Сам Радищев оправдывался: «Примеры влaствования заразительны» («Хотилово». С. 72). Но страх преследовал его. В конечном счете, можно сказать, что его книга есть реакция испуга на пугачевский бунт и попытка найти какой-то выход. Есть ли у народа возможность вести себя по-иному?

Вспомним строки К. Аксакова:

Раб в бунте опасней зверей,
На нож он меняет оковы...
Оружье свободных людей —
Свободное слово.

Свободное слово, 1854

А теперь слово Радищеву: «Но ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувство. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в узах нами содер-

жимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет¹⁸. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колик яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно» («Хотиллов». С. 72).

Чего боялся, то и случилось.

Ю. Карякин и Е. Плимак в своей известной книге обещали *развенчать либеральную легенду* о Радищеве. Они пишут: «Сталкивая выразителей различных общественных мнений, сопоставляя различные точки зрения, заставляя своих положительных героев отбрасывать одну иллюзию за другой, Радищев подводит читателя к революционным выводам. <...> Революционное просветительство в настоящем, народная революция в будущем — таков “Проект в будущем” Радищева, таков его ответ на вопрос “*что делать?*” — великий вопрос всей русской демократической литературы XVIII—XIX вв.»¹⁹ (курсив Ю.Ф. Карякина и Е.Г. Плимака. — В. К.). Итак, по их мнению, перед нами первый сознательный дворянский революционер, к тому же явный намек, что более гуманный, чем последующие

¹⁸ Назвав свою газету «Колокол», Герцен и Огарев, очевидно, понимали, что может воспоследствовать из их проповеди.

¹⁹ Карякин Ю.Ф. и Плимак Е.Г. Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М.: Наука, 1966. С. 138.

радикалы. Однако немецкий исследователь остроумно назвал Радищева «приемным отцом», даже, точнее, «отчимом» (*Ziehvater*)²⁰ русского революционного движения.

Зачем же Радищев писал «Вольность»? Неужели как призыв к революции? Ведь там отношение к вольности у него весьма двойственное. Правда, авторы (Карякин и Плимак) полагают, что мыслитель изменил свое отношение к бунту после робеспьеровского террора 1793 года: «К концу 90-х годов концепция Радищева приняла резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель за революционное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением диктатуры, гражданские войны ничем не отличаются от всякого рода завоевательных походов и войн»²¹. Но на самом деле именно в «Путешествии» (напоминаю, в 1790 году), в главе «Тверь», пишет он ту фразу, которая приводится авторами как пример его отрезвления: «Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» («Тверь». С. 102). Это примечание путешественника к оде «Вольность». Но ведь и сама ода «Вольность» написана в 1781—1783 годах, так что делать из ее текста выводы о возможных аллюзиях на Французскую революцию и вовсе полная нелепость. В этой оде можно прочесть идейную схему его путешествия: вольность необходима, но она и катастрофична. Крестьяне законов не знают: они способны только на бунт. И как же с ними поступать? Полная безысходность. Выхода нет. И уж совсем нет выхода в революцию.

В книге есть слова о законе, с которым автор сопрягает вольность. Стихотворец говорит путешественнику: «Я ее

²⁰ *Boden Dieter*. Deutsche Bezüge im Werk Nikolaj Novikovs und Aleksandr Radiščevs // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung / hrsgb. von Dagmar Herrmann. Wilhelm Fink Verlag, München, 1992. S. 460.

²¹ *Карякин Ю.Ф. и Плимак Е.Г.* Указ. соч. С. 285—286.

развернул и читал следующее: — Вольность... Ода... — За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: “вольностью называть должно то, что все одинаковым повинуются законам”. Следственно, о вольности у нас говорить вместе» («Тверь». С. 96). Но еще раньше в главе «Едрово» он увещевает крестьян, пытавшихся покарать барина за блуд с крестьянками: «Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен» («Едрово». С. 62). Правда, там же он замечает, что «крестьянин в законе мертв» (там же). А стало быть, и решения по-прежнему нет.

Вольность не может предотвратить бунт.

Зачем же пишет он свою книгу?

Книга

В дневнике А. Никитенко, как реакция на герценовский конвюлет, зафиксировано общее представление о том, как «Путешествие» явилось в свет: «Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типографщики не хотели печатать, несмотря на то что обер-полицмейстер, тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу и сбросил ее по дорогам, на постоянных дворах и т. д. Он же говорит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и подвергнуть преследованию своего

автора. Это было в разгар французской революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испугалась таких сочинений, как «Вадим» Княжнина и книга Радищева»²².

Екатерина после жестких определений насчет «бунтовщика хуже Пугачева», «мартиниста», сторонника «Франклина» в окончательной редакции приговора назвала ее «вредными умствованиями». Сам Радищев резонно оправдывался, что он вовсе не собирался звать народ к бунту, что по самому стилю книги видна ее непригодность для народного чтения, поэтому приписывание ему такого замысла нелепо. Он писал в тюрьме 6 июля 1790 года: «Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что писана она слогом, для простого народа не внятным, что и напечатано ее очень мало, не целое издание или завод, а только половина. И может ли мыслить о сем, кто общников не имеет; возмог ли я помыслить, что почесть меня таким возможно»²³. Конечно, разбрасывать такую книгу по дорогам и постоянным дворам было бы нелепостью.

Слог ее действительно невнятен. Это слог человека, конечно, обращающегося не к народу, а к правителям. Слог пророка. Об этом необходимо сказать два слова. Начну с отношения к языку Радищева. Американский исследователь, человек весьма глубокомысленный, тем не менее из-за малопонятного слога отказывает книге даже в смысле: «Написана книга ужасно, и если исходить из одних ее литературных достоинств, вряд ли вообще заслуживает упоминания. В ней царит такая идеологическая путаница, что критики и по сей день не сойдутся в том, какую же цель ставил себе автор: призыв к насильственным переменам

²² *Никитенко А.В.* Дневник.: В 3 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.

²³ Показания А.Н. Радищева // Бабкин Д.С. Процесс Радищева. С. 171.

или просто предупреждение, что если вовремя не провести реформ, то бунт неизбежен»²⁴. Скажем, Г. Плеханов, при всем его уважении к «революционаризму» Радищева, считал, что самый главный недостаток знаменитой книги Радищева — это плохой язык. В его сочинениях, писал Плеханов, на каждом шагу встречаются «славянщины», чем большее значение имеет в его глазах предмет, о котором он пишет, тем охотнее облакает он свои мысли в тяжеловесное церковно-славянское одеяние. Но «славянщина» — это библеизмы, это тот язык, на который была переведена Библия. Как уже замечали исследователи²⁵, книга Радищева переполнена не просто церковнославянскими, но именно библеизмами, постоянными внутренними отсылками к Библии.

Например: «Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем, блажен живущий в мечтании» («Выезд». С. 7) — очевидный парафраз евангельских слов Христа. Иногда он просто переносит свое движение в некое вневременное пространство, как бы выходя за пределы земного, становясь своего рода посланником свыше: «Зимой ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом» («Любани». С. 10). В другой главе отец обращается к сыну со словами наставления, которые более подошли бы в качестве наставления христианскому мученику: «Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою» («Крестыцы». С. 53). И т. д. Герцен сравнивает Радищева с пророком Даниилом, хотя и отказывает

²⁴ *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 337.

²⁵ *Кукушкина Е.Д.* Библийские мотивы у Радищева (доклад прочитан на конференции «Философия как судьба: А.Н. Радищев. К 250-летию со дня рождения». СПб., 20–21 августа 1999).

соотечественнику в пророческом даре: «Радищев не стоит Даниилом в приемной Зимнего дворца. <...> Он не имеет личного озлобления против Екатерины»²⁶. Но невольное сравнение начинает работать само по себе.

Даниил был мудрый и смиренный еврейский юноша, выросший и воспитанный в Вавилоне. Когда-то он разгадал сон Навуходоносора, сообщив тому, что вскоре возникнет несокрушимое государство вместо Вавилона. Скорее всего, речь шла о царстве небесном, но российские мыслители хотели видеть в этом царстве Россию. Тютчеву принадлежит весьма известное политическое стихотворение «Русская география», где он предрекает, что Россия станет всемирной империей:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не пройдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>

Поэт ссылается здесь на ветхозаветное пророчество (на книгу пророка Даниила) о том времени, когда «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан 2, 44). Но, стало быть, текст Даниила существовал в сознании государственно мыслящих русских писателей. Однако текст обширен, и главная его мысль все же не в этом предсказании. Более того, в культурное сознание Даниил вошел еще и как пророк, предсказавший падение великой империи²⁷. Не Навуходоносора, как излагал

²⁶ Герцен А.И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 273.

²⁷ Правда, русские националисты начала XX века увидели в этом предсказании еврейского пророка ту мысль, что вавилонское государство погибло от разнонародности, расшатываю-

Меньшиков, а Валтасара, забывшего о работе правителя. Валтасар, сын Навуходоносора, среди роскоши пира, в окружении жен и наложниц, вдруг увидел «как вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского» (*Дан 5, 5*). Испуганный Валтасар позвал Даниила, чтобы тот объяснил написанное. Даниил сказал: «Вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (*Дан 5, 25–28*). Кончается текст о Валтасаре словами: «В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет» (*Дан 5, 30–31*).

щей ее крепость: «Я советовал бы патриотам русским повнимательнее вчитаться в пророчество Даниила (гл. 2). Исполин, символизировавший великое царство Вавилонское, был потому разбит камнем, оторвавшимся от горы, что составлен был из разнородных материалов. Золотая голова, серебряная грудь, медное чрево, железные голени, глиняные ноги: “все вместе раздробилось... и сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них”. Такова судьба всех *пестрых* царств. “Как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство, — говорил Даниил, — частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, — это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим”. <...> Вот великое пророчество для всех народов, имевших гибельную ошибку свое однородное подменить разнородным, свое родное — инородным!» — писал в 1908 году публицист газеты «Новое время» (*Меньшиков М.О. Пророчество Даниила // Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М.: Изд. журнала «Москва», 2005. С. 72–73*). То есть то, в чем имперские поэты Державин, Пушкин и Тютчев видели силу Российской империи, — в обилии населяющих ее народов — националистические публицисты начала прошлого века увидели причину краха. Но примерно то же самое предсказывает и Радищев.

И вот что мы читаем в главе «Тверь», где путешественник пересказывает оду «Вольность»: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее» («Тверь». С. 102). Совпадение с пророчеством Даниила поразительное, да еще торжественный библейский тон. Кажется, Екатерина и Пушкин были правы, увидев именно здесь болевую точку книги, а Герцен недооценил апокалиптическую текст. Впрочем, сам автор книги добавляет: «Но время еще не пришло» («Тверь». С. 102).

Разумеется, бессмысленно было разбрасывать такую книгу по дорогам и постоялым дворам. Он обращался к тем, кто мог хоть немного понять ее непростой смысл. В показаниях он сообщает: «Экземпляров я роздал очень мало, да и не имел намерения моего много отдавать, а хотел употребить их в продажу для прибытка. Один экземпляр г. Козодавлеву, ему же один для г. Державина. <...> Если спросят, с каким намерением я их раздавал, то только, чтобы читали, ибо все они упражняются в литературе»²⁸.

Разумеется, все повели себя по-разному. Имперский поэт Державин, воевавший с Пугачевым, делавший все для укрепления Российской империи, не мог не почувствовать страшного пророчества Радищева. И, разумеется, отдал книгу императрице, как реальной защитнице новой мировой империи. Считается, что Радищев знал об этом: «Сам Радищев рассказывал, что Державин поднес Екатерине присланный ему экземпляр “Путешествия”, отметив карандашом важнейшие места. Так по крайней мере свидетельствует сын Радищева (см. «Русский Вестник». 1883 г. № 23. Стр. 430)»²⁹.

Державин, передавший свое перо Пушкину, будущему «певцу империи и свободы» (Г.П. Федотов), прекрасно по-

²⁸ Бабкин Д.С. Процесс Радищева. С. 170.

²⁹ Державин Г.Р. Записки. 1743–1812. Полный текст. М.: Мысль, 2000. С. 307.

нимал смысл и отчасти правоту написанного Радищевым, но чутьем царедворца угадал несвоевременность пророческих высказываний, поэтому после отправки Радищева в Сибирь написал иронически:

Езда твоя в Москву со истиною сходна,
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна,
Я слышу, наконец, ямщик кричит: вирь, вирь!
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь³⁰.

*«Езда твоя в Москву со истиною сходна...»,
1790*

Не забудем, что книга полна обличительного пафоса, который в тогдашней русской литературе можно было сравнить только с пафосом Аввакума. Аввакум почитал себя почти пророком. К кому же обращались, как правило, пророки? Пророк, обличая царя и народ, к кому обращается — к царю, к народу? Обращать печатное слово к неграмотному народу было абсолютно бессмысленно. Здесь Радищев несколько не лукавил. Значит, к императрице.

Говорят, что тип путешествия позаимствован им у Стерна (А. Веселовский и др.). Но Стерн — ироник, а путешественник Радищева сентиментален, наподобие «руссоистски» начитанного дворянина. Некая сентиментальная интонация очевидно идет от французов, но сам жанр путешествий был весьма характерен также и для древнерусской литературы, опыт которой Радищев не только учитывал, но и использовал в тексте (глава о страннике, поющем об Алексее, человеке Божиим). Более того, он и дальше работал с этими текстами. Но еще здесь можно увидеть и внутреннее сравнение себя со святыми. Как пишет в своем исследовании о XVIII веке Т.В. Артемьева, «сидя в 1790 г. в тюрьме в ожидании казни, Радищев начинает писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой вел жизнь столь добродетельную, что был *удосто-*

³⁰ Там же. С. 306.

ен права знать время своей кончины, и преставился в 792 г., практически ровно за тысячу лет до предполагаемой казни Радищева, со словами молитвы Господней на устах. Возможно, это житие — персонализация и определенная идентификация жизни самого Радищева, не могущего не заметить эти знаменательные совпадения»³¹ (курсив Т.В. Артемьевой. — В. К.).

Но мог ли почитать он себя святым?

Секс и покаяние

С библейской прямоотой и простодушием говорит Радищев о сексуальных проблемах. Он откровенно описывает сластолюбие помещиков, превращавших крепостных женщин в наложниц. Здесь не только прообразы дворян-сладоэротиков Достоевского (Свидригайлов, Ставрогин), но и предельно откровенная исповедь о собственных сексуальных грехах, даже не о грехах, а о последствиях этих грехов — дурной болезни (о таком мало кто публично мог исповедаться — в русской, да и европейской литературе XVIII—XIX столетий второй такой исповеди нет). Хотя о болезни Ницше было известно, но подобных признаний мы у него не находим. Радищев описал преждевременную смерть своего любимейшего друга Федора Ушакова, которому, похоже, он во многом подражал, от сифилиса. А теперь, в «Путешествии», Радищев обвиняет себя (свою дурную болезнь) в преждевременной смерти жены, болезнях детей. Выпишем подробнее его слова, как правило, игнорируемые исследователями, не замечаемые ими. (Может, и вправду текстов Радищева не читают, а пользуются цитатами из предыдущих исследований, рассматривавших автора «Путешествия» лишь с

³¹ *Артемьева Т.В.* От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 158.

гражданской точки зрения, как первого русского революционера, интеллигента и т. п.).

Екатерина, сама далеко не безгрешная, это очень отчетливо увидела: «Стр. 197, 198, 199, 200, 201 описывают следствия дурной болезни, которую сочинитель имел; вины же оной приписывает на 202 стр. правительству, а на 203 совокупляет к тому брани и ругательства на проповедующих всегда мир и тишину»³². Что она имеет в виду?

Столкнувшись с похоронами, на которых отец клянет себя в преждевременной смерти сына, путешественник обращается к себе: «Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Воспомню дни распутные моего юности. Привел на память все случаи, когда встревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовных утех истинным предметом горячности. Воспомню, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалася! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но и даем в наследие нашему потомству. Одрузья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. <...> Согрешил перед вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаяся в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдли-

³²Замечания Екатерины II на книгу А.Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 1790 г. // Бабкин А.С. Процесс Радищева. С. 161.

вость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалась отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной мною отравы... О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!» («Яжелбицы». С. 57). Это настоящее покаяние, после которого, как бы очистившись, он смеет судить окружающий мир.

Сразу после покаяния, после этой мрачной и страшной исповеди, в которой он все же не только себя, но и правительство обвиняет, которое «дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан» («Яжелбицы». С. 57). Оказывается, власть виновата в его бедах, но и народ тоже грешен. Он переходит к теме народного распутства в главке «Валдай» и пишет своего рода «Сатирикон». Из этой главки нам становится понятно, что не с далекого запада, а из народной глубины пошли нынешние «сауны с интимом», или «салоны массажные с интимом». Вот отрывок из этой главки: «Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожжаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любово-страстный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любово-страстные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его именем» («Валдай». С. 58). Итак, народ, даже в любви дик, и пугачевское восстание не случайность.

Эта главка — как некая загадка; она следует сразу за его покаянием. Либо распутство, здесь описанное, — продол-

жение ужаса пугачевщины, либо шаг к самооправданию: мол и он, как народ, также грешен, тем более здесь читателю предлагается пересказ легенды о российских Геро и Леандре. Во всяком случае эта исповедь в своих грехах позволяет путешественнику не только выступить с проповедью против правительства, как подметила Екатерина, но и словно бы почувствовать себя прощенным — пусть не для новых грехов, но для новых подобных же чувствований. Сифилис Ницше или Ленина³³, думаю, сыграл немалую роль в их ригоризме по отношению к миру; себя

³³Если о болезни Ницше известно твердо, то об этом диагнозе относительно Ленина до сих пор идут споры. Скажем так: в начале 1920-х годов Бунин был в этом уверен. «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят!» (*Бунин И. Миссия русской эмиграции // Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 132*). В начале этого столетия об этом довольно уверенно писали зарубежные врачи: «В статье, опубликованной в этом месяце (26.06.2004) в журнале *The European Journal of Neurology*, трое израильских врачей на основании исторических данных ставят предварительный диагноз: за годы до октябрьской революции 1917 года Ленин, находясь в Европе, заразился венерическим заболеванием. Вскоре после победы социалистов, пишут они, болезнь обострилась и в конечном итоге привела к мучительной смерти в 1924 году» (http://emigration.russie.ru/news/8/5900_1.html). Советские исследователи этот факт всегда отрицали.

при этом из этой системы инвектив сифилитик исключает. Покаялся — и довольно...

Надо сказать, что своими речами, обращенными к встреченной им крестьянке Анюте, своим плохо скрываемым сладострастием путешественник очень напоминает старика Карамазова или генерала из «Бобка», любившего всяких женщин, а свеженьких особенно: «Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности, — мурлычет он, — а более люблю сельских женщин или крестьянок, для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворные любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...» («Едрово». С. 61). Заметим, что он словно бы забывает об угнетающей его дурной болезни...

Сознающий свой грех

Итак, критиком существующего выступает не праведник, а грешник. Едва ли не впервые в истории, скажем мы. Но и поправим себя. Впервые ли?

Все любят цитировать вступление, особенно строки: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала» («А. М. К.». С. 6).

Вторую фразу при цитировании обычно опускают, а без нее непонятна первая: «Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы» (там же).

Эта книга — очень личное высказывание. Что думал, то и сказал. Но не скажи он правды о себе, вряд ли обличения его были бы столь сильны.

Быть может, видеть собственный грех, значит, иметь право сказать и о грехах других? Все безумцы и юродивые — обличали. Радищев — первый сумасшедший среди русских писателей.

Об этом точно сказал Пушкин: «Преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего (курсив

мой. — *В. К.*) Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью»³⁴.

Он не надел даже «колпака юродивого», как Пушкин в «Борисе Годунове». Это, конечно, жест и поступок пророка. Он рискует собой, никем больше, ибо именье остается детям. Он хочет пострадать за свои грехи. И пострадать не попусту, а с каким-то главным смыслом. Но, каясь, он пытается доказать, что не он один виноват. Виноваты все. Об этом текст книги: «О Богочеловек! Почто писал Ты закон для варваров. Они крестятся во имя Твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто Ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую, и совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. — Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго» («Спасская полость». С. 21–22).

³⁴Пушкин А.С. Александр Радищев. С. 213.

Надо сказать, идея полного самоуничтожения человека, которое приводит его в результате к высочайшему духовному подъему, была в высшей степени свойственна высокой литературе XVIII века. В 1780-е годы, почти параллельно с радищевским «Путешествием», Державин писал свою гениальную оду «Бог» (1784), где есть строки, которые просятся в параллель к покаянной исповеди Радищева, переходящей в громовые обличения неправды:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!

Только больной человек способен понять и почувствовать болезнь другого, только страдающий совестью за свои прегрешения способен совестливо взглянуть окрест себя и во всех увидеть таких же грешников и понять относительность форм бытия и государственного устройства. Все смертно, все преходяще. Достоевский полагал, что болезнь определенным образом настраивает чувства человека, помогая ему постигать болезненные проблемы, даже миры иные. Томас Манн видел в болезни предпосылку творчества. Исток радищевского страдания — прежде всего собственная вина перед самыми близкими.

Екатерина тоже была грешной, об этом современники знали; не случайно именно Екатерину Радищев хотел бы взять в союзники.

Вся книга есть, по сути, докладная записка Екатерине³⁵, апелляция к ее вкусам, брань в адрес масонов, французской революции, иногда и явное *подмигивание* императрице. В «оковах рабства» автор готов «зрети змию,

³⁵ О несостоявшемся диалоге великой императрицы и одного из первых русских вольнодумцев см. интересную работу: *Waegemans E. The Empress Catherine II and her critic Radishchev: a failed dialogue? // Russia and the West: Missed Opportunities, Unfulfilled Dialogues. KVAB, Universa Press, Brussel, 2006. P. 55–65.*

совершившую падение первого человека» («Хотилов». С. 72). Сам он пал точно так же, как первый человек, но он хочет отныне ополчиться на власть одного человека над другим. Поэтому ищет сочувствия у высшей власти: «Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссосоющего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностию своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения» («Хотилов». С. 72). Последняя фраза — прямое обращение к императрице. Сама императрица ведь утверждала, и подданным были, очевидно, ведомы ее строки: «Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости»³⁶. Поэтому она должна была, по его разумению, понять и принять его позицию, продиктованную *государственным смыслом*, предупреждающим о возможном крестьянском восстании.

Ведь и в знаменитой «Фелице» (1782) Державин, понимавший, в отличие от Радищева, обширность и разнообразие народов российской империи и называвшей Екатерину «Богородица царевна / Киргиз-Кайсацкия орды!», одно из главных ее достоинств выразил так:

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,

³⁶ *Императрица Екатерина II*. Мысли из особой тетради // Императрица Екатерина II. О величии России. М.: ЭКСМО, 2003. С. 64.

И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.

Конечно, Радищев знал эти строчки, ведь свое путешествие писал спустя восемь лет. А слезлив он был чрезвычайно: так рисуют крокодила, который плачет над своими жертвами, вроде как путешественник, едущий с удобствами из одной столицы в другую, плачет над женой и детьми, которых он заразил дурной болезнью. То есть Радищева можно уподобить плачущему крокодилу, которого, в конечном счете, императрица и вправду простила. Вряд ли по женской слабости. Был мощный государственный ход. Но об этом дальше.

Кстати, забегаая вперед, заметим, что, несмотря на возмущения императрицы, она отменила смертную казнь за книгу, приписав сочинителю всего-навсего «вредные умствования». Именной манифест от 4 сентября 1790 года «О наказании Коллежского Советника Радищева за издание книги, наполненной вредными умствованиями, оскорбительными и неистовыми выражениями противу сана и власти Царской», гласил: «Коллежский Советник и ордена Св. Владимира Кавалер Александр Радищев оказался в преступлении противу присяги его и должности изданием книги под названием *Путешествие из Петербурга в Москву*, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изречениями противу сана и власти Царской, учинив сверх этого лживый поступок, прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной его Типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. За такое его преступление осужден он Палатою Уголовных дел

Санктпетербургской губернии, а потом и Сенатом Нашим, на основании Государственных узаконений к смертной казни; и, хотя, по роду толь важной вины, заслуживает он свою казнь по точной силе законов, означенными местами ему приговоренную; но Мы, последуя правилам Нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием для всеобщей радости, которую верные подданные Наши разделяют с нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал Наши неусыпные труды во благо Империи, от Него Нам вверенной, возделенным миром с Швециею, освобождаем его от лишения живота, и повелеваем, вместо того, отобрав у него чины, знаки ордена Св. Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безвыходное пребывание; имение, буде у него есть, оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их»³⁷.

Заметим и то, что Радищев, как известно, знал трактат Гельвеция «О человеке», знал и слова, где Гельвеций рассуждает об азиатском деспотизме. Приведем его слова: «Разве Восток свободен, освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго с каждым днем становится более тяжким. Деспот измеряет свою славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокостями, которые совершаются над трепещущими рабами. Каждый день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто жалеет о народе в присутствии деспота, является его врагом, а кто дает по этому поводу советы своему господину, *омывает* — по словам поэта Саади — *руки в собственной крови*»³⁸. Однако книга русского мыслителя была своеобразной азартной игрой с возможной смертью. Радищев знал этот текст Гельвеция и обращался к Екатерине, ко-

³⁷ Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXIII. [СПб.], 1830. С. 168.

³⁸ *Гельвеций. О человеке* // Гельвеций. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1974. С. 270.

торуую он в какой-то степени мог считать восточным деспотом, достаточно мужественно. Конечно, он мог омыть руки в собственной крови. Правда, была тайная надежда, что она примет его идеи и не накажет его, поскольку все же тоже ученица Гельвеция и Монтескье. Запрет казни Радищева показал желание Екатерины слыть не восточным деспотом, а просвещенной императрицей. Ведь было сказано Монтескье: «Не ищите великодушия в деспотических государствах»³⁹. Екатериной великодушие было проявлено.

Инвективы

В чем же обвинял Радищев империю? Ну да, пугал крестьянским бунтом. Упрекал помещиков за распутство с крестьянками, бросил фразу, что «крестьянин в законе мертв», но чудовищного угнетения, страшного голода, который в начале 30-х годов XX века пережил Советский Союз, и вообразить не мог. Интересно наблюдение иностранца в эти же годы по поводу благосостояния крестьян: «Русское простонародье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо, оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов»⁴⁰.

Радищев, правда, недоволен, что крестьяне сахара не знают и кофию не пьют (хотя крепостная нянюшка его *пила по пять кофейников*), что шестидневную барщину несут, а потому вынуждены работать на себя в выходные

³⁹ *Монтескье Ш.* О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. С. 210.

⁴⁰ *Сегюр Л.Ф.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 328.

дни. Конечно, после колхозной работы его упрек выглядит наивно. Не будем, однако, забегать вперед XVIII века.

По Радищеву, «азиатское рабство» — главная вина империи. Какой может быть сила империи, когда ее основное национальное ядро находится в рабстве!? «Наслаждаясь внутренней тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, — пишет Радищев, — неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общинников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстро, широко и далеко⁴¹. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду сего нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня» («Хотиллов». С. 66—67)⁴².

⁴¹ Вообще, точка зрения на Азию как носительницу рабского начала была характерна для просветителей. Здесь у Радищева прямая отсылка к Монтескье, любимому философу Екатерины. Даже героизм, оказывается, согласно французскому философу, может быть свойством не только свободных, но и рабов: «В Азии царит дух рабства, который никогда ее не покидал; во всей истории этой страны невозможно найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть только героизм рабов» (*Монтескье Ш. О духе законов*. С. 392).

⁴² Это и была роковая проблема бытия империи, которую чувствовали не только демократы и народники, но и люди крайних националистических взглядов: «К глубокому несчастью, наше

Екатерина хотела рабское имя переделать в имя славы, более того, не раз высказывалась: «Свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов»⁴³. Но сохранила рабство этих самых славян, что было противоречием внутри объекта, поэтому и с этим спорит путешественник: «Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремящее, надутость и истощение» («Хотиллов», с. 70). Заметим, что «Проект в будущем», изложенный в главе «Хотиллов», находился в утерянных бумагах человека, который, по словам почтальона, ехал «по подорожной в Петербург» («Хотиллов», с. 73). Бумаги принадлежали другу путешественника и, видимо, не надеясь в Петербурге на государственный прок от них, «он, — замечает Радищев, — их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу» (там же).

Петербург как первопричина «асийства»

Радищев обвинил Петра в лишении русских вольности, Петра, «*который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества*».

Но самое страшное, что увидел и показал Радищев: это «блестящее гордое дворянство», которое ведет себя как

правительство со времен Екатерины начало терять государственный разум. Александр I, которого трон народ русский отстоял от четырнадцати народов, — поставил покоренные племена в привилегированное положение. В то время как коренные русские люди томились в крепостной неволе, полякам и финно-шведам была дана конституция» (*Меньшиков М.О. Великорусская партия // Империя и нация в русской мысли начала XX века / сост., вступ. ст. и примеч. С.М. Сергеева. М.: Скимен, Пренса, 2004. С. 23*). Именно об этом вопрос Радищева: «Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?» («Хотиллов». С. 68).

⁴³*Императрица Екатерина II. Мысли из особой тетради // Императрица Екатерина II. О величии России. С. 61.*

дикие «асийские» владыки. Поэтому так подробно он останавливается в самом начале повествования на приключении его приятеля Ч. на тонущей барке под Петергофом и отказе чиновника помочь гибнущим людям. Продолжая свой рассказ, приятель заключает: «В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не предписано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи *в сие жилище тигров* (курсив мой. — В. К.). Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти» («Чудово». С. 16).

Это, по сути, последние строки перед выездом из Питера, и в них как раз дана характеристика столицы как «жилища тигров», которые «раболепствуют» перед властью. Где жизнь и достоинство человека ничего не стоят. Такого неприятия Питера до Радищева не было в русской литературе, это уже иное, чем пророчества простонародья и бояр, которые предрекали «Петербургу быть пусту». Славянофилы с их неприятием Петербурга, Гоголь с капитаном Копейкиным, описавшим властных тигров, прямо следовали этому умонастроению.

Дальнейшая описываемая путешественником несчастная жизнь России устроится из этого «жилища тигров». Петербург поневоле отвечает за все. Стоит под этим углом зрения глянуть на книгу — и невольно поразишься! Всюду опять *петербургская скверна*. В «Спасской полести» вначале рассказывается о государевом наместнике, который, будучи в Петербурге, приучился есть *устерсы*. «Как попал в наместники и когда много у него стало денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать» («Спасская полость». С. 17). И уже казенного курьера стал гонять в Петербург за «устерсами». Такой разговор

присяжного с женой слышит путешественник, ночуя в избе. А присяжный жалуется, что чины даются тому, кто за «устерсами» ездит, а не за беспорочную службу. Вот и еще штришок к рассказу о петербургском разврате и неправде.

В той же главе говорится о коммерческом питерском жульничестве, в результате которого честный человек лишился имения, жена с ребенком умерли в горячке преждевременных родов, а верный друг едва успел предупредить: «Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить тебе судьбу» («Спасская полесьть». С. 21). Бегство в Москву видится спасением. Хотя именно в Москве казнил Петр Великий стрельцов, а Екатерина II не случайно приказала казнить Пугачева тоже в Москве, видя в старой столице внутреннее сопротивление Петербургской империи.

Это уже тридцать лет спустя Чацкий воскликнет: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездук». А Ахматова спустя сто пятьдесят лет и вовсе страшное произнесет:

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.

Стансы, 1940

Появление положительного элемента

Напомню главы, о которых вскользь уже говорили. «Крестыцы», где описываются наставления отца, расстающегося с детьми, ибо «несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу» («Крестыцы». С. 45). Петровский табель о рангах, предписывавший дворянам получать чины только через службу, снова вызывает у путешественника сомнение, поскольку много в службе всяких соблазнов. Затем в главе «Яжелбицы» Радищев кается перед своими детьми в дурной болезни, которою он

уморил их мать и самих сделал больными. В следующей главе «Валдай» описываются вполне игриво «податливые крестьянки» и развратные нравы совместных (мужских и женских) народных бань XVIII века. Наконец, в главе «Едрово», осудив растленный образ жизни высшего петербургского света, он встречается с нравственной крестьянкой Анютой, которая нравится ему и как женщина, и как воплощение здоровой крестьянской порядочности. Он даже хочет помочь Анюте с приданым. Это ей он сообщает о своей любвеобильности, говоря, правда, что он не насильник.

Позиция Радищева в его отношении к крестьянам (дошедшая до Толстого и народников) зародилась как результат переосмысления западноевропейских идеологических мифов. Сошлюсь на рассуждение Т.В. Артемьевой: «Руссоистский образ “добротного дикаря” недолго царил в российской социально-политической мысли. Европейские ассоциации, представлявшие североамериканских индейцев образцом граждан идеального социума, в котором господствует “свобода, равенство и братство”, приобрели иную форму. Российским Простодушным стал крепостной крестьянин, а “дикая европейка” превратилась в “добродетельную поселянку”, “бедную Лизу”, умилявшую не одно поколение российских читателей»⁴⁴. Первой добродетельной поселянкой стала, разумеется, радищевская Анюта.

Вот как рекомендует ее ямщик, везший путешественника: «Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье...» («Едрово». С. 65). Отсюда так и видятся даже не бедная Лиза, а скорее поселянки Григоровича, Некрасова да Льва Толстого. И характерно, что следом идет глава «Хотилос.

⁴⁴ Артемьева Т.В. От славного прошлого к светлому будущему. С. 267.

Проект в будущем». Как же устроить этому замечательно-му русскому крестьянину, у которого такие замечательные особи женского пола рождаются, сносную жизнь?

Надо сказать, свои любовные страсти выражал в ту эпоху не один Радищев, не один он «любил женщин для того, что они соответственное имеют сложение» мужской «нежности». Державин был тоже весьма любвеобилен, и о своей тяге к женскому полу и своем сложении, отвечающем его нежным чувствам, даже эротически-шуточный стишок сложил, который и доныне поется:

Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках, —
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девóчкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили бы птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

Шуточное желание, 1802

Но ему никогда не приходило в голову сделать шаг от своей любвеобильности к воспеванию крестьянского сословия, которое воспитывает таких прелестных и вместе с тем нравственных дочерей. Державин проехал по всей Империи, сталкивался с разными народами, воевал с Пугачевым, причем Пугачев лично охотился за Державиным, какое-то время поэт сопровождал плененного самозванца, повесил самолично нескольких бунтовщиков-крестьян — совсем другой опыт. Здесь ни меду, ни сахару, ни умилений не было. Он видел, что к русскому народу принадлежат башкиры, мордва, татары, черемисы, чувашы, марийцы, калмыки (примкнувшие, кстати, к пугачевскому бунту), себя именовал внуком Мурзы, называя себя порой и просто Мурзою. «Недостаток

мой исповедую в том, — писал Державин, — что я был воспитан в то время и в тех пределах Империи, когда и куды не проникало еще в полной мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу»⁴⁵. Екатерину он называл «Богородицею / Киргизкайсацкия орды» («Фелица», 1782). Сама Екатерина именovala себя «казанской помещицей» и в письме к Вольтеру из Казани писала: «Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо шить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем. <...> Я чуть не сказала: приходится целый мир создавать, объединять, сохранять»⁴⁶.

Путь Радищева из Петербурга в Москву мог показаться воину Державину развлечением не видевшего жизни барича, сызмальства повелением императрицы из пажей посланного в Германию, а потом пребывавшего все больше при властных персонах. Имперского разнообразия страны, ее сложности Радищев не почувствовал, не увидел. Он видел только простого русского мужика, который находился в крепостной зависимости у помещиков. Чего же хочет автор? «Исчезни варварское обыкновение, разрушь власть тигров! — вещает наш законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства» («Хотиллов». С. 73–74)⁴⁷.

⁴⁵ Державин Г.Р. Разсуждение о достоинстве государственно-го человека. С. 17.

⁴⁶ Императрица Екатерина II. Избранные письма // Императрица Екатерина II. О величии России. С. 748–749.

⁴⁷ Струве писал: «Напомним, что и для Радищева крестьянский вопрос сводился в первую очередь к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской собственности на землю, за которую они уплачивали подушную подать. Таким образом ему предносилось постепенное осуществление реформы»

Замысел замечательный, только не совсем оригинальный, поскольку и Екатерина думала о путях отмены рабства. Отметим лишь фразу «разрушься власть тигров!» Путешественник бежит из жилища тигров — из Петербурга. Контекст говорит сам за себя.

О врагах положительного элемента

Уже было сказано о помещиках, насилующих крестьянских девок, заставляющих крестьян работать на себя круглую неделю и пр., но необходимо обобщение. К нему путешественник и переходит.

Естественным образом сразу появляются враги страдающего крестьянина, ибо страдание не может быть, как многим кажется, без мучителя. Государство путешественник готов пока обелить (и постоянно обеляет), но вот частновладельцы оказываются теми лютыми извергами, из-за которых и грудь автора «уязвлена страданиями человечества стала». Я не иронизирую, ибо другого страдательного элемента Радищев нам не представляет. Есть крестьяне и их враги. К врагам он и обращается с гневной проповедью пророка: «А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах, или на дружеском пиру, или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенной на ваше насыщение, остановитесь и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки. Не потом ли, не слезами ли и стенанием утучнялися нивы, на которых оный возрос. Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почтили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалось проклятие

(Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 464).

Всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитесь, да не отравлены будете вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститесь, се истинное и полезное может быть пощение» («Вышний Волочок». С. 75).

Здесь не скрываемый автором тон пророка, обращающегося к Богу и призывающего кары на головы дворянства, если оно не покается и не откажется от пищи, которой питалось до сих пор. Тема эта стала определяющей в русской литературе, за исключением, пожалуй, Пушкина с его «Капитанской дочкой», откровенно направленной против сентиментальных вздыханий Радишева.

Этот пафос вины перед крестьянством подхвачен поздним Толстым, преисполненным ненависти к высшим классам за бедственное положение народа: он готов был отменить всю мировую культуру за то, что она не понятна русскому народу. Тема страдающего народа претендовала стать центральной проблемой русской культуры. Вся огромная история России, вся ее сложная жизнь сводилась при таком подходе к взаимоотношениям помещиков и крепостных крестьян, в процентном отношении составлявших 37 % населения Российской империи. Это была важная проблема, но не единственная.

Как решить эту проблему? Революционным путем? Но смогут ли сами дворяне освободить своих крепостных? Удачно продав свои имения с крепостными крестьянами, Герцен эмигрировал за границу издавать «Колокол». Приехавший к нему чуть позже его друг Огарев звал Русь к топору, а в конце 1860-х годов уже открыто выступил с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

Подымайтесь, добры молодцы,
На разбой — дело великое!⁴⁸

⁴⁸Цит. по: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / под ред. Е.Л. Рудницкой. М.: Археографический центр, 1997. С. 250.

Надо все же отдать должное Радищеву, что напрямую к разбою он не призывал, к убийству женщин и детей он вроде бы не стремился, но от его проповеди до огаревских призывов расстояние все же невелико.

У Герцена хватило смелости написать, что мы не ханжи и благодарны псковскому оброку, что он помог появлению Пушкина. Но и он оправдывал дворянство только тем, что оно может побудить крестьянство к революции: «Помещик стал олицетворением несправедливой власти и одновременно подлинной революционной закваской. Петр I привел государство в движение, а помещик прямо или косвенно приведет бездеятельную, тяжелую на подъем общину к революции. Вне всякого сомнения, это бродильное вещество разложится в конце концов, но не раньше, чем завершится гибель абсолютизма»⁴⁹.

В таком контексте видно, что Герцен в помещика, в дворянство не верил категорически. Не видя позитивного смысла в этом сословии, он, правда, не звал его уничтожать, а просто хотел лишить дворянство тех привилегий, которые оно получило в петербургский период. Радищев же хотел сравнивать дворян в правах с остальным народом, как то было на Московской Руси. Он обращается к опыту Московской Руси: «Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства» («Выдропуска». С. 76). Нельзя здесь не заметить, что дворянским правам *de jure* к моменту написания этих строк было всего пять лет («Жалованная грамота» Екатерины освободила дворян от службы в 1785 году).

Конечно, это была идеализация простого народа, которой избежали в начале XIX века только Пушкин и Гоголь (дядя Митяй и дядя Миняй в «Мертвых душах», не гово-

⁴⁹ Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VII. М.: АН СССР, 1958. С. 168.

ря уж о Селифане и Петрушке). Жестокие повести Чехова «Мужики» и «В овраге», бунинская «Деревня» так и не развеяли этой легенды о страдающем несмышленном народе, хотя Бунин в «Деревне» писал (вложив эти слова в уста самоучки из народа): «Есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились». А чуть позже тот же герой резюмирует: «Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ».

Но так ли это? Радищев предлагает свой выход преодоления разрыва с народом и облагораживания народа.

Прикосновение к народной духовности

В конце книги находится одна из самых грустных и страшных глав — «Медное». На чем же держится Российская империя? А вот на чем — на беззастенчивом крепостном праве. Это как «мене, текед, упарсин» Валтасара. И Радищев, как пророк Даниил, эту загадку разгадывает: «Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н.Н. или Б.Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н.Н., или Б.Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: “Сего... дня по полуночи в 10 часов, по определению уездного суда городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под № ... и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно”» («Медное». С. 92—93).

Надо учесть и националистический момент радищевской критики дворянства. Он не раз говорит о составлении родословных при Екатерине, а, стало быть, знал о происхождении русского дворянства. Узнаем и мы, открыв исследование 1886 года: «Если мы обратимся к “бархатной книге”, хранящейся ныне в подлиннике в департаменте герольдии при правительствующем сенате и так названной по ее бархатному переплету, то увидим, что почти все наше древнее дворянство ведет свое начало от иноземцев, выезжавших в разное время на службу к великим князьям киевским, черниговским, тверским, рязанским, московским и новгородским»⁵⁰. То есть призыв к упразднению дворянства, по сути дела, означал призыв к уничтожению чужаков. Не случайно чуть позднее Юрий Самарин сравнивал власть помещиков с татарским игмом. Не случайно и Михаил Бакунин именовал Российскую империю — «кнута-германской империей», с помощью немцев поработившей русский народ⁵¹.

⁵⁰ Карнович Е.П. Родовые прозвания и титулы в России. М.: БИМПА, 1991 (репринт издания А.С. Суворина, СПб., 1886). С. 235.

⁵¹ Хотел бы добавить сюда соображения постреволюционного эмигранта: «Русская правда начала путаться тогда, когда в нее влилось слишком много чужеземного элемента. Так много, что даже потрясающая способность русского народа ассимилировать все, что стоит по пути, уже не смогла справиться с этим наплывом. Так, именно период балтийского владычества императриц — он-то и свернул Россию с ее исторической правды, оторвал монархию от народа, создал бироновщину, а от нее — аракеевщину, и, что самое главное, именно этот период *нерусского* влияния внес к нам западноевропейское крепостное право. То есть заменил чисто русский принцип общего служения государства “юридическим” принципом частной собственности на тех людей, которые строили и защищали Империю Российскую» (Солоневич И.Л. Белая Империя. М.: Москва, 1997. С. 95). Прямой парафраз идей Радищева...

Уже много после Октябрьской революции один из замечательных эмигрантских мыслителей попытался увидеть в этом кошмаре некую позитивную линию: «Но, наряду с мыслью о равноправии всех подданных всероссийского Императора и всех населяющих Империю национальностей, наша старая имперская идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что, будучи для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тунгусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же преимущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет. Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровеннейшей своей мысли на этот вопрос. *Она считала себя призванной, и действительно была призвана, это племя оевропейть.* Во многих отношениях она была прямым отрицанием племенных великоросских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрицанием тёмного этатизма и ветхого московского терема. Для нее принадлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэтому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше неслужащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток»⁵².

Неудача этой попытки становится понятна из текста Радищева. Это как бы опережающее отражение. И связана эта неудача с тем, что образованное общество, перестав служить империи, приняло идеалы народной духовности. Что же за идеалы? Одной из последних глав книги «Клин» — очень многосмысленная глава, я бы даже сказал — ключевая. Войдем в ее сюжет: «“Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...” — Поющий

⁵² Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. 2005. № 12. С. 13.

сию народную песнь, называемую “Алексеем Божиим человеком”, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождается, проникал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели возвращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутри глубокого, когда клинской певец, дошел до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. <...> Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. <...> Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером» («Клин». С. 110).

Старец поет песню об Алексее человеке Божиим. Рассказ прост, да контекст не прост. Прочитую энциклопедический словарь: «Алексий (Алексей) человек Божий, святой, сын знатного римлянина <...> жил во время папы Иннокентия I (402—416). Долго прожив пустынником, он возвратился в родительский дом, где, не признанный и пренебрегаемый домашними, продолжал совершать добрые дела. Только незадолго до смерти он дал себя узнать. Над его найденною в 1216 году могилою, на Авентинском холме, была построена церковь, носящая его имя. Древнейшая редакция его жития — сирийская (5—6 века), с греческого списка заимствована славянская редакция жития, вошедшая в Макарьевские Четьи-Минеи. <...> В древнерусской

письменности сказания об А. Божьем человеке послужили сюжетом одного из популярнейших духовных стихов»⁵³. В русской классической литературе этот сюжет впервые является в книге Радищева. Потом мы можем его встретить в самом, пожалуй, значительном романе русской классики — «Братьях Карамазовых» Достоевского. Начиная со старика Карамазова, который называет свое лицо лицом «настоящего римского патриция времен упадка», и кончая образом Алеши, которого старец посылает на неведомое служение в «мир», весь роман пронизан тончайшими аллюзиями этого духовного стиха, как об этом вполне доказательно писала В. Ветловская⁵⁴. Что же здесь интересно для нашего рассуждения? Итак, речь в песне идет об уроженце города Рима. Но не забудем, что по замыслу Петра Санкт-Петербург, то есть город святого Петра, стал новым Римом. То есть из этого Рима бежит наш путешественник, видит беды, страдания людей, едет, никем не признанный, книгу издает без имени. И вдруг сталкивается со слепым странником, русским Гомером, который повествует о самом важном, что, оказывается, нужно и простому народу, и ему, сыну знатных родителей, богачу, дворянину. И Радищев приходит к той же простой истине, к какой приводит слушателя или читателя эта история, о чем замечательно сказал С. Аверинцев: «Семья святого (изображенная с полным сочувствием) наделяется всеми атрибутами знатности и богатства, да еще в сказочно гиперболизированном виде; но вся эта роскошь оказывается ненужной, предметом горестной улыбки сквозь слезы, — и в этом вся суть. Изобильный дом — полная чаша, почет и знатность, благополучие хотя бы и праведных богачей неистинны; и только

⁵³Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. С. 56.

⁵⁴Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 168–176.

бедный странник Алексей, терзая самых близких людей и себя самого, живя в скудости и поругании, тем самым живет в истине, в стихии истины»⁵⁵.

Песнь, пришедшая на Русь из Византии, хранимая русским народом, сокрытая от петровских преобразований московской Русью. Пожалуй, единственным исследователем, заметившим это, был С. Аверинцев: «В лице Радищева культура сентиментализма открывает для себя сбереженную тысячелетней народной традицией “слезность” ранневизантийской легенды»⁵⁶. Плод петровского образования — дворянства — московская традиция принимать не желает, не желает и помощи от него.

Итак, Москва!

О чем и говорить дальше! «Но, любезный читатель, я с тобою закалялся... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик погоняй» («Клин». С. 165). Поэтому и заканчивает свою книгу двойным восклицанием: «МОСКВА! МОСКВА!!!...» Причем слова даны прописными буквами и с тремя восклицательными знаками.

Дворянству, рожденному петровской реформой, нет благословения от византийско-московской культуры. Благословение нужно всем, но Радищев заканчивает свою книгу этим осуждением новой культуры — голосом старомосковского жителя, голосом калики перехожего, странника, как сам Алексей человек Божий. Странник, путешественник и сам Радищев. И сердце его рвется в Москву, ту Москву, которая еще при Иване Грозном не знала крепостного права, а дворянство было в суровой

⁵⁵ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 87.

⁵⁶ Там же. С. 276.

узде русского царя. Поневоле вспомнишь славянофильское понимание Москвы: «Москве предстоит подвиг завоевать путем мысли и сознания утраченное жизнью и возродить русскую народность в обществе, оторванном от народа. Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одною жизнью, одним биением сердца, — и этими словами само собою определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу»⁵⁷.

Интонация путешественника говорит о счастливом завершении пути, об итоге, к которому надо стремиться. Ответом были слова Пушкина: «Москва! Москва!.. — восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитаемое перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уже Всесвятское... Он прощается с утомленным читателем; он просит своего спутника подождать его у околицы; на возвратном пути он приметя опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания... Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!..»⁵⁸ Тема Москвы и Петербурга была слишком символичной для русской культуры, чтобы отнестись к этим акцентам как к чему-то случайному. Один из крупнейших нынешних отечественных специалистов по проблемам Российской империи как-то заметил: «Москва как современное “сердце”, воплощение русскости, как центр “собрания” русских земель, безусловно, присутствовала в русском националистическом дискурсе. В традиционалистской версии русского национализма именно Московская Русь

⁵⁷Аксаков И.С. Доктрина и органическая жизнь // Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 171.

⁵⁸Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург. С. 381.

противопоставлялась петербургской России»⁵⁹. Радищев просто артикулировал эту тему, как никто до него. Но, скажем, Пугачев мечтал взять Москву...

И все же помимо Пугачева есть еще Святая Русь, и она тоже в Москве!!! Но именно о Святой Руси — носительнице правды в начале XX века писал П.Б. Струве, как о великой своей надежде: «Кроме Великой России есть *Святая Русь*. Если в Великой России для нас выражается факт и идея русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею русской правды»⁶⁰.

Но можно ведь представить ситуацию, что Святая Русь внутренне против Великой России, против Империи. Такую ситуацию и представил Радищев. Однако мы привычно, с советских времен, полагаем, что были демократы — западники, то есть революционеры и радикалы, а также были другие демократы — славянофилы, они же охранители. Однако термин «революционный славянофил» был все же предложен после Октябрьской революции, во всяком случае именно эта тема зазвучала в текстах С. Франка, С. Булгакова, А. С. Изгоева. Приведу пока лишь один пример. В знаменитом тексте С. Булгакова «На пиру богов» *Беженец* говорит: «Русская интеллигенция, как духовная виновница большевизма, есть действительно передовой отряд мирового мятежа, как об этом мечталось революционным славянофилам от Бакунина до Ленина, при всем их интернационализме программном»⁶¹. Не в этот ли ряд можно поместить и Радищева?

⁵⁹ *Миллер А.* Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на полях одной статьи А.Н. Пыпина // *Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей.* М.: Новое издательство, 2004. С. 273.

⁶⁰ *Струве П.Б.* Великая Россия и Святая Русь // *Империя и нация в русской мысли начала XX века / сост., вступ. ст. и примеч. С.М. Сергеева / М.: Скимен, Пренса, 2004. С. 234.*

⁶¹ *Булгаков С.Н.* Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1993. Т. 2. С. 606.

Не получается ли, что радость путешественника от встречи с Москвой означает именно антиимперский пафос? Может быть, не случайно Радищев воспекает основателя Московского университета, вспоминая при этом американца Б. Франклина, сокрушителя Британской империи: «*Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей*» («Черная грязь», «Слово о Ломоносове». С. 123). У него уже в эпиграфе к книге Империи дано определение, которое словно вводит нас в ад петербургской истории: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». В комментариях указывается обычно, что эпиграф (слегка измененный) взят из эпической поэмы В.К. Тредьяковского «Тилемахида», где герой спускается в ад. Там он видит, как царям в зеркале Истины показывают их сущность — страшную, в образе чудовища, которое «обло [тучно], озорно, огромно, с тризевной и лаяй». Так и сам Радищев как бы тоже спустился в ад Российской империи. И поведал словами путешественника о том ужасе, который увидел. Следует сказать, что декабристы, о славянофильстве которых писалось уже не раз⁶², точно так же, как и Радищев, воспринимали Петербург. Напомню строчки К. Рыльева:

Едва заставу Петрограда
Певец унылый миновал,
Как разлилась в душе отрада,
И я дышать свободней стал,
Как будто вырвался из ада...

*Давно мне сердце говорило,
20 июня 1821 года*

⁶² «Стоит отметить, что у декабристов мы находим первые следы панславизма и славянофильства. Одно из тайных обществ называлось “Общество соединенных славян”, а Рылеев был первым, кто воспел “славянских дев”» (*Койре А.* Философия и национальная проблема в России начала XIX века / пер. с фр. А.М. Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. С. 36).

Но Радищев еще нашел и то, что должно уничтожить этот ад, то лекарство, к которому потом многожды прибегали русские писатели. Вернуться в Москву, вернуться идеологически и, что самое интересное, тем самым как бы искупить свою дворянскую вину. Вот его решение. Как мы знаем, такой возврат был осуществлен, но народу лучше от этого не стало. Бывший «веховец» А. Изгоев писал: «История вообще не скупа на шутки. Если социалистам она поднесла подарок в виде ленинского коммунистического государства, то и славянофилов она не обидела, дав им из рук того же Ленина и возвращение в “первопрестольную”, и торжество древнего исконно русского земско-соборного начала над гнилым западноевропейским конституционным либерализмом»⁶³. Но ГУЛАГ оказался страшнее крепостного права.

Конечно, Радищев даже подозревать такое не мог. И все же Радищев русскую мысль взбудоражил...

Кто же прав?

Вопрос, на первый взгляд, нелепый, когда говоришь о столкновении писателя и власти. Но дело-то в том, что за власть, которая состязается с писателем. Да и состязается ли она? Власть, насаждающая просвещение и закон, создает ситуацию, которая должна была бы заставить задуматься человека мыслящего.

Здесь уместно вспомнить классическую оппозицию, артикулированную французскими просветителями, — оппозицию «просвещенного монарха» и «восточного деспота». Разумеется, восходит это противопоставление еще к Античности, но в XVIII веке оно было очень в ходу. Обратимся, к тому месту в главе «Спасская полесь», на которое часто ссылались авторы в советское время.

⁶³ Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1991. С. 50.

Речь в ней идет о том, как подхалимы и льстецы кадят властителю, говоря о его заслугах на земле и море, о его мудрости и щедрости, тот им радостно внимает, но на глазах его бельмы, и он не видит истины. В облике странницы является к нему сама Истина, просветляет его и он видит обман льстецов, нищету бедных и злодеяния богатых. В конце главы остается, однако, вопрос, стоит ли «странница» у чертогов властителя или отлетела от него. Обычно это воспринимается как критика правления Екатерины, хотя современные комментаторы склонны скорее подтвердить похвалы придворных. Приведем один лишь пример. На слова льстецов, что властитель обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, сегодняшний комментарий сообщает: «К 1762 г. в стране было 984 мануфактуры, к 1796 г. — 3161. Быстрыми темпами развивалась внутренняя торговля. Обороты внешней торговли составили в 1763—1785 гг. 12 млн руб. по вывозу и 9,3 млн руб. по ввозу, в 1781—1785 гг. соответственно 23,7 и 17,9 млн руб., в 1796 г. — 67,7 и 41,9 млн руб. Всего за время царствования Екатерины положительный баланс составил 103 млн руб. серебром»⁶⁴.

Совершенно другое — Радищев. На самом деле он не думает о национальном и народном богатстве. Он жаждет простоты нравов, которая когда-то была, и полагает, как Руссо, что она свойственна простым русским людям, вроде слепца, поющего об Алексее, человеке Божьем. Это внеисторическое мышление, смешно сказать, опять ведет его в татарское и московское прошлое (переходящее в советский социализм), когда он выступает против торговли, против частной собственности, только лишь впервые введенной в Россию при Екатерине. Ведь частной собственности Россия лишилась в результате татарского нашествия, когда ханы по монгольскому праву объявили всю землю собственностью хана. Этот принцип ассимилировала московская Русь,

⁶⁴Примечания // Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. Указ. изд. С. 648—649.

признававшая поместья лишь жалованьем, но не частным владением. А Радищев возмущен: «Возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение — земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ» («Черная грязь», «Слово о Ломоносове». С. 117).

Любопытно, что радищевский герой, воображая себя во сне властителем, ни разу не называет себя императором или просвещенным монархом, склоняясь больше к восточным наименованиям: «Мне представлялось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то из сих названий нечто, сидящее во власти на престоле» («Спасская полость». С. 22). Иными словами, властитель у него больше похож на восточного деспота, который не ведает, что творится у него в государстве. *Он* обладает властью, но не знанием.

Надо сказать, что видеть в русском императоре не императора, как носителя наднациональных интересов и законов, но восточного деспота свойственно было не одному Радищеву. Подобная путаница характерна для русских свободомыслящих деятелей. Эта проблема — деспот или просвещенный монарх — объяснялась тем, что русские цари наследовали раз у двум предшественникам: византийскому базилевсу и монгольскому хану. Православные как византийцы, территориально — московские князья наследовали огромные территории именно монгольского улуса. Титул «царь» поначалу русские люди относили как к византийскому императору, так и татарскому хану. Поэтому московский царь оказался наследником двух восточных государственных структур⁶⁵. Приняв императорский титул, Петр тем са-

⁶⁵ См. об этом: *Успенский Б.А.* Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 34–52.

мым семиотически обозначил поворот России к Европе. Соответственно, возможность поведенческой вариативности всегда присутствовала у русских царей и императоров. Кавелин назвал Николая I «калмыцким полубогом», подчеркивая его монгольские черты в поведении. Пушкин, впоследствии писавший об Александре I, прощая ему «неправые гоненья» за то, что он взял Париж и основал Лицей, в молодости был по отношению к императору весьма резок:

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.

Сказки, 1819

Именно эту проблему разрешает Радищев. Что перед ним? Чудище стозебно, то есть восточная деспотия? Или европейски ориентированная империя? Казалось бы, он нарочно провел свой опыт, чтобы прояснить это, прояснить, насколько справедливы слова Гельвеция: «Утверждающийся у власти деспотизм еще позволяет все говорить, лишь бы ему было позволено все делать. Укрепившийся у власти деспотизм уже запрещает свободно говорить, думать, писать»⁶⁶. В записях Храповицкого есть свидетельство об окончательной реакции Екатерины, которая отнюдь не считала себя деспотом, на книгу: «11 — Шведская ратификация привезена в Царское Село вскоре после обеда. — Доклад о Радищеве; с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в Совете, чтоб не быть пристрастною и объявить, “дабы не уважали до меня касающегося, понеже я презираю”»⁶⁷.

⁶⁶ Гельвеций. О человеке. С. 289.

⁶⁷ Памятные записи А.В. Храповицкого, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. М.: СТД СССР, 1990. С. 229.

Можно сказать, что имперское просвещение, попытка разбудить мысль в стране, где мысль всегда была наказуема, имперская толерантность — все это увенчалось успехом. По справедливому, на мой взгляд, замечанию М. Геллера, «к 1790 г. Российская империя была приведена в порядок екатерининскими реформами. В конечном счете Александр Радищев был одним из плодов реформ»⁶⁸. Каким бы парадоксом это ни прозвучало, но Империя сама создавала и лелеяла своих врагов, делая из них граждан. Судьба Радищева и в самом деле — лучший тому пример. Только потому, что он был помилован императрицей, он смог ощутить себя снова достойным человеком, написав по дороге в Илимск (в Тобольске, где он жил с января по июль 1791 года) знаменитые строчки:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я то же, что и был, и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Начало, 1791 (?)

Следом поехали декабристы, тоже не совсем хорошо державшиеся на следствии, но и они в сознании общества стали выразителями гражданской свободы. Империя тем самым создавала тот вариант гражданского общества, который только и был возможен в этой стране. Но вот найти контакт с разбуженными ею же началами гражданского общества Империя не смогла. Она стала искать иное решение вопроса бытия России — стала искать национального царства вместо Петербургской Российской Империи. Славянофильский пафос Александра III и Николая II очевиден. Поэтому «при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действительности извращала самую идею монархии, а также идею Всероссийской Империи. <...> Этот-то отказ от старой петербургской программы, т. е., в сущно-

⁶⁸ Геллер М.Я. История Российской империи: В 2 т. Т. 2. М.: МИК, 2001. С. 103.

сти, отказ от Империи, революционизировал Россию не в меньшей степени, чем бомба Желябова и “иллюминации” 1905 года»⁶⁹. Попытавшись защититься от европейской свободы московским национализмом, она пошла путем, предложенным Радищевым, — из Петербурга в Москву. На этом пути она и потерпела крах. А Радищев и впрямь оказался пророком Даниилом, этот крах угадавшим.

⁶⁹ *Мейер Г.* Славянофильство и революция // Посев. 2005. № 12. С. 12.

Часть III. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

9. Пушкин: поэт и свобода, или Преодоление тяжести

Почему – «свободы сеятель пустынный»?..

В стихотворении 1823 года, которое Пушкин называл переложением «басни умеренного демократа Иисуса Христа», есть слова:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды...

Почему, однако, Пушкин называл себя «пустынным» сеятелем свободы? Пустынный — значит «одинокий», живущий в уединенной обители, в келье. А друзья-декабристы? Ведь их было немало. Но не случайно, по словам С.Л. Франка, это стихотворение было выражением разочарования поэта «в возможности успешной пропаганды свободы»¹. Действительно, Пушкин говорит вполне определенно: народ не готов к свободе.

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.

¹ Франк С.Л. Пушкин как политический мыслитель // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX—XX век. М.: СПб.: Университетская книга, 1999. С. 450.

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Пропаганда свободы в такой ситуации и впрямь бессильна и даже бессмысленна. И такой пропагандист — действительно одиночка, вставший слишком рано. Но пустынный — это и святой отшельник, который и должен выходить «до звезды». Народ не свободен, но для того-то и нужны отшельники, пустынники, хранящие саму идею свободы. Таким «пустынником» и был Пушкин.

«Он любил чистую свободу, — вспоминал П.А. Вяземский, — как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа. Но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастью его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25 года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического “быть или не быть”»². Видимо, декабристы и в самом деле почувствовали иной характер отстаиваемой Пушкиным свободы, хотя он и сходился с ними в требовании свободы политической, гражданской. Но Пушкин помнил

² *Вяземский П.А.* [«Цыганы». Поэма Пушкина] // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 81.

урок Радищева, которого не знали декабристы, что из мучительства рождается вольность, зато из вольности — рабство и тиранство. Одной политической свободы было ему недостаточно. У нас же очень долго пушкинское свободолобие понималось как прямое провозвещение грядущих революционных переворотов и построения «светлого будущего». А пушкинская свобода означала независимость при, вне и помимо любого режима.

Георгий Федотов писал в 1937 году по поводу пушкинских празднеств в Москве, противопоставляя сталинскому тоталитаристскому мироощущению духовное кредо первого поэта России: «Для Пушкина империя была связана не только с просвещением, но и со свободой. Пушкин был, всегда сознавал себя певцом свободы. С отроческих лицейских лет и до последнего вздоха (предсмертный «Памятник») он не уставал славить свободу. Менялось ее содержание, революционер превращался в лояльного монархиста, политическая свобода отходила на задний план перед свободой духа, творчества, но в каждый момент своей жизни Пушкин пел свободу. Для него свобода была то же, что дыхание, что жизнь. Неужели в Москве забыли разницу между Пушкиным и Тредьяковским?»³

Переворот в культуре

Он пел иную — «тайную» — свободу. Иначе не объяснить, как мог друг декабристов написать такие строки о роли поэта в жизни:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Поэт и толпа, 1828

³ Федотов Г.П. Пушкин и освобождение России // Федотов Г.П. Защита России. Paris: YMKA-PRESS, 1988. С. 88.

Сто с небольшим лет назад это четверостишие послужило яблоком раздора между теоретиками «чистого искусства» и художниками, требовавшими от искусства общественной пользы, общественного служения. Поэты «искусства для искусства» объявили это стихотворение наиболее полным выражением своего художественного кредо, назвав свое направление «пушкинским». Поэт не заинтересован, утверждали они, в общественных бурях века. И русские эстеты не раз говорили о Пушкине, что «свободный духом, царственно-беспечный, он, как художник не обнаруживал и следа интеллектуализма <... > не имел и следа той дискурсивности и пытливости, которая нужна для определенных идей. Не промежуточная работа мысли и даже, с другой стороны, не наитие внезапных чисто умственных откровений составляли его силу, а непосредственная интуиция, вдохновенное постижение прекрасной сущности предметов сердцевины вещей»⁴.

И сегодня, перечитывая «Поэта и толпу», как-то даже рефлексивно хочется противопоставить ему другие пушкинские строки о «музе пламенной сатиры», «Памятник», «Пророк», хочется объяснить это стихотворение мимолетным настроением поэта. Собственно говоря, зачастую именно так оно и делается. Однако помечено стихотворение 1828 годом. Уже написаны «Цыганы», «Борис Годунов», семь глав «Евгения Онегина», закончена «Полтава». Зрелый поэт в расцвете своих сил.

«Задача заключается в том, — писал С.Л. Франк, — чтобы перестать, наконец, смотреть на Пушкина, как на «чистого» поэта в банальном смысле этого слова, т. е. как на поэта, чарующего нас “сладкими звуками” и прекрасными образами, но не говорящего нам ничего духовно особенно значительного и ценного, и научиться усматривать и в самой поэзии Пушкина, и за ее пределами (в прозаиче-

⁴ Айхенвальд Ю. Пушкин // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1994. С. 63.

ских работах и набросках Пушкина, в его письмах и достоверно дошедших до нас устных высказываниях) таящееся в них огромное, оригинальное и неоцененное *духовное содержание*»⁵. Каково же это содержание?

Со времен Ломоносова государство принимало поэзию лишь как исполнительницу официальных заказов. Но *эта* полезность была для Пушкина уже неприемлема. Он был прежде всего поэт. И жил этим сознанием. Сознанием независимости и самоценности своей деятельности. В этом убеждении поддерживали его и те редкие современники, что понимали его значение для России. Еще в 1824 году В.А. Жуковский писал Пушкину: «Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения»⁶.

И лучше, видимо, не искать чуждых Пушкину влияний, а понять, что существует в его поэзии неразрывное внутреннее единство, связующее его «вольнлюбивую» лирику и «Поэта и толпу», понять, что вновь и вновь поэт решал «одну свою задачу», волею судьбы поставленную перед ним историей русской культуры. Поэтические раздумья Пушкина о назначении поэзии, его «кредо» писателя получили подтверждение в его же собственном творчестве, в итоге гениальных интуитивных прозрений. Но не только. Поэт и мыслитель, сумевший в «просвещении стать с веком наравне», прочитавший и продумавший великих философов, предшественников и современников, вполне осознавал, более того, вырабатывал сознательно свою позицию во всей ее глубине и гибкости. Продолжая рассуждение Франка, заметим, что вклад Пушкина в историю русской мысли не меньший, чем в историю поэзии. А стихи

⁵ Франк С.Л. Пушкин как политический мыслитель. С. 445 (курсив Франка. — В. К.).

⁶ Жуковский В.А. Из писем // Жуковский В.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1985. С. 367.

Пушкина — это живое продолжение его размышлений и чеканная их формулировка, то, что Маяковский так удачно назвал «чувствуемой мыслью».

Какие же задачи русская культура и русская история поставили перед Пушкиным? Пушкин, по существу, первый независимый русский художник. «Так как его назначение, — писал Белинский, — было завоевать, усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство, так, чтоб русская поэзия имела потом возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть поэзией и перейти в рифмованную прозу, — то естественно, что Пушкин должен был явиться исключительно художником»⁷. Можно, разумеется, возразить, что этим не исчерпывается творчество Пушкина и что Белинский тут не совсем прав. Пушкин — исток и средоточие новой русской культуры, можно сказать, камертон ее, в его творчестве заложены темы и содержательные тенденции дальнейшего развития русского искусства, он определил направление его и выразил его пафос, его всемирную отзывчивость и всечеловечность, как определил этот пафос Достоевский. Однако в соображение Белинского стоит вдуматься и прочесть его не механически. И тогда мы поймем, что «усвоить навсегда русской земле поэзию как искусство» значило, по существу, совершить культурный переворот.

Искусство раскрепощает человеческую личность. Но только тогда, когда оно само свободно. Для этого литература должна была выйти из-под казенной опеки и приобрести материальную и духовную независимость от государства: одно дело — свободный выбор общественной позиции (критическая, сатирическая, «чистое искусство»), другое — отсутствие всякого выбора.

⁷ *Белинский В.Г.* Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. VII. М.: АН СССР, 1956. С. 320.

От самодержавного утилитаризма к европейской свободе

XVIII и начало XIX века — эпоха правительственного меценатства и литературного дилетантства. Поэт мог существовать либо прямой поддержкой царя и двора в том случае, *если он казался полезным*, либо быть эстетствующим дилетантом; поэзия являлась побочным занятием дворянина. Но в обоих случаях литература *не была* профессионально независимой областью деятельности. Приведем размышления пушкинского современника, русского критика Н. Полевого о литературе предшествовавшего периода: «...В душу бедного мальчика-рыбака, тому уже более 100 лет, Бог влагает непреодолимое стремление учиться и знать. Он бежит из родительской хижины, кое-как, кое-где учится, хочет обхватить целый мир ведения и преждевременно сгорает от излишнего, неудовлетворенного порыва пылкой души. Чиновник, попавшись в неприятные обстоятельства, начинает писать стихи, не имея понятия о поэзии и стихотворстве и не зная того, что провидение одарило его гениальными способностями. Стихи его нравятся, их хвалят. Он поправляет ими свои обстоятельства, продолжает служить и иногда писать, не заботясь о вековой славе, думает о своем стихотворстве, как о досуге от сенаторства, а о венке Пиндаровом, как о средстве, не последнем при службе. Далее: рассерженный остряк мимоходом изображает в комедии, что видел вокруг себя, и не думает о вдохновении, занимаясь службой и светской жизнью. Наконец, человек, с необыкновенным даром, живя в глуши, на Кавказе, от скуки и досады изображает комической кистью несколько портретов и пренебрегает даром своим, увлекаясь службою и другими важными делами. Вот тебе Ломоносов, Державин, Фонвизин, Грибоедов. Какая тут литература? Все эти люди были ль следствия общего образования и стремления? Нет, это мимолетные явления людей гениальных, если угодно, но они не образуют собой литературы»⁸.

⁸ Альманах «Новый живописец общества и литературы» / Сост. Н. Полевой. Ч. 5. М., 1832. С. 52–53.

Как же возникла в России *сама-по-себе литература*, область деятельности, более или менее не зависящая от власти?

Тут на время нам придется покинуть поэтические высоты и спуститься на землю. Нашим проводником, однако, будет Пушкин. В 1825 году вышла первая глава «Евгения Онегина», в качестве предисловия к которой напечатан был «Разговор книгопродавца с поэтом». Вчитаемся в заключительные строки:

Книгопродавец

...Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет.
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит, воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать...

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись.
Условимся.

Далее следовала первая глава «Онегина».

Что же происходило? Книгопродавец ставит желание поэтом свободы в зависимость от наличия у него злата, и поэт соглашается. Однако согласие поэта не просто разумно, а единственно необходимо. В начале XIX столетия литература, особенно с наступлением «смирдинского» периода, становится отраслью промышленности. «С некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, — писал Пушкин, — и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его превосходительство такой-то»⁹. Писатели могли себе отныне позволить не подчиняться и не продавать вдохновения, но продавать рукописи, поскольку в них были заинтересованы литературные промышленники. Пушкин, несмотря на весь свой аристократизм, — один из первых профессиональных писателей. Разумеется, цензура свирепствовала, запрещались стихи, проза, исследования, книги и журналы. Однако появление и свирепство цензуры означало, что у художника и правительства сложились разные взгляды на общественную роль искусства. Если в петровскую и екатерининскую эпохи «европеизм культуры получает правительственную принудительность»¹⁰, то в начале прошлого века, особенно после декабрьского восстания, самодержавие стало бить отбой, препятствуя развитию искусства по европейскому образцу, стараясь закрыть дорогу европейскому Просвещению.

Борьба правительства с русским европеизмом, по сути, шла вразрез с движением русской культуры к свободе. Ибо, по справедливому соображению Федотова, именно Европа выработала понятие свободы, которое распространилось потом на другие континенты. И европеизм Пушкина — в

⁹ *Пушкин А.С.* Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 392. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте.

¹⁰ *Эфрос А.* Два века русского искусства. М.: Искусство, 1969. С. 19.

том же ряду поисков свободы. Как писал один из крупнейших русских культурологов Владимир Вейдле, «Пушкин всю жизнь дышал воздухом европейской литературы и так впитал ее в себя, что вне ее (как, разумеется, и вне России) становятся непонятны основные стимулы и задачи его творчества... Отбирая и усваивая все то, что можно было усвоить в литературном наследии Европы, он знал, что усвоение это совершает сама Россия, при его посредничестве»¹¹. Через Пушкина впитывала Россия европейскую культуру, с ней вместе — и понятие свободы. Но европейское Просвещение предполагало не подражательность, а умение, говоря словами Канта, «пользоваться собственным умом». Однако именно это обстоятельство не могло не пугать авторитарную структуру российского государства, которое в николаевскую эпоху попыталось свернуть на узкую колею политического и культурного изоляционизма.

Для Пушкина освобождение поэзии от дидактики, от морализаторства, от государственного утилитаризма связано было с просветительским пафосом. Любопытно, что после прочтения пушкинской записки «О народном воспитании» император Николай через Бенкендорфа передает поэту свое недовольство, более всего негодуя на его просветительские идеи: «Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (Комментарии к записке «О народном воспитании», 7, 450—451)¹².

¹¹ Вейдле В. Пушкин и Европа // Вейдле В. Задачи России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 151, 153.

¹² Это был жесткий ответ на попытку Пушкина защитить саму идею просвещения, объяснив все трагические проблемы России

Однако было уже поздно поворачивать. И дело не в том, что у царизма не хватило бы сил и смелости расправиться с носителями русской духовности. Мартиролог русских художников и писателей обширен и достаточно известен. Видимо, причины, по которым искусство теперь могло противостоять государственным притязаниям, а самодержавие уже не умело с ним совладать, надо искать в изменившейся социально-экономической структуре общества. Самодержавие пыталось, с одной стороны, по-прежнему бесконтрольно распоряжаться духовной жизнью страны, с другой — было вынуждено (ради военных нужд) протезировать капиталистическую самодеятельность, введение которой не могло ограничиться *одной* какой-либо областью. Гибель одного художника не означала отныне, что с ним гибнет духовная независимость его преемников. Сама эпоха продуцировала личность, не зависимую от самодержавного государства. Вступали в дело иные, экономические, зависимости от буржуазного общества, от капиталистических дельцов, что не менее пагубно для искусства, однако, как известно, в определенные исторические моменты буржуазные отношения играют революционную, освободительную роль. И эти промежутки, когда отрицательные стороны капиталистического развития еще не явны, а положительные очевидны (так было, скажем, в период западноевропейского Возрождения), для искусства чрезвычайно благоприятны. Как и Шекспир, как и Сервантес, как и Рабле, Пушкин знаменовал собою появление ренессансной личности, свободной и незамкнутой. Русское просве-

недостатком оного. Поэт писал: «Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. <...> Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» («О народном воспитании», 7, 355—356). Как видим, самодержец на корню отверг попытку поэта, опасаясь свободы как следствия просвещения. В чем был, безусловно, прав.

щение конца XVIII — начала XIX столетия связано с русским дворянством. Будучи не зависимы от правительства материально (со времени указа о вольности дворянской и с момента уравнивания поместья в правах с вотчиной), дворяне-писатели с возникновением *литературной промышленности* становятся независимы и как литераторы. Таким образом, возникли необходимые социальные предпосылки для освобождения поэзии от *официального* диктатора, но необходим был порыв (точнее сказать, *прорыв*) гения, чтобы эти предпосылки обрели реальность. Подвиг этого прорыва совершил Пушкин.

Формула русской истории

Становлению свободы содействует просвещение, просвещение же немислимо без воспитания в школе христианства. Немного утилитарно, по-протестантски, понимал Петр Великий задачи христианства как просветительские, образывающие человека. Не случайно, как отмечает Пушкин, Петр потребовал перевести из монастырей «главные доходы на школы, гошпиталя etc» («История Петра», 8, 352). Сомнение в способности современной ему православной церкви к просвещению народа были у него с детства. Пушкин приводит в записках следующий эпизод: «1684 г., июня 1-го и 2-го Петр осматривал патриаршую библиотеку. Нашед оную в большом беспорядке, он прогневался на патриарха и вышел от него, не сказав ему ни слова. <...> Петр повелел библиотеку привести в порядок и отдал ее, сделав ей опись, на хранение Зотову, за царской печатью» («История Петра», 8, 25). Христианское просвещение Петр вынужден был взять под государственную опеку, на протестантский манер. Впрочем, Пушкин об этом в письме к П.А. Вяземскому от 3 августа 1831 года замечал так: «Не понимаю, за что Чадаев с братией нападает на реформацию, то есть на известное проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при этом в

отношении своего единства, настолько оно выиграло в отношении своей популярности»¹³. Да уж, поэт воистину жил вне конфессиональных перегородок, которые, как любил повторять А. Мень, до Бога не доходят. Но, быть может, именно поэтому был ему внятен *высший голос*.

Весьма часто ссылаются на Пушкина, писавшего, что история России требует другой идеи (из его отзыва на «Историю русского народа» Н. Полевого). Попробуем разобраться в этих словах. Не забудем только, что Пушкин христианин — не тот *православно-племенной*, каким его рисуют неоправославные идеологи, а истинный, не связывающий христианства с той или иной конфессией. Он возражал «симпатизанту католичества» Чаадаеву (письмо от 6 июля 1831 года): «Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно *в идее Христа?*»¹⁴ Но и по поводу православия не менее резок. В уже цитированном письме Вяземскому он достаточно жестко констатирует: «Греческая церковь <...> остановилась и *отделилась от общего стремления христианского духа*»¹⁵. Итак, христианство — в идее Христа, в общем стремлении христианского духа, который создал христианскую Европу и от которого отделилось православие. И в своем последнем, знаменитом письме Чаадаеву (от 19 октября 1836 года) Пушкин уточняет: «Мы должны были вести совершенно особое существование, которое, *оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру*»¹⁶. То есть мы после татар остались христианами, но выброшенными из Европы.

А теперь — к его словам о различных формулах развития России и Европы, высказанных в рецензии на вто-

¹³Переписка А.С. Пушкина. Т. 1. М.: Художественная литература, 1982. С. 307.

¹⁴Там же. Т. 2. С. 275. Курсив мой. — В. К.

¹⁵Там же. Т. 1. С. 307. Курсив мой. — В. К.

¹⁶Там же. Т. 2. С. 289. Курсив мой. — В. К.

рой том Полевого. Но прежде пойдем, что, собственно, говорил сам Полевой, какова концепция, рожденная им в полемике с автором «Истории государства российского» (кстати, широкое, имперское название по сравнению с этнически локализирующей «Историей русского народа»). Надо сказать, тему философской формулы истории задал сам Полевой: «История, в высшем знании, не есть складно написанная летопись времен минувших. <...> Нет, она практическая проверка философских понятий о мире и человеке»¹⁷. Эти общие философские понятия определяют как всеобщую историю, так и «частные истории»¹⁸. Полевой полагает, что такая *общая формула* выведена Гизо и применима ко всем народам. В чем она заключается? Искать ее надо в «духе народном», и ошибка Карамзина, на взгляд Полевого, в том, что он «нигде не представляет вам духа народного, не изображает многочисленных переходов его, от варяжского феодализма до деспотического правления Иоанна и до самобытного возрождения при Минине»¹⁹. Для Пушкина Россия более широкое понятие, нежели народ (не говоря уж о том, что в ней много народов). Замечая, что в своих суждениях Полевой часто противоречит себе, Пушкин полемизирует с его попыткой прочесть русскую историю по типу западноевропейской, с развитием феодализма, городов и т. п., но при том вполне националистически. Ибо национализм и был формулой западноевропейских историков того времени, о чем замечал ранний Киреевский: «Стремление к национальности было господствующим в самых просвещенных государствах Европы: все обратились к своему народному, к своему особенному».

¹⁷ Н.А. Полевой. История государства российского. Сочинение Н.М. Карамзина // Н.А. Полевой, Кс.А. Полевой. Литературная критика. Л.: Художественная литература, 1990. С. 37.

¹⁸ Там же. С. 38.

¹⁹ Там же. С. 44.

Как полагал Пушкин, история России требует иной формулы — не националистической. Он строит свою историософию как путь разных стран, каждой по своему, к просвещению и свободе, где европейская парадигма оказывается определяющей. Россия к этой системе идет не через национализм — вот мысль Пушкина. У Пушкина отношение к христианству, как у Петра, — христианство как хоруговь просвещения. В 1836 году он пишет о глубокой думе магометанина, с которой тот смотрит «на крест, *эту хоруговь Европы и просвещения*» («Послесловие к “Долине Ажитугай”», 6, 107; курсив Пушкина. — В. К.).

Говоря, что Россия развивалась иначе, Пушкин отнюдь не ликует: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» («О втором томе “История русского народа” Полевого», 6, 323). Если националисты *другую формулу* русской истории по сравнению с западноевропейской воспринимают как положительный фактор, то Пушкин — как горестный. Он видел развитие европейское — в христианстве: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. *Горе стране, находящейся вне европейской системы!*» («О втором томе “История русского народа” Полевого», 6, 323; курсив мой. — В. К.). И далее следуют слова об особой формуле русской истории. В этом контексте невольно вспоминаешь о бездне, постоянно угрожающей России; по словам Пушкина («Медный всадник»), Петр «над самой бездной // Россию поднял на дыбы».

Спросим: *что такое русская бездна, над и перед которой Петр удержал Россию? Ответ — русский бунт.* «Начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, — писал Георгий Федотов, — все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показыва-

ют, что тягота государственного бремени была непосильна. <...> Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. <...> Московский народ раз в столетие справляет свой праздник “дикой воли”, после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина»²⁰.

Открываем «Историю Петра I» и видим, какое огромное место отводит Пушкин бунтам, сотрясавшим Россию накануне воцарения Преобразователя. В эти годы бунт с окраин государства переместился в столицу, и ситуация стала в некотором смысле хуже Смуты — не было ведь династической смены, не шли на Москву иноземцы (напротив, защищали верховную власть от собственного народа). Просто ненормальность явилась как норма, как образ жизни. Когда-то по поводу восстания Степана Разина европейцы сетовали, что если падет Москва, единственное место, где возможны межгосударственные отношения, то Европа останется один на один перед дикой и опасной степью. Но вот и Москва взорвана изнутри. Пушкин приводит простые факты: «Петр избран был 10 мая 1682 г. и в тот же день ему присягнули. <...> Мая 15. Стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ Божьей матери, предшествуемые попами, при колокольном звоне и барабанном бое вторгаются в Кремль». Картинка впечатляющая: православные монахи ведут бунтовщиков на православного царя. Но дальше: «Деда Петра, Кирила Полуехтовича, принудили постричься, а сына его Ивана при его глазах изрубили». Чем слабее опричников Грозного, истреблявших детей на глазах родителей и наоборот! А далее простое перечисление, мартиролог: «Убиты в сей день братья Натальи Кириловны Иван и Афанасий, кня-

²⁰ Г.П. Федотов. Россия и свобода // Г.П. Федотов. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. М.: София, 1992. С. 286—287.

зья Михайло Алегукович Черкасский, Долгорукие Юрий Алексеевич и сын его Михайло, Ромодановские Григорий и Андрей Григорьевич, боярин Артемон Сергеевич Матвеев, Салтыковы, боярин Петр Михайлович и сын его стольник Федор, Иван Максимович Языков (?), стольник Василий Иванов, думные люди Иван и Аверкий Кириловы, Иларион Иванов и Янов; медики фон Гаден и Гутменш» («История Петра», 8, 20–21).

А чего стоят бесконечные попытки покушений на самого Петра! За царем, натурально, охотились, как двести лет спустя на Александра Второго. Тоже царь-европеец и стрелцы Нового времени — народники, народовольцы. Только им была удача и горе России. А Петр уцелел. Шпенглер восторгается «старорусской партией», которая «билась против друзей западной культуры». Пушкин назвал подобную «биту» бессмысленным и беспощадным бунтом. Надо сказать, в русской истории он исследовал и размышлял над двумя темами — бунтом и строительством европейского государства. Оппозиция эта выражена в двух центральных исторических фигурах в его творчестве — Пугачев и Петр. Его интерес не был абстрактным, Пушкин понимал, что история прорастает в современность, более того, работают сегодня те же законы, что и вчера, что (говоря современным языком) архетипы нельзя отменить, их можно только изжить, сознательно преобразовывая свою историю. Свидетелем *битв* «старорусской партии» ему пришлось и самому быть.

3 августа 1831 года он пишет из Царского Села Вяземскому: «Нам покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси (характерно, что Пушкин пишет — *Старой Руси*, а не *Старой Русы*. — В. К.). Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инже-

неров и коммуникационных (т. е. тоже интеллигентов, но вроде большевиков, тоже предателей европеизма. — В. К.). Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русский (т. е. *старорусский, московский?* — В. К.) еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики (т. е. *народ.* — В. К.), которым полки выдали своих начальников (*вот оно — единение армии с народом, о котором мечтал Ленин.* — В. К.). Плохо, Ваше сиятельство»²¹ (*таково отношение поэта к репетиции Октябрьской революции, произошедшей 7 ноября по европейскому стилю.* — В. К.). (10, 59).

Безумие народничества и отвержение петровского дела открывают дорогу из этой бездны — дьяволу. В России ему проще, чем в других странах, ибо у нас иная формула, чем у христианской Европы²². «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» («О втором томе “История русского народа” Полевого», 6, 324).

На этом цитирование обычно заканчивается. Но Пушкин предлагает и свою формулу России, русской истории, ее

²¹ Переписка А.С. Пушкина. Т. 1. С. 306.

²² Напомню слова замечательного русского мыслителя начала нашего века: «В странах, где господствует европейская цивилизация <...> черт ходит “при шпаге и в шляпе”, как Мефистофель; у нас, напротив, — он откровенно показывает хвост и копыта. Во всех тех странах, где царствует хотя бы относительный порядок и некоторое житейское благополучие, вельзевул так или иначе посажен на цепь. У нас, напротив, ему суждено было веками бесноваться на просторе» (*Е.Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума // Вопросы философии. 1989. № 12. С. 112–113*).

шанса вырваться из объятий горя-злочастья. И шанс этот он видит не в «пробуждении самобытного духа народа»²³, его формула основана на вере в чудо христианского откровения и преображения. Тут же, в этих же заметках, он говорит о том, что человек «видит общий ход вещей и может выводить из оногo глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» («О втором томе “История русского народа” Полевого», 6, 324; курсив Пушкина. — В. К.). Именно Петр стал тем случаем, тем орудием провидения, тем перво двигателем, «кем наша двинулась земля», кто удержал Россию «над самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»), которого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо было это — явление, т. е. случай, для России случай спасительный. Отрицать дело Петра — отрицать христианский шанс России, вновь, после татарского погрома, стать христианской, то есть европейской страной.

Христианство оказалось первой мировой религией, задавшей всему миру парадигму исторического развития, объявившей, что развитие это, имеющее начало и конец, осуществляется через преемственность поколений, одушевленных идеей совершенствования человеческого рода и его жизни. Но совершенствовать себя и мир может только зрелый человек, сознающий свою ответственность, а стало быть, обладающий и свободой. Раб — безответствен, за него отвечает хозяин. «Делая человека ответственным, — писал Достоевский, — христианство тем самым признает и свободу его»²⁴.

²³ Н.А. Полевой. История государства российского. С. 45.

²⁴ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873. Среда // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 16.

Свободная личность на все времена

Какие же задачи ставил Пушкин Поэту? В чем видел назначение его деятельности? Он писал:

...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Поэту, 1830

И это не отказ от общественного служения искусства. Просто понимается это служение не как грубый утилитаризм, не как навязчивое дидактическое морализирование, желание исправить частные недостатки. Для этих целей поэзия не нужна. И на упреки духовной черни поэт отвечает с гневом:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!

Поэт и толпа, 1828

Поэзия решает другие задачи, у нее иное служение. И более важное, чем навязанная извне морализирующая дидактика, *святое служение*. Не случайно сравнение поэта с древнегреческим жрецом:

Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор, — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?

Поэт и толпа, 1828

Поэзия служит освобождению человека, раскрытию и выпрямлению его духовной сущности, что так не по душе

утилитарным дидактикам, бранящим поэта: «Как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна: какая польза нам от ней?»

Польза тем не менее огромная. Говорят, что с возрастом Пушкин стал консервативнее, что эпоха вольнолюбивой лирики кончилась с поражением декабрьского восстания... Но на самом деле та же жажда свободы сдает поэта, более того — углубляется, усиливается, теперь проникает он в тайное тайных человека, освобождая человека духовно, как только и может и должен поэт. Пушкин, отстоявший себя как независимого художника, а потому и избавивший искусство от внешней регламентации и казенной опеки, *помогает человеку своей поэзией осознать себя как суверенную личность*. А не в этом ли высшая польза искусства и его общественное значение!? Если же *это* в поэзии *есть*, то она, как говорил Белинский, может «быть выражением всякого направления, всякого созерцания, не боясь перестать быть поэзией и перейти в рифмованную прозу».

И далее вся русская литература служит продолжением пушкинского дела — освобождения человека от рабства *во всех его видах*. Пожалуй, трудно назвать большого русского писателя, который так или иначе не поверял бы своего творчества — пушкинским, в годы высшей своей зрелости все более и более тяготея к пушкинской простоте, прямо-те, внутренней свободе и раскованности.

Но эта пушкинская свобода и легкость даются не просто; они *есть результат преодоления тяжести земной жизни*, ее несправедливостей. Пушкин назвал свой век — *жестоким*. Но нельзя забывать, что «нету легких времен» (Наум Коржавин), что каждый век, «переживающийся» человечеством, — по-своему жестокий. Поэтому-то на все времена написаны великие строки:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 1936

Пушкин преодолел земную тяжесть. И мы теперь повторяем вслед за Блоком: «Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин»²⁵.

Когда русская эмиграция после Октябрьского исхода искала центр, который смог бы объединить всех, духовный центр, который содержал бы в себе высший смысл назначения России на земле — религиозный, государственный, культурный, политический — то выяснилось, что ни слишком пристрастные к конкретным программам Толстой, Достоевский или Чернышевский, ни тем более политики не в состоянии вместить все претензии и — главное — выразить *чувство национального достоинства, а не экзотической исключительности, дать шанс на равноправие* с богатой и культурной Европой. Это может только *русский европеец* Пушкин. Он не Западу — русским нужен, для русских он оправдание их надежд на достойное будущее. Борис Зайцев нашел точные слова: «Пушкин, думаю, для всех сейчас — лучшее откровение России. Не России старой или новой: истинной. Когда Италия объединялась, Данте был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит трудная и долгая борьба за человека, его вольность и достоинство, имя Пушкина приобретает силу знамени»²⁶.

²⁵ Блок А. О назначении поэта // Я лучшей доли не искал... Судьба Александра Блока в письмах, дневниках, воспоминаниях. М.: Правда, 1988. С. 538.

²⁶ Зайцев Б. Пушкин в нашей душе // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. Рыбинское подворье: Русский мир, 1998. С. 60.

Пушкин никогда не говорил, что русский народ — всеевропеец, что русские наиболее предназначены ко всемирному братству. Он просто *был*, был русским европейцем (не хуже француза, англичанина, итальянца, немца), русским человеком, каким русский человек в идеале должен быть. И сегодня нельзя не согласиться: «Пушкин — это гений, сумевший создать идеал нации. Не просто “отобразить”, не просто “изобразить” национальные особенности русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал культуры»²⁷. Хотя вопрос более сложный, мне кажется. Один критик в комментариях к гоголевским «Арабескам», заметил, что Гоголь обещал, мол, явление русского человека, такого, как Пушкин, через двести лет. И вот-де не является. Надо сказать, обещание было опрометчивое. *Не явится. Потому что уже явился*. Божественный глагол звучит однажды. Его просто надо слушать. Как однажды явился Богочеловек, а все последующее развитие человечества — бесконечные усилия приблизиться к тому образу, который был не доказан, но *показан*, что есть, по Хайдеггеру, лучшая демонстрация истинности. Так России был явлен Пушкин. Бунин писал о Пушкине: — Он, Его, о Нем, т. е. с большой буквы, как о Богочеловеке. А Иван Шмелев сформулировал так: «Есть у народов письменоткровения. В години поражений и падений через них находят себя народы: в них — воскрешающая сила. Пушкин — вот наше откровение, вот *тайна*, которую мы как будто разгадали»²⁸. Разгадали потому, что Пушкин сам и есть разгадка судьбы России, как Христос — судьбы человечества. Не случайно с такой страстной любовью (как ни у одного писателя!) изучен каждый его шаг, каждое его слово, каждая записка или обмолвка.

²⁷ Лихачев Д.С. Пушкин — это наше все // Лихачев Д.С. Книга беспокойств. М.: Наследие, 1991. С. 306.

²⁸ Шмелев И. Пушкин. 1837–1937 // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. С. 177.

Русские писатели всю вторую половину XIX века искали идеал, фигуру, которая укажет России путь, русского Христа — то в Рахметове, то в Алеше Карамазове, то даже в Штольце. Все эти герои были вполне умозрительны, мимо них спокойно, преодолевая и отвергая их, прошло русское общество. А значение Пушкина росло и крепло. И в итоге про него, про единственного, можно сказать, что он есть «путь и истина» России.

10. Павел Катенин как теоретик искусства

Имя Павла Александровича Катенина (1792—1853) знакомо читателю прежде всего как имя второстепенного, как обычно выражаются в таких случаях, поэта пушкинской эпохи. Что нам о нем известно? Что он был героем войны с Наполеоном, переводчиком Корнеля (вспомним «Онегина»: «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый»), учителем двух выдающихся русских актеров — Каратыгина и Колосовой, был сослан в свое имение в 1822 году, оказался «декабристом без декабря», что Грибоедов признавал его «решительное» влияние на свой талант, что тоже самое говорил и Писемский, что умер Катенин почти в нищете, всеми забытый, последние годы почти ничего не писал, если не считать воспоминаний о Пушкине (которые, кстати, сказать, показывают в нем неизменную ясность ума, стиля и верность своей художественной позиции). Если же говорить о Катенине как мыслителе, теоретике искусства, то его эстетические взгляды и вовсе оставались до последнего времени не известны широкому кругу специалистов к практически не были введены в современный научный оборот. Его эстетический трактат «Размышления и разборы» не перепечатывался ни разу со времени первой публикации в «Литературной газете» (издававшейся А. Дельвигом и О. Сомовым) в 1830 году. Ни отрывки из этого трактата, ни статьи Катенина по вопросам искусства не вошли ни в одну из хрестоматий, посвященных эстетике или критике первой трети XIX века. Разумеется, нельзя не сознавать, что и как теоретик, и как мыслитель Катенин, так сказать, слабее своих многих современников. Достаточно вспомнить,

что в годы, когда он писал свои «Размышления и разборы», создавались «Философические письма» Чаадаева, была издана диссертация Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (хотя важно отметить, что «Письма» Чаадаева в те годы так и не увидели света, а диссертация Надеждина была написана и издана на латинском — не очень доступном широкому кругу читателей — языке! Тут нельзя не увидеть известного преимущества Катенина, чья позиция была обнародованной и оказалась моментом литературных споров тех лет). Все это — явления в теоретическом отношении гораздо более значительные и затмевающие Катенина, не говоря уже о том, что через пять лет на страницах печати появляется Белинский, задавший русской критике и новый уровень, и более интенсивный темп духовной жизни.

Так стоило ли издавать и стоит ли нам сегодня обращаться к наследию этого полузабытого русского поэта и мыслителя? Думается, что стоит и не только из архивного интереса. Уже не раз отмечалось, что духовные приобретения не снимаются в последующем движении и развитии культуры, сохраняя в известном смысле свою самоценность и самодостаточность. Поэтому своего рода воскрешение полузабытых мыслителей прошлого есть позитивный момент в сегодняшнем нашем теоретическом интересе. Нельзя забывать, какую роль играл мыслитель в художественно-эстетическом процессе своего времени, если мы хотим с достаточной рельефностью понять и представить интересующую нас эпоху, а Катенин был фигурой незаурядной. «Многие (в том числе я), — писал ему Пушкин, — много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности»¹.

¹ Письмо А.С. Пушкина П.А. Катенину. Февраль 1826 г. // Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 214.

В известном смысле результатом этого совета и явились катенинские «Размышления и разборы».

В 1829 году Катенин писал своему близкому другу Н.И. Бахтину: «...пришлю и немалое количество прозы, составляющее первую *livraison*² предпринятого мной... сочинения об эстетике вообще и поэзии мне известных народов; я дал ему довольно простое название: “Размышления и разборы”. Набело готово пять отделений: 1-е об изящных искусствах, 2-е о поэзии вообще, 3-е о поэзии европейской, 4-е о поэзии греческой, 5-е о поэзии латинской; вся древность, как Вы видите, пройдена и я... старался быть кратким... а сумел ли я в немногих словах сказать, что надобно, об этом Вы посудите, как прочтете. Начерно есть и 6-е отделение: о поэзии новой с начала, 7-м — о поэзии итальянской я занимаюсь теперь, 8-е будет об испанской и португальской, и все три составят вторую *livraison*; третья будет о французах, четвертая об англичанах и немцах; о русских мне, как стихотворцу *de profession*, говорить неловко и неприлично»³. Надо сказать, что практически все пункты этого плана Катенин выполнил, хотя трактата в целом и не окончил; что же касается его рассуждений о русском искусстве (что более всего нас сегодня интересует), то его полемические статьи, в сущности, и являются этой необходимой частью его трактата, которую он из соображений скромности писать не решился.

Трактат Катенина не был простым анализом поэтических произведений древнего и нового мира: «Ужели Вы не заметили, что в продолжение разборов в оценке народов и стихотворцев я везде следую в точности положенным в начале основаниям? Без нового и вместе дельного взгляда

²Часть (*фр.*).

³*Катенин П.А.* Размышления и разборы / сост., подгот. текста, вступит. ст. и примеч. Л.Г. Фризмана. М.: Искусство, 1981. С. 292. В дальнейшем все ссылки на это издание даны прямо в тексте.

на эстетику всю, на неизменные ее свойства и признаки, без твердого, простого и для всех понятного правила, по которому отличать хорошее от дурного, зачем писать?» (С. 293). Надо сказать, что поиски «нового» и «дельного» взгляда на эстетику заставили Катенина задуматься о создании теории, основанной на реальном анализе искусства и жизни: «Физика стала наукою дельною с той поры, когда откинули все умствования, системы и догадки, чтобы заняться единственно наблюдением и испытанием природы: не пора ли взяться за то же в эстетике?» (С. 47).

Судьба катенинского сочинения по эстетике была довольно грустна. В нем он выступил против романтической концепции братьев Шлегелей, популярность которых только еще утверждалась в России, и, естественно, прослыл среди современников «старовером» и «классицистом», поклонником «правил». И хотя сам Катенин достаточно определенно писал, что он понимает под правилами в искусстве («правило есть краткое изложение истины, рассудком замеченной и опытом подтвержденной». С. 140), позиция его не была воспринята. Да, строго говоря, он и сам не мог ее сформулировать с необходимой отчетливостью. По справедливому наблюдению составителя сборника, в основе всех или во всяком случае большинства оценок отдельных авторов и произведений, о которых идет речь в «Размышлениях и разборах», лежит единый фундаментальный принцип: произведение всегда оценивается прежде всего с точки зрения того, насколько правдиво, неприукрашено изображена в нем действительность. Отражение действительности в художественном произведении получает одобрение Катенина, все формы насилия над действительностью, ее приукрашивания им отвергаются. Парадокс эстетической позиции Катенина заключался в том, что противоядие романтизму он искал в некоторых положениях классицизма, будучи не в состоянии четко теоретически осмыслить и тем более сформулировать новые, рождающиеся на его глазах

художественные принципы. И нельзя не согласиться с Л.Г. Фризманом, что в основе катенинских построений «лежала идея необходимости смены романтизма новым искусством, которое синтезировало бы в себе достижения предшествующего художественного развития. Реализм не был назван и описан, но — предугадан» (С. 42).

Также для понимания точки зрения Катенина в спорах тех лет важно отметить его неприятие узко понятых литературных школ: «Я вообще не терплю школ в словесности: их быть не должно. Всякой пищи сам по себе, как знает: всем один судья — потомство. Превосходные, образцовые писатели никогда не волокли за собой кучи ничтожных подражателей. Чернь литературная чувствовала в душе своей, что ей за ними не угнаться, довольствовалась тем, что их бранила, чернила, иногда презирала и, не в силах будучи до них возвыситься, старалась всячески их унижить до себя. Ни Данте, ни Тасс, ни Комоэнс, ни Сервантес, ни Шекспир, ни Мильтон, ни Расин, ни Мольер не предводительствовали полками пигмеей» (С. 83). Независимость Катенина отпугивала от него «пигмеев», но, видимо, не случайно привлекала Пушкина, перешагнувшего «барьеры» и романтизма, и классицизма, и сентиментализма, — родоначальника русского реалистического искусства. Одна из проблем русской литературы почти во все столетия заключалась в одном и том же: была высокая литература, но не было критики, которая была бы способна на должном уровне рассуждать о своей словесности, перестав обслуживать группировки, чтобы найти себе выгоду и прокорм. Пушкин искал такого критика. Появление Катенина, способного полемизировать со Шлегелем, казалось ему шансом русской словесности на критику. Он об этом писал многим своим адресатам, но и Катенину тоже. В уже цитированном письме 1826 года из Михайловского он просил его: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей сло-

весности новое истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика»⁴.

Вообще издание текстов Катенина снова ставит перед наукой своего рода культурно-психологическую проблему — проблему «пушкинского окружения», то есть того слоя, той почвы, на которой формировался и укреплялся талант великого поэта. Сама структура книги, состоящей из трех разделов: трактата, статей и писем, позволяет сделать некоторые заключения на этот счет. Независимость теоретической позиции Катенина, так ярко проявившаяся в его трактате, полемическая смелость его статей подтверждаются и подкрепляются его человеческой независимостью и смелостью. Достаточно хотя бы упомянуть об отсутствии боязни в высказывании своего мнения («пустой и даже вредной осторожности я себя не предаю ни в каком случае». С. 295), чтобы понять, что импонировало Пушкину в позиции Катенина — его, как он сам выражался, «неизлечимая болезнь говорить правду» (С. 207). Иными словами, возникший в начале века в среде просвещенного русского дворянства тип независимого человека проявился как в общественной борьбе (декабризм), так и в области искусства. К таким людям обращал Пушкин свое заветное пожелание: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». Но дорога эта была трудна, и не все преодолевали ее. Однако и в самих неудачах заключался урок, с необходимостью усвоенный и усвоенный дальнейшим развитием русской художественной культуры. В своих поздних стихах Катенин с поэтической четкостью и лапидарностью выразил трагизм своего духовного «самостояния» и вместе с тем (если допустимо в данном случае такое слово) и его плодотворность: к письму Пушкину от 4 января 1835 года он приложил свой сонет, последние строки которого хочется привести, они много проясняют в душевном состоянии Катенина:

⁴ Письмо А.С. Пушкина П.А. Катенину. Февраль 1826 года. С. 214.

Как чище золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды:
Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила;
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды,
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила.

Пожалуй, мы можем сказать (разумеется, с большой осторожностью), что если бы не было в России, в русской культуре людей типа Катенина, то, возможно, не было бы и Пушкина. Поэтому введение в научный и культурный оборот творческого наследия Катенин, столь незаурядного по самостоятельности позиции мыслителя, представляется весьма существенным как для понимания становления и развития русской эстетической мысли, так и для понимания того культурно-психологического типа людей, которых мы теперь с почтением и по справедливости относим к «пушкинскому кругу».

11. Петербург Достоевского – непотонувшая Атлантида

Когда русская эмиграция первой волны немного пришла в себя, то русские мыслители стали вспоминать и размышлять над тем, что они потеряли. Что самого дорогого было в оставленной ими России. И всплыло очень отчетливо и прежде прочих три имени: Петербург, Пушкин и Достоевский. Ибо все они вдруг поняли, что «почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской»¹. А Пушкин и Достоевский — поэты и певцы этого петербургского духа. Интересно, однако, что для Запада выразителем высших духовных достижений России стал не Пушкин, а другой, тоже абсолютно петербургский писатель — Достоевский.

Достоевский — пограничный писатель. Он описывает, как дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. И место борьбы, где бьются эти сердца, в его главном городе, который словно возник из небытия и находится как бы на границе двух миров. Город, который попытался впитать в себя, а потом нести в себе культуру цивилизованных европейски-христианских и имперских городов. «Арийская цивилизация» (если воспользоваться термином Достоевского) знает не так много подобных структур. Это, конечно, Александрия, Рим, Константинополь, чуть позже — Лиссабон, Лондон, Париж. Теперь можно назвать

¹ Федотов Г.П. Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 1. СПб.: София, 1991. С. 50.

и последний в этом ряду город — Нью-Йорк, который как всякий имперский город, сплошь состоит из архитектурных цитат. Но в результате получается нечто очень целостное. Таков и Петербург. Только Нью-Йорк стоит на каменной глыбе, а Петербург, как говорили практически все русские писатели, возник из болота, поэтому бесовская болотная стихия все время колыхается под ногами. Бердяев писал: «Магической волей Петра возник Петербург из ничего, из болотных туманов. Пушкин дал нам почувствовать жизнь этого Петербурга в своем “Медном всаднике”. Славянофил-почвенник Достоевский был стран-ным образом связан с Петербургом, гораздо более, чем с Москвой, он раскрывал в нем безумную русскую стихию. Герои Достоевского большей частью петербургские герои, связанные с петербургской слякотью и туманом. У него можно найти изумительные страницы о Петербурге, о его призрачности. Раскольников бродил около Садовой и Сенного рынка, замышляя свое преступление. Рогожин совершил свое преступление на Гороховой. Почвенник Достоевский любил беспочвенных героев, и только в атмосфере Петербурга могли существовать они. Петербург, в отличие от Москвы, — катастрофический город»².

Слово Достоевского и вправду было горьким и болезненным. Эту горечь, точнее, сладость горечи он впитал из трагического пафоса христианства. «Страдать надо, страдать», — любил повторять писатель. Сам страдал немало, но это страдание очистило душу и указало тот христианский свет, которым пронизан был город Святого Петра. Город, где едва ли не впервые в истории России православные, лютеране и католики вступили в творческий диалог, город поэтому столь ненавистный всяческой

²Бердяев Н.А. Астральный роман (Размышления по поводу романа А. Белого «Петербург») // Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 310—311.

бесовщине, пытавшейся уничтожить высокую культуру. Борьба бесов («шигалевщина») против рафаэлевской Мадонны, Шекспира, Шиллера закончилась их временной победой. Но в конечном счете победил как явление мировой культуры, остался жить во времени, а потому и победил — Достоевский.

Трудно сейчас вообразить, наблюдая за фантастической славой Достоевского, влияние которого признают самые великие писатели Европы, произведения которого изучаются тысячами исследователей: литературоведов, философов, психологов и т. п., что когда-то именно этот писатель страдал не только от того, что его не понимают, но от того, что его просто не желают замечать даже так называемые собратья по перу. Нет, начало было блистательным. Его принял и воспел самый знаменитый критик 1840-х годов Виссарион Белинский, но он же первый и охладил к нему, заметив, что каждое новое произведение Достоевского — это падение. Публика следовала за критиками-кумирами. А они в лучшем случае обращали внимание на социальность, любовь к бедным людям и незаурядный психологизм Достоевского. Хорошие слова произнес друг и пьяница Аполлон Григорьев по поводу «Записок из подполья», увидев в них намек на «новое слово». Но, пожалуй, это и все. Тургенев писал на него эпиграммы, Толстой не желал даже знакомиться. А самый заметный властитель умов конца 1870-х годов Михайловский отказывал его творчеству во всяком философском значении. Когда «Преступление и наказание» сравнили с «Отверженными» Гюго, для Достоевского это была высшая похвала. Хотя по значению в мировой культуре сегодня трудно сравнить Гюго и Достоевского: слишком несоизмеримы масштабы. Достоевский страдал от мелочных укусов литераторов-современников, которые предпочитали не замечать писателя, а его обращение к религиозной проблематике приписывали скорее невеже-

ству, ибо не писал же он трактатов, как Лев Толстой, ересиарх, конечно, но проштудировавший невероятное количество философской и религиозной литературы. В письмах к близким людям Достоевский огрызался на эти придирки, писал, что он не как дурак и фанатик в Бога верует, что глубину пережитого им сомнения, а соответственно и сознательность и силу веры в Христа трудно измерить, но тем не менее был очень раним и зависим (не духовно, психологически) от постоянных уколов самолюбия.

«Идиот» и «Подросток» прошли, строго говоря, незамеченными. «Бесы» вызвали политический ажиотаж. Настроение писателя, к примеру, в 1876 году достаточно точно передает его жена: «Иногда Федор Михайлович откровенно высказывал жалобы на то, как к нему несправедливы были иные люди и как старались его оскорбить или задеть его самолюбие. Надо правду сказать, люди его профессии, даже обладавшие умом и талантом, часто не щадили его и мелкими уколами и обидами старались показать, как мало значил его талант в их глазах»³. Она приводит действительно мелкие и беспощадные замечания, типа «некогда», «молодежь читает», «все руки не дойдут». Или: в «Идиоте» неточно изображена беседа в Павловске. А чуть позже некто даже не поленился и с хронометром в руках прочитал речь прокурора из «Братьев Карамазовых», чтобы проверить насколько точно определил Достоевский время, затраченное прокурором на эту речь, и с удовольствием сообщил писателю, что тот ошибся. Анна Григорьевна резюмирует: «Все это были, конечно, мелкие уколы самолюбия, недостойные этих умных и талантливых людей, но тем не менее они действовали болезненно на расстроенные нервы моего больного мужа. Я часто негодовала на этих недобрых людей и склонна была

³ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 321.

(да простят мне, если я ошибалась) объяснять эти оскорбительные выходки “профессиональную завистью”, которой у Федора Михайловича, надо отдать ему в том справедливость, никогда не было, так как он всегда отдавал должное талантливым произведениям других писателей, несмотря на разницу в убеждениях»⁴. Сам Достоевский в письме к жене (от 22 июня 1875 года) с нескрываемым ущемленным самолюбием пишет о Льве Толстом: «Я его в лицо не знаю, но не думаю, чтобы он захотел знакомиться, а я, разумеется, сам не начну»⁵.

Грустно и трогательно читать в воспоминаниях Вс. Соловьева о визите Достоевского к гадалке Фильд в 1877 году, о растерянности писателя, явном недоверии к словам гадалки, которая «предрекла ему большую славу». И как он просил Вс. Соловьева: «Только не распространяйте этого между посторонними до времени, может, все наврала, глупо выйдет...»⁶ Причем и он, и Соловьев, и повторившая эту историю Анна Григорьевна думали о прижизненной славе, которая вроде бы пришла к нему на Пушкинском празднике. Никому и в голову не могло прийти, что эта слава означала лишь восторг публики от публичной лекции писателя. И не имела ничего общего с той всемирной славой, которую приносят художественные и духовные откровения. На такую славу Достоевский не смел даже надеяться, понимая, что Европе он не известен, а в своем отечестве его ценят больше как публициста, автора «Дневника писателя», нежели как художника и мыслителя. Не говоря уж о навете одного из «друзей» писате-

⁴ Там же. С. 322.

⁵ *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Г. Достоевской (1875) // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 2. Л.: Наука, 1986. С. 43.

⁶ *Соловьев Вс.С.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 226.

ля, критика Н.Н. Страхова, обвинившего Достоевского в письме к Л.Н. Толстому в насилии над малолетней. Ведь Страхов прекрасно понимал, что вся переписка Толстого рано или поздно станет достоянием общественности. И, конечно, репутация Достоевского как духовного пророка и властителя дум в контексте такого «разоблачения» станет невозможной. В 1911 году В.В. Розанов констатировал: «Толстой был вообще весь и всегда “в удаче”, и его “Крейцера соната” еще в литографском тиснении была прочитана всею Россией, и Россия о каждой странице “Крейцеровой сонаты” не только подумала, но и мучительно ее пережила. Достоевский, напротив, был и до сих пор остается “в неудаче”»⁷.

Тем не менее слава, мировая слава, пришла. Его почитали Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд, Томас Манн и Альбер Камю, Уильям Фолкнер и Гуго фон Гофмансталь. Скажем, в 1921 году Гофмансталь в своей статье «Взгляд на духовное состояние современной Европы» уверенно констатировал: «Если у нашей эпохи и есть духовный властитель, то это Достоевский»⁸. Не забудем и того, что Достоевский оказался в центре духовных исканий русских мыслителей Серебряного века (будущих русских эмигрантов), крупнейших писателей и мыслителей Западной Европы. Слава его доходила до житейских парадоксов: так, Василий Розанов женился на бросившей Достоевского Аполлинарии Сусловой, возлюбленной писателя, женщине, вдоволь поизмывавшейся над своим немолодым любовником. Достоевский был женат, не мог расторгнуть брак и жениться на Сусловой, которая откры-

⁷ *Розанов В.В.* Одна из замечательных идей Ф.М. Достоевского // Начала. М.: Орган философского общества в СССР, 1991. С. 56.

⁸ *Hugo von Hofmansthal.* Blick auf den geistigen Zustand Europas. In: Hugo von Hofmansthal. Gesammelte Werke. Prosa. Hrsg. von Herbert Steiner / Frankfurt/M., 1955. Bd. 4. S. 77.

венно изменяла ему со случайными красавцами, издеваясь над его сексуальными способностями. Впоследствии она, однако, написала воспоминания «Годы близости с Достоевским», сообразив величину и масштаб личности брошенного любовника. Эти воспоминания привели к ней юного поклонника Достоевского философа Василия Розанова, женившегося на Сусловой и натерпевшегося от нее не меньше, чем его кумир.

На большевиков слава писателя и его последователей действовала с точностью до наоборот. Сокрушив великий город, переназвав его⁹ именем разрушителя в Ленинград¹⁰, они также отвергли и «архискверного Достоевского», как определил его Ленин. Им было понятно, что писатель, разоблачивший смысл бесовских деяний, не может существовать в стране бесов. Десятитомник писателя был издан только в 1950-е годы, в хрущевскую «оттепель».

В «Поэме без героя» Ахматова лаконично передает исчезновение (усилиями большевиков и советской власти) Достоевского вместе с воспетым им городом. Достоевский запрещен, Петербурга, создавшего русскую культуру, тоже не стало. Вместо него на географической карте появился сначала Петроград, а затем и Ленинград. Все поглотил туман, в котором роились бесы:

⁹ Хотя стоит отметить, что сначала город был лишен покровительства Святого Петра в начале Первой мировой войны при Николае II: Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Дальнейшие переименования были как бы легитимизированы этим актом.

¹⁰ Бунин в ужасе писал, «что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга», но еще страшнее то, «что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград», а потому «охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу» (*Бунин И.А. Миссия русской эмиграции // Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: Советский писатель, 1990. С. 354–355*).

И царицей Авдотьей заклыйтй,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

Но видевший из-за рубежа нечто более важное Г.П. Федотов предсказывал: «Что же может быть теперь Петербург для России? <...> Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надышан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целые десятилетия. <...> Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли»¹¹. Так оно и произошло. И немалую роль сыграло то, *какие* мысли были рождены в этом городе. Конечно, Достоевский был *одним из...* но оказавшимся в центре мировых проблем, ибо именно они и были ему интереснее прочего.

Чудо культуры в том, что «камень, который отвергли строители, сделался главою угла» (*Псал.* 117, 22). Это великий закон, открытый библейской интуицией и повторенный в христианстве. Этим камнем оказалось творчество Достоевского. Образ Петербурга Достоевского, подтвержденный великим поэтом Мандельштамом, — это архитектура, это камень. «Камень» назывался первый сборник стихов поэта, о камне он произнес проникновенные слова: «Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально способность динамики — как бы попросился в “крестовый свод” — участвовать в радостном взаимодействии себе подобных»¹².

¹¹ Федотов Г.П. Три столицы. С. 53.

¹² Мандельштам О. Утро акмеизма // Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 178.

Весьма многие в России желали, чтобы Петербург опустился в водную пучину в результате какого-либо катаклизма. Именно сторонники Московской Руси, противники петровских преобразований, по сути, призывали на «град Петров» морские, сиречь людские волны, мечтая о том, как стихия уничтожит регулярный град европейской цивилизации в России. Племянник Чаадаева замечал: «В одном, впрочем, они (“славяне”. – В. К.) сообща и единогласно сознавали настоятельную необходимость, в окончательном истреблении и уничтожении Петербурга, как города нерусского, басурманского, источника, и притом исключительного, невероятных зол и, сверх того, живого памятника ненавистного им Петра. <...> В силу славянофильских верований не подлежало сомнению, что рано или поздно, не сегодня, так завтра, волны Балтийского моря зальют Петербург, и таким образом их желания сами собою придут к увенчанию: на том месте, где ныне возвышается город Петра, совершенно заиграет море: столицей, административным и правительственным центром, разумеется, станет Москва»¹³. После победы народной стихии в октябре 1917 года именно так и случилось.

Бунин в стихотворении «День памяти Петра» (1925) написал, что Сатана

скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

Призывы врагов Петербурга и последовавшая гибель великого города невольно заставляют вспомнить дошедший до нас в диалогах Платона «Тимей» и «Критий»

¹³ *Жихарев М.И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во Московского университета, 1989. С. 95–96.

миф об Атлантиде, о великой империи, противостоявшей древним Афинам и поглощенной морем. «По Платону, — замечает исследователь, — Критий узнает об Атлантиде в том возрасте и в тех обстоятельствах, когда детей обучают священной истории; иными словами, *сам Платон помещает предание об Атлантиде в мифологический контекст*»¹⁴. Однако Е.Г. Рабинович пишет о возможности реального существования Атлантиды, замечая, что в античности Атлантида — это был «город на Западе», который «возник и покорил мир, а затем своим падением ознаменовал конец целого периода человеческой истории»¹⁵. Вместе с тем реальность Атлантиды все равно остается в мифологическом контексте. Именно такого — полного — исчезновения Петербурга, этого западного города в России, желали его противники. В таком контексте любопытно отметить, что Достоевский читал «Государство» Платона, что о Платоне рассуждают его герои. Об этом не раз писали исследователи творчества Достоевского. Иными словами, общее историко-культурное пространство двух мыслителей позволяет это сравнение. Заметим тем не менее, что миф об Атлантиде является мифом, а Петербург, несмотря на то что оброс мифологическими коннотациями, все же зримая реальность.

Н.П. Анциферову казалось, что водное начало — суть Петербурга: «Водная стихия в глазах Достоевского является первоосновой Петербурга, его *sui generis* — субстанцией. В ненастную ночь, когда воет ветер и хлещет дождь или падает снег, и непременно мокрый снег — в такую ночь с особой силой Достоевский воспринимал существо Петербурга»¹⁶. Но скорее это некая интеллек-

¹⁴Рабинович Е.Г. Атлантида (контексты платоновского мифа) // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 69.

¹⁵Там же. С. 84.

¹⁶Анциферов Н.П. Проблемы урбанизма в русской литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций. С. 387.

туальная аберрация. Петербург был каменной опорой России. Водная стихия окружала каменный город, постоянно угрожала ему, пока не затопила. Петербург, как придуманная Платоном Атлантида, вроде бы ушел на дно¹⁷. Однако Петербург не был мифическим измышлением, он был исторической реальностью. Он воплотился в камне, стихах и прозе, и у него были те подъемные силы, которые извлекли его со дна моря — русская литература (поэзия и проза), русская архитектура, живопись и музыка, то есть русская культура. Петербургская литература, петербургская культура спасли город. Достоевский был одним из тех гениальных работников, что своими усилиями не давал утонуть, поднимал со дна человеческих душ утонувшую Атлантиду-Петербург, делая достоянием мира тайнознание «русских атлантов». Тех, которые тем или иным образом пережили гибель своего материка.

Петр сумел создать пространство, которое формировало европейскую ментальность русских людей. Он сумел создать пространство, которое инициировало фантастические духовные прозрения. И эти прозрения, став интересны всему миру, создали того петербургского писателя Достоевского, которым гордится Россия. Справедливо написал Игорь Волгин: «Достоевский совпадает с Россией как таковой <...> с той, которая *пребывает*, но какой она в каждый конкретный момент не была и, по-видимому, не будет»¹⁸. Великие проблемы, поставленные Достоевским, создали ту духовную Россию, которая стала интересна миру.

¹⁷См. об этом: *Дмитриева О.* Ментальное возвращение в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург как утраченная Атлантида русской культуры // Путешествие как феномен культуры. СПб.: Алетейя, 2012. С. 128–140.

¹⁸*Волгин И.* Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М.: Грант, 2004. С. 743.

Именно ему, просто и ясно заявившему, что вечные проблемы не уходят, что в превращенном виде они продолжают существовать и каждый раз требуют нового решения, принадлежит (здесь он делит славу с Ницше) оживление духовных смыслов европейской культуры. И именно он стал восприниматься европейцами как художник и мыслитель, указавший и угадавший, что в ситуации «нетости Бога» (Хайдеггер) возможны самые страшные катаклизмы, которые и произошли. Последствия этих катастроф до сих пор переживает человечество, ища лечение у того мыслителя, который первым поставил диагноз наступавшего кризиса. А поставить диагноз — значит, указать дорогу к лечению.

12. Любовь к двойнику. Двойничество — миф и реальность русской культуры?

Миф в контексте человеческого бытия как историософская проблема

Крушение Российской империи заставило изгнанных за рубеж мыслителей заново продумать те мифы, которые двигали общественную жизнь страны до революции. Почему я говорю о мифах как двигателе социума? Дело в том, что разумом во все века живут единицы, способные к рациональному взгляду на мир, к интеллектуальному усилию свободы. Появление мифа означает выход человечества из животного состояния. Миф возникал как попытка человека противостоять хаосу мира. Первобытный человек подчиняется природе, но и подчиняет ее себе отчасти реально (в охоте, рыболовстве), отчасти в воображении. Миф — это тщательно разработанная система нейтрализации оппозиции «культура—природа». Для раннего человечества характерно преобладание коллективного над индивидуальным. Я бы сказал, что миф как явление культуры — это *воображаемое представление о реальности, которое воспринимается как реальность*. Мифология, конечно, как всякое явление человеческого духа, амбивалентна. Впервые, миф является первым укрощением хаоса мира. Об этом писал Пауль Тиллих: «Величие Вселенной состоит в ее силе сопротивляться постоянно грозящему хаосу, ясное осознание которого заключено в мифах (включая

и библейские повествования)»¹. Во-вторых, есть мифы, структурирующие цивилизационный, строительный пафос человеческой культуры. Это, конечно, христианство и древнегреческие мифы. В них появляется культурный герой, активно противостоящий хаосу, появляется личность. Но внутри мифа человек оставался подчиненным стае. Ведь противостоять чему-то безличному и страшному легче всего в стае, которая столь же безлична и страшна, но близка человеку как животному виду.

Исследователями проблемы мифа не раз отмечалось, что миф, если он только в самом деле есть, — не обман и не игра. Миф по-настоящему есть только тогда, когда к нему относятся как к реальности. Мы могли не принимать идеи советского социализма, это было воображаемое представление о реальности, которое все жители страны были обязаны воспринимать, а многие и воспринимали как самую что ни на есть реальность. Мы жили вне истории, ибо миф не знает истории, его время — вечность, он цикличен. Но еще стоит отметить одну важную особенность мифа, понятную тем, кто прошел советскую жизнь, о которой написал М.К. Мамардашвили: «Миф, ритуал и т. д. отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда появляются проблемы и непонятное — появляются философия и наука»². «Клячу истории загоним», — писал Маяковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из «царства необходимости» в «царство свободы». На самом деле историю и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что, казалось, *уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс*. Те деспотии, кото-

¹ *Тиллих П.* Систематическая теология. Т. 3. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 84.

² *Мамардашвили М.К.* Необходимость себя. Введение в философию. М.: Лабиринт, 1996. С. 13.

рые вернулись к мифологическому сознанию, выпали из исторического поля. И там, где это происходит, соответственно, начинаются даже структурные изменения личности. Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отгородилась от истории.

Не случайно Томас Манн пытался отвоевать идею мифа у нацистов, искал его гуманистическую составляющую («Иосиф и его братья»). Но и тут он обратился к библейскому мифу, который даже в своей мистической составляющей имел сильную рационалистическую струю. Началось интеллектуальное осмысление жизни человека и его связи с трансцендентным — об этом писали и К. Ясперс, и М.К. Мамардашвили (имен много). Это эпоха, когда создавалась Библия, когда человек осмелился заключить Завет (договор) с Божеством. Это почти юридический акт. Именно тогда, в осевое время, появляется нечто иное, о чем писал Ясперс: «Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать *одухотворением*: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже не замкнут в себе. <...> Впервые появились *философы*. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе»³. Началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа), затем борьба за трансцендентного Бога и борьба против ложных образов Бога. В ходе этого изменения шло преобразование мифов, постижение их на большой глубине. И преодоление их. Мамардашвили остроумно отделил философию от мифологии: «Философия в отличие от мифа уже датируется, она индивидуальна и датируема»⁴. Древний мифический мир отступал, сохраняя, однако, благодаря

³ Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 34.

⁴ Мамардашвили М.К. Необходимость себя. С. 12.

фактической вере в него народных масс свое значение в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в обширных сферах сознания.

В XX веке это было очевидно. Ведь возврат в доличностные структуры сознания возможен на самом разном цивилизационном уровне. Надо сказать, что этот исторический (или, если угодно, антиисторический) поворот фиксировали очень отчетливо мыслители Запада, прежде всего мыслители Австро-Венгерской империи, тоже рухнувшей в XX веке, как и Российская. Судьбы этих европейских империй в чем-то оказались схожи. Не случайно в Вене Зигмунд Фрейд пытается в своей теории психоанализа противопоставить рацию бессознательному, искать миф в подсознании с тем, чтобы преодолеть его. Элиас Канетти начинает в эти годы задумываться над книгой «Масса и власть», где рассуждает о победе масс над историей. Именно в Австрии появляется великий мыслитель Эрнст Мах. По словам современного отечественного историка культуры, «в австрийской культуре формулой “разрушения личности” стал, как известно, афоризм Эрнста Маха: “Я нельзя спасти” (*Das Ich ist unrettbar*)»⁵. И добавляет: из философии Маха следовало, что мир (комплекс ощущений) есть либо иллюзия, которую наше сознание принимает за реальность, либо реальность, которую наше сознание принимает за реальность. Это ощущение начала XX века. В такой атмосфере мифы не могут не создаваться.

Заметив, что коллективные массовые движения всегда вдохновляются мифологией. Бердяев про эпоху XX века написал: «В сущности, сейчас происходит возврат человеческих масс к древнему коллективизму, с которого началась человеческая история, к состоянию, предше-

⁵ Жеребин А.И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. СПб.: Мирь, ИД СПбГУ, 2004. С. 227.

ствующему образованию личности, но этот древний коллективизм принимает цивилизованные формы, пользуется техническими орудиями цивилизации»⁶. XX век – век торжества мифологического сознания. Самые разительные примеры такого господства – нацистский и коммунистический мифы, Мамардашвили называл это господством «алхимической идеи»⁷. Но начиналось оно не в идеологических документах партийных вождей, а в построениях свободных мыслителей, в которых действовал дух времени, времени, оказавшемся под ударом выступивших на историческую арену масс, не вошедших в личностную европейскую культуру.

Разумеется, работало коллективное бессознательное, управлявшее даже яркими личностями, как Маркс и Энгельс (не говорю уж о любимце Герцена Максe Штирнере), не осознававших иронии истории, о которой писал Гегель. Думая рвануться вперед, они возвращались по сути к первобытной стихии, будили ее. Ведь чтобы вернуться в доисторическое прошлое, тоже нужны усилия, свои маяки и жожаки. И они нашлись: не только эмигрант Герцен, но и, казалось бы, далекие от революции мыслители, однако звавшие в мифологическое прошлое. Как писал великий интеллектуал и интеллектуальный провокатор Вячеслав Иванов, символизм «соборного единомыслия» был «проникновением к душе народной, к древней исконной стихии вещего “сонного сознания”, заглушенный шумом просветительских эпох. Дионис варварского возрождения вернул нам – миф»⁸.

⁶ *Бердяев Н.А.* Судьба человека в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2006. С. 171.

⁷ *Мамардашвили М.* Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995. С. 113.

⁸ *Иванов Вяч.* О веселом ремесле и умном веселии // Иванов В.И. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 70.

(Правда, когда в России восторжествовала соборность после большевистской революции, Иванов сумел уехать в католическую Италию, где Дионис был обуздан и даже в период господства Муссолини не очень-то бушевал. Но мифы, разбуженные интеллектуалами, стали в Европе господствующими.) Стоит внимательно отнестись к несправедливому, на первый взгляд, высказыванию Бердяева: «Хотя это и может показаться парадоксальным и шокирует адептов стареющих форм демократии, но можно даже утверждать, что фашизм есть один из результатов учения Ж.Ж. Руссо о суверенитете народа. Учение о суверенитете народа, что и соответствует наименованию демократии, само по себе не дает никаких гарантий свобод для человеческой личности. Руссо верил, что общая воля суверенного народа безгрешна и свята, в этом был созданный им миф, аналогичный мифу Маркса о святости и безгрешности воли пролетариата»⁹. Но мифы, определявшие жизнь больших масс, создавались интеллектуалами, которые гениально угадывали движение подземных стихий, думали, что осуществляют прорыв к свободе, ведя мир к чудовищному закрепощению. Недаром Руссо оказался предшественником кровавой Французской революции. Миф XX века (а может, и всякий миф?) требовал некоего принуждения. Скажем, в итоговой своей книге об этом пишет Федор Степун: «Чтобы поддержать свой миф о революции “рабочих и крестьян”, партия запретила любые высказывания о противоположности интересов рабочих и крестьян»¹⁰.

Личность создается собственными усилиями, человек для выхода из стада должен создать себя сам. Оставаясь частью социума с внешними правилами, он каким-то об-

⁹ *Бердяев Н.А.* Судьба человека в современном мире. С. 189.

¹⁰ *Степун Ф.А.* Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма / пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 191.

разом одухотворяет себя сам. Вспомним Достоевского, который искал «человека в человеке», то есть нечто, что не определялось ни природными, ни даже социальными обстоятельствами. Но «человек в человеке» находится с трудом, слишком много овнешняющего закрывает путь ему и путь к нему. И тут-то и возникает в культуре проблема, которая обсуждается в данном тексте. Проблема двойника. Человек, выходящий, но не вышедший из безличной мифологической структуры, остающийся еще внутри мифологического сознания, не в состоянии найти свою определенность, устойчивость своего бытия. На этой неустойчивости и паразитирует двойник. Двойник прорывается к сути человека, пытается подменить ее, а порой и подменяет. Он существует, строго говоря, в волнах мифологического бытия. Именно такое балансирование на грани мифа и рациональности вводит в личностную культуру нового времени тему двойника, актуализирует ее.

Надо сказать, более того, следует подчеркнуть, что двойничество — это не феномен, рожденный в Новое время. Двойники были в язычестве. Кстати в славянском язычестве двойник, как сообщается в энциклопедии славянской мифологии, во всем похож на человека, но своего лица не имеет, и по безличью носит маску того, кем хочет показаться. Испокон веков существовало поверье, что явление двойника — проделки дьявола, который назло Богу создает точную копию Его творения. Двойник, по-немецки — *Doppelgänger*. По немецким поверьям, встреча с двойником ведет героя к гибели. В России это поверье исполнилось сполна. Ведь главным мифом советской истории был миф о враждебности интеллигенции народу. Существовал термин — «враг народа». Как же интеллигенция, славная своим народолюбием, жертвенностью, могла обратиться в своего двойника? Забегая вперед, напомним, что как-то Владимир Вейдле написал, что Россия стала нацией, не включив в нацию народ. Это раздвоение культуры и привело к появлению русского двойника, которому приписы-

вали всяческие добродетели, но который ненавидел героев. Можно сказать, опираясь на образы Достоевского, что место Ивана Карамазова занял Смердяков, ворвавшийся во власть, прикрываясь идеями интеллектуала Ивана. Здесь же добавлю важную характеристику ситуации, что в результате своих действий двойник доводит героя до безумия, так что он начинает чувствовать вину за не совершенные им проступки. Вокруг борьбы с этим врагом, то есть с интеллигенцией, строилось единство советского общества. Самое дикое, что и вышедшие из народа сильные мужики были слишком интеллектуальны для власти Смердяковых, были практически теми же интеллигентами и так же уничтожались. На этом фоне легко было уничтожить и сам народ. Но об этом чуть позже.

Тема двойника в западной и русской культуре

Тема двойничества — тема христианской культуры. Первые возникшие в ней двойники — это Христос и Антихрист. Антихрист подменяет собой Христа, выступает в глазах людей как лучший Христос. Можно вспомнить и персидскую историю, изложенную греком Геродотом, о маге Смердисе, выдавшем себя за повелителя, за царя персов. Из этого, правда, мало что воспоследовало. Во всяком случае такой силы этического и культурного противостояния, как в столкновении Христа и Антихриста, другие культуры не знают. Разумеется, нельзя сводить тему двойника к теме Христа и Антихриста, но указать на нее как на парадигму, по которой строятся все двойничные сюжеты, необходимо. Двойник пытается раз и навсегда подменить героя.

Существенно, что *двойник отнюдь не близнец*. Сюжеты близнецов в мировой культуре (Шекспир и пр.), как правило, комичны. Двойник не одноклассник, он всегда младше героя, как Антихрист он приходит потом, но пытается занять место старшего. Кстати, в рассказе Гофмана «Двойники» на самом деле изображены близнецы. Если

говорить о теме братьев в проблеме двойничества (а она явно присутствует хотя бы в «Братьях Карамазовых»), то прежде всего я бы напомнил шекспировского «Гамлета», где младший брат Клавдий убивает короля, чтобы полностью занять его место. Разумеется, это тема романтиков. Но это не тема, скажем, Зевса, принявшего облик мужа и в его облике соблазнившего женщину. Это как бы частный случай двойничества, ибо соблазнитель не претендует на полное замещение собой героя.

Двойники исходно являются как лжехристы, антихристы, когда беды и мор. В Евангелии от Матфея сказано: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих прельстят <...>. И, по причине умножения беззакония, во многих охладет любовь; Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24, 4–13). Но это общая христианская установка, которая имеет свои разрешения в общественных, культурных и художественных структурах.

Начнем с анализа господина Голядкина, героя романа Достоевского «Двойник». Здесь заданы все параметры взаимоотношений героя и двойника в чистом и простом виде. Далее оно усложнялось. Но почему предлагаемый читателю текст назван «Любовью к двойнику»? Во-первых, двойника любят сами герои. Г. Голядкин-старший любит г. Голядкина-младшего. Во-вторых, двойника любят и оправдывают *другие* – персонажи романа, частично читатели и критики.

Попробуем для начала выделить типологически схожие черты двойничества. В традиции мировой литературы двойник – это тот персонаж, который абсолютно копирует если не внешность, то идеи героя, искажая их, *подставляет* главного героя, *паразитирует* на его внешности, его благородстве, его происхождении и т. п. Короче, является явным антагонистом и врагом *близкого автору* героя, судьба которого составляет предмет забот автора

того или иного произведения. Таким злодеем был у самого Достоевского в его *петербургской поэме* господин Голядкин-младший. Он оказался и находчивее, и решительнее, и изворотливее, и подлее Голядкина-старшего, которого он затирал, обходил на всех поворотах и довел, наконец, до сумасшествия, выкинув в дом умалишенных и заняв его место. Таков преступный и кровавый Викторин в «Эликсирах дьявола» (1814) у Гофмана, едва не погубивший душу монаха Медардуса. Таков крошка Цахес все того же Гофмана (1819), присваивавший себе магической силой все достижения героев, тем самым *опускавший* их¹¹. Таков нос в повести Гоголя «Нос» (1836), чуть не погубивший своего хозяина, майора Ковалева. Такова тень в новелле «Тень» (1847) Ганса Христиана Андерсена, погубившая героя. Сюжет прост и ясен, в каком-то смысле хрестоматиен: тень ученого занимает потихоньку его место, ученый, занятый своими проблемами, не осознает серьезности происходящего, пока не узнает, что тень под его именем женится на принцессе. Даже когда двойник оказывается вроде бы порождением сознания главного героя, как в романе Стивенсона «Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом», все равно он побеждает своего, так сказать, *родителя*, убивая его. Но никогда не подчиняется главному герою. Это закон, которому следует любой двойник.

Явление *двойника* Достоевский описывает почти как явление юному дворянину Гриневу разбойника Пугачева — в метели. «Беда, барин, буран», — произнес возница. Фраза эта стала ключевой при описании русских сумятиц — социальных и душевных. Вот и герой Достоевского попадает в непогоду, где является ему некто как бес.

¹¹ См. мою статью: *Кантор. В.* Предсказание непредсказуемого: магические герои и тоталитарное будущее. Крошка Цахес и Павел Смердяков // Вопросы литературы. 2011. № 1. С. 115–143.

Это замечали очень многие. Приведу слова молодой исследовательницы: «Важной для нас сценой является тот момент, когда впервые появляется двойник: поздний морозный вечер, сильная метель, застилающая не только глаза, но и воспаленный разум. Именно в такой почти магической таинственной ситуации и происходит появление двойника, которого сотворило из воздуха сознание»¹². Так оно и есть, но с одной поправкой: не сознание, а подсознание (вспомним Гойю).

Замечу, что явление двойника сразу вводит нас в атмосферу дьяволизма, враждебного христианству. Известный русский последователь Фрейда написал в 20-е годы прошлого века: «Во время визита к Его Превосходительству Г. был чрезвычайно растерян, вдруг появился двойник, потом лакей “проревел во все горло”: “Господа Бассаврюковы”. — “Хорошая дворянская фамилия, выходцы из Малороссии”, — подумал Г. и тут же почувствовал, что двойник и лакей вытесняют его в переднюю. Двойник “защелкал”: “Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего. Шинель моего лучшего друга”. Обаяние Гоголя сказывается здесь целым клубком ассоциаций. Пять раз повторенное слово “шинель” понятно, т. к. положение Г-а напоминает визит Акакия Акакиевича к Его Превосходительству. Бассаврюковы взяты от Бассаврюка в повести “Ночь накануне Ивана Купалы”. *Бассаврюк* — двойник героя этой повести, Петра. Такие, казалось бы, мелочи, при углубленном анализе получают глубокий смысл. Это место дает намек на дьявольское происхождение двойника, будущего черта Ивана Карамазова»¹³.

¹² Журавлева М. Двойничество в творчестве Достоевского // Философические письма: студенческий научный альманах; НИУ – ВШЭ. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 62.

¹³ Осипов Н.Е. «Двойник. Петербургская поэма» Ф.М. Достоевского // О Достоевском. Сборник статей под ред. А.Л. Бема. М.: Русский путь, 2007. С. 82.

Смердяков как угадка роли двойника в России

С этой «петербургской поэмы» Достоевского тема двойничества в русской культуре стала очевидной. Да и у самого писателя она играет, быть может, самую важную роль. Как вполне справедливо пишет французский фило-соф: «Тема двойника присутствует в самых разнообразных формах, иногда завуалированно, во всех произведениях Достоевского»¹⁴. Во втором романе, однако, впервые за-фиксирован важный момент отношения героя к своему двойнику. Голядкин-старший ему без конца помогает, а двойник оборачивает эту помощь, разумеется, себе на пользу, но что еще важнее, выворачивает ее так, что уни-жает героя. *Помощь героя двойнику ведет к унижению героя. Но существенно, что сам герой наделяет двой-ника немислимыми добродетелями и собирается с ним вместе строить будущую жизнь.* Не представляя даже, что двойник затем и появляется, чтобы уничтожить героя, ибо у него есть собственные планы на себя.

Норвежский исследователь Воге пишет, что в произ-ведениях о двойниках «именно дурные черты и наклон-ности главного героя отрываются от него и становятся самостоятельными. То, что мы не хотим видеть у себя са-мих, становится самостоятельным существом»¹⁵. Все это почти правда. Но все же именно *почти*: выявляя дурные стороны героя, двойник делает то, что все же сам герой никогда бы не сделал. Человек на подсознательном уров-не обуреваем многими чувствами и мыслями, но далеко не все становятся посылом к действию, ибо существует строгая цензура сознания.

¹⁴ *Жирав Р.* Достоевский: от двойственности к единству. М.: ББИ, 2012. С. 32.

¹⁵ *Воге П.Н.* Я. Индивид в истории культуры. СПб.: Центр гу-манитарных инициатив, 2011. С. 354.

Уже не раз отмечалось, что сюжетная линия романа развивается таким образом, что герой берет Голядкина-младшего под свое покровительство, наслаждаясь якобы зависимостью двойника и давая ему временами свободу в действиях в том, в чем угодно хозяину-прототипу. Ущемленному чувству самолюбия и гордости господина Голядкина-старшего льстило преклонение и восхищение младшего друга-двойника, именно поэтому герой пропустил тот момент, когда двойник начал становиться на его место, захватывая и внимание людей, признания которых сам Голядкин-старший не добился и которыми был отвергнут. Прочитав письмо победившего в схватке за реальную жизнь двойника, Яков Петрович Голядкин-старший лишается рассудка.

Поначалу Достоевский сам в растерянности от своего открытия. Как это произошло, что более слабый, стоящий на более низкой ступени социальной лестницы с такой легкостью справляется с героем? Конечно, за этим стоит какая-то чертовщина. Имя Бассаврюк зазвучало не случайно. Уже в начале XX века дьявольщина реализовалась для писателей вполне отчетливо. Именно в бесовской ситуации происходит у Блока, затем у Есенина появление двойника, которого нечто сотворило из воздуха, потом мы понимаем, что это нечто сотворило сознание героя. Подобная тенденция сквозила во всех европейских странах рубежа веков. Сошлюсь еще раз на А. Жеребина: «Утрачивая основу в том, что считалось объективной действительностью, человеческая личность теряла и самое себя, свою автономию и самотождественность; рушилось господство *Я*, обусловленное соотносением его с миром объектов. Ведь на месте не-*Я* образовалась пустота, там начали кривляться двойники распадающейся дезинтегрированной личности. Мотивы зеркала, двойника, маски, сравнения жизни с игрой, маскарадом, театральным представлением, пляской призраков – все обычные и ха-

рактерные явления для литературы fin de siècle»¹⁶ (курсив А.И. Жеребина. — В. К.).

Тема зеркального двойника у русских поэтов — от Блока до Есенина и Ходасевича — прежде всего говорит о душевном надломе. У Достоевского, однако, речь о другом, для него этот фантом — не просто зеркальное отражение, это факт реальной социальной жизни. За ним он видит социум. В этом союзе герой жаждет получить себе лучшую жизнь, но с помощью двойника. Ведь вместе они — сила, полагает герой, но лишается всего, подчиняясь воле двойника. Далее тема подавления двойником героя усиливается, становится определяющей. На этом я хотел бы остановиться подробнее.

Приведу, однако, еще одно соображение по поводу «петербургской поэмы». Русский филолог-эмигрант Д.И. Чижевский писал: «Появление двойника ставит перед человеком вопрос о конкретности его реального существования. Оказывается, что просто “существовать”, “быть” еще не есть достаточное условие бытия человека, как этического индивидуума. Проблема “устойчивости”, онтологической прочности “этического бытия” индивидуума — и есть упомянутая существенная проблема XIX века. Или точнее — проблема отличия человеческого существования от всякого иного бывания»¹⁷. Человек, выходящий, но не вышедший из безличной мифологической структуры, остающийся еще внутри мифологического сознания, не в состоянии найти свою определенность, устойчивость своего бытия. На этой неустойчивости и паразитирует двойник. Двойник на деле прорывается к сути человека, гуляя в волнах мифологического бытия. Именно такое ба-

¹⁶ *Жеребин А.И.* Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской перспективе. С. 226–227.

¹⁷ *Чижевский Д.И.* К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике) // О Достоевском. Сборник статей под ред. А.Л. Бема. М.: Русский путь, 2007. С. 65.

лансирование на грани мифа и радио вводит в личностную культуру нового времени тему двойника, актуализирует ее. И двойник «выпихивает» героя из состояния устойчивости, стараясь занять его место, из нежити стать человеком. А поскольку человек тоже слаб, не имеет в себе онтологических корней, особенно вне парадигмы Бога, то у двойника много шансов. В наших литературоведческих исследованиях обычно пишется, что двойник Смердяков был научен Иваном совершить убийство. В действительности двойник управляет главным героем. Беда-то вся в том, что нежить, фантазм сильнее человека.

Для сравнения приведу эпизод романа, когда мы начинаем понимать магическую силу своего двойника — Смердякова: После разговора в трактире с Алешей, возвращаясь домой, Иван наталкивается на Смердякова и хочет пройти мимо:

«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, *но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое.*

— Что батюшка, спит или проснулся? — *тихо и смиренно* проговорил он, *себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно*, сел на скамейку. На мгновение *ему стало чуть не страшно*, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел *с уверенностью, почти строго*» (курсив мой. — В. К.).

Что же происходит?

Словно вступают в действие дьявольские силы, подчиняющие волю Ивана, которым он не в силах противиться. Лакей почти заставляет Ивана дать ему санкцию на убийство, искушая его якобы не высказываемым вслух их единством и взаимопониманием. Навязывает свою волю, не собираясь нести ответственность за последствия. Сам ли Смердяков? Через него говорит магическая сила, которая стала активно осуществлять себя в XX веке. И в России, и в Западной Европе.

Смердяков лишен чувства ответственности, совершенное убийство в идейном плане хочет перевалить на Ивана («Вы убили, вы главный убийца и есть, а я только вашим приспешником был»), а в плане эмпирическом на Митю (которого и осуждают за убийство отца). Напомню цитату из сравнительно недавно, лет 15 назад, найденного письма Ленина (которого иногда называли Смердяковым русской революции). В середине августа 1920 года в связи с получением информации о том, что в Эстонии и Латвии, с которыми Советская Россия заключила мирные договоры, идет запись добровольцев в антибольшевистские отряды, Ленин в письме Э.М. Склянскому писал: «Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом “зеленых” (мы потом на них свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного»¹⁸. Стилистика Смердякова очевидна. В сущности, *весь большевизм был этим вариантом паразитарного и преступного двойничества*. И теоретически Ленин — истинный Смердяков по отношению к Марксу, вполне практически использовавший его научные соображения, как Смердяков использовал теоретические сомнения и вопрошания Ивана.

А главным врагом, как известно, стала российская интеллигенция, знания и способности которой могли быть даже использованы, но все равно даже немало сделавшие для советской власти инженеры и экономисты, ученые и писатели рано или поздно уничтожались. Но весь ужас в том, что сама интеллигенция безропотно шла на заклание, ибо считала новый строй и новых правителей-смердяковых своим порождением. Вспомним, что в романе Артура Кёстлера «Слепящая тьма» именно на этом (что это он сам

¹⁸ Литвин А.Л. Красный и Белый террор в России в 1917–1922 годах. М.: Яуза; ЭКСМО, 2004.

породил диктатуру!) ломается старый большевик Рубашов перед следователем Глеткиным, пришедшим в ЧК по призыву партии из деревни. Но типологически это искушение было предсказано и изображено Достоевским в романе «Братья Карамазовы».

Появление трагических героев в России

Не раз прототипами героев Достоевского называли и Чаадаева, и Бакунина, и Герцена, и Грановского. Это были люди, прошедшие школу немецкой философии и ставшие ферментом российских духовных борений, провоцирующих движение русской идейной и социальной жизни. Этот тип интеллектуалов, выразивший самые болезненные проблемы российского развития, прежде всего столкновение западных смыслов с незападной традицией, под пером Достоевского оказался ключом к прогностическому анализу российской и европейской истории. Его романы, его герои, описанные им конфликты, стали в свою очередь художественно-философским объяснением будущих катаклизмов Европы в XX веке.

Чтобы понять интерес писателя к героям-интеллектуалам, надо, наконец, отчетливо осознать, что, думая направить общественное движение к христианской истине и к народу как носителю христианской истины, Достоевский рассчитывал на развитие образованности в России. После возвращения с каторги он сформулировал это кредо и потом мало изменял ему: «Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его — счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это,

мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности»¹⁹. Соединение с народом — грамотность и образование, то есть превращение народа в интеллигенцию, в образованное общество. Отсюда его интерес к грамотеям из народа — таким, как Макар Долгорукий (роман «Подросток»). Однако положительно прекрасные герои его романов, выразители православного идеала (князь Мышкин, старец Зосима, Алеша Карамазов) — отнюдь не люди из народа, а представители образованного общества. Сошлюсь здесь на европейца, чеха, влюбленного в Россию, свидетельство тем более важное, что в нем отсутствовали идеологические преференции: «Достоевский <...> защищал “книжных людей”, “бумажных людей” (в романе “Подросток”), ибо, спрашивает он, чем объяснить, что они так по-настоящему мучаются и кончают трагически»²⁰.

Стоит напомнить, что В.И. Ленин считал только себя и свою партию выразителями народных нужд, а потому называл интеллигенцию «г..ом». В письме А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года Ленин писал: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это

¹⁹ *Достоевский Ф.М.* Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г. // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 36–37. В дальнейшем все ссылки в тексте даны на это издание.

²⁰ *Масарик Т.Г.* Борьба за Бога. Достоевский — философ истории русского вопроса // Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Книга III. Ч. 2–3. СПб.: РХГИ, 2003. С. 73.

не мозг, а говно»²¹, и далее в сталинские лагеря интеллигенция отправлялась с клеймом «враги народа». Таким образом, едва ли не центральным становится вопрос, во имя чего (или во имя кого) жертвовала собой, шла в революцию российская интеллигенция. Ответ страшноватый, ибо зачеркивал по сути дела центральный миф русской культуры – миф о страдающем народе, младшем брате, труженике земли русской, кормильце (в других вариантах – «народ-богоносец»), все эти «Дубинушки», все надежды на то, что народная свобода приведет Россию к счастью. Это было самозаклание недавно народившихся в России людей мысли во имя народа, который их не знал и знать не хотел.

Один из истоков народнического мифа

В письме брату Михаилу неделю спустя после выхода с каторги Федор Михайлович описывал народ – по свежим впечатлениям – совсем иначе, нежели в его идеологических построениях: «М.М. Достоевскому, 30 января – 22 февраля 1854, Омск. С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуды, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений. “Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал” – вот тема, которая разыгрывалась 4 года.

²¹ В.И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Художественная литература, 1969. С. 379.

150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. <...> Нам пришлось выдержать всё мщение и преследование, которым они живут и дышат, к дворянскому сословию. Жить нам было очень худо»²². Он знал, но знание это было страшным, поэтому он хотел переосмыслить это свое знание в своей публицистике.

И тогда он, в сущности, придумал некоего двойника этого народа. В февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский опубликовал весьма важный для понимания его мировоззрения рассказ-очерк «Мужик Марей». Сюжет его несложен, но очень символичен. Писатель начинает с рассказа об ужасе каторжной жизни, жестокости народа, «пьяном народном разгуле»²³, беспощадности простолюдина к ближним, особенно обреченным. В какой-то момент, не выдержав очередной дикой сцены, он улегся на нары, закрыл глаза, чтобы только не слышать и не видеть происходящего. И тут ему по контрасту вспомнился эпизод из его детства, когда он испугался волка, а его успокоил простой мужик Марей. Мужик Марей стал для писателя надеждой, что в русском народе все же есть светлые натуры. Я бы привел здесь неожиданную, наверно, параллель. Марина Цветаева заметила, что в пушкинской «Истории пугачевского бунта» изображен реальный Пугачев, жестокий и страшный. Но в «Капитанской дочке», он тоже страшный, жестокий к дворянам, уничтожающий их «как класс», безжалостный к женщинам: «Унять старую ведьму!» — говорит он о

²² *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Л.: Наука, 1985. Кн. I. Письма. С. 169–170.

²³ *Достоевский Ф.М.* Мужик Марей // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22. Л.: Наука, 1981. С. 46.

жене капитана Миронова. Но по отношению к Гриневу он добр и благороден.

Двойник народа, понимаемый как народ, – это мифологическое образование. Можно сказать, что мужик Марей – фантазм Достоевского, как поэтическая греза Пушкина о благородном Пугачеве, как тютчевская Россия, которую исходил «в рабском виде Царь Небесный», – выдумка поэта. Вообще-то, по справедливому соображению Марка Алданова, «интеллигенция воссоздавала народ из глубин собственного духа» (курсив мой. – В. К.)²⁴. Реальный народ – это нечто иное. Он не так страшен, каким временами казался Чехову, Бунину, Мережковскому, увидевшим мужика Марея как чудовищный миф в крови революции 1905 года. Вот слова Мережковского о Достоевском и его фантазме: «Он думал, что “неправославный не может быть русским”, а ему нельзя было ни на минуту отойти от России, как маленькому Феде, напуганному вещим криком “волк бежит!”, нельзя было ни на минуту отойти от мужика Марея. Маленький Федя ошибся: этот вещий крик раздался не около него, а в нем самом; это был первый крик последнего ужаса: Зверь идет, Антихрист идет! От этого ужаса не мог его спасти мужик Марей, русский народ, который, сделавшись “русским Христом”, двойником Христа, сам превратился в Зверя, в Антихриста, потому что Антихрист и есть двойник Христа»²⁵. Но отличие Антихриста от Христа одно: Христос миром не принят, он трагичен, а Антихрист принят.

²⁴Алданов М. Армагеддон // Алданов М. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. Портреты современников. М.: НПК «ИНТЕЛВАК», 2006. С. 86.

²⁵Мережковский Д.С. Пророк русской революции // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881 – 1931 годов. / изд. подготовили В.М. Борисов, А.Б. Рогинский. М.: Книга, 1990. С. 100.

Народ был принят, интеллигенция была отвергнута и власть имущими, и народом, и сама собой. Уже в эмиграции Борис Зайцев попытался подвести черту под интеллигентскими самообвинениями (начиная от веховцев и кончая заявлениями русских больших поэтов, что они отнюдь не интеллигенция): «Умственное, духовное и артистическое творчество очень высоко стояло в этом слое. Именно в нашем веке, когда старое барство совсем отошло, все почти выдающееся в литературе, философии, музыке, живописи шло из интеллигенции. Вся эмигрантская литература вышла из нее. Вся музыка русская в Европе, все наши философы. <...> Из-за того, что низы бессмысленно стерли и растоптали этот мир, — довольно поносить его. Слабости он свои имел. <...> Но одни страдания интеллигенции в революцию, и посейчас продолжающиеся, все искупают. За грехи заплачено кровью, золотым рублем. Поздно вновь тащить на крест то время»²⁶.

Прогностически оказался прав Достоевский, без конца твердивший о народе-богоносце, но в образе Смердякова изобразивший мужика, уже отошедшего от непосредственной пахоты (путь социального движения деревни) и вознамерившегося, прикрываясь интеллигентом Иваном Карамазовым и обвинив его в смертных грехах, устроить свое благополучие. К культуре отношение у Смердякова характерное. Так, возвращая книгу Гоголя, он говорит, что там «про неправду все написано». Федотов уже после революции фиксирует эту смену парадигмы, с запозданием, но тем не менее точно: «Думается, что огромная разница в восприятии крестьянской стихии у Тургенева и Некрасова, с одной стороны, и Чехова, с другой, связана не только с изменившимся сознанием интеллигенции, но и с эволюцией самого крестьянства. Комплекс благоговейных чувств

²⁶ Зайцев Б.К. Об интеллигенции // Зайцев Б.К. Дневник писателя. М.: Русский путь, 2009. С. 90.

рассыпался. <...> Это еще не нигилизм, но начало духовного омертвения. Из всех социальных инстинктов болезненно разбухает инстинкт зависти»²⁷. Характерно замечание Марка Алданова, что «гитлеровщина была бунтом полуинтеллигентов против интеллигенции»²⁸.

Поднимающийся слой из народа не проходил той школы дворянско-религиозного образования, которое было, скажем, у Ломоносова, он не имел университетского опыта сидения за книгами, опыта пребывания в образованном сообществе, а потому не видел ничего важного в деятельности русских интеллектуалов, более того, презирал их, но и завидовал при этом. Федотов писал: «Новые люди – самоучки. <...> Они с ошибками говорят по-русски. <...> Настоящее, кровное их чувство – ненависть к интеллигенции: зависть к тем, кто пишет без орфографических ошибок и знает иностранные языки. Зависть, рождающаяся из сознания умственного неравенства, сильнее всякой социальной злобы»²⁹.

Эти полуобразованные, действуя от лица мифического народа, народа-мифа, были *как бы народ*. Стоит вспомнить ленинскую фразу, что «искусство должно быть понятно народу», конечно же, тому народу, который воплощала пришедшая к власти когорта полуобразованных. Какое образование было у Сталина, Калинина, Рыкова, Свердлова, Дзержинского и прочих? Они сами с гордостью говорили, что тюрьма, каторга, ссылка были их университетами. Но, разумеется, только в романтическом романе моряк Эдмон Дантес, просидев двадцать лет в тюрьме, смог стать высокообразованным графом Монте-Кристо.

²⁷ Федотов Г.П. И есть, и будет // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. V. М.: Сам & Сам, 2011. С. 40–41.

²⁸ Алданов М. Гитлер // Алданов М. Картины Октябрьской революции. Исторические портреты. Портреты современников. Загадка Толстого. СПб.: РХГИ, 1999. С. 230.

²⁹ Федотов Г.П. И есть, и будет. С. 45–46.

(Хотя он, кстати, учился на капитана.) По словам Марка Алданова, «культурный прогресс сводится к уменьшению разницы в умственном росте между “толпой” и “элитой”. Но это уменьшение может быть достигнуто повышением уровня толпы и понижением уровня “элиты”. К сожалению, человечество идет по второму пути много охотнее, чем по первому»³⁰. В XX веке приверженность человечества ко второму пути очевидна.

Глубины духа

Русский мыслитель-эмигрант Дмитрий Чижевский полагал, «проще всего в своей схематике тема двойника дана в “Подростке”»³¹, в котором про события рассказывает подросток Аркадий, рассказывает о своем реальном отце Андрее Версилове, своей матери по имени Софья и ее бывшем муже, своем официальном отце, страннике Макаре Долгоруком. Подобно Фаусту, Версилов соблазняет русскую Гретхен — Софию. Но это соблазнение отягощено наличием у героини мужа — впоследствии двойника Версилова. Опять сошлюсь на Чижевского: «Судорожные искания “места”, своего места героями Достоевского являются выражением той бесконечной жажды конкретности, своей реализации в живом “где-то”, человека, утратившего свою онтологическую существенность. Конкретное “где-то” — необходимый элемент этического акта, но при “потере себя” оно начинает играть несоответственно значительную и центральную роль»³².

При неустойчивости главного героя он обрастает двойниками, которые могут предъявить ему свою устойчивость. Софья стала для него символом России, символом вечной

³⁰ Алданов М. Гитлер. С. 234.

³¹ Чижевский Д.И. К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике). С. 59.

³² Там же. С. 69.

женственности, если угодно, в русском и православном (не как Татьяна Ларина) ее воплощении, софийностью. Она-то, в конце концов, и обещает ему устойчивость. Куда бы он ни шел — возвращается к ней. Но именно в этом личном переживании отвлеченных немецких формул открывался смысл русской мысли и русского бытия. Вдумаемся, почему Версиров не отказывал от дома Макару, позволял реальной своей жене, матери своих детей, общаться с бывшим фактически, но остававшимся юридически мужем. Тот в качестве странника очень привлекал Версирова. Повторю вопрос: почему? Он искал реальное воплощение своего христианского идеала и находил его в отправленном им же странствовать дворовом слуге. Очевидно, не очень доверяя себе, что он сам может выдержать искус отказа от светской жизни и ее благ, «раздать все» по совету Христа, и поэтому Макар для него является символом этой возможности нравственной жизни. Но уже после смерти Макара он формулирует идею, в которой обозначен для России новый носитель святости, тип «боления за всех». Версиров имеет в виду себя и подобных ему носителей «высшей русской идеи». Достоевский не раз писал, что христианство предполагает свободу и ответственность. Свободный человек Версиров принимает на себя всю меру ответственности.

Подростка интересуют *идеи* отца. У Макара *своих идей* нет.

Какие же идеи у главного героя, этой квинтэссенции русских интеллектуалов? Именно о европеизме как центре русской мысли говорит Версиров: «Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы — носители идеи, мой милый!» Что же это за идея? «Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что все прейдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли; но я, как *русский европеец* (курсив мой. — В. К.), не мог

допустить того. <...> Как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика; там француз был всего только французом, а немец всего только немцем. <...> Тогда во всей Европе не было ни одного европейца! Только я один, <...> как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*. Я не про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю» (курсив Ф.М. Достоевского. — В. К.). И мысль Версилова (свою, в сущности) повторил Достоевский в речи о Пушкине.

Это установка всей русской мысли, включая и славянофилов. Скажем, центральной историософской идеей Тютчева была идея о России как второй Европе. Да и сам он был бесспорно русский европеец. Можно вполне поддержать пожелание А. Гачевой, что необходимо «утвердить поэта и мыслителя Федора Тютчева одним из прототипов образа Андрея Версилова, “русского европейца”»³³. Ведь устами героя Достоевский постоянно подчеркивает, что дело не в Версилоче-персонаже, а в принципиальной установке русской мысли — стать центром и выразителем самого духа Европы, ее квинтэссенции. Об этом же писал и знаменитый славянофил Хомяков, любивший западную Европу как прекрасное прошлое Европы, но будущее Европы видевший в России: «Мы — центр в человечестве европейского полушария, море, в которое стекаются все понятия»³⁴. Конечно, это иной уровень ощущения себя в мире, нежели у Макара.

³³Гачева А.Г. Тютчев и Версиров. (Еще к вопросу об источниках образа «русского европейца».) // Гачева А.Г. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...» (Достоевский и Тютчев). М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 336.

³⁴Хомяков А.С. Несколько слов о философическом письме // Хомяков А.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. Работы по историософии. М.: Московский философский фонд; Медиум, 1994. С. 450.

Тип всемирного боления за всех

Именно выход России на европейскую духовную авансцену знаменовали собой русские мыслители 1840—1850-х годов. Россия в их лице поднялась на уровень европейской рефлексии. Более того, они внесли в мировую культуру и утвердили то, что до сих пор не существовало в качестве жизненной составляющей этой культуры (или презиралось как византийская, изрядно, кстати, обворованная Западом) — восточноевропейский вариант христианства. Но именно в русской Европе был рожден тип человека по пафосу своему подобный первохристианам, который осмеливался брать на себя все грехи мира. Это была весьма мощная духовная позиция. Версиров говорит Подроству: «Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создан веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. *Он хранит в себе будущее России* (курсив мой. — В. К.). Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало».

Что она означала — эта позиция? Принятие на себя ответственности за весь мир, чувство столь же национальное, сколь и укорененное в высшем слое русско-образованного общества. Можно сказать, что чувство это навеяно имперской мощью России. Возможно, отчасти так и есть. Но было бы вульгарно находить прямую связь между социально-политической ситуацией и духовной. Очень странная реакция была и остается у Запада, увидевшего Россию не менее мощной, чем он сам. Более того, уже не ученицей, но уже оказывающей духовное вли-

яние на Западную Европу. Норвежский славист Воге пишет: «Русская культура становится известной в Западной Европе и начинает оказывать влияние на культуру западную. В России Западная Европа в некотором смысле встретила саму себя. Россия вошла в Европу как ее двойник»³⁵. Что же касается позиции Достоевского, то в этом романе он скорее всего неожиданно для себя, спел панегирик русскому образованному обществу. Желая проклясть, благословил. Ситуация известная по Библии. Когда-то Моавитский царь Валак призвал пророка Валаама, чтобы тот проклял народ Израилев. Но «взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий» (*Числа*, 24, 2). И Валаам трижды благословляет тех, кого должен был проклинать. Аналогичную ситуацию мы видим почти во всех романах Достоевского.

Годом позже после выхода романа Достоевский говорил весьма важную формулу, он так обозначил ее в февральской тетради «Дневника писателя» за 1876 год: «А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи. Одним словом,

³⁵ Воге П.Н. Я. Индивид в истории культуры. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 366. На презентации этой книги агентством «Norla» на книжной ярмарке non/fiction № 14 в Москве 30 ноября (ЦДХ) я выступал по просьбе норвежского посольства и задал автору вопрос, что такое определение России как двойника не вяжется с его определениями двойника как губителя главного героя и с им, Воге, прокламируемой любовью к России и русской культуре. Если думать, что дело в том, что Россия училась у Западной Европы, то это нормальный культурный процесс. Рим учился у Греции, Западная Европа у Рима. В чем же дело? Он замешкался, потом сказал, что все же Запад не воспринимает Россию как ученицу и по-прежнему боится, что Россия его погубит.

мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine qua pop*: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врознь. Да противного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это *ничто*, что мы принесли с собой, существует действительно, – не мираж, а имеет и образ и форму, и вес»³⁶. Пусть «оба погибаем врознь»! Страшные слова, страшное предчувствие, что народ оттолкнет русское образованное общества, что приведет к общероссийской катастрофе. И вместе с тем необходимо отстаивать свою интеллектуальную правду, особенно если она ведет к Христу.

Вспомним удивление и ужас русских христианских мыслителей, увидевших в революцию далекость народа от христианства. В 1918 году С.Н. Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. <...> Русский

³⁶ *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя за 1976 г. // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22. Л.: Наука, 1981. С. 45.

народ вдруг оказался нехристианским...»³⁷ Двойник, рожденный ментальностью великих русских писателей, оказался, как и положено двойнику, совсем не тем, за кого его принимали. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов, вспоминал:

«Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»³⁸. Уничтожив российских интеллектуалов, народ подписал себе смертный приговор. Об этом сразу после революции написал Розанов: «“Мужик-социалист” или “солдат-социалист”, конечно, не есть более ни “мужик”, ни “солдат” настоящий. Все как будто “обратились в татар”, “раскрестились”. Самое ужасное, что я скажу и что очевидно, — это исчезновение самого русского народа»³⁹. Но далее последовало продолжение трагедии. Смердяковы-большевики, в число которых влилось все самое дурное, что было в народе, устроили раскрестьянивание, раскулачивание, уничтожая того крепкого крестьянина, который в России был. Эта часть народа была загнана в страшную ссылку, в колхозы, в тюрьмы, в лагеря (вспомним солженицынского Ивана Денисовича), где уже была интеллигенция. Как с трагической иронией резюмировал Владимир Варшавский: «Интеллигенция в революционном застенке осуществила то единение с народом, к которому прежде так безнадежно стремилась»⁴⁰. Большевики при этом, будучи двойником интеллигенции, губили ее от имени народа, убе-

³⁷ *Булгаков С.Н.* На пиру богов // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.

³⁸ *Шаламов В.* Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 346.

³⁹ *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 313.

⁴⁰ *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. М.: Дом русского зарубежья. Русский путь, 2010. С. 257.

див и оставшийся народ, что интеллигенция — главный враг народа. Опыт правых из эпохи самодержавия в создании мифа о «гнилой интеллигенции» был использован Лениным и его партией весьма успешно.

Как замечательно было показано у Евгения Шварца, Тень погибает после гибели Героя-ученого.

Напомню заключительную сцену из пьесы Шварца.

У ч е н ы й. Довольно, Аннунциата. Спасибо. Эй, вы! Не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень! Знай свое место.

Тень встает с трудом, борясь с собой, подходит к ученому.

П е р в ы й м и н и с т р. Смотрите! Он повторяет все его движения. Караул!

У ч е н ы й. Тень! Это просто тень. Ты тень, Теодор-Христиан?

Т е н ь. Да, я тень, Христиан-Теодор! <...>

П е р в ы й м и н и с т р. Довольно! Мне все ясно! Этот ученый — сумасшедший! И болезнь его заразительна. Государь заболел, но он поправится.

Стража! *(Входит капрал с отрядом солдат).*

Взять его! *(Ученого окружают).*

Доктор! *(Из толпы придворных выходит доктор. Министр показывает на ученого).*

Это помешанный?

Д о к т о р *(машет рукой).* Я давно говорил ему, что это безумие.

П е р в ы й м и н и с т р. Безумие его заразительно?

Д о к т о р. Да. Я сам едва не заразился этим безумием.

П е р в ы й м и н и с т р. Излечимо оно?

Д о к т о р. Нет.

П е р в ы й м и н и с т р. Значит, надо отрубить ему голову.

<...>

Т е н ь *(вскакивает, шатаясь).* Воды!

Мажордом бросается к Тени и останавливается пораженный. Голова Тени вдруг слетает с плеч.

Обезглавленная Тень неподвижно сидит на троне.

А н н у н ц и а т а. Смотрите!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Почему это?

П е р в ы й м и н и с т р. Боже мой! Не рассчитали. Ведь это же его собственная тень.

П е р в ы й м и н и с т р. Живую воду, живо, живо, живо!

М и н и с т р ф и н а н с о в. Кому? Этому? Но она воскрешает только хороших людей.

П е р в ы й м и н и с т р. Придется воскресить хорошего. Ах, как не хочется.

М и н и с т р ф и н а н с о в. Другого выхода нет.

Шварц уже пережил несколько десятилетий советской власти, когда уничтожение инженеров (шахтинское дело), ученых-экономистов (Чаянов, Кондратьев), генетиков (достаточно назвать имя академика Н.И. Вавилова) сопровождалось не только раскрестьяниванием, то есть уничтожением народа, но и ослаблением государства. Не случайно, физиков-атомщиков и других ученых уже во время войны стали собирать по лесоповалам и отправлять в шарашки. Об этом роман Солженицына «В круге первом». Двойникам, теням потребовались носители знания. Сегодня тем более нет того социально-культурного феномена, который в духе позапрошлого века можно было бы назвать народом. Остались ностальгические мифы о народной мудрости. Но в мировой культуре по-прежнему существуют достижения русской мысли и русского искусства.

И тем не менее носители творческой потенции были уничтожены. Более того, сами готовили свое уничтожение. Говорят, что большевики изнасиловали Россию и русскую культуру. Но все же, как мы видим, было не насилие, а добровольный отказ от собственного интеллектуально-творческого начала. Если вспомнить, что Лев Толстой, воплощение народной мудрости, «зеркало русской револю-

ции» (Ленин), требовал отказаться от церкви, от искусства, от книгопечатания, мы увидим в этом послыле великого писателя реальный факт хлыстовского безумия, приводящий к самокастрации. И это иступленное воспевание, скажем, в хорошем романе А. Фадеева «Разгром» неграмотного и диковатого, но героического мужика (Морозка) и обличение интеллигента (Мечик) стало парадигматическим для советского искусства.

«Бессмысленный и беспощадный русский бунт», как называл его Пушкин, вдруг получил интеллектуальную санкцию. Большинство российской интеллигенции сочло себя соучастниками и вдохновителями этого грандиозного массового людодерства, не сумев растождествить себя с дьявольскими инициациями, сдавалось на милость торжествующего плебса⁴¹, так и не победив дьяволова искуса. Интеллигенцию обвиняли в том, что она породила большевистскую революцию. На это ответил Георгий Федотов: «Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. <...> Самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции»⁴².

Преодолеть двойника попытался великий поэт, поднявшийся на европейский уровень культуры, родившийся в деревне крестьянский сын Сергей Есенин, заплатив за такой невероятный по духовной силе поступок самоубийством (но потом, не в поэме).

У Есенина — противостояние зазеркалью. В поэме «Черный человек» поэту является страшный собеседник, уверяющий поэта в том, что он, поэт, абсолютный

⁴¹ Диагноз русскому революционаризму в конце XIX века поставил Б.Н. Чичерин: «Нет в мире ужаснее явления, как взбунтовавшиеся холопы, а таковы именно нигилисты» (*Чичерин Б.Н. Воспоминания. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 292*).

⁴² *Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IV. М.: Sam & Sam, 2012. С. 59.*

грешник. Образом Черного человека Есенин подчеркивает свою преемственность с Пушкиным, напомним, что в трагедии Пушкина рассказывается, что некий Черный человек ходил за Моцартом перед тем, как его убил Сальери. Мрак наступал на Моцарта, он ответил на него «Реквиемом». Мрак наступал на Есенина, пришелец хочет, чтобы поэт поверил в свою духовную гибель. Но Сергей Есенин знает, что в нем есть и нечто другое, высшее, которое к словам Черного человека не сводится. Поэт отвергает Черного человека, швырнув в него тростью, как некогда Лютер кинул в черта чернильницей. Жест мощный и символический.

Черный человек!
 Ты прескверный гость.
 Это слава давно
 Про тебя разносится.
 Я взбешен, разъярен,
 И летит моя трость
 Прямо к морде его,
 В переносицу...

Но в реальной жизни двойник побеждал.

В 1924 году, за год до смерти, поэт пишет в стихотворении «Русь советская»:

С горы идет крестьянский комсомол,
 И под гармонику, наяривая рьяно,
 Поют агитки Бедного Демьяна,
 Веселым криком оглашая дол.

 Вот так страна!
 Какого ж я рожна
 Орал в стихах, что я с народом дружен?
 Моя поэзия здесь больше не нужна,
 Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Сельская молодежь «поет агитки Бедного Демьяна», убежденного большевика, и поэзия Есенина в дерев-

не не нужна, да и сам он «здесь, кажется, не нужен». Поднявшийся из народа до высот европейской культуры не принят народом. У Достоевского речь шла о возникновении культурного типа России, тип этот возник в результате некоего духовного усилия по переработке культурных смыслов мировой, в основном европейской, цивилизации. Этот тип и представлял Россию в мире. Беда и историческая трагедия была в том, что наработанные этим слоем смыслы были отринуты, а их носители были либо уничтожены, либо изгнаны из страны, так что эти смыслы ушли из русской жизни. Повторяю, русский культурно-исторический тип совершил самокастрацию. Сейчас мы стараемся вернуть идеи изгнанных русских интеллектуалов, в расчете, что они будут определять, разумеется, не политику, не социальную жизнь, а то, что они и должны определять, — нашу духовную жизнь. Но возможно это только как противостояние массовой культуре и в отстаивании свободы лица.

13. Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о России

Опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Вл. Маяковский. Облако в штанах

В русской культуре стоят рядом две фигуры, которых принято называть революционными мыслителями, предшественниками большевиков, — Чернышевский и Герцен. Но с тех пор, как изменилось отношение к большевизму, называть кого-либо предшественниками людей, разоривших страну, устроивших дьявольское поругание и уничтожение всего выдающегося на этой земле, создавших невиданную в мире тоталитарную структуру, можно лишь с явным негативным оттенком. Правда, Герцена во все постсталинское время выводили из революционного лагеря, пока не сумели причислить к либералам. Чернышевский же, несмотря на работы, где его позицию разводили с позицией Ткачева, Нечаева и Писарева, все равно в сознании практически всех образованных людей остался тем, кто «звал Русь к топору». Смотришь ли интеллектуальную программу по телевизору, читаешь ли газету — часто повторяют это клише. Скажем, Марк Захаров, интеллектуал, говорит об этом призыве к топору как о том, что было на самом деле. На теме топора я еще остановлюсь (эту фразу приписал Чернышевскому Луначарский в 1928 году). Пока скажу только, что не годится исследователям, людям науки, избирать, выражаясь языком Парменида, «путь мне-

ния», а не «путь истины» и следовать мнениям толпы, по-вторяющей газетные пустые фразы.

Просто так хочется найти человека, жившего в Европе, поначалу западника, боровшегося с самодержавием, в Европе ставшего славянофилом (что радует другую часть современного образованного общества), но вроде бы создавшего орган свободного русского слова («Колокол» и «Полярную звезду»), почти изгнанника (см. фильм Александра Архангельского), как русские послеоктябрьские эмигранты, высланные большевиками. Забылось, что Герцен уехал сам, продав свои имения и крепостных, а уж потом начал бороться с крепостным правом, призывая крестьян к топору. Да, именно он и его друг Огарев. И это прекрасно понимали его современники-интеллектуалы. Достаточно назвать имя великого историка и философа Б.Н. Чичерина, который уже тогда упрекал не Чернышевского, а Герцена, что он зовет к бунту и топору. Не говорю уж о том, что «Колокол» — прямой предшественник ленинской «Искры».

Начинает Герцен с критики Западной Европы, и в этом он не оригинален. Его предшественниками на этом поприще были и Фонвизин, и Уваров, и славянофилы, которые, побывав на Западе, стали его жесткими критиками. Но особенность точки зрения Герцена была в том, что он полемизировал с Европой, смеялся над ней, предрекал ей гибель, опираясь на европейские же идеалы, выработанные в недрах европейской культуры, — идеалы демократии и социализма¹. Сам он замечал: «Мы являемся в Европу с ее собственным идеалом и с верой в него. Мы знаем Европу книжно, литературно, по ее праздничной одежде,

¹ Проницательный Боткин это понял: «Наши друзья, — писал он о Герцене, — со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, гибельного чудовища» (*Боткин В.П.* Литературная критика. Публицистика. Письма. М.: Советская Россия, 1974. С. 274).

по очищенным, перегнанным отвличенностям»². В этом пункте и крылось глубинное противоречие герценовской позиции. А Запад оказался вполне реален со своими проблемами, своими поражениями, а отнюдь не сакральным местом, где реализуются революционные идеалы в чистом виде. Началось разочарование в революционности Запада. После «Писем из Франции и Италии» и апокалиптической книги «С того берега» Герцена называли «русским Иеремием, плачущим на развалинах июньских баррикад» (*Герцен*, V, 223–224). Тогда-то он принялся искать революционный потенциал в России, из которой бежал.

Оба мыслителя прошли через Гегеля и Фейербаха, но прочитали их по-разному: если Герцен изучал их идеи под углом зрения Бакунина, объявившего Сатану самым творческим лицом в человеческой истории, то Чернышевский, не надо этого забывать, был сыном саратовского православного протоиерея. Как пишет, на мой взгляд, справедливо, современная американская исследовательница: «В случае Чернышевского, неплотная амальгама христианского социализма и фейербаховского антропологизма легла на прочную почву: сын священника, готовившийся к духовной карьере, он получил весьма основательное богословское образование. Весной 1846 года он приехал в Петербург истово верующим и хорошо осведомленным христианином. К осени 1848 года, после двух лет запойного чтения французских социалистов, он исповедовал Православие, “усовершенствованное” рационалистами (слова Чернышевского, зафиксировавшего свое кредо в дневнике, 1: 132). <...> Однако, веря в Фейербаха, он понимал его учение как человек, который вырос на духовной почве русского православия, предпосылкой для радикальных материалистических и социалистических убеждений

²*Герцен А.И.* Письма из Франции и Италии // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. V. М.: АН СССР, 1955. С. 219. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

Чернышевского послужила христианская догматика — хорошо известные истины православного катехизиса»³. Часто говорят, что, по сути, Чернышевский пересмотрел христианские положения с материалистических позиций. На это можно возразить, что, зная из личного опыта беспомощность русской церкви, бывший семинарист дал русскому обществу систему глубоко христианских ценностей, секуляризованных, в современной ему позитивистской одежде⁴. Более того, христианство было для него важно, как для человека, полностью принимавшего европейский пафос развития. Чернышевский опирался на принципы, выработанные в Западной Европе, прежде всего на идею важности жизни одного отдельно взятого индивида, не раз повторяя великую мысль Канта о том, что человек сам себе цель, но отнюдь не средство, — какое бы благо ни было впереди обещано. Он был по всему духу своему европейцем, вырос и воспитался не только на русской, но и на

³Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 168.

⁴Характерно пореволюционное размышление Федотова: «В XIX веке христианская Церковь, оскудевшая святостью и еще более мудростью, оказалась лицом к лицу с могучей, рационально-сложной и человечески доброй культурой. Перед ней прошел соблазнительный ряд “святых, не верующих в Бога”. Для кого соблазнительных? Для немощных христиан, — а как мало было сильных среди них! В панике, в сознании своего исторического бессилия и изоляции, поредевшее христианское общество отказалось признать в светских праведниках — заблудших овец Христовых, отказалось увидеть на лице их знамение “Света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир”. В этом свете почудилось отражение люциферического сияния антихриста. Ужаснувшись хулы на Сына Человеческого, впали в еще более тяжкую хулу на Духа Святого, Который дышит, где хочет, а говорит устами не только язычников, но и их ослиц» (Федотов Г.П. Об антихристовом добре // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1998. С. 27).

классической европейской литературе (Шиллер, Жорж Санд, Лессинг, Диккенс, Гете) и философии (от Платона и Аристотеля до Канта, Гегеля, Фейербаха), писал о западноевропейских классиках, переводил с немецкого, английского, французского, вел в «Современнике» раздел зарубежной политической хроники, то есть знал Западную Европу как мало кто из его современников. Но он боялся — и не мог не бояться — тех неопитов, которые обращаются к западной мысли как к отмычке русских проблем, ибо старался исходить из отечественных реальностей.

Герцен потерял веру в творческий потенциал европейской культуры и начал предрекать ей последний час: «Все мельчает и вянет на истощенной почве... мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гете прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона» (*Герцен*, VI, 57). Даже «предлагая пари за социализм» (*Герцен*, VI, 58), который идет на смену нынешней Европе, он понимал его прежде всего не как естественную, закономерную перестройку общества, базирующуюся на известных экономических законах, а как своего рода новое переселение народов, которое должно уничтожить все предшествующие ценности. Стоит подчеркнуть, что, говоря о социалистах, как новых христианах, *он христиан воспринимает их не как носителей новой парадигмы культуры, а как варваров-разрушителей*. «Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали со своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима... Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом» (*Герцен*, VI, 58). Так он артикулировал демоническую бакунинскую

страсть к разрушению, приводя исторические примеры этого разрушения. Возможно, именно приведенные строки Герцена, которого «неонародники» называли выразителем «скифства»⁵ (Иванов-Разумник), навеяли Брюсову строки его знаменитых «Грядущих гуннов» (1905):

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.
...
Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Так писал Брюсов в предвещии первой русской революции, тоже воспринимавшейся им как катаклизм. И позиция Герцена удивительно схожа с брюсовской. Он готов приветствовать разрушение культуры и гибель высших слоев, то есть Российской империи и буржуазной Европы, в истребительном пожаре революции. Но кто же эти варвары, эти грядущие гунны? Русские? «Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничего не останавливает... В нашей жизни есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего неподвижного, ничего мещанского» (Герцен, V, 222).

⁵Ср. блоковское: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, / С раскосыми и жадными очами!» с герценовским: «Варвары спокон века отличались тонким зрением; нам Геродот (писавший именно о скифах. — В. К.) делает особую честь, говоря, что у нас глаза ящерицы» (Герцен, V, 222).

Самое поразительное, что Чернышевского судили и обвиняли в революционности как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту*. В «Письмах без адреса», написанных незадолго до ареста, он говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадали бы от нее <...> интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию»⁶. Эти письма — отчаянная попытка воззвать к разуму царя и правительства: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (*Чернышевский*, X, 92–93). Но арестованный, он не стал робко объяснять, что он тоже против бунта, ни разу не унизил себя оправданием такого рода. И принял каторгу и Сибирь — совсем в духе терпеливого русского страдальца.

В отличие от Чаадаева, славянофилов, Герцена, утверждавших: мы пришли позже, а пойдем дальше Запада, Чернышевский полагал необходимым прежде преодолеть национальный архетип, не позволяющий стране развиваться: Что же это за архетип? Наверно можно назвать его самодовольством варварства, причем варварства азиатского. Вот иронический пассаж бывшего саратовского семинариста: «Один уверяет, что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться всяким надругатель-

⁶*Чернышевский Н.Г.* Письма без адреса // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. X. М.: ГИХЛ, 1951. С. 92. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте. (Курсив во всех цитатах из произведений Чернышевского мой. — В. К.)

ствам и что Западная Европа умирает от недостатка этой похвальной черты. <...> Другой находит, что мы молодцы пить и гулять, что Западная Европа должна научиться от нас широкому русскому разгулу. <...> Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов» (Чернышевский, VII, 663–664). Так верил ли он в революцию, моментально переиначивающую жизнь? Вот его ответ: «Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что Бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи до-стигать нашей груди чувства, приличные цивилизо-ванным людям» (Чернышевский, VII, 616–617). К теме революции я еще вернусь, пока же замечу, что в своей философии истории он был абсолютно оригинален, не повторяя «последних слов» Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории, которую знал в деталях, не всем известных, писал о татарском прошлом саратовской губернии. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А.С. Суворина в письме 1861 года воронежскому литератору М.Ф. Де Пуле: «Он не уступит лучшим характерам прошлого времени», к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы — посмел «выйти из пеленок западной мысли и <...> говорить от себя <...> свои слова, а не чужие»⁷ (курсив А.С. Суворина. — В. К.).

Стоит еще раз подчеркнуть, что исходная установка двух мыслителей была разная не только социально, но семейно-нравственно. Почему же? И дело не только в возрасте. Герцен родился в 1812 году, а Чернышевский на полтора десятка лет позже — в 1828 году. Бастард

⁷ Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования // Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 380.

Герцен, живший в развратной атмосфере богатого дома вельможи, отца-вольтерьянца, который в любую минуту мог признать своим наследником любого из похожих на него дворовых мальчишек. Все они были его незаконные дети. Характерно, что почти все его герои, особенно в романе «Кто виноват?», либо незаконные дети, как Любочка Круциферская, либо законные *по случаю*, как Владимир Бельтов. Образ отца в его прозе всегда образ властного и далекого от детей человека. Эта была та жизнь, в которой начинал свое бытие Герцен, с полным отсутствием нравственности как установки жизнеповедения. Христианские понятия там отсутствовали, вернее, присутствовали как культурный фундамент, для красивого выражения своих мыслей. Клятва на Воробьевых горах из серии красивых жестов брошенных детей, которые хотели как-то самоутвердиться. А потом поиск средств для реализации сумасшедшей мальчишеской клятвы, тут было не до нравственности. Не случайно он продал тысячи своих крепостных, сбежав на Запад, ведь он усвоил, что деньги надежнее. Потом начал призывать крепостных крестьян к бунту, чтобы они освободились от своего ярма. Ведь лично ему этот бунт уже не грозил. Да и антихристианство его было очевидно. Он писал в своей знаменитой книге «Письма из Франции и Италии», уже в эмигрантский период: «Христианство, религия противоречий, признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным» (Герцен, VI, 125). И далее: «Христианство, раздвояя человека на какой-то идеал и на какого-то скота, сбило его понятия; не находя выхода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто откровенному, что противоположность слова с делом его не возмущает» (Герцен, VI, 127). Не случайно его равняют с Ницше.

Чернышевский был единственный, законный сын, и отец вкладывал в него все свои знания, не говоря уж о любви. Это была семья, то, что называется среднего достатка.

Свой дом-усадьба, несколько крепостных, но основной доход — жалованье за работу. Не забудем такого важнейшего обстоятельства, что Чернышевский был сыном священника, саратовского протоиерея, в отличие от многих русских священнослужителей весьма образованного и давшего сыну весьма хорошее образование (античные языки, современные европейские и восточные), достаточно сказать, что сын часто писал отцу письма по-латыни. Формально юноша кончил семинарию, но на самом деле обучение было домашнее, экзамены сдавал экстерном. Отношение к отцу было у него в высшей степени почтительное, да и духовная близость двух христиански ориентированных людей очевидна. Приведу отрывок из письма (Воронеж, 1 июня 1846 год): «Монастырь св. Митрофана очень широк, но... вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. <...> И до того тесно, что негде занести руку перекреститься. <...> Иконостас мне понравился. <...> Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата» (*Чернышевский*, XIV, 14). И так далее, почти в каждом письме — и из Москвы и из Петербурга. А такое: «Целую ручку у своего крестного папеньки» (*Чернышевский*, XIV, 118)?! А вот восклицание начинающего студента (1846): «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вождеднее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий» (*Чернышевский*, XIV, 48). Стоит напомнить, что его сочинения в семинарии считались богословскими достижениями. Да и очень долго философия была для него «несравненно ближе связана с религиею, нежели русская история и словесность» (письмо отцу, 1850 год; *Чернышевский*, XIV, 175). У него рождается сын, и он извещает отца (1858): «Мишу в четверг мы крестили» (*Чернышевский*, XIV, 366), т. е. никакого отрицания обрядов, как у записных нигилистов. Но стоит ли множить сущности, доказывая христианскую основу его человеческого и духовного бытия, ту основу, которая не может не определять и все его сочинения?..

Впрочем, одно замечание стоит сделать. Речь о завершении общественной деятельности Чернышевского, о том, как понимали его современники и он сам. Если русские радикалы призывали к *жертвоприношению* — желательно царской семьи, правительства и либералов (впрочем, и себя были готовы принести в *жертву* — абсолютно *языческое миропонимание*)⁸, то Чернышевский отнюдь не стремился к жертвенности, очень хотел *пронести сию чашу мимо своих уст*, но выхода не было, и он с достоинством ее выпил. Некрасов в 1874 году изобразил Чернышевского, хотя и спустя годы после его гражданской казни... как пророка, почти Христа:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте:
Его послал Бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Очень христиански точно — *напомнить*, а не заметить, ибо заменяет только Антихрист. Но при этом писалось это как бы о будущем («он будет на кресте»), а Чернышевский уже двенадцать лет спокойно и безропотно нес свой крест, никого не прося о помощи, стойчески и достойно. Эту ситуацию он сам вполне предвидел, как всегда иронически заметив в письме Добролюбову (1858): «Мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, *становимся ангелами, христами и т. д.* Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть

⁸ Вот что написано было в прокламации «Молодая Россия»: «Мы не страшимся ее (революции. — В. К.), хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная. <...> Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых» (Революционный радикализм в России: век девятнадцатый / под ред. Е.Л. Рудницкой. М., 1997. С. 144).

выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх» (*Чернышевский*, XIV, 359; курсив мой. — В. К.). Но он выдержал, несмотря на самоиронию. А, может, и благодаря ей.

Чернышевский против революционаризма Герцена

Принципиальное, кардинальное отличие Герцена от всех до него существовавших политических беглецов, эмигрантов и изгнанников в том, что все они (как и Герцен до поры до времени) писали и издавали за рубежом *свое*, ими самими написанное, это был как бы личный акт несогласия и протеста против самодержавия. Герцен создал Вольную русскую типографию, то есть предоставил свой типографский станок в распоряжение *всем* проявлениям свободной русской мысли⁹, создал для каждого вольнодумного русского человека возможность высказаться, некую гарантию, что его мысль не погибнет. Он желал сделать свою типографию и свои издания «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею» (*Герцен*, XII, 270). Герцен прекрасно знал нравы российской полицейской машины, потому и восклицал: «Рукописи погибнут наконец, — их надобно закрепить печатью» (*Герцен*, XII, 270). Чаадаев советовал ему сродниться с каким-либо западноевропейским языком: и в самом деле первые работы Герцена писались им и печатались по-французски и по-немецки — «С того берега», «О развитии революционных идей в России» и т. д. Герцен считал, что путь обычного эмигрантства им уже пройден, он снимает с себя «вериги чужого языка» и снова принимается «за родную речь» (*Герцен*, XII, 62).

⁹ «Новым в деятельности Вольной типографии, — пишет Н.Я. Эйдельман, — была борьба за максимально возможную в тех условиях широкую *массовую основу*» (*Эйдельман Н.Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды»*. М., 1966. С. 258).

В своей типографии он издает сборники «Голоса из России», альманах «Полярная звезда», и, наконец, самый популярный орган бесцензурной печати — газету «Колокол», своего рода предшественницу ленинской «Искры»¹⁰. Чаадаев как-то написал, что символ России — колокол, который не звонит (имея в виду «царь-колокол», как проявление рабской немоты русской культуры). Словно бы в ответ басманному мыслителю Герцен звонит в колокол, «зояя живых», тех, кто еще способен проснуться от «мертвого сна» николаевского царствования.

Но кого он будил? К кому обращался? Кого должны были воспитывать литература и искусство? Очевидно, то просвещенное меньшинство, которое было потребителем и почвой великой русской культуры. Вопросы более страшные: кто его услышал, истолковал и создал то, что возникло в результате двух революций? Ведь ставилась задача (аннибалова клятва об этом!) не перестроить Россию, не реформировать, а разрушить Империю, которая скрепляла страну, развивалась и пыталась шаг за шагом давать свободы разным социальным слоям, то есть шла, строго говоря, английским путем.

России достается унаследовать европейские достижения в области духа и прежде всего идеи социализма, которые рано или поздно приведут к революции: «В социа-

¹⁰Как и Герцен, Ленин подхватывает декабристскую символику («Из искры возгорится пламя»), но наполняет новым содержанием — идеей создания партийной организации с железной дисциплиной, идеей, почерпнутой им у молодых последователей Герцена: Ткачева и Нечаева: «Мы должны... пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть *политических* обличений... мы обязаны создать трибуну для всенародно-го обличения царского правительства; такой трибуной должна быть социал-демократическая газета. <...> Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор» (*Ленин В.И.* ПСС. Т. 5. С. 10—11; курсив В.И. Ленина. — В.К.).

лизме встретится Русь с революцией» (Герцен, XII, 86). Это постоянное упование на революционизирующую роль Слова, искусства и литературы в том числе, пронизывает все творчество Герцена. Слово воспитывает настоящих революционеров, которые разъяснят русскому народу великие основы его быта, чтобы совместными усилиями затем свергнуть самодержавие.

Но именно по вопросу о роли литературы его ждало первое столкновение с молодыми демократами. В 1859 году «Современник» напечатал статью Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». Молодой критик с решительностью поставил под сомнение возможность литературы непосредственно влиять на развитие революционного процесса в России. Искусство, писал Добролюбов, может споспешествовать активному действию, но не входит в его задачи само это действие, искусство должно служить высшим идеалам, служение же мелкой «злобе дня» только губит его: «Прочность успеха может принадлежать только тем явлениям, которые захватывают вопросы далекого будущего, или тем, в которых есть высший, общечеловеческий интерес... Писатель, умеющий достойным образом выразить в своих произведениях чистоту и силу этих высших идей и ощущений, становится понятным всякому человеку и вследствие того, не ограничиваясь уже ни отдельным народом, ни временем, переходит в века с титулом мирового гения»¹¹.

Герцен ответил Добролюбову (статья «Very dangerous!!!»), подчеркнуто объединив в своей статье «Современник» с «Библиотекой для чтения», где ведущим критиком был в тот момент Дружинин. Почему же Герцен и Огарев включили «Современник» в число тех, кто защищает теорию «искусства для искусства»? В статье «Памяти художника» Огарев прямо заявлял, что «чистое искус-

¹¹ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1962. С. 437.

ство» вышло из диссертации Чернышевского, и предрекал «Современнику» получение Владимирского креста, а Герцен ему же — *Станислава на шею* (Герцен, XIV, 121), убеждая публику, что в позиции «Современника» очевидно «подсвистывание» правительству. Именно этот упрек Герцена Чернышевскому *в прислуживании правительству* наши исследователи не замечают.

В том же году Чернышевский ездил в Лондон к Герцену, где пытался увести его от анархистско-радикалистского пафоса, напомнив о европейских принципах полемики и предложив ему парламентарную, а не революционную программу: «Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую, и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы»¹². Герцен извинился перед «Современником», но спустя год в статье «Лишние люди и желчевики» снова повторил свои инвективы. На этой поездке Чернышевского в Лондон необходимо остановиться; сошлюсь на рассуждение Владимира Соловьева: «Чернышевский был обвиняем, главным образом, на трех основаниях: 1) преступные сношения его с эмигрантом Герценом, 2) участие в составлении и напечатании прокламации к крестьянам и 3) письмо к поэту Плещееву преступного содержания».

Остановлюсь на первом пункте, имеющим отношение к моей теме. Соловьев категорически разводит Чернышевского и Герцена: «По первому пункту выяснилось, что, когда в 1861 г. журнал “Современник” был подвергнут непродолжительной приостановке, Герцен обратился через одного общего знакомого к Чернышевскому с предложением перенести издание за границу, на что получил решительный отказ. <...> При этом оказалось, что

¹²Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1982. С. 334.

вообще к замыслам Герцена относительно революционной агитации Чернышевский относился отрицательно, и поддерживать обвинение по этому пункту найдено было совершенно невозможным»¹³.

Похвально отзываясь о «Современнике», Герцен тем не менее дал исторический генезис «желчевиков» как порождения самых мрачных годов «николаевщины»: вот почему они «слишком угрюмы, слишком действуют на нервы» (Герцен, XIV, 322), лишены веры в «идеалы», одушевляющие Герцена и его друзей, в скорую победу «русского социализма»: «Что нас поразило в них, — это легость, с которой они отчаивались во всем, злая радость их отрицания и страшная беспощадность» (Герцен, XIV, 322). Герцен полагает, что хотя и «лишние люди», и «желчевики» уже сходят и сойдут с исторической сцены, но через голову «желчевиков», *через «болезненное поколение» Чернышевского и Добролюбова лучшим представителям «лишних людей» удастся «протянуть руку кряжу свежему, который кротко простится с нами и пойдет своей широкой дорогой»* (курсив мой. — В. К.), т. е. сверхрадикалам «Молодой России» (Герцен, XIV, 322).

И в начале 1860-х годов происходит уже серьезное столкновение Герцена и ученика академика А.В. Никитенко, одного из самых трагических мыслителей России Николая Чернышевского, сохранившего, возможно, благодаря учителю представление о необходимости постепенного развития общества. Волюнтаризм герценовской позиции сказался и в его призывах 1861 года в «Колоколе». Никитенко отреагировал на них достаточно жестко: «Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площа-

¹³ Соловьев В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 644.

дях бунтующими мальчиками»¹⁴. Это было время разрозненных крестьянских бунтов, студенческих волнений, жестоко и кроваво подавляемых самодержавием. И в своей знаменитой прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» Чернышевский призывал: «Покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить <...> А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли» (*Чернышевский*, VII, 524). Обращения же Герцена к студенчеству звучали провокационно и безжалостно: «Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории» (*Герцен*, XV, 185).

Стоит посмотреть, как соотносились претензии Герцена кругу «Современника» с его общей концепцией развития русской культуры и истории, тогда понятнее станет и ответ Чернышевского. Герцен полагал: «Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено» (*Герцен*, VII, 242). Это была, пожалуй, одна из самых крупных его ошибок. Развивая эту мысль, он неоднократно повторял, что народам, свободным от прошлого, гораздо легче совершить исторический путь, начать новую эпоху; то, что сложно европейцам с их многовековой культурной традицией — перейти к социализму, то просто для России, лишенной исторических воспоминаний. В такой стране сила слова становится огромной. С этим связана и его идея о конце Европы, так сказать, нового Древнего Рима, или во всяком случае о ее неспособности вступить в новую социальную жизнь: хотя «в самом в западном мире родилось святое сомнение... ему мешает... привычка к своему богатству» (*Герцен*, XIV, 43–44).

Русскую историю Герцен знал по Карамзину, рассказывавшему о сменах династий русских князей, почти не

¹⁴ *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. Л.: ГИХЛ, 1955–1956. Т. 2. С. 279.

учитывая давящего Русь монгольского ига, что позволило потом евразийцам серьезно упрекнуть русскую историографию в непонимании судьбы России. Сам Герцен никогда не занимался реальным исследованием прошлого страны — ни этнографическим, ни филологическим. Между тем первая работа Чернышевского, до сих пор не опубликованная, была посвящена татаро-монгольскому прошлому Руси на материале Саратовского края. Начну с отрывка из воспоминаний двоюродного брата Чернышевского А.Н. Пыпина, писавшего, что «татарский язык не был обязателен для всех, но Н.Г. Чернышевский ему учился и, вероятно, довольно успешно. В то время епископом саратовским и царицынским был довольно известный Иаков (Вечерков), впоследствии архиепископ нижегородский. <...> При нем совершались едва ли не первые исследования древней ордынской столицы — Сарая — в прежних пределах Саратовской губернии, за Волгой. <...> Без сомнения, в связи с этими исследованиями остатков татарского владычества находилась одна работа, которая исполнена была Н.Г. Чернышевским по поручению или предложению арх. Иакова. Это был довольно подробный обзор топографических названий сел, деревень и урочищ, которые Н.Г. собирал или проверял по огромной подробной карте. <...> К этому списку Н.Г. прибавлял татарское написание этих названий и перевод на русский язык»¹⁵. Эта первая самостоятельная работа Чернышевского «Обзор топографических названий татарского происхождения в Саратовской губернии 1845».

¹⁵ Пыпин А.Н. Мои заметки. Саратов: Соотечественник, 1996. С. 64—65. Хотя бы в примечаниях надо отметить, что помимо основных европейских языков, с которых Чернышевский переводил и на которых читал, он свободно знал латынь золотого века — в молодости его любимым автором был Цицерон (на латыни, разумеется). Также он знал азиатские языки — татарский, арабский и персидский. Почти евразийская школа, но антиевразийская.

(Рукопись хранится в РГАЛИ¹⁶). К этому стоит добавить, что в университете Чернышевский был любимым учеником великого филолога И.И. Срезневского, сидел над жителями и летописями (из письма отцу 1850 года: «Я на днях начал заниматься опять Ипатьевскою летописью. Теперь отделяваю букву Д»; *Чернышевский*, XIV, 174).

Отвечая на первый пункт о свободе России от прошлого, Чернышевский писал: «Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам также трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться» (*Чернышевский*, VII, 616). И Чернышевский далее перечисляет все принципы, воспитанные веками крепостного права, начиная от привычки к бесправию до привычки все решать волевым усилием, «силою прихоти». Именно в силу этих «привычек», полагал он, России будет трудно воспользоваться идеями и опытом Запада и гуманизировать культуру, поднять ее до высот предлагаемых ей историей задач. И тут он спорил и с Чаадаевым, и С.М. Соловьевым, возлагавшими надежды на петровское преобразование, слишком хорошо он знал реальность российского прошлого.

Говорят, писал Чернышевский, «что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не “Запад” и не “Европа” <...> звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу произнести наши *Щ* и *Ы!* Это звуки восточных наро-

¹⁶*Пыпин А.Н.* Мои заметки / коммент. А.С. Озерянского. С. 258.

дов, живущих среди широких степей и необозримых тундр» (*Чернышевский*, VII, 610).

По поводу рассуждении о «закате Европы» и уподобления этого процесса гибели Древнего Рима Чернышевский предлагает свою схему исторического процесса, весьма независимую и отличную от гегелевской. Но Чернышевский сомневается, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное начало в историю. Так, о германцах говорили, что с ними пришло понятие свободной личности. Чернышевский в их свободной жизни не видит разницы с аналогичными военными обычаями других варварских племен: «Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом» (*Чернышевский*, VII, 659). Отождествляя варварство с состоянием хаоса, разбоя, брожения, Чернышевский абсолютно отрицал, чтобы это состояние общественной жизни могло выработать хотя бы самые отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного человека. Скорее это заслуга народов цивилизованных, вне цивилизации право личности утвердить не удастся. Не случайно только спустя тысячу лет после падения древнего мира в Европе, в эпоху Возрождения, пробуждается личность, и связан этот процесс не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Отсюда следовало, что не стоит хвалиться варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ.

Иначе он трактовал и проблему общины. Общинный принцип земледелия, считал Чернышевский, — до поры до времени хорош для России, но никоим образом не годится Западу. «Европе, — писал он, — тут позаимствоваться нечем

и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка» (*Чернышевский*, VII, 663).

Что же касается современного им Запада, то собственно народ «еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие уже действует на исторической арене <...>, а главная масса еще и не принималась за дело...» (*Чернышевский*, VII, 666). И резюмировал, обращаясь к Герцену: «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» (*Чернышевский*, VII, 666). Действительно, говорить о Европе Бальзака, Стендаля и Гюго, Диккенса и Теккерея, Гейне, Гегеля и Фейербаха, Европе, где начиналась вторая промышленная революция, наконец, Европе, дававшей приют политическим изгнанникам, как о типе культуры, пришедшей в упадок и идущей к своей гибели, было по меньшей мере некорректно. Герцен пытается опереться на славянофилов, которые, требуя от правительства законодательной защиты общины, становятся, как ему казалось, «на практический грунт», вот почему он писал: «Мы <...> оставаясь совершенно верными нравственным убеждениям нашим <...> стали гораздо ближе к московским славянам¹⁷, чем к западным старообрядцам» (*Герцен*, XIV, 160).

¹⁷Чернышевский, как известно, с сомнением относился к идее славянофилов о законодательном укреплении общины. Также надеясь на общину, он тем не менее писал: «Не лучше ли в этом

Е.В. Аничков писал: «Все главные лозунги русского революционного движения до самой “Народной воли” провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена “нечаевщины” станет его друг Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходит и “Земля и Воля” и “хождение в народ” <...> Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мнутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения...»¹⁸

Молодые радикалы (так называемая молодая эмиграция), считая себя наследниками Чернышевского, по сути своей были ближе к той изживаемой уже самим Герценом волонтаристской идее «русского социализма», противопоставления русской общины западному рабочему движению, с чем боролся Чернышевский. «Впоследствии его (Чернышевского. — В. К.) ученики не смогут удержаться на высоте взглядов учителя, — справедливо замечает И.К. Пантин. — Акценты сместятся, пропорции будут изменены. Перспектива движения будет объявлена непосредственной задачей борьбы, а община превратится в единственное и всепасающее средство от любых социальных зол. Герцен в сознании большинства революционных народников одержит верх над Чернышевским»¹⁹.

А Чернышевский, прочитав уже в Вилюйске «Капитал», не принял марксизма как объяснения русской жизни. Ведь еще на воле он писал: «Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком

случае допустить в законе личное владение наравне с общинным и предоставить каждой общине решить <...> какой способ владения для нее удобнее и выгоднее» (*Чернышевский*, V, 847).

¹⁸ Аничков Е.В. Две струи русской общественной мысли. Герцен и Чернышевский в 1862 г. // Записки русского научного института в Белграде. Вып. I. Белград, 1930. С. 234–235.

¹⁹ Пантин И.К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М.: Политиздат, 1973. С. 101.

может только тот, кто понимает его, кто достаточно при-
готовлен, довольно просвещен. *Когда мы будем так же
просвещены, как западные народы, только тогда мы
будем в состоянии пользоваться их историею, хотя в
той слабой степени, в какой пользуются ею сами они»*
(Чернышевский, VII, 617). Поэтому вначале — просве-
щение, вначале надо научиться, а не то не только ранним
славянофилам, но и пореформенной молодой разночинной
интеллигенции покажется, как легко можно превзойти
этот Запад, что и доказали крайние радикалы начала 1860-
х годов. В прокламации «Молодая Россия» было написа-
но: «Мы изучали историю Запада и это изучение не про-
шло даром: мы будем последовательнее не только жалких
революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года,
мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения
современного порядка приходится пролить втрое больше
крови, чем пролито якобинцами в 90 годах»²⁰. Вспомним
бесконечные упреки Ленина западным марксистским со-
циалистам в их недостаточной революционности, имен-
но русскую — радикальную — трактовку марксизма объ-
являл он наиболее истинной. Сам Маркс, кстати, как и
Чернышевский, считал, что его теория к России отношения
не имеет, что ее выводы имеют прогностический характер
только для Западной Европы, прежде всего для Англии.

Но не Чернышевский ли звал Русь к топору? Во всяком
случае такое мнение утвердилось в общественном созна-
нии. Пусть серьезные исследователи отрицают этот факт,
но так нас учили партийные учебники, вот и выучили, по-

²⁰ Молодая Россия // Революционный радикализм в России /
под ред. Е.Л. Рудницкой. М., 1997. С. 146. Надо сказать (хотя в
сноске), что этот сборник — самое полное документальное собра-
ние высказываний русских крайних радикалов, дающее наконец-
то реальное представление о том, на каких идеях взрастала ле-
нинская партия большевиков; тираж этой ценнейшей книжки, к
сожалению, всего 1000 экз.

тому что это было выгодно «победившим бесам». Им же практически на слово поверила наша «свободомыслящая» интеллигенция, причислив страдавшего двадцать семь лет в Сибири мыслителя к бесовскому ведомству и не удосужившись почитать его тексты.

Роман «Что делать?» – против российского произвола

Кто же был автором злополучного и провокационного «Письма из провинции» (1860), опубликованного в «Колоколе», где вполне серьезно утверждалось: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!»²¹? И подписано оно не как-нибудь, а «Русский человек»: автор был твердо уверен, что выражает мнение *всех*; он показывал этой подписью, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Но к стихийной, *разбойничьей* революции призывал Бакунин, идею разбоя взяли на вооружение Ткачев и Нечаев. А Чернышевского с Нечаевым все же сумели развесть историки русской философии из «шестидесятников»²².

Сейчас уже ни для кого не секрет, что автором этого страшного письма был Огарев, писавший его в доме Герцена, а из соседней комнаты Герцен писал мягкие возражения. Стоит подчеркнуть, что в предисловии «От редакции» к пресловутому письму Герцен не раз *называет это письмо дружеским*, что вряд ли бы он сделал по отношению к Чернышевскому и Добролюбову, о которых он всего год назад опубликовал статью «Very dangerous!!!», где назвал оппонентов «милыми паяцами» и предсказывал им

²¹ Письмо из провинции // Революционный радикализм в России. С. 84

²² См., напр.: Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? М.: Мысль, 1976.

правительственную службу и «Станислава на шею». Вряд ли бы он не отметил изменение позиции Чернышевского в отношении свержения революции. Я помню свой разговор с Н.Я. Эйфельманом, когда сказал ему, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма говорит, что жил в «глухой провинции» во время крымской войны, а в это время юный мыслитель уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. «Вы намекаете на Огарева? — задумчиво спросил Н.Я. — Действительно “Р. Ч.” и “Русский человек” его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена — вряд ли... Во всяком случае ясно, что это не Чернышевский». Я не думал тогда об Огареве, но быстрота реакции Эйфельмана показала, что он-то думал именно о нем. И правда, Огарев, друживший во второй эмигрантской жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддерживавший Нечаева, больше подходил этому письму, нежели ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В конце 1860-х годов Огарев выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь, добры молодцы
На разбой — дело великое!

Именно против разбоя направлен весь пафос Чернышевского.

Обратимся к роману, который, по мнению радикалов, и звал их к радикальному действию. Начну с высказывания очень мудрого, религиозного о. Сергия Булгакова: «Наши “реалисты” только пугают своим аморализмом, а на самом деле люди очень благонамеренные и в высшей степени

добродетельные. <...> Как это напоминает героев романа Чернышевского “Что делать?”, которые, усвоив совершенно не свойственную им утилитарную мораль, старательно оправдываются от всякого добродетельного поступка, доказывая, что он проистекает из соображений личной пользы»²³. Иными словами, почти полвека спустя после выхода романа великий религиозный мыслитель не увидел в героях Чернышевского злобных нигилистов, а увидел добрых людей, которые стесняются того, что они добрые.

Правда, Паперно пишет: «Этическая система, изложенная в романе “Что делать?” и других сочинениях Чернышевского <...> выводится из систематического пересмотра основных положений православного катехизиса»²⁴, но самого пересмотра она не показывает. (Вот уж что создавалось по образцу православного катехизиса, так это «Катехизис революционера» Нечаева.) Не давая в своей работе пересмотра, Паперно, напротив, подробно пишет о «богословской основе романа “Что делать?”»²⁵.

Это была проблема для русской церкви — актуализация православия, которое, по общему мнению, давно не работало. Об омертвлении русской церкви писали многие, даже Достоевский. Отправляя Алешу в мир, по мнению многих он заслуживает упрека, так как это совершенно католический жест. Именно об этом думал и сын саратовского протоиерея, пытаясь придать энергию старым религиозным текстам, прочитав их сквозь современную энергичную философию. И Паперно не может об этом не сказать: «Роман пронизывает целая сеть ветхозаветных и

²³ *Булгаков С.Н.* О реалистическом мировоззрении (Несколько слов по поводу выхода в свет сборника «Очерки реалистического мирозерцания». СПб., 1904 // Проблемы идеализма. М.: РОССПЭН, 2010. С. 648.

²⁴ *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 169.

²⁵ Там же. С. 174.

новозаветных аллюзий, подсказывая, что перед ним текст, имеющий своей целью разрешить — в глобальном масштабе — проблемы человеческого существования. Само название романа — “Что делать?”, среди других ассоциаций, приводит на мысль эпизод крещения в Евангелии от Луки (3:10—14) и вопрос, который задавал Иоанну Крестителю приходивший креститься народ: “Что же нам делать?” <...> Подзаголовок “Из рассказов о новых людях” содержит в себе призыв к духовному возрождению человека в подражание Христу»²⁶.

Пасквилей, однако, было много. Особенно злобно выступил проф. Цитович, видевший почему-то в Чернышевском тайного уголовного преступника и подводивший все поступки героев под параграфы Уголовного кодекса. При таком подходе, пожалуй, ни одно произведение художественной литературы не избежит обвинений в уголовщине. Даже Катков, поддержавший Цитовича, постарался смягчить его инвективы: «возвратимся к роману Чернышевского. Теперь, когда прошло более шестнадцати лет с его появления, он становится небезынтересным историческим материалом. Это картина первых времен нигилизма, изображение его в некотором роде золотого века, периода сравнительной невинности. Тот ряд правонарушений, подходящих под уголовный кодекс, какой указан г-ном Цитовичем, еще значительно маскирован, грязь и цинизм еще прикрыты вуалью шаловливости»²⁷. Быть может, не очень правильно возражать на цитату цитатой. Но существенно, что возражение на пасквиль делает не просто профессиональный критик, а архимандрит — современник Чернышевского. Я говорю об архимандрите Феодоре (Бухарева), написавшем в 1863 году: «Я довольно вни-

²⁶ Паперно И. Семиотика поведения... С. 175.

²⁷ Катков М.Н. Нигилизм по брошюре проф. Цитовича «Что делали в романе “Что делать?”» // Катков М.Н. Имперское слово. М.: Москва, 2012. С. 360.

мательно изучал роман г. Чернышевского “Что делать?”. Мне хочется, друзья мои, поговорить с вами об этом романе; хочется передать вам мой о нем отчет. В этом романе выражено много благородных инстинктов. <...> Само собой разумеется, что я буду говорить об этом романе не иначе, как следуя правилу слова Божия *отделять честное от недостойного* (Иереем. XV, 19), лучшее от худшего. Если угодно, я пользуюсь романом г. Чернышевского к разъяснению того, что в самом деле надо нам делать при нынешнем умственном и нравственном состоянии нашего общества. <...> В отношении к такому великому вопросу роман “Что делать?” действительно может пособить здравому образу мыслей распутывать путаницу некоторых понятий, грозящих принести человечеству много, много лишних страданий и бедствий!»²⁸

В своем романе Чернышевский проводит все ту же линию — ненасилия над общественной жизнью. Его называют общинником, но именно он боялся законодательного закрепления общины. Славянофилы во время реформ настаивали на *обязательности* общинной формы хозяйства, а поскольку ее фискальный смысл был ясен и государству, то оно приняло требование славянофилов, закрепив ту общину, с которой потом пытался бороться Столыпин и которую в форме колхозов восстановил Сталин. Надевшийся на то, что община сможет быть защитой личности от внешних притеснений, Чернышевский категорически выступил против насильственного навязывания общинности, ибо это было не защитой личности, а, напротив, ее притеснением: «Трудно вперед сказать, чтобы общинное владение должно было всегда сохранять абсолютное преимущество перед личным. <...> Трудно на основании фактов современных положительно доказать верность или неверность предположения о будущем. Лучше подождать, и время разрешит

²⁸ *Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев)*. О духовных потребностях жизни. М.: Столица, 1991. С. 117.

эту задачу самым удовлетворительным образом. Вопрос о личном и общинном владении землей непременно разрешится в смысле наиболее выгодном для большинства. Теория в разрешении этого вопроса будет бессильна...» (*Чернышевский*, V, 847).

Об этом же и пресловутая, осмеянная либералами (которые потом аплодировали большевикам) Вера Павловна, устраивая свою мастерскую, говорила работницам: «Надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. <...> Без вашего желания ничего не будет»²⁹. Не наблюдается ли в этом некая последовательность?.. Экспериментов на людях, как большевики, он делать не хотел. Это внятно прописал Николай Лесков, которого не услышали: «Стало быть, *что же делать?* По идее г. Чернышевского, освободиться от природного эписиерства³⁰, откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся. Г-н Чернышевский, как *нигилист*, и, судя по его роману, *нигилист-постепеновец*, не навязывает здесь ни одной из теорий. <...> Где же тут Марат верхом на Пугачеве? Где тут утопист Томас Мор? <...> г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого *добрых людей*, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало»³¹. Или не захотели услышать.

²⁹ *Чернышевский Н.Г.* Что делать? Л.: Наука, 1975. С. 132.

³⁰ Эписиерство (*от фр.* ерісієг — бакалейный торговец, лавочник, человек узких взглядов) — торгашество, узорь.

³¹ *Лесков Н.С.* Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» // http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_001141.shtml

Миф о Чернышевском-Марате уже насаждался. Лесков пытался этот миф опровергнуть. Герцен искал виноватых, всех виноватил. Чернышевский всех прощал, виноватых не видел. Поэтому хотел просто понять, что делать. Он хотел в крепостной стране ввести освобождающие человека буржуазные структуры. Слова «что делать» не привыкшая к труду русская молодежь поняла как призыв к действию, то есть к революционному действию — стрелять и взрывать.

Отдельная, конечно, тема — четвертый сон Веры Павловны, который все упорно (если не сказать — *тупо*) именуют *коммунистической утопией*, хотя она не более чем парафраз шиллеровских стихов, а также представление в духе Гете и немецких романтиков о смене эпох. Не случайно в самом начале этого сна автор приводит цитаты из «Майской песни» Гете и шиллеровского стихотворения «Четыре века» (*Die vier Weltalter*). Эти смены эпох, которые отписывает Вере Павловне царица (тоже образ из западноевропейской литературы), можно соотнести с поисками Фаустом счастливого хронотопа, да не забыть, что женщину ведет женщина, в чем явный отголосок гетевской темы *Ewig Weibliche* (вечной женственности). Более того, романтическое начало ясно из возникающей неожиданно в этом сне темы двойничества.

— Да, — говорит царица, — ты хотела знать, кто я, ты узнала. Ты хотела узнать мое имя, у меня нет имени, отдельного от той, которой являюсь я, мое имя — ее имя; ты видела, кто я. Нет ничего выше человека, нет ничего выше женщины. Я та, которой являюсь я, которая любит, которая любима.

Да, Вера Павловна видела: это она сама, это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день не одно лицо; это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекраснее всех идеалов, завещанных нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи, да, это она сама, но озаренная сиянием любви, она, прекраснее которой есть

сотни лиц в Петербурге, таком бедном красотою, она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц.

Всплывающая здесь тема двойничества, дана едва ли не впервые в мировой литературе, абсолютно в духе христианского (по Фоме Кемпийскому) «подражания Христу», когда двойник — это твой образец — которому ты следуешь, как следуешь Христу. Более того, стоит обратить внимание на то место, которое показывает царица Вере Павловне, где будет протекать жизнь человечества в будущем, как привиделось когда-то герою рассказа «Сон смешного человека»:

На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. «Но мы в центре пустыни?» — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какую была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она “кипит молоком и медом”»³².

³² Стоит сравнить сон героя Достоевского со сном героини Чернышевского; «О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим

Интересно, что это явная цитата из книги Исход, где Господь обещает Моисею поселить его народ на земле, где течет молоко и мед: «Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исх. 3, 7–8). Пожалуй, только американская исследовательница едва ли не впервые за много десятилетий увидела реальный смысл этой картины: «Хотя местность не названа, ее легко узнать из этого описания. Две реки — это Тигр и Евфрат, долина — библейский Эдем. А возвышенность, с которой Вера Павловна и “царица” осматривают окрестности — это гора Синай, где Моисей получил скрижали с Десятью заповедями»³³.

шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем». *Запомним слово «рай».*

³³*Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. С. 177.

А сам смысл четвертого сна весьма корреспондирует со стихотворением Шиллера «Четыре века», с которого автор начал описание сна. Особенно относятся эти строки к последней сцене, где описывалась вполне чистое уединение влюбленных пар (почему бы и нет?). Это совсем не лупанарий, как восприняли недоброжелатели эти строчки Чернышевского (и не замятинские листочки из романа «Мы»). Это была попытка очень целомудренно передать свободу античной любви. «Где другие? — говорит светлая царица, — они везде; многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому; иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке; иные в аллеях сада, иные в своих комнатах или чтобы отдохнуть наедине, или с своими детьми, но больше, больше всего — это моя тайна. Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видела, они уходили, они приходили; они уходили — это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны ненарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я». Надо все же чувствовать контекст художественного отрывка, который весь пронизан поэзией Шиллера. Напомню читателю несколько строчек:

В глубине целомудренной женской души
Все, что нравственно, живо поныне.
Пламя песни забытой, ты вспыхнуло вновь,
И зажгла тебя верность, зажгла любовь!

Так пускай же связует союз на века
Сердце женщины с песней поэта,
И да ткут они дружно — к руке рука —
Пояс радости, правды и света!

И одно важнейшее добавление о героях Чернышевского: это люди, «ведущие вольную жизнь труда». На вопрос

«Что делать?» мыслитель отвечал — трудиться! Но прочитали его вопрос соотечественники, не только современники, но и потомки совершенно иначе, а уж ответили так, словно явились из другого измерения.

Неужели призыв к подполью и революции?

Любопытно, что даже не Третье отделение, которое пропустило роман, рассчитывая, что он образумит рьяных радикалов, а именно сторонники «чистого искусства» (такие крупные фигуры, как Боткин и Фет) увидели в нем революционную агитку: «Повторяем: о личном таланте автора не стоило бы говорить. Но в романе “Что делать?” каждая мысль, каждое слово — дидактика, каждая фраза выражает принцип. Этого нельзя пройти молчанием. Жалкие усилия паука подняться за орлом в настоящем случае — не слово, а дело. Они предназначаются стать в глазах неофитов примером великодушнейшего нахальства и великолепнонейшей наглости, полагаемых в краеугольный камень доктрины»³⁴. А уж затем он только так и читался радикалами, особенно социалистического разлива. Именно Чернышевский казался учителем революционной деятельности, не хуже Ткачева и Нечаева. Ленин заявил, что роман Чернышевского его «перепахал». Сегодня мы уже понимаем, хотя бы на примере Ницше и Гитлера, как можно не просто читать, но вчитывать в написанное свои мысли.

Либерал советского разлива Е.Г. Плимак, пытавшийся вывести Чернышевского за пределы людоедской революционности, в прогрессивной на тот момент книге 1976 года писал: «Борьбу за создание революционной организации,

³⁴ Статья А. А. Фета о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» / вступ. ст. Ю. Стеклова, публ. и коммент. Г. Волкова // Литературное наследство. Т. 25—26: Литературная и общественная мысль 1860-х годов. М.: Журнально-газетное объединение, 1936. С. 491.

призванной возглавить грядущую народную революцию, Чернышевский продолжит и в стенах Петропавловской крепости. Призыв уходить в подполье, создавать подполье донес до оставшихся на воле друзей-читателей написанный здесь роман “Что делать?”»³⁵. Желая противопоставить Чернышевского Нечаеву, Плимак, по сути, отождествил их, приписав Чернышевскому создание подполья, тайной организации революционеров.

Неужели мастерские Веры Павловны — это подпольная организация? А ведь это главная организационная структура, которую предлагает Чернышевский. Лесков увидел в этом отказ от нигилизма и призыв к буржуазному предпринимательству, буржуазному труду, построенному на выгоде. Похоже, он был прав. Обращусь снова к Бухареву, человек религиозный, наблюдательный, да и современник: «Всмотримся в сущность дела этих мастерских. Первое, что вас приятно поражает в них, это, конечно, то, что хозяйка мастерской оказывается достойной женщиной или, по выражению романа “Что делать?”, человеком таким, как следует быть человеку, что и работающие девицы с первого же раза или с самого их помещения в мастерской поставлены так, чтобы и каждой из них быть человеком, как следует; отношения между хозяйкой и работающими тоже человеческие; также как и взаимные отношения работающих тоже по-человечески устроены (через распределение заработок), что и соревнованию их между собой есть место и не изгоняется сестринская внимательность одних к нужде и немощи других». И далее он заключает: «Роман “Что делать?” <...> создал свои мастерские, а там уж как хотите. <...> Вера Христовых учеников может вырывать и из земли народных умов и сердец какое бы то ни было укоренившееся и развившееся на этой земле дерево нечеловеческих взаимных

³⁵ Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский или Нечаев? М.: Мысль, 1976. С. 164.

отношений между людьми, весьма обыкновенных у народа особенно в снискании способов к удовлетворению насущных потребностей жизни. И пусть эта вера не сужает при этом своего взгляда, не ограничивается двумя или тремя мастерскими, но, напротив, пусть обнимает всякие рабочие среды в народе, все мастерские и сведет их в одну ту мастерскую, где хозяйкой, готовой войти во все и действовать во всем для изгнания отовсюду зла, только бы через веру дали ей место, оказывается сама благодать Божия, которая, ради воплощения Сына Божия, не чуждается человека ни в какой чернорабочей среде телесных трудов»³⁶.

Как же это можно было перетолковать?

Другой современник и противник Чернышевского, профессор Цион, тем не менее достаточно точно показал, что призыв к буржуазному предпринимательству поняли как призыв к бомбометанию: «Европеец спросит вас: кто такой Чернышевский? Вы ему ответите и скажете, что Чернышевский написал плохой, по мнению самих же нигилистов <...> роман “Что делать?”, сделавшийся, однако, евангелием нигилистов. Вы ему покажете книжку Степняка, где он на стр. 23 увидит, что роман “*Que faire?*” предписывает троицу идеалов: *независимость ума, интеллигентную подругу и занятие по вкусу* (курсив автора. — В.К.). Первые две вещи нигилист “нашел под рукой”. <...> Оставалась третья заповедь — “найти занятие по вкусу”. Долго нигилисты колебались и были в отчаянии, что не могли раскусить мысли Чернышевского. <...> Но вот наступил 1871 год!.. Он в волнении следил за перипетиями страшной драмы, происходившей на берегах Сены. <...> Ответ был найден. Теперь юноша знает, что он обязан сделать, чтобы остаться верным третьей заповеди

³⁶ *Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев)*. О духовных потребностях жизни. М.: Столица, 1991. С. 135–138.

романа Чернышевского. Парижская коммуна послужила ему комментарием для романа!»³⁷

Вот и ответ на то, как переосмыслился роман, звавшийся к мирной деятельности.

В романе «Братья Карамазовы» Достоевский в сущности обращается к этой теме. В четвертой части, в книге десятой, под названием «Мальчики», Алеша беседует с ранним свободомыслом Колей Красоткиным. Прочитавший один номер «Колокола», но считающий себя последователем Герцена, мальчик Коля Красоткин говорит: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно». Но по религиозному невежеству мальчика Коли, Белинского и Герцена забывается, что такой персонаж в Евангелии выведен — это Варавва, которого толпа потребовала освободить вместо Христа. Как сказано в Евангелии от Марка: «Тогда был в узах *некто*, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. <...> Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк 15, 7–15). И в другом Евангелии от Луки: «Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство» (Лк 23, 18–19). Иными словами, мятежник, революционер был отпущен на волю. Автор, призывавший в своем романе всего-навсего к буржуазному предпринимательству, был осужден на каторгу и сибирское поселение. Как же текст Чернышевского мог быть прочитан революционно? Об этом говорит Алеша,

³⁷Цион И.Ф. Нигилисты и нигилизм // Русский вестник. 1886. № 6. С. 776–777.

обращаясь к Коле: «Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: “Покажите вы, — он пишет, — русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную”. Никаких знаний и беззаветное сомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника».

Интересен ответ Коли, абсолютно в духе бакунинско-герценовской германофобии:

«Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Bravo, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Сомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но все-таки немец хорошо сказал! Bravo, немец! *Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить...*» (курсив мой. — В. К.)³⁸.

³⁸ Логика Коли, мечтавшего об уничтожении немцев, понятна, исходя из логики Бакунина, назвавшего империю Романовых «Кнуто-германской империей», и Герцена, видевшего беду России в том, что ее строили и структурировали немцы, от немецкой династии — до булочников и сапожников: «Для вколачивания русских в немецкие формы следовало взять немцев; в Германии была бездна праздношатающихся пасторских детей, егерей, офицеров, берейторов, форейторов, им открывают дворцы, им вручают казну, их обвешивают крестами; так Кортес завоевывал Америку испанскому королю, так немцы завоевывали шпицрутенами Россию немецкой идее» (Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские // Герцен А.И. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 435). Вопрос в одном, почему же не было в России своих форейторов, берейторов, егерей, «хлебников аккуратных»? Но это было неправдой: император предпочел Кутузова гениальному Барклаю де Толли, русских выдвигали, как

Для радикалов европейцы не понимают великого порыва России, а потому подлежат уничтожению. И уж конечно прямая шпилька юного радикала устаревшему Чернышевскому и его герою Лопухову. Коля Красоткин вещает: «Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности». Для Достоевского отъезд в Америку был путем на «тот свет»: так, собираясь застрелиться, Свидригайлов сообщает, что едет в Америку. Вполне возможно, что размышления над собственной судьбой, над жизнью в «мертвом доме», то есть на «том свете» заставили его немного иначе взглянуть на тему Америки. Поэтому отказ от поездки в Америку он озвучивает в ироническом ключе устами молодого радикала. Вряд ли мальчик Красоткин подозревал, сколь актуальны будут его слова для советских «отказников», а потом для так и не решившихся покинуть свое отечество интеллектуалов! А Лопухов вернулся бизнесменом. Можно найти и живые примеры.

Путь мыслителя к казни и жизнь после казни

Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой (1853), еще до всяких восстаний в селе Бездна (название символическое — в эту *Бездну* потом и рухнула Россия) пообещав новую пугачевщину: «Страшна и Пугачевщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено»³⁹. Герцен говорил Достоевскому, что Чернышевский ему не симпатичен: «Герцен мне говорил, что Чернышевский произвел на него неприятное впечатление, то есть наружно-

могли. Идеологическая триада «православие, самодержавие, народность» определяла духовную жизнь России. Откуда у полунемца Герцена такая ненависть к германскому племени — особый и тяжелый разговор.

³⁹Юрьев день! Юрьев день! // Революционный радикализм в России. С. 57.

стью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились»⁴⁰. Расхождение двух публицистов, пытавшихся влиять на умы, стало для него очевидно, очевидно и неприязнь Герцена к Чернышевскому. Но после призывов Герцена к пугачевщине, Достоевский рассчитывать на него не мог. И после появления прокламации «Молодой России» он пришел к Чернышевскому с просьбой образумить радикалов в надежде, что они его послушаются.

Достоевский вспоминал этот разговор в 1873 году, спустя 12 лет, приведу его подробнее: «Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. Она называлась “К молодому поколению”. Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Все это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностию явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. <...>

— Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

— Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

— Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в том уверять. Но во всяком случае их

⁴⁰ *Достоевский Ф.М.* Нечто личное // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С. 25.

надо остановить во что бы ни стало. Ваше слово для них веско, и, уж конечно, они боятся вашего мнения.

— Я никого из них не знаю.

— Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

— Может, и не произведет действия»⁴¹.

Они и вправду не слушались. Он стал для них идолом, которого все называли учителем, но учиться у него не хотели. Это идолопоклонничество, царившее вокруг мыслителя, отмечали многие (скажем, С.М. Соловьев). Идола могли мазать жертвенной кровью, но вкладывали в его уста лишь то, что хотели сами услышать. Клянясь его именем, перечили самой сути его учения (особенно явно потом это проделал Ленин). Поэтому не только эта, но и написанная вроде бы сторонником Чернышевского Н. Шелгуновым прокламация была выпадом-ответом на прокламацию *учителя*, да и на всю его деятельность. Скажем, Чернышевский предлагал крестьянам брать за образец социальное и политическое устройство Западной Европы (французов и англичан): «У французов да и англичан крепостного народа нет. <...> У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. <...> И при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут»⁴².

А нигилисты возражали, да резко: «Хотят сделать из России Англию и напитать нас английской зрелостью. <...> Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком. <...> Мы не только можем, мы должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам. Немцы

⁴¹ *Достоевский Ф.М.* Нечто личное... С. 25–26.

⁴² Барским крестьянам от их доброжелателей поклон // Революционный радикализм в России. С. 89, 90.

уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. <...> Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит, она нам не учитель в экономических вопросах. Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы, русские. <...> У нас нет страха перед будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее»⁴³.

Даже гражданская казнь Чернышевского послужила Герцену поводом для сведения счетов и ругани вместо анализа случившегося, который он при его аналитическом даре казался бы мог дать. Ни слова он не сказал о Чернышевском, о его позиции, о его понимании России. Хотя стоило бы честно написать, что не Чернышевский звал к бунту, из Лондона это можно было безопасно делать, но тогда надо себя признать главным подстрекателем. Поразительна в этом контексте заметка Герцена в «Колоколе», в которой он ни слова не сказал о деятельности и идеях Чернышевского, а использовал его казнь как повод к возмущению радикалов: похоже, роль Вараввы⁴⁴ не давала ему покоя, тем более что позорный столб Чернышевского он сравнил с крестом Христа. Его спич стоит привести целиком, он невелик.

Н. Г. Чернышевский

Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!

⁴³К молодому поколению // Революционный радикализм в России. С. 98, 99, 100.

⁴⁴Замечу, что Варавву, как и Христа, звали Иисусом.

«Инвалид» недавно спрашивал, где же новая Россия, за которую пил Гарибальди. Видно, она не вся «за Днепром», когда жертва падает за жертвой... Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор «Инвалида» о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартьянова, Красовского, Трувелье, двадцать других, наконец, Чернышевского в каторжную работу.

И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!

P. S. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца экзекуции: «Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венки — ее арестовали. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему «прощай!» и был арестован. Ссылая Михайлова и Обручева, они делали выставку в 4 часа утра, теперь — белым днем!..»

Поздравляем всех различных Катковых — над этим врагом они восторжествовали! Ну что, легко им на душе?

Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа⁴⁵ — а вы, а Россия, на сколько лет останетесь привязанными к нему?»⁴⁶

Герцен просто воспользовался казнью своего противника для нового призыва к бунту. Очень непродуктивное чувство, ни Христос, ни Чернышевский к мести не призывали. Так некогда нашли виноватых в евреях и мстили им несколько тысячелетий. А теперь нашел он виноватых в

⁴⁵ Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста (*примеч. А.И. Герцена*).

⁴⁶ *Герцен А.И.* Н.Г. Чернышевский // Герцен А.И. Избранные труды / сост., авт. вступ. и коммент. В.К. Кантор. М.: РОССПЭН, 2010. С. 590.

русском обществе, в русской журналистике, в оппонентах Герцена (типа Каткова), упрекавших его, что он зовет народ к топору. Чичерин писал, что надо противопоставить правительственному произволу закон, об этом же говорил Чернышевский, но им досталось от человека из Лондона: «А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!» Противопоставление самодержавному произволу, шайке разбойников, как Августин называл любое правительство, власти разбойничьего бунта вело только к еще большему произволу. Напомню, что писал Чернышевский, опасавшийся обращаться к народу с революционными призывами: «Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию»⁴⁷. Но это был период в жизни Герцена, если так можно выразиться, бакунинско-нечаевский. Опомнится он только перед смертью.

Поразительно, как совпали в неприятии идей Чернышевского и нигилисты, и самодержавие. Обе эти силы, вроде бы противостоявшие друг другу, хотели все в России делать силой прихоти, силой произвола. Впрочем, как не раз замечалось и в западной, и в нашей литературе, радикальные нигилисты и большевики, по сути, отражали худшие черты самодержавия да еще в гротескном виде. Конечно, портреты Чернышевского после казни появились на стенах квартир в каждой интеллигентной и тем более нигилистически настроенной семье. Так в застойные времена диссидентствующих узнавали по портретам Солженицына в рамочке. Эту славу — революционер-страдальца — подарило Чернышевскому самодержавие; он в ней не нуждался, но она была тем сильнее, чем беззаконнее выглядело решение суда. Сознание, что государство творит произвол по отношению к независимому мыслителю, было всеобщим, особенно явно оно было

⁴⁷ Чернышевский Н.Г. Письма без адреса. С. 92.

выражено у *русских европейцев*. По воспоминаниям очевидцев, «А.К. Толстой, близко осведомленный о деталях процесса несчастного Чернышевского, решился замолвить государю слово за осужденного, которого он отчасти знал лично». На вопрос Александра II, что делается в литературе, граф Алексей Константинович Толстой ответил, что «русская литература надела траур — по поводу несправедливого осуждения Чернышевского»⁴⁸. Надо сказать, что, видимо, тема Чернышевского волновала императора и в 1874 году, когда он послал в Виллюйск к Чернышевскому предложение просить о помиловании. И получил отказ, поскольку Чернышевский не считал себя виноватым. Надо вспомнить, сколько реально виноватых русских писателей молили власть о пощаде и помиловании — от Радищева до Бакунина.

Стоит вспомнить эту историю, которую не помнят те, кто осуждает Чернышевского как предвестника большевизма. Его судьбу решали на самом верху, думали его облагодетельствовать. В 1874 году в Виллюйск была направлена «из Петербурга бумага, приблизительно такого содержания: “Если государственный преступник Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он может надеяться на

⁴⁸ Из воспоминаний А.А. Толстой // Толстой А.К. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1986. С. 117. Интересно продолжение беседы: «Но государь не дал Толстому даже и окончить его фразы: “Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском”, — проговорил он недовольным и непривычно строгим голосом, — и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их кончена» (там же). Очевидно, сильно досадила императору строптивая независимость петропавловского узника, не молившего о помиловании, а самим фактом своего поведения во время процесса и несправедливого осуждения — с царского соизволения — словно нарочно бросавшего тень на царствование Освободителя и ставившего под сомнение результативность Великих реформ. Это была проблема, а к несчастью, проблем самодержавие решать не желало.

освобождение его из Вилюйска, а со временем и на возвращение на родину»⁴⁹. И полковник Г.В. Винников, адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири, был послан с целью побудить Чернышевского подать царю просьбу о помиловании. Вот что об этом рассказывает сам Винников: «Я приступил прямо к делу: “Николай Гаврилович! Я послан в Вилюйск со специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам. Вот, не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону”. И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил ее мне обратно и, привставая на ноги, сказал: “Благодарю. Но, видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я положительно отказываюсь”. По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном... “Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?” — “Положительно отказываюсь!” — и он смотрел на меня просто и спокойно»⁵⁰.

⁴⁹Цит. по: *Демченко А.А.* Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Ч. 4. 1804—1889. Саратов: Изд-во Саратов. пед. института, 1994. С. 175.

⁵⁰Там же. С. 178—179. Стоит привести похожий случай, демонстрирующий архетипичность поведения самодержца, не столь катастрофический, но показывающий типичность ситуации. Б.Н. Чичерин, честный и глубокий мыслитель, либерал, но монархист, служивший на склоне лет московским городским головой, не менее независимый в своем поведении, чем Чернышевский, вдруг был без объяснений отставлен со своего поста, а потом император решил погладить его по шерстке. Внутренних пересечений с делом Чернышевского очень много, но пересказ бессмыслен, предоставляю слово Чичерину: «От меня, конечно, не думали потребовать объяснений, а просто велели подать в от-

Этим актом был возмущен С.М. Соловьев, спустя тридцать лет его сын В.С. Соловьев все с той же страстью негодования на несправедливость напишет: «В деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых, — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов»⁵¹.

Не случайно в советское время шутили, что некоторых русских царей необходимо посмертно наградить орденом Октябрьской революции за создание революционной ситуации в стране. Это надо уметь — выкинуть из жизни человека, который мог воздействовать благотворно на развитие страны, выкинуть из страха перед его самостоятельностью и независимостью! Обратимся к В.В. Розанову, человеку неожиданных, но точных, как правило, характеристик, чтоб оценить *государственный* масштаб Чернышевского. Розановская неприязнь к Герцену сказалась и в этих словах, зато разночинца он поднял на пьедестал: «Конечно, *не использовать* такую кипучую

ставку. Таким образом, я был удален от общественной должности за действия лица, совершенно мне не известного. Так у нас водится... Сам виновник <...> даже не сознавал, что он делал. Года два или три спустя я жил в Ялте, в то время как царская фамилия была в Ливадии. <...> Нас приглашали к обеду в Ливадию. <...> Я поехал. Государь старался быть возможно любезным. Через несколько дней они уехали, но я на проводы не пошел, что многих удивило. Все думали, что царского милостивого слова достаточно, чтобы все загладить. *Я объяснил, что я не собачка, которую можно прогнать пинком, а затем подозвать, когда гнев хозяина прошел, и она будет, махая хвостом, лизать у него руку*» (Чичерин Б.Н. Земство и Московская дума // Чичерин Б.Н. Воспоминания. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 417; курсив мой. — В. К.).

⁵¹ Соловьев В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. С. 649.

энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> С самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще природы, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила* и каждый шаг обвеян “заботой об отечестве”. <...> Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий *где* найти “энергий” и “работников” государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков, или “знаменитый” Мордвинов против него как *деятеля*, т. е. как *возможного деятеля*, который зарыл был где-то в снегах Вилюйска? <...> Я бы <...> как лицо и энергию поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и “незыблемость” Аракчеева... Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. <...> Именно “перуны” в душе. <...> Он был духовный, спиритуалистический “s”, ну — а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это *и не важно*. В сущности, он был как *государственный деятель* (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из “екатерининских орлов”, и бравурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно solo. <...> Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше “романиста”, или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь “драться на рапирах” и “запретили куда-нибудь принимать на службу”. Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*. <...> Поразительно: ведь это — прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в *практику* — мы *не имели бы и теоретического нигилизма*. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили

его. Срубили, “чтобы ободрать на лапти” Обломову...»⁵² (курсив В.В. Розанова. — *В. К.*). А уж от цусимского поражения лишь один шаг до первой русской революции и далее. Иными словами, Розанов считал, что губительное преступление самодержавия, — испугавшись существования в стране личности такого масштаба, уничтожить его и как деятеля, и как соперника (вины не было!), убрав подальше от способной к самодвижению России. Он бы Россию благоустроил, но его согнали с причитавшегося ему кресла законодателя, тогда свято место стало пусто, и его заняли бесы.

Сохранилась фотография Чернышевского, умершего после причастия, лежащего на постели с библией, зажатой в руках. Не будем говорить о стигматах, но любопытно, что современники Чернышевского увидели сходство покойного с изображениями снятия с креста⁵³. А последние его слова, когда он глянул перед смертью окрест себя, были: «Странное дело — в этой книге ни разу не упоминается о Боге». Родственники не могли понять, о какой книге он говорил, но можно предположить, что речь шла о книге, которую он читал всю жизнь, о книге под названием «Россия».

Уже много лет спустя после гибели Чернышевского, после гибели Российской империи один из крупнейших политиков последнего царствования сравнил деятельность Чернышевского с деятельностью Столыпина и других, которые могли бы спасти Россию, в 1924 г. В.А. Маклаков писал В.В. Шульгину: «Класс, хотя бы даже дворянско-интеллигентный, все-таки же не только слишком велик, но и главное — слишком открыт постороннему в него проникновению, чтобы можно было говорить о физическом

⁵²Розанов В.В. Уединенное // Розанов В.В. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 207–208.

⁵³См.: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 174.

вырождении класса. Из моих детских воспоминаний я сохранил в памяти одну в свое время нашумевшую статью Чернышевского о причинах падения римской империи, где он восставал против ходячего утверждения, будто римляне выродились. Этого, говорил он, быть не может. <...> Вы скорбите <...> вспоминая и Столыпина, и Деникина, и Врангеля. <...> Вот тут-то я и вижу развращающее влияние режима, который требовал безусловного повиновения, не умея в то же время убедить, что это повиновение ведет к добру и благу государства»⁵⁴.

Беда позднего самодержавия в потере петровской харизмы (Петр верил в таланты подданных и лелеял их), в том, что самовластие боялось строителей России, задав парадигму всему русскому будущему, вплоть до времен, когда в сталинский период уничтожались великие ученые, инженеры, поэты и т. д. Это та бездна раболепия, которая поглощает все лучшие русские силы и судьбы.

⁵⁴ Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919—1939 гг. / сост., автор, вступ. ст. и примеч. О.В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 2012. С. 216—217.

14. Университеты и профессорство в России

Похоже, что университетская тема до нынешнего дня остается в России актуальной. Из одиннадцати веков существования России только последние три столетия страна знала развернутое образование. Берестяные Новгородские грамоты и учение по Псалтырю все же не равны образованию университетскому¹. Нужны были образованные дипломаты, инженеры, математики, историки. Владение иностранными языками было делом важным, государственным, но их не знали. По словам Григория Котошихина, бежавшего в XVII веке в Швецию, русский двор был посмешищем, ибо никто не знал никакого чужого языка: «А писать учить выбирают ис посольских подьячих. А иным языком, латинскому, греческого, немецкого и некоторых, кроме русского, научения в Российском государстве не бывает»². А все же с Западом хотелось общаться на равных. Казалось бы, с XVIII столетия Россия вступила на европейский путь, но с университетами, с образованием власти никогда не знали, что делать. Вроде бы, с государственной точки зрения, образование полезно: безусловно, импульс, заданный Петром

¹ *Киселева М.С.* Вхождение России в интеллектуальное пространство Европы // Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 37–70.

² *Котошихин Г.* О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2. М.: Художественная литература, 1989. С. 266.

Великим, много значит, но опасности в этом деле создания образованной части общества власть усматривала больше. И больше всего при ее полуазиатской ментальности самодержавную систему правления смущала возможная самостоятельность окончивших университеты людей.

Поворот Александра II на европейский путь означал предоставление людям не радикальным и относительно благонамеренным известной доли духовной независимости, чтобы обеспечить в стране принцип буржуазной свободы и самодеятельности. Снова потребовался как опыт Петра Великого, опиравшегося на достижения наиболее буржуазных стран Запада, так и продолжателей дела великого императора — Екатерины I, Елизаветы Петровны, Екатерины II и Александра I, мечтавшего в эпоху своего «прекрасного начала» о преобразованиях. Как известно, Петр по совету Лейбница открыл в России академию, а по совету Христиана Вольфа университет при академии (подготовленный Петром указ подписан в 1725 году Екатериной I), проложив тем самым путь образовательным реформам своих наследников.

* * *

Свобода просвещения была, разумеется, минимальной, постоянно запрещалась («сжег гимназию и упразднил науки» — формула Салтыкова-Щедрина о правителях России), и все же необходимость научных исследований диктовалась военно-промышленными нуждами государства, что принуждало его сдерживать свои антикультурные инстинкты.

Одной из основных задач, стоявших перед послепетровской европеизирующейся Россией, была задача создания условий для самостоятельного развития науки, появления собственных ученых, способных принести пользу российскому государству в конкретных военных и технических нуждах. Оценивая петровские реформы, Чернышевский утверждал, что «целью деятельности Петра было созда-

ние сильной военной державы»³. Нельзя не заметить, что утверждение николаевского президента Военной академии И.О. Сухозанета 1847 года: «без науки побеждать возможно, но без дисциплины — никогда»⁴, цитируемое Тарле в работе «Крымская война», противостоит петровскому пониманию сильной армии и указывает прямо на тот путь, который привел Россию к поражению в Крымской войне.

Победительница немцев императрица Елизавета Петровна 12 января 1755 года подписала указ об учреждении Московского университета. Необходимость в России университета объяснялась в указе следующим образом: «Как всякое добро происходит от просвещенного разума, а, напротив того, зло искореняется, то, следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтоб способом пристойных наук возрастало в пространной нашей империи всякое полезное знание...»⁵ Иными словами, насаждение «пристойных наук» было признано делом государственной важности.

Здесь сразу надо оговорить одну проблему, а именно: отличие русского университета от западноевропейского. И дело не только в том, что русские университеты стали появляться по крайней мере на пять столетий позже, чем западноевропейские, их установки и устройство были принципиально иными. Достаточно сослаться на слова Ле Гоффа о специфике университета на Западе: «XIII столетие — это век университетов, поскольку он является веком корпораций. <...> В городах, где они сформировались, университеты являли собой немалую силу числом и каче-

³Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 610.

⁴Цит. по: Тарле Е. Крымская война // Тарле Е.В. Соч.: В 12 т. Т. VIII. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 68.

⁵Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XII. Т. 23. М.: Мысль, 1993. С. 259–260.

ством своих членов, вызывая беспокойство иных сил. Они достигали своей автономии в борьбе то с церковными, то со светскими властями»⁶. В России университеты могли только мечтать о независимости (они и мечтали), но были полностью зависимы от государства — и политически, и экономически.

В первые годы правления Александра I были основаны еще четыре университета: Дерптский (1802), Вилленский (1803), Казанский (1804) и Харьковский (1805). В 1819 году на основе Главного педагогического института был образован Петербургский университет. Однако уже в начале 1820-х годов университеты пережили погром Магницкого и Рунича. Сам принцип научного исследования оказался под подозрением. Так, неокрепшее, по существу, еще не состоявшееся русское высшее образование самой возможностью своею пугало чиновные круги, военную верхушку, да и высший свет⁷.

Очень показательно для понимания архетипа отношения российской власти к образованию и просвещению столкновение Пушкина и Николая I по поводу пушкинской записки «О народном воспитании», составленная поэтом по распоряжению императора. Уже явно склонявшийся к либеральному консерватизму (который никогда не означал сервильности), Пушкин оставался верен принципам независимости мысли. И он сразу начинает с утверждения своих принципов: «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у

⁶ *Ле Гофф Ж.* Интеллектуалы в Средние века / пер. А.М. Руткевича. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003. С. 57–58.

⁷ Приведу грибоедовские строки из «Горе от ума»: «Нет, в Петербурге институт / Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут: / Там упражняются в расколах и в безверьи / Профессоры!!».

других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. <...> Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; воспитание или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла <...>. Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия»⁸.

Ответ Николая стоит курсива, ответ на много вперед определил отношение к образованию всех следовавших далее русских властей. В письме от 23 декабря 1926 года А.Х. Бенкендорф *довел до Пушкина*, что «государь император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании», но «при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. *Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание* (курсив мой. — В. К.)»⁹. Это, в сущности, и осталось требованием русских властей навсегда.

Поражение декабрьского восстания 1825 года означало, что дворянство сошло с исторической сцены как революционная политическая сила. Но это поражение имело и иные последствия. Часть дворянства, не имея возможности применить свои силы на политической арене, ушла в культурную деятельность, что дало кадры будущих ученых и мыслителей, явилась по существу первым значительным

⁸ *Пушкин А.С.* О народном воспитании // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М.: ГИХЛ, 1962. С. 355–356.

⁹ *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. Комментарии. М.: ГИХЛ, 1962. С. 450–451.

отрядом российского просвещения. Надо ли напоминать о студенческих кружках 1830-х и 1840-х годов, о Станкевиче, Герцене, Грановском?! Не скованные нуждой, сохранявшие экономическую независимость, они внесли в университетскую науку дух бескорыстного исследования. Одних (Герцена, Огарева, позже Лаврова, Кропоткина) этот дух повлек к революционной борьбе, вывел за пределы университетской науки. Уже в 1843 году в работе «Дилетантизм в науке» Герцен выступил за соединение науки с жизнью, против «цеха ученых». А его друг Бакунин позднее напишет призыв — идти разрушать университеты. Обращаясь к молодым радикалам (март 1869 года), Бакунин писал в памфлете «Несколько слов к молодым братьям в России»: «Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа»¹⁰. Другие (Грановский, Кавелин, Соловьев, Чичерин), напротив, поняли свою университетско-профессорскую деятельность как *служение*, более важное и нужное России, нежели революционная деятельность Герцена. Противопоставив революционной этике этику научной университетско-преподавательской работы, а образу революционера образ *профессора*, они заложили основу нового типа русских просвещенных деятелей.

Пытаясь понять секрет влияния Грановского, не создавшего научной школы, не сделавшего крупных научных открытий, сравнительно далекого от общественно-политических страстей, осудившего Герцена за его публицистику, на все русское образованное общество, на таких разных по своим научным воззрениям людей, как Бабст, Кавелин, Соловьев, Чичерин, на него самого нако-

¹⁰Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 213.

нец, Ключевский писал: «От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистой памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки *идеальный первообраз профессора*»¹¹.

Для формирования деятелей науки этого типа существовали известные предпосылки. Чувствуя напор купечества и разночинного сословия, видя, что дворянство теряет свои преимущества, представители русского просвещенного консерватизма попытались превратить дворянство в духовную аристократию, то есть создать, а точнее, завершить создание образованного слоя на базе дворянства, чтобы просвещение стало внутренне присущей дворянству отличительной чертой, семейной, родовой *традицией*. Теоретиком и практиком такого подхода к образованию был попечитель Московского университета граф С.Г. Строганов. Как вспоминал о нем С.М. Соловьев: «Основная его (Строганова. — В. К.) мысль — поднять высшее дворянское сословие в России, дать ему средства поддержать свое положение, остаться навсегда высшим сословием: самым сильным для этого средством в его глазах было образование, наука; отсюда — мысль, что люди, поставленные по происхождению и богатству в верхнем слое общественном, должны учиться по преимуществу. <...> Государство сильно только аристократиею, думал он, но аристократия сильна не одним своим происхождением, особенно в России, где выходцам открыта такая свободная дорога; аристократия поддерживается личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами — отсюда стремление усвоить образование, науку,

¹¹Ключевский В.О. Памяти Т.Н. Грановского // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. VII. М.: Мысль, 1989. С. 298 (курсив мой. — В. К.).

преимущественно для высшего сословия»¹². Разумеется, приход в высшее образование небольшого числа разночинцев предполагался неизбежным. Но ставший профессором разночинец получал потомственное дворянство и растворялся в профессорской среде. Впрочем, малое количество университетов, элитарность высшего образования привели (в данном случае это важно подчеркнуть) к тому, что просвещение охватило не все дворянство, от дворянства тоже отделился узкий слой деятелей науки, ученых, профессоров, которые, смешавшись с просвещенными разночинцами-учеными, в результате и породили то определенное социокультурное явление со своим особым, пусть не осознававшимся еще таковым в 1840-е годы, мировоззрением.

Все это, конечно, не означает, что университетская среда не знала антагонизмов, была цельной и монолитной, что там не было политических и идейных разногласий. В эпоху Николая I власть пыталась противопоставить либерально настроенным профессорам профессорчиновников, покорно выполняющих все предписания начальства. «Правительство, — как писал об этом времени Г. Шпет, — *не могло* иначе относиться к просвещению, как в полной уверенности в своем нераздельном праве на руководство им»¹³ (курсив Г.Г. Шпета. — В. К.). Идеолог николаевской методы просвещения граф Сергей Уваров в 1843 г., например, констатировал: «В царствование Вашего Величества главная задача по министерству народного просвещения состояла в том, чтобы *собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, дотоле раздробленные*, все средства общего и

¹² Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С.М. Сочинения. Кн. XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 547–548.

¹³ Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. 1 / сост., коммент. Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2008. С. 263–264.

частного образования, оставшиеся без уважения и частью без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, *усвоить развитие умов потребностям государства*»¹⁴ (курсив мой. — В. К.). Принявшие это требование профессора стали выразителями совсем особого направления русской мысли — «официальной народности», направления, бесспорно чуждого либеральному образу мыслей и не желавшего тесных контактов с современной им Западной Европой. Однако когда после «мрачного семилетия» николаевского режима Александр II был вынужден провести ряд либерально-буржуазных реформ, когда либерализм стал государственной политикой, то укрепились и либеральные тенденции в университетах.

Обретя самосознание к середине XIX века, университетский слой в начале XX века получил и своего сатирического историографа и бытописателя — Андрея Белого, который уже в советское время в своих романах и мемуарах попытался подытожить упадок этого социокультурного слоя, произнеся своего рода надгробное слово: «Именно я изучил изжитость профессорской квартирочки, поднесенной мне, профессорскому сынку <...> и уже пятиклассником я знал: жизнь славной квартиры провалится; провалится и искусство, прославляемое этой квартирою: с Мачтетом и Потапенкой, с Клевером и Константином Маковским, с академиком Беклемишевым и Надсоном вместо Пушкина; еще более оскандалится общественность этой квартиры, редко приподнятая над правым кадетизмом»¹⁵. Отчасти он был прав, либерально-профессорская элита оказалась в каком-то смысле в изоляции в эпоху наступавших, а затем

¹⁴ Уваров С.С. Десятилетие Министерства народного просвещения // Уваров С.С. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 420.

¹⁵ Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930. С. 14–15.

и свершившихся социальных катаклизмов в России рубежа веков. Но лишь отчасти. Поскольку уход этого слоя с исторической арены был трагичен и стал трагедией для России и русской культуры.

Тесная связь, генетическое единство новейшей русской литературы послепетровского периода с «профессорской культурой» видна, что называется, с первого взгляда. Начиная с Ломоносова, основателя Московского университета, поэта, художника, ученого, выразившего внутренний пафос молодой русской культуры (не говоря уже о Куницыне и Галиче, оказавших несомненное влияние на русскую литературу хотя бы в качестве учителей молодого Пушкина), можно назвать ученых, профессоров, бывших в то же время и участниками живого литературного процесса, таких, как Мерзляков, Кронеберг, Погодин, Шевырев, Надеждин. Притягательность, значимость профессорской кафедры для мыслящих русских людей была весьма велика: о профессорской карьере мечтали Гоголь и Бакунин, Белинский и Чернышевский. События в ученом мире становились фактами литературной жизни. Достаточно напомнить, что столкновение Грановского и Шевырева, знаменитых профессоров Московского университета, послужило поводом для окончательного самоопределения двух общественно-литературных группировок (славянофилы и западники) и широко отражено в литературной критике тех лет.

Начиная с 1860-х годов, однако, обнаруживается решительное расхождение между университетско-профессорской культурой и радикальной молодежью, вчерашними студентами. Русские профессора по-прежнему выступают в журналах, пишут книги, университеты более чем когда-либо, переполнены слушателями, но радикальные русские критики уже улавливают пока для общей массы не очень отчетливое различие между позициями русской профессуры и грядущих «революционных преобразователей России». В статье «Наша университетская

наука» Писарев заявлял, что университетское прибежище науки от суровостей деспотизма на самом деле не способствует ее развитию, поскольку от ученых требуется, чтобы их «силы и способности были оценены правительством и засвидетельствованы дипломом»¹⁶. Именно поэтому, полагал критик, общественную инициативу и культурную самодеятельность вряд ли можно развивать через университеты. Нарисовав иронический портрет академика М.И. Сухомлинова (в статье — профессор Телицын), Писарев риторически вопрошал: «Находите ли вы, что обновление России будет совершаться быстро и радикально, если десятки тысяч Телицыных будут рассеяны на всех поприщах нашей общественной деятельности?»¹⁷ Расхождение университетской науки с реальным развитием России кажется критику свершившимся фактом. В 1870-е годы Михайловский опубликовал статью «Письма ученым людям», в которой, подтверждая мысль Писарева, говорил, что положительное влияние на развитие русского общества оказывала литература и журналистика, а не профессура, что истинные профессора — это писатели и литературные публицисты. Но православные консервативные мыслители тоже стали отмежевываться от либерально-профессорского круга. На 1880 год приходится полемика Достоевского с профессором А.Д. Градовским: великий писатель заявил, что «прогрессиистски» мыслящие профессора не способны стать действительными учителями русской общественности, ибо не понимают, не чувствуют напряженной, склонной к катаклизмам природы русской истории, поэтому их «рецепты» не применимы для России.

Выступления Писарева, Михайловского, Достоевского не были случайностью. Уже в начале 1860-х годов сами представители «профессорской культуры» заговорили о

¹⁶ Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 187.

¹⁷ Там же. С. 150.

ценности и незаменимости университетской науки, противопоставляя свою тенденцию всем иным направлениям и тенденциям общественного развития, всем иным видам общественной деятельности. «У нас университеты, — утверждал Б.Н. Чичерин, — заменяют все — и гимназии, в которых не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных учителей, и специальные школы, и литературу, и, наконец, самое общественное образование, которого у нас нет. У нас университеты вовсе не такие высшие учебные заведения, как в других странах. Наши университеты — это умственная атмосфера, в которой человек получает хоть какое-нибудь развитие. Через университеты русское общество выходит из сферы “Мертвых душ”»¹⁸. Профессорский слой, как полагал Чичерин, стоял между двумя лагерями — радикалами и реакционерами. Тут можно вспомнить строчки Алексея Константиновича Толстого, близкого к этому кругу:

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

1858

Так и было. Профессорская этика требовала не присоединяться к крайним точкам зрения, каждая из которых на свой лад толкала Россию в омут безмыслия. Вот, скажем, ориентация на радикалов, но — в меру. К мнению профессора еще в 1840-е годы публика относилась с доверием. В 1846 году Белинский писал Герцену: «На всякий случай скажи юному профессору Кавелину — нельзя ли и от него

¹⁸ Чичерин Б.Н. Московский университет // Чичерин Б.Н. Воспоминания. Т. 2. М.: Изд. им. Сабашниковых, 2010. С. 26.

поживиться чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне (за что я благодарен ему донельзя), — чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Ах, если бы он дал мне статью, в которой бы он развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его»¹⁹. Кавелин послушался просьбы-совета, и в результате явилась на свет (в первом номере «Современника» за 1847 год) его знаменитая статья «Взгляд на юридический быт древней России», статья, наделавшая шуму и обострившая отношения славянофилов и западников.

Собственно, профессора и раньше выступали в журналах, более того, именно они, как самые образованные люди, понимавшие значение печатного слова, зачастую журналы эти и издавали. Однако, выступая в журнале, профессор старался превратиться в журналиста, усвоить раскованную неакадемическую манеру письма, прикрываясь порой псевдонимом (Сенковский — Барон Брамбеус, Надеждин — экс-студент Надоумко). Кавелин же опубликовал в журнале *научное исследование*. И русская публика приняла его с восторгом. Это означало, что у публики помимо интереса к литературно-критическим и философско-публицистическим статьям возник запрос на науку. Белинский чутьем просветителя уловил новый шаг, который сделало русское общество в своем развитии: отсюда его предложение Кавелину написать статью. Это была попытка критика-демократа использовать *академическую* науку в интересах прогрессивного воспитания общества.

Авторитет *ученого, профессора* был в русском обществе столь высок, что в программной, полемической статье

¹⁹Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. XII. М.: АН СССР, 1956. С. 255.

Ю.Ф. Самарина «О мнениях “Современника” исторических и литературных», написанной и напечатанной сразу же по выходе номера «Современника» во втором номере «Москвитянина» за 1847 год, именно Кавелин был назван теоретическим обоснователем «натуральной школы», Белинский же язвительно именовался всего лишь популяризатором кавелинских идей. Нельзя не удивиться, писал Самарин, «необыкновенной быстроте, с которою разрослась мысль, пущенная в ход счастливою рукой г. Кавелина и подхваченная г. Белинским»²⁰. Что же это была за мысль, так возмутившая славянофилов? Кавелин анализировал развитие русской истории и культуры через проблему *личности*, ибо, по его мнению, «для народов, призванных к всемирно-историческому действию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно. Иначе они должны бы навсегда оставаться под гнетом внешних, природных определений, жить, не живя умственно и нравственно. Ибо когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно; собственно чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа»²¹. Именно эта идея оказалась в значительной степени центральной для всего либерально-профессорского круга.

Структурировал русский просвещенный слой именно университет. В 1862 году Б.Н. Чичерин издал книгу, где собрал свои статьи, посвященные актуальнейшим вопросам русской пред- и пореформенной жизни. Одна из статей была посвящена русским университетам. «Одно

²⁰ Самарин Ю.Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М.: Московский философский фонд, РОССПЭН, 1996. С. 477.

²¹ Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 22.

из лучших созданий новой России — это наши университеты, — писал Чичерин. — Проходя через них, русское юношество совлекает с себя первобытную закоснелую пошлость гоголевских героев и начинает приобретать духовные интересы и идеальные стремления... На университетах неизбежно отражается та шаткость, которая господствует в современном обществе. Но в них живет крепкое и серьезное предание, которое может служить самым надежным противодействием легкомысленным увлечениям общества и которое одно в состоянии вернуть разбредшиеся умы к строгости и спокойствию научного труда. <...> К ним многие поколения обращаются как к святилищам, из которых они вынесли лучшие надежды жизни и самые заветные воспоминания молодости. Порвите эту нить, превратите университеты в публичные места, в общественные кафедры, тогда исчезнет последний отпор тому невежественному легкомыслию, тому нравственному безначалию, той страсти к мечтательным нововведениям, по которым без паруса и кормила носится русская мысль»²². Напомню послехрущевскую мудрость: «Надо учиться не на ошибках, а в университетах». Но не только университет, даже жизнь плохо учит, и в этом профессора, похоже, не виноваты.

Протестуя против невежества, против стеснения мысли и исследований представители университетско-профессорской культуры вместе с тем вполне сознательно не принимали революционного пути, возлагая надежды на просвещенных и гуманных деятелей науки, искусства и очень мало на чиновников. Чиновники в идеях не нуждались. Но может ли общество жить и развиваться без идеи? К несчастью, русским либеральным профессорам не удалось того, что удалось, скажем, Локку, Адаму Смиту и т. д., — дать идею, которая бы резюмировала и определила развитие страны.

²² Чичерин Б.Н. *Философия права*. СПб.: Наука, 1998. С. 391.

* * *

В 1889 году Антон Чехов опубликовал повесть «Скучная история», которая начиналась следующими словами: «Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере за последние двадцать пять — тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивался такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех зарубежных университетов. И прочее и прочее». Профессорская культура²³, профессор как человек, как общественная фигура стали настолько заметным социальным явлением, что оказались объектом пристального, *художественного* на сей раз, анализа. Та основная претензия, которую публицистически высказал Кавелину Достоевский об отношении профессорского слоя к действительности, становится углом зрения, под которым рассматривает и исследует своего героя Чехов. Профессор, крупный ученый с мировым именем, умный, интеллигентный, чуткий, высоконравственный и деликатный человек, казалось бы тонко чувствующий литературу, искусство, оказывается не в состоянии помочь разобраться в жизни своим *детьми* и племяннице, воспитать их так, чтобы они были в жизни

²³ Термин «профессорская культура» я сочинил и ввел в научный оборот впервые в 1978 году в статье: *Кантор В.* Русское искусство и «профессорская культура» (Литературно-эстетические взгляды К.Д. Кавелина) // Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 155—186. С тех пор это понятие стало общеупотребительным и разошлось по десяткам статей и книг.

счастливы. Книжная культура, научное знание расходятся с реальными противоречиями и нуждами действительности.

Чехов реализовал, прояснил и художественно обозначил то противоречие, которое первым почувствовал Достоевский. Та наследственность, семейно-родовая культурная преемственность, о которой мечтал Кавелин, когда *дети* в области науки и культуры *продолжают* дело *отцов*, утверждая и закрепляя их духовные завоевания, были поставлены Чеховым под сомнение. Чеховский прогноз получил и жизненно-историческое подтверждение.

В середине 1870-х годов Кавелин с радостью писал Самарину, что, на его взгляд, в России происходит возрождение философии как науки и что связано это возрождение с деятельностью их круга: так, наибольшее оживление и стечение множества народа вызвал диспут по диссертации на степень магистра, которую защищал «сын Соловьева, С. М-ча, юноша, говорят, очень знающий»²⁴. И действительно, в начале своего пути Владимир Соловьев, казалось, шел предначертанным ему путем академического ученого. Однако именно он, пожалуй, оказался первым беглецом из своего круга, своего рода профессором-расстригой, ушедшим из строгой науки не просто в журналистику или искусство (такое бывало и раньше), а по контрасту еще дальше — в религиозную мистику, полную пророчеств и апокалиптических предчувствий. И тем не менее в своей полемике с официозом он становится постоянным автором знаменитого либерально-профессорского журнала «Вестник Европы», возглавляемого профессором М.М. Стасюлевичем. «Профессорское начало» в юном философе даже его апокалиптическим прозрениям придало необходимый налет академической респектабельности. Выступая против государственного и всякого иного национализма, против стеснений свободы мысли, Соловьев с подозрением относился и к радикальному молодежному дви-

²⁴Цит. по кн.: Самарин Ю.Ф. Соч. М., 1877. Т. 6. С. 390.

жению. Уже в речах, посвященных памяти Достоевского (1881–1883), он так обозначил свое понимание любого — левого или правого — радикализма: «В достижении общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные стихии человечества надут себе место и назначение; такой общественный идеал стоит всецело на почве господствующего в мире зла. Он не предъявляет своим служителям никаких нравственных условий, ему нужны не духовные силы, а физическое насилие»²⁵. Позицию Соловьева не принял профессор-позитивист П.Н. Милюков, хотя и либерал, но готовый поддержать и радикалов, лишь бы разрушить монархию, называя его «средневековым мистиком». Надо сказать, такая поддержка радикализма профессорами была редкостью в России. Если Ортега-и-Гассет писал, что «надо гуманизировать ученого, который, восстав к середине XIX века, начал жить согласно евангелию бунта, ставшему с тех пор величайшей вульгарностью, величайшим обманом эпохи»²⁶, то русские профессора пытались направить деятельность воспитываемой ими молодежи на творчество, на преодоление темного Ничто, стоящего перед человечеством. К несчастью, не прошедшая вековой университетской выучки русская молодежь скатывалась именно в это Ничто, в нигилизм всеобщего отрицания. Профессора искали духовной преемственности в культуре. Так, из духовной школы Владимира Соловьева вышли крупнейшие русские мыслители начала XX века. Они пытались либерально относиться к молодежи, помня о идее всеединства, которая должна примирить в себе разные точки зрения. Но в социальной жизни такая позиция порождала одну ошибку за другой. Скажем,

²⁵ *Соловьев В.С.* Три речи в память Достоевского // *Соловьев В.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. СПб.: Просвещение, б. г. С. 208–209.

²⁶ *Ортега-и-Гассет Х.* Миссия университета. М.: Изд-во Гос. ун-та — Высшая школа экономики, 2010. С. 110.

Владимира Соловьева своим учителем считал один из крупнейших русских философов, профессор С.Н. Трубецкой, первый избранный ректор Московского университета. Он хотел поверить молодежи, добился автономии университета 27 августа 1905 года, но студенческие сходки, собрания, беспорядки в аудиториях сорвали учебный процесс, что, естественно, привело С.Н. Трубецкого к разочарованию в возможности свободы в русском не зрелом еще обществе. Это подействовало сокрушительно на его здоровье, и всего через месяц 29 сентября 1905 года он скончался.

Интересно, что в поэме «Возмездие» (1910–1921) Блок подчеркивает свое профессорское происхождение, но для него отец-профессор — из породы избранных («похож на Байрона»), более того, вся поэма о России, но на фоне отношения отца-профессора и сына-поэта. На данный факт никто не обращал внимания, меж тем он весьма существен. Ибо это две стержневые линии свободного русского миропонимания, на них базировалась (по Блоку) судьба страны. Профессор жил, не ища материальной выгоды, думая о смысле жизни:

Привыкли чужаком считать
Отца — на то имели право:
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава;

Он был профессор и декан;
Имел ученые заслуги;
Ходил в дешевый ресторан
Поестъ — и не держал прислуги;
По улице бежал бочком
Поспешно, точно пес голодный,
В шубенке никуда не годной
С потрепанным воротником;
И видели его сидевшим
На груде почернелых шпал;
Здесь он нередко отдыхал,
Вперяясь взглядом опустевшим
В прошедшее...

Блок ставит знак равенства между профессором и поэтом, видя в отце высшее существо, ухидившее душой с миры иные.

Он знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Его души — какой-то гений
Печальный залетал порой;
И Шумана будили звуки
Его озлобленные руки,
Он ведал холод за спиной...
И, может быть, в преданьях темных
Его слепой души, впотьямах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах...
В ком смутно брезжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь.

Смертью отца-профессора, поэта высших миров, и кончается поэма «Возмездие». Далее катастрофа «Двенадцати», двенадцати апостолов антихриста. А потом смерть поэта — от невозможности жить в новом мире. Собственно еще в 1914 году Блок провидел наступление на мир, на Россию ужаса:

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнью своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

Голос из хора, 1914

Это стихотворение названо поэтом «Голос из хора». Но, значит, и хор чувствовал нечто подобное, пусть не столь отчетливо. Конечно же, отпадение и выход из профессорского слоя «детей», тех, которые ощущали усиливающиеся противоречия и надвигающиеся перемены и вместе с тем были отгорожены от реальности профессорским бытом, культурой, всем строем представлений, были не случайны.

Они уходили в мистику, декаданс, пытаясь эмоционально-интеллектуальным усилием возместить недостающее им знание о «живой жизни», напрасно думая, что таким образом они прорвут изоляцию обособленного культурного слоя. А потом ренегаты этого слоя, чувствовавшие на себе его родовое проклятие, злились. «Не удалась попытка, — писал Андрей Белый, пытавшийся в 1920-е годы приспособиться к советскому взгляду на мир, — прожить под знаменами позитивизма, либерализма, сими религиозными устоями профессорского бытия; от этих знамен в конце века несло на меня мертвой затхлостью; все действенное бежало от сих знамен: и вправо, и влево; средняя линия однолинейного прогресса по Спенсеру — редела: усиливались где-то сбоку от средней лежащие обитатели пессимизма, анархического нигилизма, ницшеанства, марксизма, революционного народничества; спасались даже... в “мистику”, столь осуждавшуюся “нашей средой”, чтобы только остаться вне “нашей среды”»²⁷. Но беда была и в том, что, когда революционный смерч захлестнул их, некоторые в первый момент поверили «музыке революции» (Блок, Белый), а другие (А.К. Тимирязев, сын биолога) просто пошли в услужение новой власти, забывая о своем научном достоинстве. Думаю, сервиллизм Белого по отношению к победившему плебсу, сказавшийся в этих рассуждениях, проявился не только в мемуарах. Его самый крупный после «Петербурга» роман «Москва», в сущности, был ориентирован на то, чтобы *разоблачить, унижить* русскую дореволюционную профессуру. В предисловии к первому изданию 1925 года он писал: «В лице профессора Коробкина, ученого мировой значимости, я рисую беспомощность науки в буржуазном строе»²⁸. Любопытно, что в этом образе явно просвечивает помимо советизма еще и *эдипов комплекс*. Как отмечает современная исследовательница: «Прототипом профессора Коробкина в ро-

²⁷ *Белый Андрей*. На рубеже двух столетий. С. 98.

²⁸ *Белый Андрей*. Москва. М.: Советская Россия, 1989. С. 755.

мане “Москва” был отец писателя, математик и философ Николай Васильевич Бугаев»²⁹.

Надо сказать, что один из крупнейших критиков русской эмиграции Георгий Адамович вообще говорил о легковесности и неподлинности позиции Белого, ибо сервильизм и предательство своей семейной традиции не рождаются из ничего. Какие же свойства характера Белого, при всем его таланте, не позволили ему подняться, скажем, до уровня Блока? Адамович писал: «У Блока было огромное чувство ответственности за все сказанное и сделанное; оно-то и возвысило его. У Белого все всегда было наполовину на ветер, и, как ветер, все пронеслось сквозь его сознание, не пустив корней. Гениальна была у Андрея Белого, в сущности, только его впечатлительность»³⁰. Он отверг принцип профессорской основательности, но основательность искал и, как иронически замечал Адамович, наконец, она «явилась ему в образе диалектического материализма и упрощенного, ощипанного Лениным гегелианства»³¹.

Стоит напомнить, что в том же 1925 году Михаилом Булгаковым, сыном профессора богословия и историка церкви Афанасия Ивановича Булгакова, была написана повесть «Собачье сердце», но опубликована она была только в 1987 году. В повести профессор Преображенский был выразителем разума и стойкости русской профессуры, даже в те годы пытавшейся противостоять хаосу и разрухе, Шарикову и Швондеру, а также похожей на мужчину женщине-активистке. Как мы знаем, Булгаков тоже был выходцем из профессорской семьи, жизнь его вышвырнула далеко от зеленой лампы и кремовых штор,

²⁹ *Спивак М.* Андрей Белый — мистик и советский писатель. М.: РГГУ, 2006. С. 242. (Кстати, в названии книги дана очень точная характеристика Белого.)

³⁰ *Адамович Г.* Андрей Белый и его воспоминания // Воспоминания о серебряном веке. М.: Республика, 1993. С. 221.

³¹ Там же. С. 222.

но, понимая изменившееся качество мира, он не стал его частицей. В новых условиях он нес в себе этическое начало русской профессуры.

Вообще-то достаточно без предубеждения посмотреть на состав *поэтического цеха* начала века, чтобы увидеть, что по крайней мере треть наиболее трагических поэтов (ибо на разрыве с реальностью и возникала в данном случае трагедия) были выходцами из профессорских семейств. Назовем некоторых: Вл. Соловьев, сын профессора С.М. Соловьева; А. Белый, сын профессора Н.В. Бугаева; А. Блок, сын профессора А.Л. Блока, внук профессора А.Н. Бекетова и зять профессора Д. И. Менделеева; М. Цветаева, дочь профессора И.В. Цветаева; С. Соловьев, сын профессора М.С. Соловьева; крайне любопытна фигура профессора-поэта Вяч. Иванова, собственное профессорство которого дало тот же культурный фон, полученный остальными в семье. В известном смысле и тяготение к *литературным* сюжетам и образам, к абстрактной философской символике у И. Анненского, В. Брюсова, Д. Мережковского и других поэтов-символистов, историко-филологическую настроенность их поэзии можно отнести не только на счет художественной школы, но и на счет определенным образом сформированного университетским образованием образа и склада мысли. Все это и создавало то причудливое сочетание, в котором восхищение традиционной культурой, боязнь «грядущих гуннов» парадоксально сплетались с трагической, болезненной потребностью любым (мистическим, эстетическим) путем выйти за ее пределы. Напомню ранние строчки Мережковского:

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем

О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

...

Наши гимны — наши стоны;
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.

Дети ночи, 1894

История складывалась так, что в России, где образование и культура, как писал С.М. Соловьев, были заморским плодом и приживались плохо, вместо ожидавшейся нравственной крепости и здоровья *профессорская культура* порождала в своих наследниках ощущение жизненной неукорененности, непрочности бытия и культуры, трагическое, разорванное миропонимание и сознание. Трагизм мироощущения, как выяснилось, был неслучаен. Ненависть восставшего в начале XX века демоса к профессорскому сословию была чудовищна. Началось все с бессудных расстрелов. Приведу лишь один эпизод из жизни Петербурга 1918 года, зафиксированный поэтессой Зинаидой Гиппиус в ее «Черной книжке». Тогда шли массовые расстрелы большевиками заложников — офицеров и интеллигенции. И вот — дневниковая запись: «Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во “Всеобуч” (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): “А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили”»³².

³² Гиппиус З.Н. Черная книжка // Зинаида Гиппиус. Дневники. Минск: Харвест, 2004. С. 250.

Бунин говорил, что большевики убили чувствительность. Мы переживаем смерть одного, семи, — писал он, — допустим, труднее сопереживать смерти семидесяти, но еще возможно, однако когда убивается семьдесят тысяч, то человеческое восприятие перестает работать. Он писал, обращаясь к Уэллсу³³, поверившему Ленину: «Это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в сотни тысяч раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот погост тысячами “подавляющих оппозицию” чрезвычайек, гаже, кровавее которых мир еще не знал институтов, это они <...> целых три года дробят черепа русской интеллигенции»³⁴. Профессорскому сословию досталось больше прочих (по сравнению с другими слоями российского населения). Вот слова крупнейшего русского социолога Питирима Сорокина: «Смертность профессуры за 1918—1922 гг. была в 6 раз выше смертности мирного времени и вдвое выше смертности остального населения Петрограда в 1918—1922 гг.»³⁵

Потом, чтобы Запад окончательно перестал считать победивший демос скопищем людоедов, двести крупнейших ученых и писателей были высланы на Запад (эта акция

³³ Об Уэллсе Бунин написал так: «Мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к “хижинам кафров”, в гости к одному из людоедских царьков <...> стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы» (*Бунин И.А.* Несколько слов английскому писателю // Бунин И.А. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 67).

³⁴ Там же. С. 69—70.

³⁵ *Сорокин П.* Социология революции. М.: Астрель, 2008. С. 193.

теперь известна по названию «философский пароход»). Интеллектуальный и вместе с тем очень страстный итог бытию русского университета и русского профессорства подвел бежавший в 1918 году из большевистской России академик Михаил Иванович Ростовцев, историк античности и археолог. Для начала приведу его буквально крик ужаса о судьбе русских профессоров из статьи «Наука в большевистской России» (1921): «Почему ученые умирают от голода? Я не представляю здесь длинный список ученых, которые умерли от голода за последние 3 года. Их множество. Почему большевики не защищают ученых от убийств и арестов со стороны Чрезвычайной комиссии по всей России? Сколько талантливых русских ученых погибло ужасной смертью в Ростове, Киеве, Крыму, Москве! Почему многие из них покончили жизнь самоубийством? <...> Почему сотни русских ученых, молодых и старых, убегают из России и живут жизнью просителей в Западной Европе, Японии, Китае и Америке? По моей статистике, не менее трети ученых окинули Россию»³⁶. И в другой статье он пытается показать *этос* русского университета, русского профессорского сословия, как оно сложилось к революции. И то, во что хотят превратить университеты и выживших профессоров. Начну с его понимания университетского *этоса*: «Идеалы русских университетов вынашивались университетами в постоянной борьбе, внутренних и внешних конфликтов десятками лет. Много мученичества потребовало проведение в жизнь этих идеалов. Несмотря на постоянные шаги назад, мы все-таки последовательно приближались к их осуществлению. <...> Университет был всегда для русской интеллигенции не только учреждением для образования юношества. Это была лаборатория мысли, научного творчества во всех областях. Это был фокус,

³⁶Ростовцев М.И. Наука в большевистской России // Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. 1906–1923. М.: РОССПЭН, 2002. С. 91.

где сходились искания и стремления лучшей части русской интеллигенции»³⁷. Ну а при большевиках? Он пишет (статья «Университеты и большевики»): «Что же противопоставили этому идеалу большевики? Как и во всем остальном, они резко порвали с традицией русского либерализма и стали на сторону русского самодержавия в худшие его моменты. Университет большевиков есть сколок с университета Магницкого и Николая I. Большевики хотят сделать из университета школу для служилого сословия советского государства»³⁸. Так оно и произошло. А потом опять начался крайне медленный и теперь даже трагический путь преодоления рабства и появления подлинного профессорства.

* * *

«Профессорская культура», возникшая на перекрестье дворянского и буржуазно-разночинского либерального консерватизма, была явлением для России удивительным. Она дала крупных ученых, достижения которых вошли в историю русской науки (Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев), ученых, многие из которых сумели сохранить свое достоинство и в советское — сталинское — время (В.И. Вернадский, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Казалось бы, в Октябрьскую революцию спор завершился и радикалы победили. Казалось бы, последний отзвук этого крушения «профессорской истины» можно услышать в насмешливо-недоверчивой реплике Маяковского: «Профессор, снимите очки-велосипед! / Я сам расскажу о времени и о себе».

Однако преодоление культурно-исторического слома привело в середине 60-х годов XX столетия к тому, что вновь возникшая интеллигенция обратила полные ожи-

³⁷ *Ростовцев М.И.* Университеты и большевики // Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923. С. 95.

³⁸ Там же. С. 97.

дания взоры к новым представителям «профессорской культуры». Правда, эта профессура пришла не из университетов, а из академической науки. Вспомним переполненные аудитории в 1960–1970-х годах, где выступали не только поэты и барды (Евг. Евтушенко, Б. Окуджава, Вл. Высоцкий и др.), но и «ученые люди» (надо ли напоминать имена С.С. Аверинцева, М.К. Мамардашвили, В.В. Бибихина, Л.М. Баткина и др.?). Когда свободы добавилось, они заняли и профессорские кафедры. Стоит предположить, что «профессорство», может быть, стало наконец неотъемлемой частью нашего духовного опыта. И все же за него постоянно почему-то тревожно. Слишком много в нашей истории было *антипрофессорских* тенденций, которые в любой момент могут проснуться, и тогда под благовидными (или не очень) предлогами снова начнется погром образования.

Часть IV. ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

15. Серебряный век: культура против цивилизации, или Победа архаических смыслов

Пожалуй, не было в XX веке периода, который вызывал бы столько разноречивых оценок и суждений, как его начало. Даже те российские художники и мыслители, которые в результате произошедшей катастрофы лишились Родины и обеспеченного существования, испытывали в свою эмигрантскую пору ностальгию, вспоминая дореволюционные годы как период невероятного духовного взлета, расцвета искусства и науки, *едва ли не нового Ренессанса*. Сошлюсь хотя бы на Бердяева: словно забыв о своих апокалиптических предчувствиях в начале века, он так сказал о своей молодости: «У нас был культурный ренессанс»¹. Интересно, что главу «Россия накануне 1914 года» знаменитых мемуаров о так называемом русском ренессансе, созданную в разгар Второй мировой войны Степун закончил словами: «Час исполнения страшных русских предчувствий настал»². Появление мирового ужаса было для него неразрывно связано с эпохой «творческого досуга»³. Стоит

¹ *Бердяев Н.А.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 237.

² *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся: В 2 т. Т. I. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. С. 326.

³ *Степун Ф.* Встречи и размышления. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 171.

сравнить это высказывание с наблюдением Бориса Зайцева: «А Россия, несмотря на явно неудачное правительство и вымирание ведущего слоя, росла бурно и пышно (тая все же в себе отраву) — росла и в промышленности, земледелии, и торговле, народном образовании. Все это на наших глазах, хотя тогда, по беспечности наших юных лет, мало мы этим занимались. <...> Некоторые называли даже начало века русским “ренессансом”. Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья — напротив, зерно болезни. Все-таки, в своем роде полоса замечательная»⁴.

Почему? В этом и предстоит разобраться.

В общественном сознании господствовала идея освобождения всех сословий и классов. Неизбежность выхода на историческую сцену огромного количества людей, не прошедших школу личностной самодеятельности, рождала, однако, ощущение «заката Европы» (Шпенглер), разрушающего цивилизацию «восстания масс» (Ортега-и-Гассет), наступающего «возмездия» (А. Блок) и «нового средневековья» (Бердяев). Ощущение понятное. В самой своей глубине народные массы не прошли действительной христианизации, отсюда поднявшиеся языческие мифы, созидание по их образцу новых мифов, приводящих к созданию антихристианской реальности (тоталитарные режимы в России, Италии, Германии).

Но при этом русская духовная элита существовала в своеобразной изоляции, фантасмогорическом мире, где наслаждались минутой в предчувствии неизбежной катастрофы. Это было странное и удивительное сообщество людей, воспринявших духовные достижения мировой культуры, глубоко переживавших смыслы прошедших эпох, с постоянной игрой понятий, где одно переливалось, нечувствительно переходило в другое, где самые неистовые споры вскрывали относительность позиций, где вме-

⁴Зайцев Б.К. Молодость — Россия // Зайцев Б.К. В пути. Париж: Возрождение — La Renaissance, 1951. С. 18.

сто крови лился «клюквенный сок» (как показал Блок в «Балаганчике»), где казалось возможным произнести все, не боясь, что оно воплотится в жизнь⁵, где даже апокалиптические предвестия драпировались в «масочку с черною бородой» и «пышное ярко-красное домино» (в «Петербурге» А. Белого). Не «шигалевщину», как Достоевский, не будущего русско-немецкого нациста, как Тургенев (г. Ратч в повести «Несчастливая»), не явленного во плоти Антихриста, как Вл. Соловьев, но вполне маскарадно-условную «тень Люциферова крыла» видел Блок простертой над XX веком, который

Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

Возмездие, 1910–1921

Я не хочу сказать, что за этими строками не стояло реальности, реальных ощущений. Конечно, они были. Однако *слишком близко подошли кануны, новое угнездилось уже настолько рядом, что его контуры оказались размытыми* («большое видится на расстоянии»), поэтому даже трагические слова Блока *звучали неконкретно и как-то общо*. Но — звучали. За вроде бы удавшимся синтезом коренилась неуверенность, страх и понимание временности, а потому и неподлинности этого синтеза. Так оно и случилось. Изысканный, карнавальский, почти «парковый», ухоженный мир людей искусства раскололся на непримиримые группы с самого начала Первой мировой войны, а затем рухнул в пропасть революции, смуты гражданской войны и всероссийского ГУЛАГА, который

⁵«Скажите мне что-нибудь для меня интересное и страшное», — любила озадачивать собеседника Зинаида Гиппиус (Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М.: РИК, Культура, 1992. С. 33).

даже в самых своих страшных снах не мог бы предвидеть Алексей Ремизов. Взамен картонных, театрално устрашающих декораций был явлен настоящий ужас реальной жизни. Этот фантастический перепад судеб прозвучал в «Реквиеме» Анны Ахматовой:

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

Что же, по справедливому выражению Л.М. Баткина, культура «неуютна». А если говорить об игровой ситуации, в которой жил «серебряный век», то вспомним, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Вроде бы и так: веселая карнавальная игра есть признак смены эпох, она выводит человечество из языческого кошмара неистовства, подчинения человека стадному чувству, отпуская на это чувство короткий отрезок времени и превращая серьезные и страшные обычаи прошлого в шутку. Скажем, играя в ритуализированные жертвоприношения: жгут чучело вместо человека, надевают маски, когда-то значившие слияние с духом данной личины (дьявола, ведьмы, красавицы, разбойника, животного и т. п.), а теперь вызывающие лишь смех. Но есть в истории и другие периоды, когда игра и весьма своеобразное веселье приобретает характер дьявольской шутки, возникает как попытка скрыть тревожный и страшный смысл происходящего, а то и просто утаить его: такова была функция смеха в Древней Руси — пугающие «машке-рады» Ивана Грозного служили предвестием его кровавых оргий. Как видим, вполне двусмысленной была и игровая

ситуация в «Серебряном веке»; не случайно «высокий духовный синтез» перерос в Апокалипсис. Впрочем, подобную ситуацию пережила в эти годы не только Россия. Западная Европа осмыслила свой опыт *элитарной игры в проблемы* по крайней мере в двух выдающихся сочинениях: «Игра в бисер» Г. Гессе и *Ното ludens* Й. Хейзинги. Интересно, что писались они, когда игра из феномена элитарной жизни стала реальностью многомиллионных масс. Только ставкой в этой игре стало само человеческое существование.

* * *

И вот почему.

В эпоху Ренессанса произошла своего рода культурная революция: *роль была отделена от человека и формализована*, человек мог роль играть, но уже не жить ею. Произошло это сначала в искусстве. Возник тип плута пикаро, проходящего все социальные слои. Дон Кихот и Алонсо Кихана разделены, как роль и ее носитель. Фигаро выше социальной роли слуги. Но, может быть, ярче всего эта революция проявилась именно в театральном искусстве. «Театральная рампа, — возмущался Вяч. Иванов, — разлучила общину, уже не сознающую себя как таковую, от тех, кто сознают себя только “лицедеями”»⁶. Но именно благодаря такому возникшему взаимоотношению между людьми пропала обязательность общинно-хорового действия, личность получила свободу и право быть не участником, а зрителем, от одобрения или неодобрения которого зависит судьба актера.

В данном случае речь идет уже и об общественной жизни. Эта утвердившаяся в Возрождении оценка жизни со стороны (так сказать, зрительская оценка) позволили человеку быть ее разумным строителем, не просто в ней участвовать, но понимать ее и, следовательно, исправлять, пересоздавать. На этом начале строится принцип парламентаризма:

⁶ *Иванов Вяч.* Родное и вселенское. С. 45.

парламент — это театр, наблюдаемый и оцениваемый обществом со стороны, в качестве зрителя, который, однако, заплатил деньги за вход, отделен от лицедеев рампой и может ошибаться и прогнать неугодного актера со сцены.

Разумеется, и в поствозрожденческий период кровь лилась, в войны втягивались десятки тысяч людей, но все эти ситуации уже были как бы нарушением объявленной, утверждавшейся в культуре и зафиксированной искусством свободы личности, ее праву на невовлеченность в то или иное действо. Усвоить это право, этот принцип было *исторической задачей* взрослеющего человечества, обучающегося, по словам Канта, «*пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого*»⁷.

Возрождение не было простым воскрешением языческих античных тем и сюжетов. Все откровения и открытия ренессансного искусства как бы вписывались в парадигму проснувшейся в культуре независимой личности, подготовленной тысячелетней борьбой христианства с антиличностными принципами варварского и дионисийского язычества. Понимание самоопределяющегося человека гениальный Пико делла Мирандола вкладывает в уста христианского Бога: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обзирать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»⁸. Это и была новая логика, которой следовало новое искусство. Как пример можно вспомнить возрожденческое открытие «прямой перспективы», *оставлявшей зрителя вне картины*, но позволявшей ему глубже заглянуть в отделенный от него мир: нечто вроде театральной рампы. За зрителем

⁷ Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 27. (курсив. — В. К.)

⁸ Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса: В 2 т. Т. I. М.: Искусство, 1981. С. 249.

оставалась свобода оценки, *свобода отношения к миру*. Выступивший против принципа «прямой перспективы» русский философ Серебряного века П.А. Флоренский, тем не менее, оценивал ее вполне точно: «Задачей перспективы, наряду с другими средствами искусства, может быть только известное *духовное возбуждение*, толчок, пробуждающий внимание к самой реальности»⁹.

Флоренский противопоставлял возрожденческому открытию идею «обратной перспективы» как естественную, как ту, которой — в отличие от «прямой перспективы» — *не надо учиться*. Но процесс исторического взросления, становления человека как человека цивилизованного, *его выход из варварства* требует столетий культивации и самообучения. Именно на обучении основана возрожденческая живопись — и художника, и зрителя. «Потребовалось *более пятисот лет* социального воспитания, — писал Флоренский, — чтобы приучить глаз и руку к перспективе; но ни глаз, ни рука ребенка, а также и взрослого, без нарочитого обучения не подчиняются этой тренировке и не считаются с правилами перспективного единства»¹⁰. Начиная с Льва Толстого, значительная часть русских философов Серебряного века пыталась отказаться от возрожденческих принципов искусства и науки, ибо они ведут к цивилизации, чуждой почвенной культуре народа. Да и в Западной Европе надолго самой модной стала книга Шпенглера, проклявшая цивилизацию и объявившая о закате европейских ценностей. На этот испуг перед сложностью человеческого пути к зрелости отозвался великий писатель Томас Манн, жестоко назвав Шпенглера «пораженцем рода человеческого»¹¹.

⁹ Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 81. (Курсив П.А. Флоренского. — В. К.)

¹⁰ Там же. С. 77. Выделено Флоренским.

¹¹ Манн Т. Об учении Шпенглера // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1960. С. 613.

Отказ Толстого от достижений цивилизации вместе с тем понятен. Ему чудилось, что он и другие представители высших классов, воспитанные на западноевропейских ценностях, обречены гибели: «Мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв»¹². Гуманистическое воспитание требует долгого исторического времени и больших усилий. Толстой встал перед проблемой пробудившихся масс, желающих самостоятельности. Но как? Какой? Пока в добытое усилиями христианских гуманистов *поле свободы* входили небольшие социальные слои, цивилизующие их механизмы действовали. Когда в это поле начали входить многомиллионные массы, оно не выдержало, произошел слом, цивилизационные механизмы дали сбой. Это недоверие к результативности гуманистических ценностей и повлияло на концепции, призывавшие отказаться от трудности гуманистического воспитания и вернуться к общинно-хоровому типу жизни. Не случайно народ, совершивший в семнадцатом году Октябрьскую революцию, поддержал разгон Учредительного собрания. Механизм *парламентарной* демократии не был ему внятен, хотя, как точно заметил С.Л. Франк, «русская революция есть демократическое движение в совершенно ином смысле: это есть движение народных масс, руководимое смутным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности. По объективному своему содержанию *это есть проникновение низших слоев во все области*

¹² Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. XVI. М.: Художественная литература, 1983. С. 378–379.

государственно-общественной жизни и культуры и переход их из состояния пассивного объекта воздействия в состояние активного субъекта строительства жизни»¹³ (курсив С.Л. Франка. — В. К.).

* * *

Какой психологический тип был характерен для большинства в те годы? Сказать, что все жившие при «новом порядке» — прирожденные преступники, извращенцы (сексуальные психопаты, некрофилы, как Гитлер, параноики, как Сталин, и т. п.) было бы, очевидно, сильным преувеличением. Безумцами были скорее персонажи первого ряда, лидеры. Но основная масса? Продолжая тему жизни, должествующей обратиться в мистериально-игровое действо, стоит прислушаться к одной мысли Ницше, брошенной им как бы мимоходом в «Веселой науке»: «Появляется совершенно новая порода людей, новая флора и фауна, которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие, регламентированные времена — но если бы и взросла, то все равно осталась бы “на дне”, с вечным клеймом чего-то постыдного и позорного, — это означает неизменно, что *наступают самые интересные и самые безрассудные времена истории, когда “актеры”, актеры в с е х мастей, становятся истинными властителями»¹⁴* (курсив мой. — В. К.).

Как видим, тенденция *вмешательства актерства в «действительную жизнь»* чувствовалась многими. Напомню, что Ленина, Муссолини и Гитлера называли поначалу шутами, клоунами, актерами; их перевороты (успеха которых они сами не ожидали), оказавшиеся революциями, выглядели поначалу в глазах обывателей как злодейские буффы, а в глазах сторонников как «мистерия-буфф»

¹³ Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 215.

¹⁴ Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Художественная литература, 1993. С. 486.

(В. Маяковский); как говорил один из персонажей «Белой гвардии» М. Булгакова — «кровавые оперетки». Таким революционное действо и виделось мирному жителю Российской империи, а руководители революции — «опереточными злодеями»: характерно, что Питирим Сорокин называл Троцкого «театрализованным разбойником»¹⁵. Сталин свою партийную кличку «Коба» взял в честь романтического разбойника, мелодраматического героя одного из грузинских романов, т. е. играл роль, *актерствовал*. Интересно и то, что победившая тоталитарная диктатура, уничтожая и изгоняя поэтов и мыслителей, принимала актеров, а актеры шли на сговор с тоталитаризмом. Замечательный анализ этого явления дан в романе Клауса Манна «Мефистофель» — о карьере актера в Третьем рейхе. Выразителен эпитафия к роману из «Вильгельма Мейстера» Гете: «Все слабости человека прощаю я актеру и ни одной слабости актера не прощаю человеку». В послевоенных мемуарах Клаус Манн так оценивал свое художественное исследование: «Стоило ли трудиться, чтобы писать роман о такой фигуре? Да; ибо *комедиант становился воплощением, символом* насквозь комедиантского, глубоко лживого, нежизнеспособного *режима*»¹⁶ (курсив мой. — В. К.). В этом контексте название богемного кабачка «Привал комедиантов», где общались деятели будущей социально-политической жизни России, приобретает символический смысл.

Можно сказать, что само время актерствовало. Ведь на вершине государства, оказалось, нуждались в *гениальном актере жизни* — Григории Распутине, который изображал из себя святого старца и одновременно распутствовал и к того его актерский талант сделал первым человеком при императорской фамилии, а стало быть, и в России. Он был не

¹⁵Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 236.

¹⁶Манн К. На повороте. Жизнеописание. М.: Радуга, 1991. С. 346.

одинок. Стоит указать на психологически подобный персонаж из элиты «Серебряного века» — на Максима Горького (отметим актерский псевдоним, с которым он прошел по жизни, да так, что люди забыли его настоящее имя Алексей Пешков). *Из простой пешки этот купеческий внук добрался до роли ферзя* — «величайшего пролетарского писателя первого в мире социалистического государства». Уже упомянутый Клаус Манн вспоминал о своем визите к классику соцреализма после Первого съезда советских писателей: «Прием в доме Горького. Писатель, познавший и изобразивший крайнюю бедность, мрачайшую нищету, жил в княжеской роскоши; дамы его семьи принимали нас в парижских туалетах; угощение за его столом отличалось азиатской пышностью»¹⁷. Не случайно Иван Бунин самой характерной чертой Горького считал его *бесконечное актерство*: «Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений <...> он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства»¹⁸.

* * *

Каждый народ, каждая культура проходит этапы своего взросления одним ей свойственным образом. Подростковый фанатизм мог сказаться в крестовых походах, он же звучит в идее Реформации о приобретении богатства как богоугодном деле.

С какой же идеей взрослел русский народ, вступивший всей массой в историческое поле свободы? Разумеется, не с идеями марксизма, которые требуют изощренного ума для их восприятия. Идея была проста и высказана Лениным в июне 1917 года на первом Всероссийском съезде советов.

¹⁷ Манн К. На повороте. Жизнеописание... С. 341.

¹⁸ Бунин И.А. Автобиографические заметки // Бунин И.А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 194.

«Переходя к вопросу внутренней политики, — вспоминает Степун, — Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы сразу прекратить их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками»¹⁹. Тут и представление о жизнедеятельности буржуазии как об «игре», а также расшифровка этой игры — «разбойничество». Если же учесть, как полагал Степун, что «Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией»²⁰ (курсив мой. — В. К.), то становится очевидным понимание народом так называемой социалистической революции как грандиозного разбойно-игрового действия, где низы просто должны занять место верхов. Не трудом медленного подъема своего социального и культурного уровня, а — по словам Достоевского — разом, как на театре, сегодня «мужик», а вот к завтраму уже сразу «барин». Такое стремление было вполне в духе сложившейся к XX веку народной психологии. Называя Октябрьскую революцию «нашествием внутреннего варвара», С.Л. Франк отмечал тем не менее, что «нашествие это движимо не одной лишь враждой к культуре и жаждой ее разрушения; основная тенденция его — стать ее хозяином, овладеть ее, напитаться ее благами»²¹. *То есть стать не самим собой, а сыграть иную жизненную роль.*

Артистическая эпоха — по сути проявление этого «беспочвенного» социального положения людей, причем осязаемого большинства — не только в России, но и в Европе, и в Америке, выхода на историческую арену человека массы, который ощутил себя главным действующим лицом и главным распорядителем всех предшествовавших

¹⁹ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 103–104.

²⁰ Там же. С. 69.

²¹ Франк С.Л. Из размышлений о русской революции. С. 216.

культурных и цивилизационных ценностей. Но пользоваться ими еще не умел.

Конечно, вошедший в историческое пространство человек массы повсюду, в любой культуре, требует зрелищ. Но в одном случае он зритель, в крайнем случае пассивный участник (карнавал), в другом — мистериальная жертва. Чем ближе к востоку Европы, чем меньшую вестернизацию прошли народы (Германия и Франция менее «западные», чем, скажем, Англия), тем больше шансов на теургическое всеобщее — тотальное, тоталитарное — действо. Французская революция 1789—1793 годов рядились в тоги римских республиканцев и рубила на гильотине многие тысячи голов. Муссолини апеллировал к императорскому Риму, насаждая фашизм. Гитлер возрождал образ древнего германца а ля Арминий (победитель римских легионов в Тевтобургском лесу). Это был путь самоутверждения европейских стран, вдруг оказавшихся маргиналами в процессе цивилизации, отстаивания своего места наперекор «Западу».

Так что артистическая эпоха была подобно увертюре надвигавшегося на Россию безумия как образа жизни, как и положено безумию, игрой изживавшему болезнь, в данном случае — *социальную болезнь взросления* оторвавшейся от общинно-государственной и семейно-родовой жизни огромной массы народа. Но в процессе этого взросления, к несчастью, были подрублены корни цивилизации.

Возникает, однако, вопрос: а может ли человеческая стихия уничтожить собственную цивилизацию, что с таким трудом создавалось многими поколениями? Для корректности ответа напомним, что традиционно в научной литературе фиксируют несколько этапов формирования культуры: дикость, варварство, цивилизация, различающиеся степенью окультуривания природы. В разных исторических типах общества пути к цивилизации бывают более, а бывают менее успешными. В тех случаях, когда цивилизация не стала для культуры достаточно органичной, так сказать, не проросла в ней, сохраняется опасность воз-

врата к варварству. Этот рецидив варварства возможен и в высокоразвитых странах, и «внутреннее варварство» по своим последствиям мало чем отличается от нашествия «варварства внешнего». Увидевший в большевизме и фашизме «восстание масс», «вертикальное вторжение варварства» и «существенный регресс»²², Ортега-и-Гассет писал, протестуя против апологетики стихийных инстинктов, якобы присущих «творческому» развитию: «Степень культуры измеряется степенью развития норм»²³. И далее: «Цивилизация не дана нам готовой, сама себя не поддерживает. Она искусственна и требует художника, мастера»²⁴. Именно цивилизация нуждается в созидательной, творческой активности.

Цивилизация выступает как *высшая форма, высший этап культуры*. До появления книги Шпенглера, когда понятие цивилизации приобрело негативный оттенок, иной оппозиции русская мысль и не знала. Не ссылаясь на прогрессистов либерально-демократического толка, напомним лишь слова Н.Я. Данилевского, написавшего следующее: «Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, — вышед из бессознательной чисто этнографической формы быта <...> создав, укрепив и оградив свое внешне существование, как самобытных политических единиц <...> проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залогов в их духовной природе»²⁵. То есть период цивилизации, по его мнению, есть период возникновения и развития поэзии, искусства, науки, философии, государственности и прочих явлений, возвышающих и отгораживающих человеческое общество от капризов

²² Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 152.

²³ Там же. С. 144.

²⁴ Там же. С. 150.

²⁵ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1889. С. 111.

природы, период «цветущей сложности», говоря словами К.Н. Леонтьева. Иными словами, Серебряный век показал, что культура способна, восстановив мифические языческие смыслы, уничтожить ту цивилизацию, до которой медленно и трудно доработалась передовая часть народа.

Но добавлю важное соображение, позитивное. Артистическая эпоха — это реакция на введение в историческое поле свободы огромных свежих масс людей. Старые системы очеловечения, гуманизации, цивилизации (вроде мистически-религиозного и мещански-бюргерского) дают сбои. Тогда включается в действие артистическая система, возвращающая людей в доцивилизированный этап с реальными мистериями и жертвами, таким путем пытаясь помочь сознанию масс справиться с обрушившейся на них свободой. Человечество как бы заново проигрывает свое духовное развитие, сызнова дорабатываясь до предохранительных механизмов цивилизации, которые уже способны совладать с человеком массы. После катаклизмов XX века Европа, включая и Россию, похоже, возвращается к ренессансной — с опорой на личность — парадигме истории. Соборное сумасшествие эпохи сошло на нет, игра не требует больше настоящей крови, не требует жертвы, канализована, формализована, а человек отделен от действия как зритель рампой: экраном кино, телевизора, трибунами стадионов и т. п.

16. Федор Степун: «народная правда» против правового сознания как явления христианской политики

Начиная с 40-х годов XIX века тема права в русской культуре являлась проблемой философской рефлексии в трудах русских либералов. Подготовка «великих реформ» и их проведение стало фактом не только политического, но и философского дискурса. Затем в работах В.С. Соловьева идея права получила и религиозную санкцию. «Задача права, — по Соловьеву, — вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он *до времени* не превратился в ад»¹ (курсив В.С. Соловьева. — *В. К.*). В этом задача христианской политики. Задача прекрасная. Но как она соотносится с реальностью? Сам Соловьев иронизировал, что русская душа не способна к восприятию юридических начал. И вместе с тем сам он отстаивал вполне определенные принципы: «Право есть требование *реализации* этого минимума, т. е. *осуществления определенного минимального добра*, или, что то же, действительного устранения известной доли зла, тогда как интерес собственно нравственный относится непосредственно не к внешней реализации добра, а к его внутреннему существованию в сердце человеческом»² (курсив В.С. Соловьева. — *В. К.*).

¹ Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10. Т. 8. СПб.: Просвещение, б. г. С. 413.

² Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 408.

С Соловьевым полемизировал Б.Н. Чичерин, видя в призыве к нравственности возврат к славянофильски ориентированному антиправовому пафосу русской мысли. Он настаивал на разграничении нравственности и права. По его мнению, разница между нравственностью и правом является не количественной («минимум» или «максимум»), но качественной. Как уже не раз отмечалось в нашей литературе, именно за стремление превратить право в инструмент реализации нравственного идеала Б.Н. Чичерин критиковал концепцию В.С. Соловьева. Б.Н. Чичерин был убежден в том, что невозможно вести людей к нравственному идеалу путем внешнего принуждения. Нарушение нравственного закона может и должно быть осуждаемо обществом, церковью, но не юридически. Нравственность по принуждению — это искажение нравственности как таковой, ибо принудительная нравственность есть безнравственность. Подчинение права нравственности, полагал он, было бы равносильно внедрению ее принудительными мерами, что привело бы к уничтожению и нравственности, и права. XX век многое переиначил. Во внешне правовых рамках творилось бесправие. Нравственность стала актуальной, поскольку она могла противостоять идеократической идее, оправдывавшей бесправие в формах права. Казалось, правовая демократия потеряла высшую санкцию.

Стоит отметить, что Степун подходил к этой проблеме как ученик Владимира Соловьева. Дело в том, что первым проблему соединения христианства и политики поднял в русской мысли В.С. Соловьев в уже цитированном мною трактате «Оправдание добра» (1899), заявивший о возможности создания в реальной жизни «*христианского* государства»³ (курсив В.С. Соловьева. — В. К.). В годы первой русской революции вопрос о сочетании христианства и практической политической деятельности приобрел злободневнейшую остроту. В 1906 году состоялась полемика на эту тему между

³ Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 482—488.

С.Н. Булгаковым, П.Б. Струве, С. Лурье и Е.Н. Трубецким Полемика явилась реакцией на статью С.Н. Булгакова «Религия и политика (К вопросу об образовании политических партий)», опубликованной в еженедельнике «Полярная звезда», в которой он говорил о необходимости в политике религиозного отношения, «приводящего политическую деятельность в связь с высшими духовными ценностями»⁴. Метафизический смысл этого предположения не был тогда осознан, и только после большевистской революции и изгнания русские мыслители заговорили о христианстве как предпосылке устойчивости демократических преобразований. Скажем, великий политический утопист Струве возразил С. Булгакову в той же «Полярной звезде»: «В отличие от Булгакова мы полагаем, что у христианина и у атеиста, у идеалиста и у позитивиста может быть общая политика, имеющая единый религиозный корень. <...> Даже и широкие массы народа — вопреки мнению Булгакова — способны очень хорошо отделять элемент церковный или вероисповедный от той сверхцерковной или вневероисповедной “правды Божьей”, признание которой лежит в основе таких широких политических программ, какова, например, программа конституционно-демократической партии»⁵. Пожалуй, наиболее спокойно и трезво высказался Е.Н. Трубецкой: «Разделяя вполне религиозно-философское мирозерцание С.Н. Булгакова, я, однако, не разделяю его отношения к политическим партиям. Прежде всего, самая мысль об образовании “партии Христа” представляется мне умалением значения Христа и христианства. Христианство не уместается в рамки той или другой политической партии. По самому существу своему оно — вне и выше партий»⁶.

Тема, однако, не была исчерпана и заново возродилась в эмиграции.

⁴Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск: Наука, 1991. С. 61.

⁵http://russianway.rchgi.spb.ru/Bulgakov/16_struv.pdf.

⁶http://russianway.rchgi.spb.ru/Bulgakov/18_trube.pdf.

Против соотнесения христианства и политики в своей книге «Философии неравенства» (самой нелюбимой книге Степуна) в 1923 году выступил Н.А. Бердяев: «Христианство не имеет ничего общего с демократией и не может давать обоснования демократии. Эта попытка сблизить христианство и демократию есть великая ложь нашего времени, отвратительная подмена. Христианство — иерархично»⁷. Эту идею он развивал неоднократно. В 1925 году он опубликовал статью «В защиту христианской свободы (Письмо в редакцию)», где снова разводил эти два понятия, утверждая: «Не в демократии, а в христианстве открылось абсолютное значение человеческого лица»⁸. В том же номере ему отвечал Степун. Понимая, что Бердяевым движет как бы религиозный максимализм, он писал: «Нельзя христианство противопоставлять демократии. Христианство вечная, “в небесах заданная” человечеству тема. Демократия же одна из попыток ее разрешения на земле»⁹. Степуна в данном случае поддержал его обычный противник М. Вишняк: «В апокалиптическом максимализме Бердяева видим такое же отрицание современной культуры и свободы, какое в свое время он сам видел в социально-политическом нигилизме русской интеллигенции. <...> Недаром евразийцы, во многих отношениях буквально копирующие Бердяева, сами называют свое учение *системой максимализма*. Чем бы ни вдохновлялся максимализм: нигилизмом, апокалипсисом или фашизмом — Ф.А. Степун совершенно точно определил евразийство как *русский фашизм*, — он одинаково идет бунтом против свободы, культуры, влечения человека

⁷ Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С. 172.

⁸ Современные записки». 1925. Кн. 24. С. 295.

⁹ По поводу Письма Н.А. Бердяева // Там же. С. 319. См. также: Степун Ф.А. Сочинения / сост., вступит. ст., примеч. и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 858–859.

и человечества к свободе»¹⁰ (курсив М. Вишняка. — В. К.). В 1933 году в «Новом граде» в статье «Основы христианской демократии» Г.П. Федотов снова ставит вопрос, «совместимы ли свобода и демократия с христианством»¹¹, и отвечает: «христианская демократия есть не бесцарствие, но царство народа Божия. Демократическая теория народного суверенитета, разливающая суверенитет между всеми личностями, составляющими народ, является секуляризованным отражением той же идеи. Демократия в Европе долго говорила христианским языком <...> прежде чем заговорить языком Руссо»¹². Необходимость отстаивания этой идеи вытекала для него из политической ситуации времени: «У большевиков и у гитлеровцев равно бродят сакральные страсти. Должны они проснуться и в демократии»¹³. Замечу, кстати, что о христианстве как основе демократии скажет в конце войны и С.Л. Франк. Эта мысль об аристократизме свободы и демократии и их связи с христианством постепенно укоренялась в сознании русских философов-эмигрантов. «Вопреки всем распространенным и в христианских, и в антихристианских кругах представлениям, — писал С. Франк, — благая весть возвещала не ничтожество и слабость человека, а его *вечное аристократическое достоинство*. Это достоинство человека — и притом *всякого* человека в первооснове его существа (вследствие чего этот аристократизм и становится основанием — и притом *единственным* правомерным основанием — “демократии”, т. е. *всеобщности* высшего достоинства человека, прирожденных прав всех людей) — определено его *родством с Богом*»¹⁴.

¹⁰ Вишняк М. Две Свободы // Современные записки. 1925. Кн. 24. С. 334.

¹¹ Федотов Г.П. Основы христианской демократии // Федотов Г.П. Тяжба о России. Paris: YMKA-PRESS, 1982. С. 132.

¹² Там же. С. 138.

¹³ Там же. С. 139.

¹⁴ Франк С.Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. Париж: YMKA-PRESS, 1949. С. 124–125. (курсив. — В. К.).

В ответ на заявления о закате демократической эпохи, о потере веры в возможность демократии на основе христианства имеет смысл поставить рядом два высказывания Степуна (не раз говорившего о беспомощности демократии в России и Германии): «Я определенно и до конца отклоняю всякую *идеократию* коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; т. е. всякое насильствие народной жизни. <...> Я глубоко убежден, что “идейно выдыхающийся” сейчас демократический парламентаризм Европы все же таит в себе более глубокую идею, чем пресловутая идеократия. Пусть современный западно-европейский парламентаризм представляет собою *вырождение свободы*, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою *народжение насилия* и явно тяготеет к большевицкому сатанизму»¹⁵. Противостоит же этому сатанизму «*Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории*. Демократия — не что иное, как политическая проекция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает *лицо* человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания»¹⁶. Но примет ли народное сознание идею свободной личности? Да и вообще — что такое народ и как он относится к праву?

¹⁵ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк X. Демократия и идеократия; буржуазная и социалистическая структура сознания; марксистская идеология как вырождение социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиозное бытие России // *Степун Ф.А.* Жизнь и творчество. Избранные сочинения / вступ. статья, сост. и коммент. В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 446. Курсив Ф. Степуна.

¹⁶ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк V // Там же. С. 343 (курсив. — В. К.).

Как понимала русская элита народ и его правду? В 1900 году трезвомыслящий и наблюдательный Б.Н. Чичерин написал статью «Россия накануне XX столетия», которую был вынужден по цензурным соображениям поначалу опубликовать в Берлине, в ней он писал: «Сочинения социалистического и материалистического содержания ходили по рукам в рукописях и брошюрах. Центром этой пропаганды сделалась петербургская журналистика, которая задала себе целью подорвать всякий авторитет и явно проповедовала социалистические и материалистические идеи, выставляя их идеалом будущего, к которому надобно стремиться всеми средствами. Для руководивших ею писателей законный порядок, право, политическая свобода были только пустыми словами или орудиями для достижения иных целей. Мужик, закрепощенный в общину, и фабричный рабочий, связанный по рукам и ногам в государственной артели, — такой был единственный их идеал, и к этому они направляли недоучившееся юношество, жадно внимавшее их словам»¹⁷. А ведь в сущности вся эта общинность, по поводу которой еще в 1840–1850-е годы Чичерин спорил со славянофилами, и была той самой народной правдой, которую русские интеллектуалы *вчитали* в народное миросозерцание.

Тема правового сознания, правового начала в русской историко-культурной традиции и отношения к праву народа, соотношение права с так называемой народной правдой обострилось после революций начала XX столетия. Эта тема звучала в работах П.Н. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого, Н.Н. Алексеева, С.А. Муромцева, Б.А. Кистяковского, Ф.А. Степуна. Как видим, имена не рядовые, и их много. Об отсутствии правового сознания в народе и у русской интеллигенции с тревогой писали «Вехи». Поразительно, что в славянофильски

¹⁷ Чичерин Б.Н. Россия накануне XX столетия // Чичерин Б.Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 549.

ориентированном сборнике прозвучало явное осуждение славянофильского подхода к проблеме права в тексте философа-правоведа: «Герцен предполагает, что в этом коренном недостатке русской общественной жизни заключается известное преимущество. Мысль эта принадлежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов и, главным образом, славянофильской группе их. В слабости внешних правовых форм и даже в полном отсутствии внешнего правопорядка в русской общественной жизни они усматривали положительную, а не отрицательную сторону. Так, Константин Аксаков утверждал, что в то время, как “западное человечество” двинулось “путем внешней правды, путем государства”, русский народ пошел путем “внутренней правды”. Поэтому отношения между народом и государем в России, особенно допетровской, основывались на взаимном доверии и на обоюдном искреннем желании пользы. <...> Это отрицание необходимости правовых гарантий и даже признание их злом побудило поэта-юмориста Б.Н. Алмазова вложить в уста К.С. Аксакова стихотворение <...>:

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал и т. д.

В этом стихотворении в несколько утрированной форме, но по существу верно излагались взгляды К.С. Аксакова и славянофилов»¹⁸.

¹⁸Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 114.

Но самое занятное, что дело тут не только в славянофилах. В каком-то смысле все же Владимир Эрн был прав: славянофильствовало время. И не только в начале XX века, но и много раньше. Идея «произвола», в которой Чернышевский видел суть русской психеи, словно наложила свое вето на все правовые устремления русской мысли.

Сошлюсь еще раз на слова Б.А. Кистяковского: «Напряженная деятельность сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда получают свое выражение в литературе. В ней, прежде всего, мы должны искать свидетельство о том, каково наше правосознание. Но здесь мы наталкиваемся на поразительный факт: в нашей “богатой” литературе в прошлом нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы *общественное* значение. Ученые юридические исследования у нас, конечно, были, но они всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а литература, приобретшая *общественное* значение; в ней же не было ничего такого, что способно было бы пробудить правосознание нашей интеллигенции. Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой слагается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли»¹⁹ (курсив Б.А. Кистяковского. — В. К.).

Однако возьмем ли мы романы Достоевского (хотя бы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы») или Льва Толстого («Воскресение», «Крейцера соната»), то увидим, что правовые проблемы, переступание нормы, проблема преступления — темы, волновавшие русских гениев. Однако Кистяковский был прав в том, что собственно философско-юридических сочинений, оказав-

¹⁹ Там же. С. 110.

ших бы влияние на общественную жизнь вроде «Духа законов» Монтескье или «Философии права» Гегеля, русская культура не знала.

Кистяковский все же уточняет, снимая часть вины с русской интеллигенции: «Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом нашего застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа»²⁰.

Но вообще эта проблема — одна из сущностных проблем русской действительности. Напомню соображение современного исследователя — А.Л. Доброхотова: «Вплоть до сегодняшнего дня власть для русского человека — это “они”, это кто-то распоряжающийся его жизнью и свободой. Причастность к политическим решениям плохо осознавалась даже тогда, когда не было непосредственных препятствий к социальной активности. В результате социум распадался на пассивную, плохо организованную массу и практически неконтролируемую группу обладателей власти. Социальный пассив тяготел к общинной неполитической организации, к коллективизму, который не столько воспитывал чувство братской солидарности, сколько чувство рабской зависимости и от власти, и от общины. В этих условиях почти невозможно было зарождение гражданского общества. <...> В народном сознании эта ситуация отразилась в восприятии власти как сакрально нечистой силы, несущей на себе печать проклятия. Власть или принимали как злое средство для хороших целей, или отвергали как источник греха. Греховность власти — одна из фундаментальных, хотя и не всегда явных интуиций русской культуры»²¹. Тем более за властью не виделась никакая

²⁰ Кистяковский Б.А. В защиту права... С. 113.

²¹ Доброхотов А.Л. Белый царь, или Метафизика власти в русской мысли // Доброхотов А.Л. Избранное. М.: Территория будущего, 2008. С. 114–115.

правовая структура. Что можно было противопоставить государству, не знающему права? Ему, как казалось русской интеллигенции, противопоставлялась светлая и чистая «народная правда». Интеллигенты всегда были создателями мифов.

Что же такое «народная правда»? Что это за понятие? В системе каких ценностей оно возникло? И существовала ли такая на самом деле? В XX веке это был один из самых существенных вопросов для русской мысли, ответа на который требовала не только русская, но и западноевропейская история.

Надо сказать, что об отношении народа (причем не только русского) к демократии в XX веке замечательно сказал русский эмигрант и большой писатель Марк Алданов: «Демократической идее, однако, придется пережить тяжелое время: она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт показал, что ничто так не чуждо массам, как уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе»²². Строчки эти были написаны в результате тяжелого исторического опыта, после слома русской державы и прихода к власти большевиков, в предвестии гитлеровского режима в Германии.

О русской «правде народной», пожалуй, больше всех писал Достоевский, утвердивший этот основной миф русской культуры в сознании русской интеллигенции, а также в европейском сознании. Но он при этом был достаточно трезвомыслящим и понимал, что правда есть и у образованного общества. Вот что писал он в «Дневнике писателя» за 1876 год: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться перед правдой народной. <...> Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine*

²²Алданов М. Армагеддон // Алданов М. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. Портреты современников. М.: НПҚ «ИНТЕЛВАҚ», 2006. С. 85.

qua поп: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уни-чтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибам врознь»²³ (22, 45).

Не случайно в своем романе «Бесы», как писал Флоровский: «Достоевский дерзнул помыслить то, что из земного было ему всего дороже — Россию, этот “народ-богоносец” в образе бесноватого»²⁴. Достоевский в романе не предостерегал, он просто нарисовал картину России, погруженной в языческую стихию, живущей до- и вне-христианской жизнью. И его пророческое обличение собственной страны, несмотря на веру в нее, на любовь к ней (как и у ветхозаветных пророков), исполнилось, оказалось не тревожным преувеличением, а самой доподлинной реальностью. Спустя десятилетия мы можем только поражаться, с какой легкостью, словно взбесившееся стадо свиней, кинулось большинство народа после революции в море тоталитаризма. Можно сказать, что «Бесы» — это роман о судьбе страны, оставленной Богом, о стране, где торжествует нечисть, а правда и добро бессильны. К этому роману надо относиться как к библейскому пророчеству, которое, обличая и бичуя, понуждало свой народ стать *не народом-богоносцем* (когда, говоря словами Шатова, народ «имеет своего бога особого»; 10, 199), а *богоизбранным народом*, подчиняющимся законам, данным христианским — наднациональным — Богом, *народом, способным жить по Божьим заповедям*.

²³ Все ссылки на произведения Ф.М. Достоевского даются по: *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1971—1987.

²⁴ *Флоровский Г.* Блаженство страждущей любви // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 73.

Но на этот счет у Достоевского были большие сомнения. «Да, великий народ наш был взращен как зверь, претерпел мучения еще с самого начала своего, за всю свою тысячу лет, такие, каких ни один народ в мире не вытерпел бы, разложился бы и уничтожился, а наш только окреп и сплотился в этих мучениях. Не корите же его за “зверство и невежество”, господа мудрецы, потому что вы, именно вы-то для него ничего и не сделали. Напротив, вы ушли от него, двести лет назад, покинули его и разъединили с собой, обратили его в податную единицу и в оброчную для себя статью, и рос он, господа просвещенные европейцы, вами же забытый и забитый, вами же загнанный, как зверь в берлогу свою, но с ним был его Христос, и с ним одним дожил он до великого дня, когда двадцать лет тому назад северный орел, воспламененный огнем милосердия, взмахнул и расправил свои крылья и осенил его этими крылами... Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель» (25, 124).

Что и проделали большевики с Лениным во главе.

Однако начало идее о народной правде и отнюдь не рефлексивно, как у Достоевского, было положено много раньше. Для русского народа, как писал Н.Н. Алексеев: «“Монархия-то Божье дело, да порядки в ней, скорее, дело нечистого”. И вот возникает у русского человека глубочайшее стремление — исправить эти порядки. Пожалуй, силой такого стремления, искренностью его, самоотверженностью с которою оно реализовалось, русский человек отличается от многих других народов. С величайшим подъемом ищет он “правды” и хочет государство свое построить как “государство правды”»²⁵. Это эпоха Ивана Грозного и знаменитого (сегодня) публициста тех лет — Ивана

²⁵ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 83.

Пересветова, с его идеей «государства правды», о котором тот же Алексеев выразился следующим образом: «По-видимому, политические настроения Пересветова разделялись многими из его современников, и прежде всего московским царем Иваном Васильевичем. Изучая учрежденную им опричнину с точки зрения только идеологической, нельзя не видеть в ней приложения пересветовских планов и нельзя не считать ее осуществлением политической диктатуры — своеобразным московским фашизмом XV века. Восточный фашизм получил у Пересветова <...> обоснование»²⁶. Но ни Пересветов, ни Иван Грозный — это не народ, не крестьяне, не хлебопашцы, которые в воображении русских мыслителей воплощали простой русский народ. Даже не казачество. Народу приписывалось то, что было нужно и важно публицистам разного толка.

С конца 60-х годов XIX века возникает революционный террор, апеллировавший к народу и проводившийся вроде бы во имя народа. Желая хоть как-то противостоять революционному напору, к концу 1870-х годов правительство задумывается о возможности представительных учреждений. Однако после убийства 1 марта 1881 года народо-вольцами Александра II начавшееся движение к конституционной монархии прервалось. Дворянство не прошло конституционной школы, как прошли ее высшие классы в Западной Европе. Сказался этот недостаток политического опыта у российского населения в эпоху первых Государственных Дум, где практически каждая партия думала не о государственной пользе, а о том, как потрафить народу, выступить перед общественным мнением единственным выразителем народных интересов. Знаменитый философ-юрист П. Новгородцев пытался проанализировать причины поражения правовых устремлений русского общества в Октябре: «Политическое мирозерцание русской интеллигенции сложилось не под влиянием госу-

²⁶ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство... С. 94.

дарственного либерализма Чичерина, а под воздействием народнического анархизма Бакунина. Определяющим началом было здесь не уважение к историческим задачам власти и государства, а вера в созидательную силу революции и в творчество народных масс. Надо только расшатать и разрушить старую власть и старый порядок, а затем все само собою устроится; эту анархическую веру Бакунина мы встречаем одинаково у князя Львова и у Керенского. На почве таких воззрений нельзя было, конечно, организовать ни народовластия, ни управления. И если, по собственному свидетельству Временного правительства, “рост новых социальных связей стал отставать от процесса распада”, если государство стало разрушаться, то это зависело не от одного действия стихийных центров сил, но и от бездействия власти»²⁷.

Опираясь на пореволюционный опыт, Степун писал: «Через всю историю русской религиозной мысли проходит мысль, что право — могила правды, что лучше быть бьющим себя в перси грешником, чем просто порядочным существом»²⁸.

В результате идеи законности, правопорядка, строгого выполнения существующих норм права, разработка конституционных правил и гарантий собственности, личной независимости и неприкосновенности и тому подобные кардинальные проблемы отошли на задний план. Последствия не заставили себя ждать. Власть оказалась в руках наиболее бескомпромиссных и решительных противников всяких юридических и конституционных форм жизни. Революция

²⁷ *Новгородцев П.И.* Восстановление святынь // Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 566.

²⁸ *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк VIII. Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция // Степун Ф.А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения / вступ. ст., сост. и коммент. В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 414.

продемонстрировала всю неправую суть народной психеи. По словам Н. Алексеева: «Когда русский крестьянин в 1917 году иногда утверждал, что он хочет республику, да только с царем, он, по-своему, не говорил никакой нелепости. Он просто жил еще идеалами русской вольницы, идеалами казацкого “вольного товарищества”. Ибо идеал этот глубоко вкоренился в русскую народную душу. Он стал одной из стихий русской народной толщи, стихией также подземной, вулканической»²⁹.

В России понятие права и религиозной правды не срослись в народном сознании. Но не только народном. Степун, будучи религиозным либералом, как и Соловьев, констатировал тем не менее антиправовую направленность даже и религиозной русской мысли: «Русская религиозная философская школа никогда не понимала, что во всякой действительно совершенной форме (научной, художественной, правовой) неизбежно наличествует некоторый минимум религиозного содержания, ибо всякий образ совершенства возможен только как отображение абсолютного, совершенного Существа»³⁰.

С этим непониманием связаны все типично русские оценки и утверждения — окончательно непонятные для европейца и такие почти самоочевидные на характерно русский слух. «Что право может быть не могилой правды, а ее прославлением, что простая порядочность никоим образом не может быть простою вещью, а неизбежно должна быть вещью весьма сложною — это для философской стихии русского духа никогда не было по-настоящему убедительно. Оттого были ей так близки бездны и безмерности Достоевского и так далеки меры и закономерности Пушкина»³¹.

²⁹ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. С. 101.

³⁰ Степун Ф.А. Мысли о России. Очерк VIII. С. 413.

³¹ Там же. С. 414.

Однако, утверждал Степун, нормальная порядочность никоим образом не может быть простою вещью, а неизбежно весьма сложною и религиозно организованною, как это есть в Европе. Как я уже упоминал, в русских романах («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» Достоевского и «Воскресение» Л. Толстого) проблема права становится предметом художественного анализа. Толстой, однако, просто отверг систему гражданско-правового устройства, заявив, что оно против человека. А у Достоевского праву противостоит «народная правда». Как он сформулировал в последнем романе: «мужички за себя постояли» и «покончили Митю», то есть осудили героя, *формально* не виновного в убийстве. Но они судят якобы по *Божьей правде* его за *намерения*.

И все бы хорошо, если бы народная правда и впрямь равнялась христианской правде. По мысли Степуна, «всякий добрый европеец, не верующий в Бога, далеко еще не безбожный человек; в нем в той или иной степени всегда или почти всегда жива вера: вера в нравственность, в право, в культуру, в науку, во все ризы отрицаемого им Божества. Народная же Россия всем этим верованиям всегда была чужда. Никогда не верила она ни в науку, ни в право, а всегда только в Бога, в нагого, не облаченного Бога»³². И катастрофа произошла тогда, когда в революцию случилось мгновенное падение, крушение народной веры. Нерасчлененность, неоформленность народного сознания не дала ему удержаться во внешних формах. Вера в *нагого* Бога сразу, почти без перехода, как плюс бесконечность на минус бесконечность, перешла в *голое* циническое безбожие. В этом срыве народной души, полагал Степун, и надо искать объяснение как невероятной напряженности и высоты метафизической проблематики русской революции, так и ее предельного окаянства. Как

³² *Степун Ф.А.* Мысли о России. Очерк VII // Степун Ф.А. Жизнь и творчество. С. 407–408.

сразу увидел Н.В. Устрялов, «думали перерастить “правовое государство”, а на деле не доросли до него»³³. Таким образом, народная правда оказалась губителем только еще утверждавшегося в России правового сознания.

Для Степуна спасение демократии и свободы личности в одном — в придании культурным ценностям религиозной санкции. Но для этого и Церковь должна быть свободна, а не раздираться конфессиональными ссорами, тем более не пачкаться сервильным угождением сильным мира сего. А чувствующим себя христианами главное — «*не предавать религиозного смысла свободы*»³⁴.

Степун ищет путей, которые позволили бы не просто оживить православие в России, но сделать его основой демократических изменений. Иными словами, решить вопрос «о возможной роли православия в судьбе пореволюционной России»³⁵. Ведь он не раз говорил, что Россия может ждать от своих изгнанных мыслителей не организации вооруженной интервенции, а той идеологии, которая позволит ей существовать достойно. Так способно ли на это православие? Он предлагает следующее рассуждение. Даже «оставляя в стороне историю демократии, нельзя не видеть, что ее основной принцип — *принцип защиты свободы мнения как формы коллективного искания освобождающей истины* — должен быть близок духу христианской политики. Конечно, *верховная Истина* в христианстве дана. Но в своем нераскрытом виде она недостаточна для разрешения конкретных, культурно-политических и социальных вопросов. <...> Миросозерцательное раскрытие верховной Истины христианства возможно в православии <...> лишь на путях личного религиозного творчества. Пути эти неизбежно приводят к многообразию христиан-

³³ Устрялов Н.В. «Товарищ» и «гражданин» // Устрялов Н.В. Очерки философии эпохи. М.: Вузовская книга, 2006. С. 170.

³⁴ Степун Ф. Задачи эмиграции // Жизнь и творчество. С. 556 (курсив. — В. К.).

³⁵ Степун Ф. Христианство и политика // Там же. С. 503.

ских миросозерцаний, а тем самым и к многообразию решений тех или иных социально-политических вопросов»³⁶. А уж многообразие политических миросозерцаний само требует демократической, а не тоталитарной организации политической жизни.

Мы свидетели того, что ситуация разворачивается в прямо противоположную сторону. И на православно-государственной основе опять строится идеология, требующая ориентироваться и опираться на «народную правду».

³⁶ *Степун Ф.* О человеке «Нового Града» // Там же. С. 567 (курсив. — *В. К.*).

17. Христианский либерализм в России и Столыпин, или Почему либералы все-таки не победили?

Были ли русские либералы верующими христианами?

Когда на означенную тему написано и произнесено немало слов, когда похожие мысли, которые ты хочешь высказать, уже звучали, хочу воспользоваться приемом Николая Кузанского и позволить себе порассуждать как *простец*, удивляясь тому, что вроде бы само собой разумеется. И начну с того, что ясно любому хоть немного занимавшемуся историей русской мысли и русской культуры, а именно: христианский либерализм в России существовал, более того, был весьма влиятелен, но в общественно-социальной борьбе начала XX века он не победил. Это факт, чтобы его принять, не надо никакой тонкости ума. Это просто.

Но, может быть, верующие либералы были в меньшинстве и не очень влиятельны? Речь, разумеется, идет о влиянии на *массы образованного общества*, то есть на широкие круги интеллигенции, которые выступают трансляторами по отношению к народу.

Стоит перечислить имена русских мыслителей — христианских либералов. Первым на ум приходит имя Тимофея Николаевича Грановского, создавшего из своей жизни, как писал В.О. Ключевский, некий идеальный образ профессора, на который ориентировалась практически вся университетская профессура и которого обожали студенты (то есть *русская интеллигенция*). Не

все, разумеется, из русских профессоров, были христианами, но либералами были все, начиная с христианского мыслителя Сергея Михайловича Соловьева и завершая (если говорить об историках) позитивистом Павлом Николаевичем Милюковым. Если же говорить о философах, то тут количество либералов сильно увеличится. Я бы начал с Чаадаева, мыслителя очевидно христианского, стоявшего в оппозиции и к самодержавию, и к консервативно-славянофильской мысли. А поскольку утопистом он не был, реально видел происходящее, был очевидным европеистом, отстаивал ценность индивидуальности, то либералом я бы его назвал определенно, тем более что вышел он из эпохи Александра I, откуда родом многие русские либералы.

Но все же интеллектуальная история российского христианского либерализма начинается с творчества величайшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, автора религиозно-философских трактатов и бессменного автора либерального журнала «Вестник Европы». Напомню, очевидно, достаточно известное высказывание Соловьева, но от него стоит оттолкнуться, чтобы подойти к реальной проблематике XX века, как она встала перед русскими мыслителями. Соловьев писал: «Поскольку христианство не упразднило закона, оно не могло упразднить и государство. Но из этого разумного и необходимого факта — неупразднения государства, как внешней силы, вовсе не следует, чтобы внутреннее отношение людей к этой силе, а чрез это и самый характер ее деятельности — в общем и в частности — остался безо всякой перемены. Химическое вещество не упразднено в телах растительных и животных, но получило в них новые особенности, и не напрасно существует целая наука «Органической химии». Подобное же есть основание и для *христианской политики*. Христианское государство, если только оно не остается пустым именем, должно иметь определенные отличия от государства языческого, хотя оба

они, как *государства*, имеют одинаковую основу и общую задачу»¹ (курсив В.С. Соловьева. — В. К.). Соловьев понимал государство как средство, предохраняющее землю от превращения ее в ад, как защиту человека, то есть как правовое либерально-христианское сообщество людей. Мне уже приходилось писать, что история жестоко показала, что вне и помимо личности никакое общество не может отстоять свои права и независимость. Невероятным по силе фактором утверждения личности в европейской истории стало христианство, которое было гонимо при всех тоталитарных режимах.

Следом за Соловьевым, бывшим «детоводителем ко Христу» русской мысли, выросла целая плеяда русских религиозных мыслителей, отстаивавших либеральные ценности: Бердяев, Булгаков, братья Трубецкие, Франк, Струве, Степун. Что ни имя, то гордость русской мысли и культуры.

Но обладали ли они влиянием? Достаточно вспомнить восторженное отношение студентов к этим мыслителям, чтобы не задавать этого вопроса. Но почему интеллигенция не сумела транслировать эти идеи в народ? Мы часто называем имя Джона Локка как родоначальника европейского христианского либерализма. Идеям Локка следовал К.Д. Кавелин (о чем сам писал не раз), знаменитый русский либерал и правовед. Чтобы правильно расставить акценты в утверждении в Англии либерально-христианских идей Локка, стоит напомнить, что Англия пережила народную христианскую революцию (пуритане), казнила короля, дождалась славной революции и установления конституционной монархии. Вот тогда идеи бывшего эмигранта Локка оказались востребованы. Почему не оказались столь же влиятельны идеи русских либералов? Конечно, у этих идей разные условия бытования.

¹ Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. [1911–1913]. Т. 8. СПб.: Просвещение, С. 486.

Посмотрим с этой точки зрения на Россию. Народная христианская революция (старообрядчество) была абортирована. Кстати крупнейшие деятели русской политики и культуры Серебряного века являлись выходцами из старообрядцев. Но их было слишком мало, народ их не принимал. Отношение к христианству у большинства русского народа было вполне скептическим. Сегодня можно смеяться (почему-то так принято) над формулой Белинского, что народ наш суеверен, но не религиозен. Но вот свидетельство о двоеверии, а то и суеверии русского простонародья, о котором уже в XX веке писал священник и философ Павел Флоренский, отмечавший, что для мужика колдун и церковь просто два разных департамента, и к тому, и к другому он относится бытово, то есть суеверно. И возникает вопрос, столько хороших замечательных людей, а почему собственно христианский либерализм в России не победил? Такой, в общем-то, простой вопрос у меня возникает, и прямого ответа на него я дать не могу. Не смогу. Часто говорят, что виновата православная церковь. Справедливо, наверное. Но беда в том, что народ относился к церкви и в самом деле как к департаменту, в который он обязан время от времени являться. Церковь была не только сервильна, но она и не желала идти к народу. Петр Великий насильно ее встроил хотя бы в государственные тяготы. Сам он был человек глубоко верующий и около двадцати лет все не решался превратить церковь в один из государственных департаментов. В Европе (не говорю уж о пуританах, о лютеранской революции, вываривших в христианском котле войны за веру народные массы), христианство исходно была религией низов. В России — княжеским делом (начиная с Владимира Крестителя). И других вариантов, строго говоря, не было.

Но стоит назвать еще одно важное обстоятельство, всегда игравшее немалую роль в жизни народа. Это так называемый *культурный герой*, преодолевавший хаос

варварств, упорядочивавший жизни народа: Гильгамеш, Прометей, Геракл, Карл Великий и т. д. Таков был Петр Великий, и такого героя подарила России судьба в начале XX века.

Петр Столыпин и борьба с хаосом

Масштаб Петра Столыпина, на мой взгляд, несмотря на все посмертные и сегодняшние славословия, не оценен в полной мере. Разумеется, он стоит в ряду величайших государственных деятелей России — Петра Великого, Екатерины Великой и Александра Освободителя. Но в отличие от этих государей он, понимая не меньше их, будучи подлинным интеллектуалом, не обладал необходимой полномочий властью для проведения в жизнь своих идей. Перед ним стояли три трагические проблемы, рожденные русской историей и не разрешенные до него (строго говоря, после тоже не решенные). А проблемы ключевые для развития и становления любой культуры, любого этнического образования, особенно соединившегося в большое государственное сообщество. 1. Произвол власти и стихия бунта, уничтожавших любые попытки правового устройства страны; 2. Общинность и отсутствие частной собственности как основы права и личности. 3. Неукорененность христианства в простом народе, склонном скорее к двоеверию, чем к истинно церковной вере. Строго говоря, он противопоставил идею свободы (которая ограничена свободой *другого* человека) идее воли, не знающей, не видящей *Другого*. Существенно, что едва ли не единственный из всех государственных деятелей своего времени он смог их осмыслить и предложить решение. Надо сказать, и это важно, он происходил из очень родовой семьи, среди его родни был Михаил Лермонтов. Укоренившееся в их роду понятие чести и абсолютное мужество, которое проявил великий поэт в боях на Кавказе, вполне было свойственно и Петру Столыпину. Как написал Достоевский в «Подростке» (а за ним

К. Леонтьев), именно российское дворянство структурировало Россию. К этому необходимо добавить, что Столыпин прошел полный курс классической гимназии, которая была задумана в эпоху реформ либералом-консерватором М.Н. Катковым для созидания русских европейцев, ибо, как полагал ее основатель, только мощная античная база позволит понимать современность. Столыпин свободно владел тремя европейскими языками, в 1881 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, получил диплом с отличием. Известно, что от его ответов был в восторге Д.И. Менделеев. К чему об этом говорю? Чтобы еще раз подчеркнуть, что во власть пришел едва ли не впервые свободный и высокообразованный интеллект, словно рожденный для думских баталий, где он уверенно и спокойно мог переспорить самых больших спорщиков из так называемой русской парламентской интеллигенции.

Начну с первой проблемы. Это проблема русского бунта или, как ее Достоевский назвал, проблема бесовщины. У меня есть копия крестильной записи П.А. Столыпина в Дрезденском православном храме. Он родился в Дрездене в 1862 году, был там крещен, а для меня это, как для человека, который занимается историей культуры, все знаки в судьбе больших людей, которые находятся в большом контексте истории, символичны. Дрезден — не случайный город в этом смысле. В Дрездене, как мы помним, было первое «бесовское» выступление Бакунина — это восстание 1849 года, когда было предложено закрыть Мадонной баррикады. Замечу, что Бакунин не раз подчеркивал, что Сатана для него предпочтительнее Бога, ибо являет собой деятельное начало истории. В Дрездене великим писателем создан роман «Бесы». То есть первая борьба с бесами была, в общем-то, в Дрездене. Столыпин, трагический герой русской истории, был рожден в месте ключевого столкновения разных сил русской истории, да и европейской истории тоже. И гениального осмысления этого нового в

мировой культуре явления «бесовщины» Достоевским.

Столыпин не случайно пришел во власть. Его привел князь Алексей Дмитриевич Оболенский — создатель первой русской конституции и обер-прокурор Синода, прекрасно понимавший связь бесовской стихии, антиличностного начала и антихристианства. Я беседовал летом 2011 года в Берлине с внучкой князя Оболенского Александрой Николаевной фон Герсдорфф. Она рассказывала: «Бабушка вспоминала, как сидел дед и граф Витте. На улице стреляли. 1905 год. Я им все время меняла свечи — они всю ночь писали конституцию». Речь идет о Манифесте 1905 года. И именно А.Д. Оболенский рекомендовал Столыпина как человека, который сумеет противостоять «бесовщине». И Столыпин взвалил на себя эту ношу. Сначала как губернатор, потом как министр внутренних дел, потом как премьер-министр. Он прекрасно понимал тот контекст, в котором развернулся бессмысленный и беспощадный бунт 1905 года (который традиционно почему-то именуется революцией). 3 ноября 1905 года Столыпин писал жене: «Дела идут плохо. Сплошной мятеж: в пяти уездах. Почти ни одной уцелевшей усадьбы. Поезда переполнены бегущими... Войск мало и прибывают медленно. Пугачевщина! <...> Чувствую, что на мне все держится, и что если меня тронут, возобновится удвоенный погром. <...> Убытки — десятки миллионов. <...> Шайки вполне организованны»². Так называемые жестокости Столыпина при подавлении этого бунта нисколько не превышали не только жестокостей восставших (тем более — если говорить о будущем — большевиков), но и действий его предшественников в подавлении пугачевского бунта — Суворова, Державина, Михельсона и т. д. И они вешали восставших, мужиков, грабивших и убивавших дворян (напомню хотя бы записку Пушкина, как Державин повесил двух крестьян). Никто не

²Сидоровнин Г.П. П.А. Столыпин: Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862–1911). М.: Поколение, 2007. С. 135.

посмел тогда сказать о «державинских» или «суворовских» галстуках. Сам Столыпин не раз говорил о соотношении казненных и реально заслуживавших казни, как о слишком гуманном соотношении. Тем не менее русская думская *образованщина*, поддаваясь на провокацию радикалов, пустила термин «столыпинский галстук». Ф.И. Родичев, член партии кадетов, депутат II Государственной думы на заседании Госдумы 17 ноября 1907 года бросил в публику эту формулу. Столыпин был не только решительный государственный деятель, но и человек лично мужественный: он вызвал клеветника на дуэль. Тот вынужден был отказаться от своих слов. А Столыпин спокойно произнес «в ответ на требование Думы прекратить военно-полевые суды <...>: “Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача”»³. Не говорю уж о левых партиях, в сущности сторонников русской бесовщины, даже кадеты выступили против столыпинской жесткости, полагая, что он мешает созданию правового государства.

Не буду повторяться, напоминая о екатерининских генералах, ломавших хребет пугачевскому бунту, напомним о виджилянтах, поборовших дикий бандитизм в Северо-Американских Соединенных штатах, напоминавший русский террор. Виджилянты отказались от длительного судопроизводства. Казня захваченных на месте преступления бандитов по приговору виднейших граждан данного городка или местечка, они в течение нескольких лет подавили разгул бандитизма на американском Западе. Скажем, такой умный человек, как В.А. Маклаков, протестуя против отказа Столыпина от долгого судопроизводства при расправе с террористами, утверждал, что так революцию не победишь. Но, говоря о терроре 1906 года, уже годы спустя Маклаков, в сущности, противореча своему несогласию со Столыпиным, писал: «В августе — взрыв Сто-

³ *Тыркова-Вильямс А.* На путях к свободе. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1990. С. 346.

лыпинской дачи. В октябре грандиозная по смелости и удаче экспроприация в Фонарном переулке, доставившая в революционные кассы несколько сот тысяч рублей, и т. д. Индивидуальные же террористические акты были просто бесчисленны: были убиты Мин, Лауниц, Максимовский, Игнатъев, Павлов и др.; по официальным сведениям, опубликованным в “Красном Архиве”⁴, — в 1906 г. было убито 1588, в 1907 г. — 2453 человека. Можно было думать, что начинался революционный штурм; что, как бывает в решительный момент войны, в него бросался последний резерв. Но уже через несколько месяцев от него осталось только “последняя туча рассеянной бури”. Сами левые партии не могли отрицать: на данный момент “Революция кончилась”. Нужна была Великая Война, чтобы снова ее подготовить»⁵. Сам-то Столыпин прекрасно понимал свою задачу, более того, его деятельность была как бы уроком и заветом интеллектуалам, которые могли попасть во власть.

В конце апреля 1906 года Столыпин объяснял западным корреспондентам причину появления военно-полевых судов: «Правительство — не цель, а средство. В чем состоит цель? Цель — порядок. Правительству, отказывающемуся защищать порядок, остается только уйти. Нормальный суд не имел в виду революционных периодов. Он установлен для карания обычных правонарушений, преступлений общего права. Для исключительных положений необходимы исключительные средства. При нынешнем строе вещей учреждение полевых судов не только объяснимо — оно необходимо. В любом государстве всякое правительство, которое не поставило себе целью общественный распад, поступило бы так же, как поступили мы. <...> Полевые суды считаются только с лицами, захваченными на месте преступления. Они судят лишь преступников, пойманных

⁴ То есть уже при советской власти.

⁵ *Маклаков В.А.* Вторая государственная дума. London: Overseas Publications interchange, 1991. С. 18.

с оружием в руках»⁶. Поразительно, что деятели Временного правительства, поступавшие предельно беспомощно, вопреки заветам Столыпина, не посмели арестовать и казнить большевиков, испугались движения на Петроград Корнилова, раздали оружие левым партиям, передав, в сущности, власть в руки большевиков, которые средствами не стеснялись. И их террор превзошел все мыслимые формы насилия. А дело в том, что Временное правительство боялось народа, боялось «человека с ружьем». Столыпин не боялся, пытаясь защитить «личность против поглощения ее волей народа»⁷.

Легендарная формула Столыпина «Не запугаете!» говорила о безусловной мужественности, готовности отдать за идею жизнь (не в меньшей степени, чем у революционеров, которые хвалились своей жертвенностью), именно жизнь он и отдал за свои идеи и деятельность. «Крупность Столыпина раздражала оппозицию», — писала Тыркова-Вильямс⁸. Но не только оппозицию, но и власть, и прямых врагов, и людей, живших вне реальности, вроде Льва Толстого, прятавшегося за благодушной идеей ненасилия. От взрыва на Аптекарском острове до пули убийцы в Киеве — он шел по краю гибели, каждую секунду, как и требовал Фауст, рискуя жизнью, ведя борьбу за свободу с нахлынувшим на Россию наводнением бунта, угаданным Пушкиным в «Медном всаднике», когда стихия чуть не погубила город Петра, дело Петра:

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна.

⁶ Беседа с П.А. Столыпиным 29 сентября 1906 г. // Столыпин П.А. Избранное: Речи. Записки. Письма. М.: РОССПЭН, 2010. С. 95.

⁷ *Вандалковская М.Г.* Историческая мысль русской эмиграции 20–30-х гг. XX в. М.: Институт русской истории РАН, 2009. С. 61.

⁸ *Тыркова-Вильямс А.* На путях к свободе. С. 346.

Как Фауст, Столыпин пытался обуздать стихию, отвоевывая у волн земельное пространство, на котором может свободно существовать человек.

Земельная собственность и свобода

Столыпин боролся за свободу лица, жертвуя за эту свободу жизнью. Одновременно с подавлением новой пугачевщины, *он начал бороться со второй страшной болезнью России — отсутствием в национальной ментальности представления о частной собственности.* Именно она и была причиной первой проблемы — массового разбоя. Даже дворянство чувствовало неуверенность в своей правоте владения собственностью, поскольку она была волевым актом Екатерины Великой. Собственность купцов и промышленников была целиком в лапах государства. Иван Грозный обирал купцов, когда ему было угодно, не говоря уж о церковных имениях. Отношение к купеческой собственности слишком ясно из «Ревизора» Гоголя. Именно отсутствие представления о праве на собственность и порождало бунты крестьян, не веривших в правоту дворянской собственности.

Но родилось это в результате длинной русской истории. Говоря об этом, я ставлю Столыпина не только в контекст современной ему действительности. Столыпин — фигура более крупная, такие люди рождаются раз в столетия. Чтобы его понять, нужен более длительный исторический период, нужно понять большое время. Я хочу напомнить, что и земельная реформа, и крепостное право — все это лишь детали его замысла. Струве писал: «Аграрная политика Столыпина кажется консервативной, но в существе своем она есть попытка перестроить Россию в самых ее глубинах»⁹.

⁹Струве П.Б. Что такое государственный человек? // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. С. 171.

Но дело не просто в перестройке. Дело в создании новой реальности. Дело в том, что в России до монгольского ига существовала частная собственность на землю.

Среди прочих проблем, характерных для любой юной культуры, Новгородско-Киевская Русь пережила татаро-монгольское нашествие и несколько столетий ига. Степь отучила наших предков трудиться на себя самих, ибо в результате татаро-монгольского ига в России устанавливается так называемое монгольское государственное право, по которому, как писал К.А. Неволин, «вся вообще земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью»¹⁰. Княжества не принадлежали князьям, которые за правом ими властвовать ездили в ханскую ставку за ярлыками. Земля принадлежала хану, а стало быть, в превращенном представлении крестьянина, — была ничья, Божья, т. е. общая. И это совпадало с тем, что у самих крестьян собственности никогда не было. Но и дружинная собственность не несла свободы даже еще до ига. Единственной реализацией свободы было так называемое право отъезда дружинника от одного князя к другому или уход крестьянина (вполне номадически) на другой участок земли. Далее, уже в Московской Руси, чтобы укрепить боярство, служилых людей, государство было вынуждено ввести крепостное право. Без земледельца земля не имела никакой цены, а крестьянин в любой момент готов был сняться с обжитого кусочка земли, тем паче что этот кусочек земля не был юридически закреплен за ним. Отсутствие частной собственности, ее психологическое неприятие, идущее от «монгольского права на землю», стало устойчивым в национальной ментальности. Более того, в Московской Руси возникает так называемая Внутренняя Степь (определение С.М. Соловьева), то есть воровские, разбойничьи шайки, терзавшие и опустошавшие страну, наподобие монголов.

¹⁰Неволин К.А. История российских гражданских законов // Неволин К.А. Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 4. СПб., 1858. С. 136.

Столыпин хотел сделать крестьянина собственником, тем самым как бы оправдав наделение Екатериной правом на земельную собственность дворян и уравнив в чувстве собственности крестьян с дворянами.

Но был еще важный момент российской ментальности, который хотел изменить Столыпин. Если до монгольского нашествия во внутренних ссорах и конфликтах, а также при общении с иноземцами, прежде всего с европейцами, с *немцами*, в случае какого-либо *разлюбья* существовали на Руси юридически зафиксированные, закрепленные в договоре, в праве, с т о и м о с т и «обид», «бесчестья», «побоев» и «человеческой жизни» (пусть за убийство холопа платили меньше, чем за убийство вольного человека, но платили), то за весь период татаро-монгольского ига никто и не помышлял о «чести», поскольку сама жизнь человеческая потеряла всякую цену. Отсюда и выросло то свойство нашей народной психеи, то равнодушие к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаадаева, так восхищает иностранцев, но при этом делает нас безразличными к случайностям жизни, вызывает безразличие и к добру и к злу, ко всякой истине. Однако, как не впервые показала история, именно на равнодушии к жизни индивидуума, на гордости этим равнодушием держится и крепнет любая деспотия.

Струве считал земельную реформу Столыпина продолжением Александровских Великих реформ: «С политическим “конституционализмом” Столыпина неразрывно связана была его земельная реформа, по своей идее и по своему значению явившаяся подлинным вторым освобождением, или раскрепощением русского крестьянства»¹¹. Выстрел Богрова как бы символически подтвердил эту преемственность, что заметил Розанов: «После кроваво-черного 1 марта Россия никогда еще не была так потря-

¹¹ *Струве П.Б.* П.А. Столыпин // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. С. 188.

сена как сейчас. Обстановка убийства перед глазами Монарха, в минуту величайшего воодушевления и ликования киевлян, при открытии памятника Александру II, убийства не моментального, а с трехдневной мукой страдальца, все это заставило вздрогнуть русские сердца и зануть старой болью, как после 1 марта»¹². Однако была деятельность Столыпина, как я хочу показать, чем-то более глубоким, глубинной перестройкой национальной ментальности. Он продолжил реформы, но перевел их в новый регистр, решив сделать народ воистину, а не только формально свободным. Равной этой идее в русской государственно-политической деятельности не было. Он четко показал на связь стихийных бунтов и отсутствия собственности: «Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который несомненно, хотя бы отчасти, питает смуту»¹³.

В той же знаменитой речи он произнес: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от

¹²Розанов В.В. К кончине премьер-министра // Розанов В.В. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.: Республика, 2011. С. 222.

¹³Столыпин П.А. Речь П.А Столыпина во II Государственной думе 10 мая 1907 г. // Столыпин П.А. Избранное. С. 126.

культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! (Аплодисменты справа)»¹⁴. Он не хотел пугать слушателей. В западных государствах на это потребовались столетия. Интересно сопоставить высказывание его бывшего наставника, профессора Д.И. Менделеева, близкого по взглядам Столыпину, с этими словами премьера: «Большинство жителей России находятся в таком же положении, в каком три или четыре столетия тому назад находилось большинство стран Западной Европы. Это положение вызвало там свои исторические события (религиозные войны, бунты, революции, Наполеона и т. п.) и такой напор к переселению, что Америка и берега Африки стали живо наполняться европейскими выходцами. Часть совершающихся у нас ныне событий, без сомнения, должно приписать такому же положению, в которое мы поставлены в настоящее время»¹⁵.

Отсюда и переселенческая политика Столыпина. Но Россию он пытался провести этим путем не за столетия, а за десятилетия. Только так полагал он возможным сделать ее жизнеспособным государством.

Это было бы истинным введением России в европейское пространство и препятствием для революций. Степун писал: «Ни как колонизатор, ни как крепостной, ни как общинный крестьянин не был русский сельский работник полным хозяином своего клочка земли (Scholle). Звучащее почти сакрально в немецком языке, это слово труднопереводимо на русский. Желание привить крестьянину чувство собственности по отношению к своему клочку земли было подлинным смыслом столыпинской реформы. Столыпин предпринял это после введения Николаем II конституционной монархии, с тем чтобы сделать крестьянина европейским земельным собственником и создать тем самым

¹⁴ *Столыпин П.А.* Речь П.А. Столыпина... С. 136.

¹⁵ *Менделеев Д.* К познанию России. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1906. С. 19–20.

оплот против революции. То, что эта задача была поставлена только в XX столетии, указывает на нерешенность этой проблемы русской историей»¹⁶.

Столыпин делает *невероятную* попытку перевести всю Россию в свободное состояние. Нужно ощутить этот контекст. Замечая, что главной задачей государства является укрепление «низов», потому что в них вся сила страны (их более 100 миллионов), он писал: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему блага личной свободы»¹⁷. Интересно, что тема свободы, которая рождается в производстве, уже звучала в русской публицистике. Двигатель общественного развития — это самостоятельная личность: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни, — писал Чернышевский. — Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе»¹⁸. Столыпин сознательно требует, чтобы перед нами на всем уровне — молекулярном уровне — было лицо. Владелец частной собственности имеет лицо; это не размазанный принцип жизни общины: «Один — за всех, и все — за одного», где никто ни за что не отвечает. Мы можем говорить, что общинное сознание было явлением, которое многое определяло в жизни России. Но опять же, как показали замечательные русские и

¹⁶ *Степун Ф.А.* Дух, лицо и стиль русской культуры // Степун Ф.А. Сочинения. С. 585–586.

¹⁷ Речь П.А. Столыпина в III Государственной Думе 16 ноября 1907 г. // *Столыпин П.А.* Избранное. С. 150–151.

¹⁸ *Чернышевский Н.Г.* Суеверие и правила логики // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 5. С. 695.

историки, и философы — Чичерин, Кавелин и другие — община была фискальным институтом, и, конечно, община, державшаяся на временно-обязанном труде, мешала развитию страны. Труд, направленный на приумножение своей собственности, перестает быть обязательным трудом. Много спустя после революции В.А. Маклаков полностью оценил великий смысл столыпинской попытки: «Существо Столыпинской реформы было одной из форм уравнивания крестьян с другими сословиями, распространением на них нашего общего права»¹⁹. Как видим, здесь транслируется идея Б.Н. Чичерина о постепенном наделении правами и собственностью всех сословий.

Антагонисты Столыпина

Д.И. Менделеев в книге «К познанию России» (1906) писал, что к 1930 году Россия будет на уровне передовых европейских стран, что совпадает со словами Столыпина, сказанными в 1909 году: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»²⁰. Близость в датах поразительная. Убийство Столыпина уничтожило возможность разумного европейского развития страны. Оппонентов у Петра Аркадьевича было много (не говорю о большевиках, которые ненавидели христианство и либерализм, понимали, что в основе реформ Столыпина лежат либеральные идеи, и были напуганы успехом столыпинских действий), тут надо назвать Льва Толстого, упрекавшего Столыпина в европеизме, в том, что он не умеет самостоятельно думать. Писатель, тоже, кстати, враг церкви и либеральных идей, утверждал, что цель премьера — в его законе, «имеющим целью оправдание

¹⁹Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М.: Московская школа политических исследований, 2011. С. 360.

²⁰Беседа с председателем Совета министров П.А. Столыпиным 1 октября 1909 г. // *Столыпин П.А.* Избранное. С. 209.

земельной собственности и не имеющим за себя никакого разумного довода, как только то, что это самое существует в Европе (пора бы нам уж думать своим умом)». Занятно, что письмо свое граф кончает угрозой переслать свое письмо в Европу: «Письмо это пишу я только вам, и оно останется никому не известным в продолжение, скажем, хоть месяц. С первого же октября, если в вашей деятельности не будет никакого изменения, письмо это будет напечатано за границей»²¹. Любопытно, что толстовское двоемыслие, вообще-то проявлявшееся во многом (скажем, выступая против книгопечатания, он постоянно издавал свои книги), здесь как-то особенно жалко и неприлично. Упрекая Столыпина в подражании Европе («пора бы уже думать собственным умом»), он тут же угрожает ему, что если премьер не откажется от своих намерений, то его письмо-инвектива «будет напечатана за границей». То есть в той Европе, которая вовсе не хотела, чтобы Россия превратилась в мощную европейскую державу. Вообще-то самым резким ударом по Столыпину и его реформе была статья Толстого «Не могу молчать» (1908), где всю деятельность премьера он объяснял его жалким тщеславием. Но уже «в эмигрантской публицистике, — как пишет современный исследователь, — были преданы гласности сведения о том, что, когда волна погромов докатилась до усадьбы писателя, он также не смог молчать: проявил осмотрительность и вызвал полицию для охраны»²².

А сам писал: «Не может существовать права одного, какого бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею, как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право

²¹ Толстой Л.Н. П.А. Столыпину. 1909 г. Августа 30. Ясная Поляна // Толстой Л.Н. Письма. 1882–1910. Т. XIX–XX. М.: Художественная литература, 1984. С. 675.

²² Сидорович Г.П. П.А. Столыпин: Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862–1911). С. 286.

пользоваться ею»²³. Но такое уже было в доисторический период, когда по земле бродили стада диких людей, а потом нечто подобное наблюдалось в монгольский период, когда земля лишь казалась ничьей.

Вот это монгольское право на землю перехватили большевики. Ведь в период послестольпинский, до прихода к власти большевиков, собственность на землю уже была создана. Они вернулись к монгольской системе землевладения. Земля стала государственная, т. е. ничья. Столыпинская реформа, естественно, была уничтожена на корню. Когда земля ничья, государственная, можно сделать с крестьянами все что угодно. Можно провести коллективизацию, индустриализацию, не обращая внимания ни на что, ни на кого. Реформы Столыпина — после реформ Александра II — были уникальной попыткой в истории России, попыткой человека, понимавшего, что он делает.

Когда пришли большевики и Ленин восстановил «монгольское право» на землю и монгольские принципы управления, Зинаида Гиппиус в «Черной книжке» записала о большевистской власти: «Что происходит с Россией. А происходит, приблизительно, то, что было после битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски — и пируют»²⁴. К этому стоит добавить иронические слова Бунина по поводу решения Западной Европы о невмешательстве «во внутренние русские дела»: «Да, да, это называется “внутренними делами”, когда в соседнем доме, среди бела дня грабят и режут разбойники»²⁵. Это ощущение на новом историческом витке прихода подобных татарам завоевателей, чужих не по крови, а по

²³Цит. по: *Сидоровнин Г.П.* П.А. Столыпин... С. 285.

²⁴*Гиппиус З.* Черная книжка // Гиппиус З. Дневники. Мн.: Харвест, 2004. С. 259.

²⁵*Бунин И.А.* Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 93.

ментальности, было очень сильным; это связано с тем, что большевики проводили в жизнь допетровские принципы. После революции стало особенно заметно, что Россия вернулась в допетровскую Русь. Вот, например, что писал Бунин: «Весь огромный город не живет. Сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги»²⁶. Русские оказались вдруг в абсолютной тьме Московской и даже домосковской Руси. Петербургская Россия была вся выкинута за пределы России.

Приход катастрофы

Русские писатели вполне определенно отреагировали на произошедшую со страной катастрофу. Независимо от политических пристрастий писатели и поэты определяли свою эпоху как время апокалиптически разбушевавшейся стихии, находя аналогии происходящему в бунтах Степана Разина и Емельяна Пугачева (поэмы С. Есенина, В. Хлебникова, В. Каменского и др.). Прислушаемся к названиям произведений и «красных», и «белых» писателей: «Взвихренная Русь» А. Ремизова, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Голый год» Б. Пильняка, «Рожденные бурей» Н. Островского, «Двенадцать» А. Блока, «Окаянные дни» И. Бунина, «Царство Антихриста» Д. Мережковского, «Черная книжка» З. Гиппиус, «Солнце мертвых» И. Шмелева, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Бич Божий» Е. Замятина, «Русская бездна» М. Волошина. Во всех этих названиях — ощущение смуты, охватившей страну, неуправляемых стихий, смертельных для человека, рождение нового и гибель старого мира, движение масс, новые двенадцать *разбойных* апостолов,

²⁶ Бунин И.А. Окаянные дни. С.107.

за стихийной жестокостью которых Блок провидит Христа (или Антихриста?)²⁷, то есть во всех этих произведениях чувствуется накал почти космической катастрофы. Даже тема Аттилы у Замятина характерна в этом контексте. В таком внешне нейтральном заглавии, как «Конармия» И. Бабеля, если вдуматься, скрыт тот же смысл — пробудившейся стихии. «Конармия» есть сокращение от «конной армии», т. е. ударной силы Степи, кочевников, варваров, вновь обрушившихся на цивилизацию городов. Сам Бабель, думается, именно так и понимал название своей книги. В его дневниковых записях периода, когда он был участником похода буденновской конницы, эта мысль выговорена впрямую: «Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть... к богатым, к интеллигенции, неугасимая ненависть»²⁸. Впрочем, все это можно было предвидеть, опираясь на опыт русской истории и культуры. И Столыпин это угадывал, и готов был свою жизнь поставить преградой надвигающемуся бунту.

Ответ Столыпина Толстому заслуживает подробного цитирования: «Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие “собственности” у крестьян создает все наше неустройство. <...> Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. <...> А бедность, по мне, худшее из рабств. <...> Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере

²⁷ См. об этом мою статью: *Кантор В.К.* Антихрист Владимира Соловьева и «Христос» Александра Блока // Соловьевский сборник. Материалы международной конференции: В.С. Соловьев и его философское наследие. 28–30 августа 2000 г. М.: Феноменология-Герменевтика, 2001. С. 145–156.

²⁸ *Бабель И.* Конармия. М.: Правда, 1990. С. 178–179.

наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным»²⁹. Здесь четко выраженное кредо, ясно и спокойно высказанное, совпадающее с мыслью всех мало-мальски беспокоившихся о мужике честных русских людей. А далее без малейшего самоуничижения слова человека, ежеминутно рискующего своей жизнью в отстаивании своих идей: «Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что я думаю и со-знаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. *Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем* (курсив мой. — В. К.)»³⁰.

Столыпин писал стоически-мужественно о том, что уже произошло, уже был взрыв в его доме на Аптекарском острове, когда террористы погубили тридцать ни в чем не повинных людей, ранили сто, среди них дочь и сына премьера. И вот этому герою Толстой пишет: «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот — вы сами»³¹. Столыпин был убит, победила толстовская уравниловка. Ленин ликовал, Толстой, по сути, был его союзник, ибо так же ненавидел и церковь, и государство, и Столыпина: «Умерщвление обер-вешателя Столыпина

²⁹ *Столыпин П.А.* Письмо Л.Н. Толстому. 23 октября 1907 г. // Столыпин П.А. Избранное. С. 144.

³⁰ Там же. С. 142—143.

³¹ *Толстой Л.Н.* П.А. Столыпину. 1909 г. Августа 30. Ясная Поляна. С. 673.

совпало с тем моментом, когда целый ряд признаков стал свидетельствовать об окончании первой полосы в истории русской контрреволюции»³². Удовольствие так и сквозит в словах человека, через семь лет залившего кровью всю Россию. Чтобы достигнуть огромной власти, писал Бунин, нужна «великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колону ходить в крови. Главное же надо лишить толпу “опиума религии”, дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота»³³. Как он и обещал, Ленин использовал отлучение Толстого для расправы над русской церковью и священниками³⁴. Бердяев очень жестко написал о Толстом как идеологе нигилизма и провокаторе революционаризма: «Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал народному и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем ее. В нем совершилась роковая встреча русского морализма с русским нигилизмом, и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих»³⁵.

Самые крупные противники Столыпина — Ленин + бесы-радикалы, царь, Лев Толстой, да еще хлыст Распутин. Хлыстовство победило христианское радио гениального премьерера. Скажем, для великого христианского мыслите-

³² Ленин В.И. Столыпин и революция // Ленин В.И. ПСС: В 55 т. М., 1961. Т. 20. С. 324.

³³ Бунин И. Миссия русской эмиграции // Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 132.

³⁴ Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах» (Ленин В.И. Л.Н. Толстой // В.И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Художественная литература, 1969. С. 221).

³⁵ Бердяев Н.А. Духи русской революции // Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 99.

ля В.С. Соловьева христианство опирается на разум: ссылка оппонентов на то, что их поддерживает народное мнение, не принимается Соловьевым: «Пусть откроют нам секрет, каким образом помимо развития сознания, помимо умственной просветительной работы можно воздействовать на сердце народа верующего, но темного, и по темноте своей способного совершать злые дела, принимая их за добрые? А пока этого секрета не откроют, приходится думать, что противоположение ума сердцу есть только соблазн лживого ума и испорченного сердца для обманчивого оправдания духовной немощи и умственной лени»³⁶. Но остановимся на фигуре монарха, поддержавшего, в конечном счете, Распутина в противовес Столыпину. Струве писал: «Рок и трагедия его состояли в том, что, отстаивая и укрепляя реформами монархию, Столыпин как борец и реформатор не имел в монархе той поддержки, в которой он нуждался. Сейчас об этом можно просто и прямо говорить как об историческом факте. В отличие от Вильгельма I, который с некоторым внутренним сопротивлением, но всецело отдался могучей воле Бисмарка, Николай II не сделал этого по отношению к Столыпину. <...> Во всяком случае Столыпин, прежде чем погибнуть от пули революционера-охранника, едва ли <не> изнемог в борьбе с монархом, что в его лице она выпала на долю не только убежденного, но и страстного монархиста»³⁷. Столыпин изгнал Распутина из Петербурга, император сожалел об этом, говоря, что его волнуют «слезы императрицы». И вернул его сразу после убийства премьера. Интересно, что убийца Богров, хотя рядом сидели Столыпин и император, стрелял все же в Столыпина, ибо Столыпин был главным противником русского бесовства.

³⁶ Соловьев В.С. О соблазнах // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. СПб., б. г. С. 21.

³⁷ Струве П.Б. П.А. Столыпин // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. С. 188–189.

Столыпин хотел сохранить Российскую империю. *Понимал*, как это сделать. Пишут: «Он был хороший оратор». Что значит хороший оратор? Это не человек с хорошо подвешенным языком. В отличие от тех, кто против него выступал, он ясно видел цель, он опирался на свое понимание русской культуры, он понимал, что говорит. Достаточно почитать его речи и речи его оппонентов. У оппонентов злое, раздраженное, почти слепое нападение на действия премьера, и жесткие, четкие, спокойные аргументы Столыпина. Заметим, что в публичной полемике достойно возразить ему никто не мог. Он переигрывал или переговаривал всех, но не криком и не властной угрозой. Переговаривал интеллектуально. Это был, действительно, единственный в России большой интеллектуал у власти, который позволил себе стать деятелем. Он готовил реформу русской церкви, понимая ее слабости, но не успел.

Лермонтов пророчествовал о грядущей катастрофе Российской империи: один из его родственников, премьер Столыпин, словно пытался преодолеть пророчество поэта:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать.

Предсказание, 1830

Последний же Романов словно нарочно пытался сделать все, чтобы пророчество Лермонтова исполнилось. Особенно губительной была его роль в отношении к христианству, к соединению веры и права.

Христианство не сработало

Что могло остановить разгул стихии? Формулировка этой проблемы Евг. Трубецким представляется мне едва ли не классической: «То анархическое движение, которое на наших глазах разрастается, не может быть остановлено никакой внешней, материальной силой. Вещественное оружие бессильно, когда падает в прах весь государственный механизм. Только сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему разложению, резне, грабежу, анархии общественной и правительственной. Христианство — та единая и единственная нравственная сила, перед которою у нас склоняются народные массы; иной у нас нет. И если русская демократия не определится как демократия христианская, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно»³⁸. Было одно «но». Народное неприятие как либерализма, так и христианства. У меня был в жизни довольно замечательный, я говорю как простец, извините, бытовой, но очень важный эпизод. Мы с моим близким другом ездили и обмеряли разрушенные русские церкви. Это была поездка по Поветлужью — не малый район. И что меня там поразило — церкви ломали без приказа сверху, ломал сам народ. Это говорит о чем? Отвечу — об абсолютной неукорененности в сознании народа идей христианства. Или точнее — либеральная христианская интеллигенция не была принята потому, что народ был не религиозным, не христианским. Может быть это и жесткий вывод, но я думаю, что справедливый.

Надо еще оценить роль самодержавия в этом процессе, силу более чем влиятельную. Начиналась эпоха массовых народных движений. Нужен был политический контакт церкви с народом, следовательно, священникам нужно было идти в народ. Некоторые и пошли. Классический пример —

³⁸ *Трубецкой Е.Н.* Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 301–302.

священник Гапон, организовавший шествие рабочих с хоругвями и петициями к царю 9 января 1905 года. Но надо было работать не только с народом, оказалось, что власть еще меньше готова к диалогу с народом в контексте христианского собеседования. Как следует из дневника императора Николая II, он знал о том, что готовится расстрел безоружного православного народа. Расстрел этого шествия поставил под вопрос возможность христианской политики. Народ спас Гапона, который произнес страшные слова, что царь убил веру в Бога. 12 января 1905 года в газете «Освобождение» (1905. № 64. С. 233) о событиях 9 января православный либерал П.Б. Струве написал: «Народ шел к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем. Все равно, кто он, надменный деспот, не желающий снизить до народа, или презренный трус, боящийся стать лицом к лицу с той стихией, из которой он почерпал силу, — после событий 22/9 января 1905 г. царь Николай стал открыто врагом и палачом народа. Больше этого мы о нем не скажем; после этого мы не будем с ним говорить. Он сам себя уничтожил в наших глазах — и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена никем из нас»³⁹. И в этой же статье он произнес слова, которые были по сути дела реализованы большевиками в подвале дома купца Ипатьева: «Не может быть споров о том, что преступление должно быть покарано и что корень его должен быть истреблен. Так дальше жить нельзя. Летопись самодержавных насилий, надругательств и преступлений должна быть заключена»⁴⁰.

³⁹ П.С. [Струве П.Б.]. Палач народа // Российские либералы: кадеты и октябристы (документы, воспоминания, публицистика). М.: РОССПЭН, 1996. С. 82.

⁴⁰ Там же. С. 82–83.

Столыпин почти изменил карму русского самодержавия, но самодержец отказался от него. А что же русские мыслители? Или их влияние было прежде всего интеллектуальным? А в общественно-политической жизни? Струве один из лидеров кадетской партии, по энергичности в русской жизни сравнимый разве с Лениным, Федор Степун — начальник политуправления военного министерства при Временном правительстве. Но они оказались бессильны. В отличие от Столыпина они пытались соединить революционность с законом. Да еще и воздействовать на народ как на христиан. Однако они-то были христиане, а народ не был христианским. Понятно это стало сразу после революций 1917 года.

Одну из точек зрения, ставшую потом весьма влиятельной, проговорил Федор Степун: «Большевики победили демократию потому, что в распоряжении демократии была только революционная программа, а у большевиков — миф о революции, потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею *встретились*, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая, связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях»⁴¹ (курсив Ф.А. Степуна. — В. К.). Иными словами, уже покинув Россию, не видя русского народа, Степун, по сути, высказал убеждение о религиозной стилистике русского народа, которая не переварила безбожия русских демократов и либералов: «Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики»⁴². Так ли было на самом деле?

⁴¹ *Степун Ф.А.* Жизнь и творчество. Избранные соч. / вступ. ст., сост. и коммент. В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 468.

⁴² Там же. С. 314.

Вспомним удивление и ужас русских христианских мыслителей, увидевших в революцию далекость народа от христианства. В 1918 году С.Н. Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. <...> Русский народ вдруг оказался нехристианским...»⁴³ Двойник, рожденный ментальностью великих русских писателей, оказался, как и положено двойнику, совсем не тем, за кого его принимали. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов, вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. <...> Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»⁴⁴. Достоевский задавался вопросом, сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия. Этот процесс закономерно завершился возникновением жесточайшей сталинской диктатуры. Вспомним, что антихрист является как двойник Христа, несущего свет и утешение. И в этой ситуации уже можно говорить о явлении антихриста, рожденного народной стихией, выступавшего от лица народа и его именем уничтожавшего русских интеллектуалов как «врагов народа». Евг. Шварц замечательно показал, что Тень

⁴³ *Булгаков С.Н.* На пиру богов // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.

⁴⁴ *Шаламов В.* Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 346.

погибает только после гибели Героя-ученого. Уничтожив российских интеллектуалов, народ подписал себе смертный приговор. Об этом сразу после революции сказал Розанов: «“Мужик-социалист” или “солдат-социалист”, конечно, не есть более ни “мужик”, ни “солдат” настоящий. Все как будто “обратились в татар”, “раскрестились”. Самое ужасное, что я скажу и что очевидно, — это исчезновение самого русского народа»⁴⁵.

Народ реально потерял веру в то, что христианство может стать помощником в социальных делах. Приведу опять наблюдения Евгения Николаевича Трубецкого, который, находясь в добровольческой армии, пишет, что вот вроде бы белое знамя, вроде бы идеи православия, но грабят и убивают наши добровольцы чудовищно — и дальше замечает: к тому, кто даст открытое разрешение на грабеж, пойдет весь народ. Большевики дали это разрешение на грабеж. Вспомним лозунг Ленина: «грабь награбленное». Или, как говорил Достоевский, кто разрешит кровь, тот и выиграет. Большевики разрешили кровь и выиграли. Думаю, в сознании пореволюционного Степуна произошла своеобразная аберрация. Он вернулся к мифу о религиозном народе и либералах, занятых материальными интересами. Как сегодня видится, дело обстояло точно наоборот. Либеральная христианская интеллигенция проиграла потому, что была слишком либеральной и слишком христианской. Народ ее не принял.

⁴⁵Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 313.

18. Георгий Федотов: фашизм и большевизм как борьба с разумом

Фашизм как умонастроение эпохи: гибель Европы

В истории мировой культуры, в человеческой истории, истории мысли существуют свои антиномии, которые по-разному проявляются в разные эпохи, оказывая влияние на социально-духовную и политическую жизнь, можно даже сказать, на жизнь и смерть человека. Также можно сказать, что в духовной жизни, определяющей в том числе и человеческую социальность, существует противостояние рационального и иррационального. Фашизм был явлением иррационализма в мировой истории. В этом контексте я и хочу показать идеи Георгия Федотова.

Стремление радикалов начиная с конца XIX века к опоре на магическое начало вполне еще иронически отметил чуткий к духовно-общественным веяниям Герцен: «Физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, *нам хочется алхимии, магии*, а жизнь и природа равнодушно идут своим путем»¹. Невероятное усилие русских писателей и мыслителей конца позапрошлого века по христианизации России было в значительной степени продиктовано испугом, причину которого указал Достоевский, предъявив читателям угрозу «беса» Петра Степановича Верховенского: «Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»

¹ Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. VI. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 24 (курсив мой. — В. К.).

Речь идет о восстании язычества против христианства, которое, как полагали русские мыслители начиная с Чаадаева, а уж с Соловьев тем более, основано на разуме, христианство и разум для которого были нераздельны. «Будучи решительною победою жизни над смертью, положительного над отрицательным, — писал Соловьев, — Воскресение Христово есть тем самым торжество разума в мире»². Об этом же и тревога С.Н. Булгакова, беспокоившегося о недостаточной укорененности христианства в русском народе: «Конечно, необразованный простолюдин совершенно бессилён отнестись критически и безоружен, как ребенок, пред наплывом новых учений. И с той же легкостью, с какой уверовали в неверие некогда его просветители, принимает и он безрадостную, мертвящую веру в неверие. Разумеется, не приходится преувеличивать *сознательности* (курсив мой. — В. К.) и прочности этой его старой веры (в данном контексте — православия. — В. К.), разлагающейся иногда от первого прикосновения»³. Удар «неоязычества» (т. е. большевизма) был силен, потому что народная вера, как показали русские богословы, включала в себя на равных правах веру в Христа и во всякую почвенно-языческую нечисть, т. е. существовало то, что называется *двоеверием*.

Язычество, которое, по соображению русских мыслителей, сохранялось не только в России, а также в Германии и других вроде бы цивилизованных странах, вполне доказало свою жизнеспособность и силу, девестернизируя и дегуманизируя европейское сознание. В это время Бердяев пишет знаменитую (переведенную на все почти европейские языки) работу «Новое средневековье» (1924), в которой говорится: «Рушатся старые системы государства и хозяйства,

²Соловьев В.С. Христос воскрес! // Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 37.

³Булгаков С.Н. Религия человекобожия в русской революции // Булгаков С.Н. Два града: исследование о природе общественных идеалов. М.: Астрель, 2008. С. 428.

и европейские общества вступают в эпоху, схожую с ранним средневековьем»⁴. Надо сказать, что Георгий Федотов, вскоре оказавшийся на Западе и ставший одним из ведущих публицистов Русского зарубежья, и в самом деле занимался этой проблематикой. Подчеркнем, что Федотов был человеком, чье образование имело весьма серьезный историко-философский фундамент. Он начинал свою творческую деятельность как исследователь средневековой религиозно-философской мысли (работы об Августине, Данте, средневековых культах). В 1924 году Федотов выпустил (еще в Советской России) книгу «Абеляр», из которой понятно его понимание роли разума в мировой культуре, выраженное через позицию французского мыслителя XII века. Он писал в этой книге о духе «рационализма, который был подлинной стихией Абеляра»⁵ (курсив Г.П. Федотова. — В. К.), и формулировал позицию Абеляра, по сути выразив свое собственное умонастроение: «Для Абеляра не может быть противоречия между разумом и верой, ибо разум коренится в Боге»⁶.

Гибель европейского рационального сознания в XX веке с наступлением фашизма в письме Карлу Кереньи констатировал Томас Манн: «Есть в современной европейской литературе какая-то злость на развитие человеческого мозга, которая всегда казалась мне не чем иным, как снобистской и пошлой формой самоотрицания. <...> С модой “на иррациональное” часто бывает связана готовность принести в жертву и по-мошеннически отшвырнуть достижения и принципы, которые делают не только европейца европейцем, но и человека человеком»⁷. Артур Кёстлер

⁴ Бердяев Н.А. Новое средневековье // Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: АСЕ, Астрель, 2011. С. 624.

⁵ Федотов Г.П. Абеляр // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. I. М.: Мартис, 1996. С. 273.

⁶ Там же. С. 260.

⁷ Манн Т. Письма. М.: Наука, 1975. С. 61–62.

написал в своей автобиографии: «Я родился в тот момент (1905 год. — В. К.), когда над веком разума закатилось солнце»⁸. И вправду — уже недалеко было до фашизма и национал-социализма. Гуссерль именно в закате разума увидел первопричину европейского кризиса: «Чтобы постичь противоестественность современного “кризиса”, нужно выработать *понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума*; нужно показать, как европейский “мир” был рожден из идеи разума, т. е. из духа философии. Затем “кризис” может быть объяснен как *кажущееся крушение рационализма*. Причина затруднений рациональной культуры заключается, как было сказано, не в сущности самого рационализма, но лишь в его *овнешнении*, в его извращении “натурализмом”. <...> Есть два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство или же возрождение Европы в духе философии благодаря окончательно преодолевающему натурализм героизму разума»⁹ (курсив Э. Гуссерля. — В. К.).

Но разум терпел поражение и на Западе, и в России. А теперь приведу слова Федотова: «Свобода пошатнулась в мире потому, что пошатнулась вера в истину и в разум как орган ее познания. Первыми предали свободу не массы, а культурная элита, с конца XIX века увлекаемая потоком иррационализма. <...> В безрелигиозной культуре, изверившейся в силу разума, чем может определяться живая активность? Инстинктом и слепой волей. Таково было трагическое мироощущение Ницше. Но задолго до него Маркс нанес сильнейший удар разуму в своем отрицании объективной, сверхклассовой истины. Маркс и Ницше ца-

⁸ *Koestler A. Arrow in the blue: an autobiography. New-York: Macmillan Co., 1952. P. 9.*

⁹ *Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 115.*

рят над современностью как ее темные пророки, вызвавшие иррациональные бури сперва в царстве духа, потом в царстве политической воли. Их торжество в современном мире означает взрыв темного энтузиазма, и этот энтузиазм оказывается окончательно губительным для свободы, уже подточенной червем сомнения»¹⁰. Это и означало закат Европы. Наступил XX век, эпоха магическая, эпоха языческого безумия, безграничных диктатур, когда идея подменялась словом-заклятием, которое давала власть над вошедшими в историю массами. Этот магизм эпохи наступавшей эпохи чувствовали многие. Но достаточно сослаться на Шпенглера, признанного эксперта закатных эпох, который даже в современной ему естественно-научной мысли почувствовал магию: «Обратим теперь внимание на то, каким образом сознание отдельных культур духовно уплотняет первоначальные *пупіпа*. Оно обкладывает их полными значения словами, *именами*, и заколдовывает — понимает, ограничивает — их на этот лад. Тем самым они подчиняются духовной власти человека, который имеет в своем распоряжении имена. А уже было сказано, что вся философия, все естествознание, все, так или иначе связано с “познанием”, есть в глубочайшей своей основе не что иное, как бесконечно утонченный способ *применять к “чуждому” магию слова первобытного человека*. Произнесение правильного имени (в физике правильного понятия) есть заклятие. Так возникают божества и научные основные понятия — прежде всего как имена, к которым зывают и с которыми связывается некое приобретающее все большую чувственную определенность представление»¹¹ (курсив О. Шпенглера. — В. К.). Этот магизм обеспечивал вну-

¹⁰Федотов Г.П. Восстание масс и свобода // Федотов Г.П. Защита России. Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 83.

¹¹Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 591.

треннюю, глубинную связь между носителями высокой духовности и массой, низводя элиту до массы.

О влиянии оккультизма на нацизм сегодня пишут многие. Но первое художественно-аналитическое исследование на эту тему — роман Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак» (1943), который в рукописи назывался «Чудотворец». Там описано столкновение людей с разными типами мышления — человека разума Пауля Крамера и мага, кудесника Оскара Лаутензака, который становится советником Гитлера. Крамера, как носителя разума, нацизм не приемлет и уничтожает. Однако Оскара Лаутензака из политических соображений (слишком много узнал) тоже убивают. И все же кончается роман словами, говорящими, по сути, о том, что магизм торжествует: «За день до открытия академии оккультных наук все газеты поместили на первой странице под жирными заголовками сообщение о том, что Оскар Лаутензак зверски убит. При нем было большое кольцо, знакомое сотням тысяч людей, побывавших на его выступлениях, были драгоценности и деньги, но его не ограбили. Очевидно, убийство совершено по политическим мотивам. Оскар Лаутензак был для “красных” представителем национал-социалистской идеологии: они убили его из-за угла.

Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны за государственный счет. Гроб провозжала огромная толпа, несли много знамен и штандартов, оркестр исполнял траурные мелодии.

Сам Гитлер произнес речь на могиле Оскара Лаутензака.

— Это был один из тех, — провозгласил он взволнованным голосом, — кто колокольным звоном — музыкой души своей — возвещал становление создаваемой мною новой Германии».

Федотов замечал: «Для темной религии нового язычества гибель не страшна. <...> Юный наци го-

тов погубить Германию, если вместе с ней погибнет ненавистная Европа»¹².

Конечно, фашизм выводит страны, попавшие в его водоворот, за пределы Европы, но они опасны и для Европы, ибо связаны с ней кровно. Приведу слова Федотова: «Всем прошлым своим связанные с Европой Германия и Россия, по крайней мере сейчас, остаются вне Европы как духовно-политического единства. Фашизм не совместим с традициями старой Европы, — более того, он для нее смертелен»¹³. Он не раз замечал, что этот морок охватил многие страны и не имеет локально национального смысла, это имя охватывающее разные культуры: «Имя “фашизм” создано в Италии и не принимается германскими наци, а тем более коммунистами. Но если согласиться употреблять его в широком смысле, обнимающем хотя бы Италию и Германию вместе, то всякое определение фашизма, которое могло бы быть органически выведено из анализа нового строя этих двух стран, неизбежно покроет все тоталитарные режимы нашего времени. Возьмем политический строй, столь характерный для фашизма и небывалый в истории: соединение единоличной диктатуры вождя, единой правящей партии и пассивно-революционного возбуждения масс, непрерывно поддерживаемого аппаратом партии. Эта система создана, конечно, Лениным и воспринята всеми его соперниками — учениками»¹⁴.

Самое страшное состояло в том, что фашизм и нацизм были поддержаны многими русскими изгнанниками. Так, весьма искренний историк-эмигрант С.С. Ольденбург писал П.Б. Струве в 1922 году: «Деятельность фашистов

¹² Шпенглер О. Закат Европы... С. 83—84.

¹³ Федотов Г.П. Новое отечество // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IX / примеч. С.С. Бычкова. М.: Мартис, 2004. С. 32.

¹⁴ Федотов Г.П. Как бороться с фашизмом? // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IX / примеч. С.С. Бычкова. М.: Мартис, 2004. С. 72.

является огромным благотворным фактором — каковы бы ни были отдельные проявления. Это “революция” только по приемам, — вроде того, как Вы писали, что и русское белое движение должно было стать революционным по методам; — так вот фашисты сумели!»¹⁵ А русский эмигрант Иван Ильин в 1933 году пытался оправдать нацизм как антитезу большевизму: «Что сделал Гитлер? Он оставил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе»¹⁶. Он писал: «Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем рассказам “очевидцев”, всем пугающим предсказателям. Леворадикальные публицисты чуть ли не всех европейских наций пугают друг друга из-за угла национал-социализмом и создают настоящую перекличку ненависти и злобы. К сожалению, и русская зарубежная печать начинает постепенно втягиваться в эту перекличку; европейские страсти начинают передаваться эмиграции и мутить ее взор»¹⁷. Надо сказать о советофильстве Германии 1920-х годов не раз писал и Степун. Но, в отличие от Ильина, он находил в нацизме слишком много схожего с большевизмом. Позиция Ильина была не приемлема для него по многим причинам. И первую он проговорил отчетливо и повторил не раз: «С занятой мною точки зрения освобождение родины хотя бы и вооруженной рукой дружественного государства надо считать лишь в принципе допустимым, фактически же всегда и очень опасным и маложе-

¹⁵ Из писем С.С. Ольденбурга П.Б. Струве // Политическая история русской эмиграции. 1920—1940 гг. Документы и материалы. М.: Владос, 1999. С. 129.

¹⁶ *Ильин И.А.* Национал-социализм. Новый дух. I // Возрождение, Париж, 1933, 17 мая. <http://iljinru.tsygankov.ru/works/vozt170533.html>

¹⁷ Там же.

лательным. Не революционное минирование своей родины и не подготовка интервенций является поэтому главной задачей эмиграции, а защита России перед лицом Европы и сохранение образа русской культуры. К сожалению, старая русская эмиграция успешно исполнила лишь эту вторую задачу. Нет сомнения, что все созданное ею в научной, философской и художественной сфере со временем весьма ценным вкладом прочно войдет в духовную жизнь пореволюционной России»¹⁸. Более того, Россия и Германия, полагал он, слишком тесно сплелись в этих двух революциях — от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует идеи Геббельса о том, что «Советская Россия самую судьбою намечена в союзнницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой «еврейское учение Карла Маркса» уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского “панславизма”»¹⁹.

Национализм как основа фашизма

Но вроде бы была разница, и принципиальная, для многих. Я имею в виду интернационализм большевиков и национализм нацистов. В статье 1933 года Степун писал: «Национал-социализм страшнее большевизма», потому что Германия встала против всего мира: «В большевизме есть всемирность и потому острый соблазн для народов

¹⁸ *Степун Ф.А.* Родина, отечество и чужбина // Новый журнал. Нью-Йорк. 1955. Кн. 43. http://www.krotov.info/lib_sec/18_s/ste/pun.htm

¹⁹ *Степун Ф.* Письмо из Германии. (Национал-социалисты.) // Степун Ф.А. Сочинения / сост., вступ. ст., примеч. и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 890.

всех материков. Ничего подобного в национал-социализме нет. Кого кроме немцев может увлечь идея превосходства германской расы над остальными»²⁰. Однако он же добрую треть своей книги 1934 года *Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution* («Лик России и лицо революции») посвящает анализу того, что ленинизм явился, по сути, националистической переделкой теории Маркса. Иными словами, интернационализм большевиков вполне переверсный. Но в такой парадигме развивалась русская культура. Скажем, о национализации христианства в православии, превратившей православие в почти языческую национальную веру, отталкивавшую Россию от Европы писали русские мыслители от Чаадаева до Федотова. Русский эмигрант Яновский вспоминал о Федотове: «Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который, в основном, признавал ответственность православия за Русскую историю»²¹. Ту историю, которая привела к большевизму. Не случайно, националистические токи пронизали весь российский организм: от ненависти к немке-царице до переименования в Петроград Санкт-Петербурга и богатых, ставших буденовками. Для И. Бунина («Окаянные дни») и И. Шмелева («Солнце мертвых») революция и гражданская война — это восстание «орды», «дикарей», «готтентотов» и т. п. Хотя «дикари» клянутся книжной теорией Маркса, европейская книга, да и вообще Европа — под подозрением. Революционный почтмейстер в «Солнце мертвых» И. Шмелева рычит: «Никакой границы нету! одни контриционеры... мало вам писано? Будя, побаловали...» Все европейское моментально объявляется буржуаз-

²⁰ *Степун Ф.А.* Германия «проснулась» // Степун Ф.А. Жизнь и творчество / вступ. ст., сост. и коммент. В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. С. 619.

²¹ *Яновский В.* Поля Елисейские. Книга памяти. М.: Астрель, 2012. С. 93.

ным. Напомню слова Максима Горького, ошеломленного Октябрьской стихией: «В этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии»²².

Но примерно то же самое видел Камю в фашизме и нацизме, что еще раз подчеркивает фантастическую близость российского большевистского удара по разуму этим движениям: «Фашистские перевороты XX в. не заслуживают названия революций. Им не хватало универсальных притязаний. Разумеется, и Гитлер, и Муссолини стремились к созданию империй, а идеологи национал-социализма недвусмысленно высказывались о планах мирового господства. Их отличие от теоретиков классического революционного движения состояло в том, что они избрали и обоготворили иррациональную часть нигилистического наследия, отказавшись обожествить разум. И тем самым отреклись от универсальных притязаний. Это не помешало Муссолини ссылаться на Гегеля, а Гитлеру — считать своим предшественником Ницше, но не подлежит сомнению, что они воплотили в истории лишь некоторые из пророчеств немецкой идеологии. И в этом отношении они принадлежат истории бунта и нигилизма. Они первые построили государство исходя из идеи, что ничто на свете не имеет смысла и что история — всего лишь случайное противоборство сил»²³. Камю, как и Степун, разделяет тоталитарные идеологии, возникшие на национальных и интернациональных идеях. Но бунт — это всегда отсутствие разума, в какие бы одежды он ни рядился. Более того, любой тоталитаризм, в том числе и большевистский, всегда строится не на разуме, а на лжи.

²² *Горький М.* Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990. С. 99.

²³ *Камю А.* Бунтующий человек // Камю А. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 255.

Это довольно внятно, пройдя сталинские лагеря, Вторую мировую войну, нацистскую депортацию, принудительную работу остарбайтером, избежавший депортации в Советскую Россию, озвучил русский мыслитель Николай Ульянов. У него было время увидеть многое изнутри, выжить и попытаться осмыслить увиденное. Он писал, что особенность тоталитаризма «не во всепроникающей, всеобъемлющей роли государства, не во властвовании ради власти, что, в сущности, не ново, а в наличии *идеи*, руководящей государством. Тоталитарный режим — это, прежде всего, идеократия. <...> Логика всякого национального государства есть логика тоталитаризма. Где “национальная идея” — там ложь, где ложь — там принудительное ее распространение (ибо лжи добровольно не принимают), а где принуждение — там соответствующий аппарат власти»²⁴ (курсив Н.И. Ульянова. — В. К.). Причем идея, как понятно, может быть иррациональной, особенно националистическая идея. А далее Ульянов показал, что якобы интернационалисты большевики сделали «во время последней войны уступку патриотическому чувству народа. Они облекли этот патриотизм в чернотенные формы и сделали ненавистным всем скольконибудь культурным русским людям»²⁵.

Важно рассмотреть позицию Эрнста Юнгера, выдающегося представителя так называемой консервативной революции, вступившего в конце 1930-х годов в конфликт с нацистским государством, но до этого успевшего создать, по сути, метафизику национал-социалистического государства. Уже в 1923 году он писал о грядущей националистической революции: «Ее идея — идея почвенническая (*völklich*), заточенная до невиданной прежде остроты, ее

²⁴Ульянов Н.И. «Патриотизм требует рассуждения» // Русские философы (конец — середина XIX — XX века): Антология. Вып. 3. М.: Книжная палата, 1996. С. 23.

²⁵Там же. С. 27.

знамя свастика, ее политическое выражение — сконцентрированная в одной точке воля, диктатура! Она заменит слово делом, чернила — кровью, пустые фразы — жертвами, перо — мечом»²⁶. В 1927 году он соглашается с Гитлером, что «сама национал-социалистическая идея должна приобрести такую глубину и такое значение, чтобы только она и никакая другая была признана в качестве германской идеи»²⁷. И, наконец, в 1929 году формулировка Юнгера приобретает окончательную завершенность: «Национализм, поскольку он подразумевает *политическое* решение, стремится к созданию национального, социального, вооруженного и авторитарного государства всех немцев»²⁸ (курсив Э. Юнгера. — В. К.). Страсть и энергия, как видим, фантастические. Поскольку Юнгер отвергал возражения «*либеральных еврейских публицистов*», как чуждых почвенному «германскому духу», то возразить ему должен был немец.

И немец Степун, прошедший опыт русской революции, отмечая, что в текстах Юнгера он имеет дело с «глубокими и честными страницами»²⁹, тем не менее уже в 1930 году выстраивает систему весьма серьезных возражений. Он констатирует позицию Юнгера, который «пророчествует о том, что мы только еще вступаем в эпоху небывалых жестокостей, и, забыв о кресте, восторженно призываем к мечу, который правдивее и миролюбивее... трусости. Его последние слова — родина и жертвоприношение»³⁰. И возражает:

²⁶ Юнгер Э. Революция и идея // Юнгер Э. Националистическая революция / пер., сост., коммент. и послесловие А.В. Михайловского. М.: Скимень, 2008. С. 10.

²⁷ Юнгер Э. Национализм и национал-социализм // Юнгер Э. Там же. С. 117.

²⁸ Юнгер Э. «Национализм» и национализм // Юнгер Э. Там же. С. 164.

²⁹ Степун Ф. Германия // Степун Ф.А. Сочинения. С. 873.

³⁰ Там же.

«В этих мыслях Юнгера таится темный соблазн. Корень в трагическом непонимании того, что для осуществления религиозного подвига, именуемого жертвоприношением, мало приносимого в жертву существа и алтаря; что необходима еще и живая вера в Бога. Родина может быть алтарем, на котором мы приносим себя в жертву Богу. Но она не может быть Богом. Утверждение родины в достоинстве Бога равносильно отрицанию Его, а тем самым превращению алтаря не только в простой стол, но, что гораздо хуже, в ту плаху, которою обыкновенно кончают исповедники религии патриотизма. Возможность такого превращения, такого национал-социалистического коммунизма наизнанку явно чувствуется в книге Юнгера»³¹.

Надо сказать, что друг Степуна, великий теолог Пауль Тиллих, писал еще более жестко о подобных поворотах мысли: «Язычество можно определить как возвышение конкретного пространства на уровень предельной ценности и достоинства. В языческих религиях есть бог, власть которого ограничивается строго установленным местом. <...> Лишь когда один Бог — исключительно Бог, безусловный и не ограниченный ничем иным, кроме Себя Самого, только тогда мы имеем дело с истинным монотеизмом, и только тогда разрушается власть пространства над временем»³². Тем не менее, несмотря на опыт гитлеризма, в который он было поверил поначалу, изгнанный нацистами в 1934 году из Германии русский философ Иван Ильин попытался найти оправдание национализму, сопрягая несопрягающееся, изображая национализм (по крайней мере русский) тесно связанным с разумом: «Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры, что верить надобно в Бога, а не в земные состояния. Россия перед лицом Божиим, в Божьих

³¹ Там же.

³² *Тиллих П.* Теология культуры // Тиллих П. Избранное: Теология культуры / гл. ред. и сост. С.Я. Левит. М.: Юрист, 1995. Ч. I. С. 258.

дарах утвержденная и в Божьем луче узренная — есть именно предмет веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной»³³.

Эта позиция уже была заявлена, но честнее. Ибо Тютчев прекрасно понимал, что вера в место не совместима с разумом:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Нередко тютчевский катрен соотносили и соотносят с известной фразой германского «железного канцлера» Отто фон Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими». Правда, эту утешительную для русского самолюбия фразу Бисмарк продолжил иронически, хотя и в духе *непонимания России умом*: «На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Бисмарк знал Россию, был здесь послом, часто употреблял в трудные минуты волшебное русское слово, обращаясь к себе: «Ничего, Бисмарк, ничего». В том смысле, что выкрутимся. По легенде, это слово сказал ему ямщик, когда их застиг в степи буран. Надежды не было никакой. Но ямщик сказал: «Ничего, барин, ничего. Выберемся». И выбрались. Ни логике, ни умению возницы это спасение не соответствовало. Просто вера, как у Тютчева. Классическое русское «как-нибудь».

Ничего не может поэт найти утешительного, кроме смиренности и долготерпенья, ибо не в состоянии понять *смысл* существования России. Тем более «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный...» Только почвенно, кровно сросшийся с Россией поэт может не осознать, нет, это невозможно, — но *почувствовать нечто*, а потому и поверить. «Верую, ибо абсурдно» (слова, приписываемые

³³Ильин И. О русском национализме. М.: Российский Фонд Культуры, 2007. С. 15.

Тертуллиану), — было сказано на заре «темных веков». Однако так верили в ту эпоху в Бога, как Непостижимого. Позже западная теология доработалась до веры через разум, и начиная с Августина уже звучало: «Верю, чтобы понимать». Но у Тютчева вообще происходит коренная подмена: *вера не в Бога, а в место*. То есть вера в место, в Россию, как и подтвердил Ильин, как в «предмет веры». А это уже чисто языческая локализация веры, требующая магических обрядов, что чревато определенными последствиями, ибо, как писал Г.В. Флоровский, в национализме славянофилов «создается своего рода магическая философия истории»³⁴.

Федотов, разумеется, понимал, что дело «в болезни национального сознания»³⁵, но отмахнуться от этой болезни нельзя, и он был беспощаден в оценке национализма, который, на его взгляд, самое страшное явление и для России, и для Европы, продуцирующее фашизм: «Есть доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. <...> Но сам фашизм является скорее порождением националистической горячки, чем ее отцом»³⁶. Замечу, что Ханна Арендт видела в тоталитарных пандвижениях (в том числе в нацизме и большевизме) пробуждение племенного национализма, трайбализма.

Для Федотова было ясно одно: «Вчера можно было предсказывать грядущий в России фашизм. Сегодня он уже пришел. Настоящее имя для строя СССР — национал-социализм. Здесь это имя более уместно, чем в Германии, где Гитлер явно предал национал-социалистическую идею. Сталин, изменяя коммунизму, становится национал-социалистом,

³⁴ Флоровский Г.В. Вечное и преходящее в учении русских славянофилов // Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 51.

³⁵ Федотов Г.П. Сумерки отечества // Федотов Г.П. Россия, Европа и мы. Paris: YMCA-PRESS, 1982. С. 145.

³⁶ Федотов Г.П. Новое отечество. С. 28.

Гитлер, изменяя себе, превращается в вульгарного националиста. Во всяком случае кровное родство между фашистской группой держав, включая Россию, несравненно сильнее их национальных отличий. <...> Национализм торжествует во всем мире: в демократиях, в фашистских государствах и в псевдо-коммунистической псевдореспублике. <...> В фашизме он агрессивен <...> принимает форму социальной религии, требующей человеческих жертв»³⁷.

Россия всегда воспринималась как историко-культурное образование, губительное для западной Европы. Но никто не ожидал, что Россия использует западные идеи для создания снаряда, губительного для всей европейской культуры: «Октябрь был *первым* в истории опытом *политического фашизма*, который из орудия коммунистической революции стал формой буржуазной реакции в половине Европы. <...> Не одна Россия, а весь мир может благодарить Ильича за создание фашистской системы государства. Сравнительно с тем страшным разрушением, которое производит фашизм в системе культуры и духовного строя личности, второстепенное значение имеет вопрос об экономической системе фашизма: в интересах каких классов, пролетариата, буржуазии или средних слоев, используется чудовищный аппарат тоталитарного государства. *Здесь перед нами один из тех случаев, когда форма важнее содержания* (курсив мой. — В. К.). Как при оценке инквизитора мало значения имеет его *credo*, Торквемада это или Дзержинский, так и при оценке фашизма идеология и политическая родословная диктатора отходит на задний план. Фашистская система, созданная Лениным (и названная им советской), оказалась непревзойденной, во всяком случае в издании его преемника. Все иностранные копии оказались уже смягченными»³⁸.

³⁷ Федотов Г.П. Новый идол // Федотов Г.П. Тяжба о России. Paris: YMCA-PRESS, 1982. С. 183–184.

³⁸ Федотов Г.П. Октябрьская легенда // Федотов Г.П. Защита России. Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 151–152.

Соратник Федотова по «Новому Граду» Степун тоже чувствовал, как Германия скатывается туда, куда уже скатилась Россия, — «в преисподнюю небытия». В 1931 году он писал своему другу Густаву Кульману: «При помощи теории Ничше и Бахофена, теории мифа и органического мышления, насаждается среди немецких народных учителей такой тупоумный шовинизм, что становится прямо-таки страшно за судьбу Германии и человечества. Насаждается сознательное, натуралистическое язычество, метафизическое мышление принудительно отделяется от этического, государство изображается как мистерия крови, история преподносится в мифически-патриотическом порядке. Главы истории Рейн, восточная граница и немецкие меньшинства. Такая помесь Ничше и Иловайского, мифа и провинциальной оперы, что прямо-таки дышать нечем. И это все забивается в головы народных учителей в порядке принудительного слушания философских курсов. Решительно иной раз кажется, что Германии, при всех ее великих дарах, не дано дара политической мысли»³⁹. Он видел и писал, что обе идеократии пытаются разрушить христианство, создавшее когда-то европейскую культуру. Только непонятно, что страшнее для христианства. Он фиксирует это различие: «Государственная власть России вскрывает раки с мощами, налаживает скоморошьи потехи вокруг алтарей, взрывает церкви, расстреливает священников; а государственная национально-социалистическая партия Германии развешивает по церквям флаги со свастикой, полупринудительно насаждает “коричневое, солдатское христианство” и проповедует Христа как арийца, восставшего против еврейского закона Моисея»⁴⁰.

³⁹Columbia University Libraries, Bakhmeteff Archive. Ms Coll Zernov. Box 9. Stepun, Fedor Avgustovich. To Maria and Gustave Kullmann.

⁴⁰Степун Ф. Христианство и политика // Степун Ф.А. Сочинения. С. 399.

Тема антисемитизма

О. Сергей Булгаков так определял господствовавшую в нацистской Германии историософию Розенберга: «В связи с крайним антисемитизмом, свойственным всему современному германизму, здесь утверждается полный разрыв Ветхого и Нового завета»⁴¹. Ариец Христос против еврея Моисея! Это была попытка нацистов найти якобы «христианское» объяснение своему антисемитизму. Но для русских изгнанников расизм и антисемитизм — откровенные враги христианства. Стоит еще раз сослаться на текст Булгакова. В статье «Расизм и христианство», созданной в 1941—1942 годах, он писал: «Расизм есть послехристианское и постольку и антихристианское язычество, в котором Христос заменяется нео-Вотаном, а почитание Богоматери — человекобожеским культом крови. Немецкая кровь есть бог расизма, этого нового язычества»⁴². В этом контексте русские христианские мыслители видели всечеловечность (в идеале) еврейства как божественной задачи: «Своим избранничеством народ Божий не исключается, но включается во все человечество, как самая его сердцевина и средоточие»⁴³.

Так случилось в мировой истории (христианский и мусульманский ареал), что развитие этих ареалов определялось и позиционировало себя по отношению к еврейству. В XX веке актуальность этой темы доказал (от противоположного) Холокост. Шесть миллионов уничтоженных в лагерях смерти евреев есть факт, который игнорировать нельзя. Ни один народ не подвергался такому тотальному уничтожению просто за то, что был именно этим, а не другим народом. В каком-то смысле это напоминало языческие

⁴¹ *Булгаков С. прот.* Христианство и еврейский вопрос. Paris: YMCA-Press, 1991. С. 20.

⁴² Там же. С. 54.

⁴³ Там же. С. 42.

жертвоприношения. И жертвой был выбран народ, который попытался вывести человечество за пределы племенного язычества. Ханна Арендт писала: «Понимание <...> означает непредвзятую, собственную готовность встретить реальность, какой бы она ни была. <...> В таком плане следует воспринять и понять тот ошеломляющий факт, что столь незаметное (а в мировой политике и столь незначительное) явление как “еврейский вопрос” и антисемитизм, могло послужить катализатором сначала нацистского движения, затем мировой войны и, наконец, учреждения “фабрик смерти”. <...> Это правомерно и относительно любопытного противоречия между циничным “реализмом”, провозглашаемым тоталитарными движениями, и их бросающимся в глаза пренебрежением ко всем моментам реальности»⁴⁴. Пренебрежение реальностью и есть своего рода ритуальный магизм. Магическое жертвоприношение как элемент националистического самоутверждения.

Не случайно Федотов обращал внимание на губительность для еврейства фашизма: «Фашизм есть движение национальной и социальной революции, обращенное против всей культуры XIX века, особенно против интеллектуализма и либерализма. Каждый из этих моментов несет угрозу еврейскому народу»⁴⁵. Ханна Арендт замечала, что в новое время любая революция, любой тоталитаризм начинается с антисемитизма. Впоследствии отрицавший еврейство Ницше, однако, в средний период своего творчества писал, что в средние века еврейство спасло Европу от мусульманской угрозы, создавая интеллектуальную защиту европейских ценностей. Он писал: «В самую темную пору средневековья, когда азиатские тучи тяжело облегли

⁴⁴ *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 30.

⁴⁵ *Федотов Г.П.* Новое на старую тему. К современной постановке еврейского вопроса // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IX / примеч. С.С. Бычкова. М.: Мартис, 2004. С. 8.

Европу, именно иудейские вольнодумцы, ученые и врачи удержали знамя просвещения и духовной независимости под жесточайшим личным гнетом и защитили Европу против Азии; их усилиям мы по меньшей мере обязаны тем, что могло снова восторжествовать более естественное, разумное и во всяком случае немифическое объяснение мира и что культурная цепь, которая соединяет нас теперь с просвещением греко-римской древности, осталась неповрванной. Если христианство сделало все, чтобы овосточить Запад, то иудейство существенно помогало возвратной победе западного начала; а это в известном смысле равносильно тому, чтобы сделать задачу и историю Европы *продолжением греческой задачи и истории*»⁴⁶ (курсив Ф. Ницше. — В. К.).

Об этом же писал и Федотов: «Подобно римскому католицизму, подобно (увы, столь хилому) культурному единству “республики ученых”, еврейство было одной из немногих сил, которыми держалось единство европейской культуры. Когда какая-либо нация хочет насильственно оборвать все связи, которые соединяют ее с человечеством, она прежде всего находит евреев и мстит им»⁴⁷. Об этой необычайной, но чрезвычайно важной роли еврейства в становлении европейской культуры по разным причинам стараются не помнить. Хотя все антиевропейские движения рано или поздно приходили к антисемитизму. Пожалуй, прежде всего потому, что европейская культура как культура, обнимающая все национальности, в каком-то смысле наднациональная, и без того ненавистна националистам всех мастей. Если же к этому прибавится роль еврейства в ее сохранении, к ненавистникам европеизма присоединятся еще и антисемиты. Но, с другой стороны, они и так ненавидят европеизм, пытающийся вычленил из первобытной массы Лицо, Лик, челове-

⁴⁶ Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 448—449.

⁴⁷ Федотов Г.П. Новое на старую тему. С. 8.

скую личность. А именно личность в XX веке стала, может быть, наиболее страдательным элементом исторического процесса. По словам Алданова, «история предоставила расизму выбор между анекдотом — и кровью»⁴⁸. Расизм, как мы знаем, выбрал кровь. Более того, в ненависти к евреям. Или, по точному словоупотреблению Ханы Арендт, современный антихристианский антисемитизм на самом деле был проявлением ненависти тоталитарных систем к общеевропейской вере, создавшей Европу, — к христианству. Стоит присоединиться к французскому философу: «Не из-за того, что евреи убили Христа, а из-за того, что они дали миру Христа, ярость гитлеровского антисемитизма преследовала евреев на всех дорогах Европы»⁴⁹. У большевиков марксистский антисемитизм, правда, вполне сочетался с антисемитизмом православно-черносотенным.

Фашизм как восстание масс

В 1930 году была опубликована книга «Восстание масс», ставшая европейским бестселлером, где Ортега-и-Гассет писал: «В настоящее время мы наблюдаем в европейской общественной жизни явление чрезвычайного значения, а именно приход масс к неограниченной власти в обществе. Поскольку массы уже по самой своей природе не должны и не могут управлять собственным существованием и тем более управлять обществом, это означает, что Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, который только может затронуть народы, нации и культуры»⁵⁰.

⁴⁸ Алданов М. Гитлер // Алданов М. Картины Октябрьской революции. Исторические портреты. Портреты современников. Загадка Толстого. СПб.: РХГИ, 1999. С. 241.

⁴⁹ Маритен Ж. Тайна Израиля // Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики / пер. с фр. М.: РОССПЭН, 2004. С. 418–419.

⁵⁰ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. Сборник. М.: Радуга, 1991. С. 40.

Эта идея была использована Федотовым для понимания феномена фашизма: «Одна из самых страшных черт нашего времени — это попрание свободы со стороны восставших масс. Мы привыкли ждать угрозы для свободы от королей, стремящихся к самодержавию, от генералов, идущих на захват власти. Но эта схема XIX века совершенно не пригодна для объяснения событий нашего времени. Опасность пришла не с той стороны, откуда ее ждали. Свободу разрушает восставший в разных революциях, под разными знаменами народ, отдавший свою волю, свою совесть в руки врагов свободы»⁵¹.

XX век привычно и давно ассоциируется у нас с появлением на сцене истории такого количества людей, что они обозначаются специальным термином — массы. Век этот так же знаменит и обилён тоталитарными режимами, опиравшимися на массы и эти массы в большом количестве уничтожавшими. Разумеется, феномен этот начал исследоваться с первых моментов его проявления. Канетти в этом ряду исследователей был далеко не первым. Можно сказать, что из мыслителей, оказавших влияние на последующее понимание взаимоотношения массы и власти, он оказался едва ли не последним. Скажем, в 1895 году вышла книга «Психология массы» француза Гюстава ле Бона⁵², уже в 1908 году она была переведена на немецкий и, похоже, даже стала чем-то вроде учебного пособия, как властным представителям массы управляться с массой, обреченной на уничтожение. Эта книга, как мне довелось увидеть, находилась в лагерной библиотеке Бухенвальда, ее предназначали для чтения охранников.

Об этом феномене писали и культурфилософы, и политики, использовавшие его корыстно, хотя корысть,

⁵¹ *Федотов Г.П.* Восстание масс и свобода // Федотов Г.П. Защита России. Paris: YMCA-PRESS, 1982. С. 80.

⁵² См. русское издание: *Лебон Г.* Психология народов и масс. СПб., 1995.

как ей и свойственно, была смертельна для тех, кто ей следовал. Как показала история, вожди масс были обречены на гибель вместе с закатом возглавляемого ими движения. Можно вспомнить и великую историсофскую книгу О. Шпенглера «Закат Европы», и трактат Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», и знаменитейший текст З. Фрейда «Массовая психология и анализ Я». Нельзя пройти мимо работ Р. Гвардини и Э. Юнгера, не говорю уж о текстах вождей XX века — Гитлера и Ленина. Скажем, Гитлер вполне учитывал психологию масс, когда писал в *Mein Kampf*, что психика широких масс совершенно не восприимчива к слабому и половинчатому, что масса больше любит властелина, чем того, кто у нее что-либо просит. Он был уверен, что масса чувствует себя более удовлетворенной таким учением, которое не терпит рядом с собой никакого другого, нежели допущением различных либеральных вольностей. Большею частью масса не знает, что ей делать с либеральными свободами и даже чувствует себя при этом покинутой. Строго говоря, Ленин в своем отношении к массе мало отличался от немецкого лидера. Уже после победы Октябрьской революции он тоже попытался сформулировать эту проблему, уходя от марксистских догм, а именно проблему: масса — класс — партия — вождь, понимая в конечном счете, что речь идет о борьбе за новую реальность, за массу: «Пока речь шла (и поскольку речь еще идет) о привлечении на сторону коммунизма авангарда пролетариата, до тех пор и постольку на первое место выдвигается пропаганда; даже кружки, имеющие все слабости кружковщины, тут полезны и дают плодотворные результаты. Когда речь идет о практическом действии масс, о размещении — если позволительно так выразиться — миллионных армий, о расстановке *всех* классовых сил данного общества *для последнего и решительного боя*, тут уже с одними только пропагандистскими навыками, с одним только повторением истин «чистого» коммунизма ничего не поделаешь. Тут надо считать не до тысяч, как в

сущности считает пропагандист, член маленькой группы, не руководивший еще массами; тут надо считать миллионами и десятками миллионов»⁵³ (курсив В.И. Ленина. — В. К.). Здесь и крылась разгадка победы большевиков. Ханна Арендт писала: «Тоталитарные движения нацелены на массы и преуспели в организации масс, а не классов, как старые партии, созданные по групповым интересам»⁵⁴. Но массы не живут разумом, они живут иррациональным инстинктом. Мережковский как-то заметил (в пересказе Алданова), что обсуждать идеи нацистской толпы, «все равно, что обсуждать идеи саранчи: новое и важное у них это та *температура*, которую они создали»⁵⁵ (курсив Дм. Мережковского. — В. К.).

Для Федотова начало этого восстания масс в его фашистском изводе — Россия: «Октябрь был *первым* в истории опытом *политического фашизма*, который из орудия коммунистической революции стал формой буржуазной реакции в половине Европы. <...> Не одна Россия, а весь мир может благодарить Ильича за создание фашистской системы государства. Сравнительно с тем страшным разрушением, которое производит фашизм в системе культуры и духовного строя личности, второстепенное значение имеет вопрос об экономической системе фашизма: в интересах каких классов, пролетариата, буржуазии или средних слоев, используется чудовищный аппарат тоталитарного государства. *Здесь перед нами один из тех случаев, когда форма важнее содержания* (курсив мой. — В. К.). Как при оценке инквизитора мало значения имеет его *credo*, Торквемада это или Дзержинский, так и при оценке фашизма идеология и политическая родослов-

⁵³ Ленин В.И. Детская болезнь левизны в коммунизме // Ленин В.И. ПСС. Т. 41. С. 79.

⁵⁴ Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 411.

⁵⁵ Алданов М. Гитлер. С. 232.

ная диктатора отходит на задний план. Фашистская система, созданная Лениным (и названная им советской), оказалась непревзойденной, во всяком случае в издании его преемника. Все иностранные копии оказались уже смягченными»⁵⁶.

Такое мог понять только человек свободы. Степун писал: «Читая и перечитывая работы Федотова, на каждой странице чувствуешь, что по объему и стилю своего образования, по своему живому ощущению “путей и перепутий” истории, по своей любви к великим творцам и подвижникам культуры, к вечным спутникам всякого духовного человека Федотов, бесспорно, принадлежит к людям русского Ренессанса»⁵⁷.

Поэтому эпоха торжества массы была столь не приемлема для него, но он и видел, и понимал ее острее прочих. Впрочем, как я уже писал, тема массы и тоталитаризма были едва ли не самой существенной для осмысления судьбы XX века. Ханна Арендт писала: «Тоталитарные режимы, пока они у власти, и тоталитарные вожди, пока они живы, “пользуются массовой поддержкой” до самого конца. Приход Гитлера к власти был законным, если признавать выбор большинства, и ни он, ни Сталин не смогли бы остаться вождями народов, пережить множество внутренних и внешних кризисов и храбро встретить несчетные опасности беспощадной внутрипартийной борьбы, если бы не имели доверия масс. <...> В привлекательности зла и преступления для умственного склада толпы нет ничего нового»⁵⁸. Интересно, что русские мыслители эмигранты, за исключением Федотова, почти не уделяли внимания этому феномену. Ибо взбунтовавшийся и изгнавший их русский народ они воспринимали, как это ни

⁵⁶ Федотов Г.П. Октябрьская легенда. С. 151–152.

⁵⁷ Степун Ф.А. Г.П. Федотов // Степун Ф.А. Сочинения. С. 750.

⁵⁸ Арендт Х. Истоки тоталитаризма. С. 408–409.

грустно, в славянофильской парадигме как носителя некоторых важных смыслов, забывая, что толпа не обладает высокими смыслами. А русский народ стал толпой, массой, с которой и управлялись «фюреры» — Ленин, Троцкий, Сталин.

Что можно противопоставить иррационализму?

Борьба с кумирами — одна из тем русской пореволюционной эмиграции, достаточно вспомнить книгу С.Л. Франка «Крушение кумиров». Для Федотова борьба с кумирами — непереносимое условие свободной мысли, противостоящей иррационализму, который всегда тлел подспудно, но тут вышел на поверхность: «Слова — идолы, иконы ложных или истинных богов. Вглядимся в некоторые из этих кумиров, чтобы решить, стоит ли защищать их или лучше им сгореть в общем пожаре? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие — мнимые или истинные — святые в них воплощаются»⁵⁹.

Разумеется, Федотов обращался не к массам, а к интеллектуалам, к людям разума и рации. Поэтому он не мог не рассчитывать на их поддержку в анализе современной ситуации, как ситуации торжества иррационализма: «Убедившись, что борьба с рационализмом в современности есть борьба с разумом, а не с его злоупотреблениями, позволительно спросить себя: какова должна быть религиозная оценка самого иррационализма? Если рационализм может быть ересью, то иррационализм всегда ею является. Ибо рационализм, по своему формальному определению, не содержит отрицания других, кроме разума, источников веры и жизни. Иррационализм же представляет такого рода отрицание (и только отрицание) одной божественной способности человека, одной сторо-

⁵⁹ Федотов Г.П. *Ессе homo* // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М.: Мартис, 1998. С. 250.

ны в его “образе Божиим”, и при том той, которая была главенствующая для христианской древности. Лишенный разума, *anima rationalis* схоластиков, человек перестает быть человеком, т. е. тем “умным”, “словесным” существом, каким называет его греческая Церковь»⁶⁰. Подобная установка сказывалась и на языке, который, по сути дела, атрофировался.

Вот что писал гениальный Виктор Клемперер (кстати, коллега Степуна по Дрезденской высшей технической школе) в своей знаменитой книге: язык Третьей империи «стремится лишить отдельного человека его индивидуальности, оглушить его как личность, превратить его в безмозглую и безвольную единицу стада, которое подхлестывают и гонят в определенном направлении, сделать его частицей катящейся каменной глыбы. LTI (*Lingua Tertii imperii*. — В. К.) — язык массового фанатизма. Там, где он обращается к отдельному человеку, и не только к его воле, но и к его мышлению, там, где он является учением, он учит способам превращения людей в фанатичную, подверженную внушению массу»⁶¹.

У Федотова было отчетливое, но все же явно публицистическое соображение. Благородное, точное, очевидное: из соображений того рода, какое было некогда высказано Владимиром Соловьевым, что, мол, надо заменить русский вопрос «Что делать?» на другой — «Кто делатель?». Не получилось. Трагично бытие людей, желающих понимать. Реальность, утвердившаяся на почве бесчеловечного мифа, отрицавшего разум, была безусловно и категорически отвергнута Мандельштамом, искавшим опору именно в разуме, в радио. В статье «Девятнадцатый век» (1922) он сформулировал это так: «Европеизировать и гуманизи-

⁶⁰ Там же. С. 263.

⁶¹ *Клемперер Виктор*. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 35.

ровать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. <...> Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум — *ratio* энциклопедистов — священный огонь Прометея»⁶². Поэт оказался прозорливее многих своих современников, винивших во всех бедах нашей жизни рационализм западной теории.

В этой же парадигме и позитивная установка Федотова: «Возвращение в мир свободы возможно только при возвращении разуму его водительского (не тиранического) положения в составе духовной природы. Образ, привычный древности: разум — возница, управляющий колесницей страстей, хотя и не возница, в конечном счете, определяет направление пути и выбор конечной цели. Пока разум не восстановлен в своих правах в духовном мире, свобода будет гибнуть жертвой энтузиазма»⁶³. Желая свободы мысли, возможности самореализации, мы встали перед невероятно сложной проблемой. Можем ли мы хотя бы как-то влиять на исторический процесс? Говоря словами поэта, «европеизировать и гуманизировать» его? Очевидно, не более того, в какой степени удалось это самому Мандельштаму. Однако ему и другим «потерпевшим крушение» в XX столетии гуманистам на самом деле удалось многое. Они сохранили и передали нам свое отношение к миру. Насколько эта установка может оказаться действенной в преображении людской массы? Очевидно, не более чем социально безнадежная, но все же преобразующая мир позиция Христа.

⁶² Мандельштам О. Девятнадцатый век // Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 271.

⁶³ Федотов Г.П. Восстание масс и свобода. С. 84.

Стоит, наверное, в заключение написать о том, что Федотов жил практически как христианский подвижник, гонимый из страны в страну, годами носивший одну и ту же одежду; чтобы похоронить его (умер он от сердечного приступа), пришлось покупать костюм: «И местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посредине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал, как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить»⁶⁴. Разумеется, слово такого человека никогда не продавалось, это было слово мысли. Что думал, то и писал.

⁶⁴ Яновский В. Поля Елисейские. Книга памяти. С. 122–123.

19. Российские и польские европейцы: близость и различие

История взаимоотношений российских и польских интеллектуалов непростая, сложная, но потому и интересная.

1. В 1960-е годы советская интеллигенция отличалась полонофильством. Мы хотели быть и чувствовать себя европейцами. Поскольку Западная Европа была закрыта, все искали польской культуры, как той единственной, что позволяла вступать в современные контакты с Западом. Польша формально была независима, но выйти из системы, построенной Советским Союзом, не могла. Забыв прошлые споры и предубеждения, русские интеллигенты чувствовали, что мы все вместе страдаем — в одном социалистическом лагере, у нас общая беда. Ходила среди русской интеллигенции шутка: хотя лагерь общий, но польский барак повеселее. Польша в этот период играла роль, какую она играла в XVII веке: транслятора западной культуры в Россию. Собственное творчество польских художников, писателей и режиссеров в это время было на уровне высших мировых стандартов. В 1979 году я был в Польше (увы, всего неделю) и общался вполне дружески с Адамом Михнеком и другими людьми, которые вскоре оказались среди деятелей «Солидарности».

2. Движением «Солидарность» мы гордились, поскольку, казалось, здесь реализуются лучшие мечты диссидентского движения в России. Не было предубеждения и против католицизма, тем более против избрания поляка Карола Войтылы римским папой. Напротив, была перверсная гор-

дость, выраженная Владимиром Высоцким, что папа — «из наших, из поляков, из славян». В каком-то смысле неожиданное приятие русской интеллигенцией именно католической Польши было при этом не совсем религиозное, а как бы поверх конфессий, благодаря общему антисоветизму.

3. Польская интеллигенция более религиозна, чем русская. Существенно для понимания польской религиозности, что католичество — одна из самых социально-активных религий, что позволяло польским интеллектуалам использовать католический пафос для переустройства земной жизни. Социальная пассивность православия общеизвестна, но на рубеже XIX—XX веков русские писатели и мыслители попытались придать своей конфессии активный социальный характер (была воспринята, скажем, католическая идея христианской демократии С.Н. Булгаковым, Е.Н. Трубецким), Достоевский отправлял своего любимого героя схимника Алешу «в мир». Была надежда христианизировать страну, была вера, что русские — народ христианский, если же нет, то его надо разбудить христиански. Церковь хотела стать не зависимой от государства, начала думать о социальной активности. Но было слишком поздно, ничего из замыслов не удалось. При большевиках православная церковь была почти уничтожена, но спустя лет тридцать Сталин понял практическую выгоду от сервильных иерархов и возродил церковь, которая много больше, чем раньше, стала угождать государству как советскому, так и постсоветскому. Поэтому сравнительно свободолюбивая русская интеллигенция, желавшая активной социальной деятельности, скорее симпатизировала римскому папе «из поляков», нежели православному патриарху. Что произошло после перестройки? Со стороны русской интеллигенции особого изменения не замечаю. Доказательство — полонифильские тексты Виктора Ерофеева, Георгия Гачева.

4. Но сегодняшние контрверзы, политические и культурные, внутри европейской идеи, когда вновь стали выяснять, кто же ближе Европе, заставляют вспомнить и старые

споры русских и польских мыслителей, скажем, XIX века, когда и русская мысль достигла высокого рефлексивного уровня. Разумеется, противостояние и его причины очевидны. Я имею в виду не военно-политические столкновения, а более существенные. Конечно, различие бросается в глаза. Об этом не писал только ленивый, напомним слова наиболее популярного русского философа Николая Бердяева: «И хотелось бы обратить особое внимание на то, что в польско-русских отношениях есть более глубокая, духовная сторона. <...> Внутри славянства произошло столкновение Востока и Запада. Славянский Запад чувствовал себя более цивилизованным, носителем единой европейской культуры. Славянский Восток противопоставлял Западу свой собственный духовный тип культуры и жизни»¹. К тому же — разные конфессии. Но повторю, что здесь я сейчас столкновения интеллектуалов не вижу, нападки православных фундаменталистов — это обочина современной культуры. Очевиден живой католицизм и ослабленное православие, так и не обретшее самостоятельности. Гораздо более существенную проблему я вижу в столкновении двух парадигм — цивилизации и варварства. Выступают по отношению к русским поляки как сила цивилизующая? Во всяком случае такой комплекс долго был у русских. Приведу известные слова Николая Страхова, публициста XIX века: «Между тем в польском вопросе есть черта, которая дает ему страшную глубину и неразрешимую загадочность. <...> Что порождает вражду, возбуждающую поляков против русских? Постараемся вникнуть в настроение поляков, перенесем себя в их положение и будем смотреть с их точки зрения. <...> Поляки возбуждены против нас так же, как народ образованный против народа менее образованного или даже вовсе не образованного. Каковы бы ни были поводы к

¹ *Бердяев Н.А.* Русская и польская душа // Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 161–162.

борьбе, но одушевление борьбы очевидно воспламеняется тем, что, с одной стороны, берется народ цивилизованный, а с другой — варвары»². Чтобы понять это, давайте посмотрим то общее, что объединяет, разъединяя.

5. *Общее.* а) Прежде всего это славянская праоснова, язык. И хотя Лютославски пишет, что у русских славянский язык лишь прикрытие их туранской сущности, но не забудем, что оба языка (польский и русский) корнями восходят к славянской праоснове. И если не быть националистом, то мы должны согласиться, что культуру определяет язык, а не раса. Иначе весьма многих польских и русских писателей и мыслителей надо бы вычеркнуть из списка людей, которыми гордятся наши страны.

б) Не менее важна культурно-историческая похожесть. Россия, как известно, не знала феодализма в западно-европейском смысле: «Феодализма у нас не было, и тем хуже»³, — писал Пушкин. Это довольно-таки принципиальное отличие от формирования западноевропейской германо-романской культуры. Об этом сожалели, пытались найти элементы феодализма. Но интересно, что и польские авторы пишут о том же. Цитирую Феликса Конечны: «При этом возникала существенная разница между Польшей и Западом: у нас не было феодализма, этой иерархичности общественного и политического строя. Мы близко соприкасались с этой системой только с германской стороны. Славянству феодализм не требовался; это была бы ненужная форма, неподходящая, в которую пришлось бы искусственно вталкивать общественный организм»⁴. Этим объясняется известная вторичность по отношению к Западу,

² *Страхов Н.Н.* Роковой вопрос // Польская и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 84.

³ *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 323.

⁴ *Конечны Ф.* Польша между Востоком и Западом // Польская и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 255.

ибо европейские идеи не выростали в Польше и России органически из общественно-социальной основы, а приходили с религией, с литературой, с наукой, с политическими контактами.

в) Ощущение у поляков и русских своеобразного «александрийства», или, если угодно, «эллинизма» своей культуры, как культуры, объединяющей в себе Восток и Запад. Это ощущение, разумеется, придавало чувство собственной значительности. Русские верили в то, что русская культура будет искомым синтезом, отсюда (от Хомякова и Вл. Соловьева) идет русская идея «всеединства». А в начале XX века русским даже показалось, что «культура Серебряного века в немалой степени сумела осуществить сочетание и сотрудничество, “синергию” соперничавших установок и благодаря этому явила собою новый культурный феномен, даже культурный тип — некий духовный Востоко-Запад»⁵. Поляки тоже были уверены, как иронизирует Конечны, что именно они должны «осуществить синтез Запада и Востока, что может стать величайшим из деяний всемирной истории. В этом часто видят историческую миссию Польши. Добавляют, что это всегда было нашей миссией, но, к сожалению, мы не умели справиться с нею, недостаточно ревностно ей служили, безрассудно отрекались от нее и вследствие этого наступили упадок и разделы»⁶.

г) Обе страны ощущают себя пограничными странами, т. е. лежащими на границе между цивилизацией и дикостью, а потому ощущают себя в той или иной степени носителями и защитниками христианской цивилизации, а стало быть, и европеизма. Пушкин считал, что Русь в свое время

⁵ *Хоружий С.С.* Жизнь и учение Льва Карсавина // Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. С. V.

⁶ *Конечны Ф.* Польша между Востоком и Западом // Польшская и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 243.

спасла юную Европу, что позволило католической Европе развиваться без помех: «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена»⁷. Но тут возникла ситуация, породившая дальнейшие проблемы. Молодая христианская страна была покорена кочевниками. Я бы почти согласился с польским историком, писавшим: «Благодаря монгольской администрации сложилось впоследствии Великое княжество Московское, центр этой цивилизации, где сформировалась новая ее разновидность, туранско-славянская или московская культура. О византинизме не приходится и говорить в течение всего этого периода»⁸. Русь как христианская страна была забыта, немцы защищали диссертации на тему «Христиане ли москвиты?» Как заметил Пушкин, «образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...»⁹ И в сноске на той же странице добавил: «А не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». Но все же внутри этой культуры сохранялось христианство, а стало быть, элементы европеизма, которые мечтали выйти наружу и определить облик страны. Именно это говорит о потенциальном европеизме России.

д) Можно назвать еще и Германию как пограничную страну, которая задала образец «защиты» Европы. «Дранг нах

⁷ Письмо А. С. Пушкина П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 года // Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 289.

⁸ *Конечны Ф.* Польша между Востоком и Западом // Польшая и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 253.

⁹ *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 407–408.

Остен» как европейская парадигма. Считалось, что Европа должна цивилизовать варваров. Для Польши варварами была русские. Для русских, для Достоевского — Средняя Азия — место, где мы европейцы. Поляки чувствовали себя европейцами по отношению к русским. Учитывая то, как долго Россия была отрезана от христианской Европы, в этом был резон. В эпоху Самозванца поляки хотели цивилизовать варваров, были близки к этому, русская верхушка была готова их принять. Кто хотел? Те, кого можно назвать русскими протоевропейцами вроде князя Дмитрия Хворостинина. Но польское войско пошло на Россию, связавшись с таким русским отребьем, которое в те времена именовалось *ворами*; поляки и казаки так дружно начали грабить, что, несмотря на желание боярства, цивилизационного контакта не получилось.

6. Различия были факультативными, по крайней мере для русских европейцев, многие из которых испытывали явную или тайную симпатию к католицизму (Чаадаев, Печерин, Гагарин, Соловьев, даже Достоевский, Вяч. Иванов и др.). Различия были в том, что Россия была отодвинута от Европы на пять столетий (схизму опускаю, ибо византизм — это намного более поздняя рефлексия, до этого московские князья боролись с митрополитами-греками), а Польша имела классическое образование. Именно поэтому именно Польша после военной неудачи начала XVII века оказалась носителем европейской культуры, у которых учились на протяжении этого века русские; движение образования шло в Россию через Украину, усвоившую многие польские открытия.

7. Реформы Петра, повернувшего Россию к протестантской Европе, кстати с помощью выучеников киево-могилянской школы, начавшего оттуда черпать образование, науку, военное искусство, внешнюю культуру, даже систему церковного устройства (монарх во главе церкви), поменяли отношение к Польше. Русские образованные люди, русские европейцы, стали относиться к польской элите как равные

к равным, а не как ученики, но и с некоторой завистью, поскольку Польша при Александре I имела больше свобод, чем даже русские дворяне. Вот это равенство вызывало раздражение поляков, поскольку русские традиционно продолжали ими восприниматься как варвары, да еще к тому же представители державы, завоевавшей Польшу.

Поэтому приговор русским европейцам со стороны польских европейцев был резок и жесток: России никогда не стать Европой. Но в этом был также, к сожалению, огромный привкус национализма: «Русские, которых следует называть москалями, что я всегда повторяю, происходят от туранской расы, а туранцы глубоко отличаются от арийцев»¹⁰. Туранцам не стать европейцами. На этом произошло знаменитое столкновение Пушкина с Мицкевичем.

8. Именно Петербург стал «камнем преткновения» (прошу прощения за случайный каламбур) в рассуждениях и спорах о возможной судьбе России. Еще до славянофилов, до Герцена, Бакунина, Достоевского и большевиков, ненавидевших этот *город*, по поводу судьбы Петербурга столкнулись два великих поэта — Мицкевич и Пушкин. Мицкевич отказывал Петербургу в праве называться европейским городом и твореньем человеческих рук, цивилизующих окружающую природу. В своем сочинении «Дзяды. Отрывок III части» (цикл стихотворений), созданном в 1832 году (после поражения польского восстания) и полным ненависти к России — с желанием вывести ее за пределы европейской культуры, он написал:

У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

¹⁰ *Лютославский В.* Польский народ // Польская и русская душа. Варшава: Польский институт международных дел, 2003. С. 122.

Весь «Медный всадник» — ответ Мицкевичу и своя трактовка петербургской судьбы. Пушкин объясняется в любви к городу: «Люблю тебя, Петра творенье!» Город — «Петра творенье», как и вся новая русская культура, как и сам Пушкин. Но, может быть, Петр и есть сатана. Так по крайней мере говорили сторонники московских обычаев. Для Пушкина давно решено, что Петр — *выражение Божьих помыслов о России*. Вслушаемся:

Тогда-то *свыше вдохновенный*
 Раздался звучный глас Петра:
 «За дело, *с Богом!*» Из шатра,
 Толпой любимцев окруженный,
 Выходит Петр. Его глаза
 Сияют. Лик его ужасен.
 Движенья быстры. *Он прекрасен,*
Он весь как Божия гроза.

Город сохранил облик ваятеля, но люди забыли о Божьем замысле *Преображенца*, о том, что стихии надо укрощать, для этого Бог дал человеку разум и силы. («Он весь как Божия гроза» означает не стихию, а то, что Петр грозен как Бог, а не как человек, потерявший свет разума, а потому подвластный безличной стихии зла, не как Иван Грозный). Лик Божий может быть отражен только в человеке-личности, ибо сотворен он по Его образу и подобию, но не в безличной толпе, массе, не в стихии.

Петр преобразует природу там, где, казалось, это немислимо, где современный ему европеец махнул бы рукой, забыв, какую дикость, беды, болезни, злодеяния верховной власти преодолевали его собственные предки. Опять Мицкевич:

А кто столицу русскую воздвиг,
 И славянин в воинственном напоре,
 Зачем в пределы чуждые проник,
 Где жил чухонец, где царило море?
 Не зреет хлеб на той земле сырой,
 Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,
 И небо шлет лишь холод или зной,

Неверное, как дикий нрав тирана.
Не люди, нет, то царь среди болот
Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.

Забыты поэтом, *считающим себя подлинным европейцем*, чумные бунты и вакханалии (а Пушкин помнит — «Пир во время чумы»), столетняя и тридцатилетняя война, унижения вилланов («Сцены из рыцарских времен»), доводящая до самоубийства нищета английских бедняков, ужасы французской революции (и это Пушкин помнит: «Убийцу с палачами / Избрали мы в цари», «Андрей Шенья»: о гуманных французах, устроивших массовые убийства именем народа). Кто думал о людях? Пушкин — реалист, человек ясного и трезвого взгляда. Он не идеализирует запад Европы, поэтому понимает, что *российская дикость не непреодолимая помеха европеизации*.

Мицкевич первым написал о страшном наводнении 7 ноября 1824 года. Для него — это законное воздаяние тирану и России за попытку стать Европой. У Мицкевича в ноябре, когда в Европе в крайнем случае осенняя слякоть, Нева покрыта льдом. Пушкин в примечании к «Медному всаднику» замечает: «Снегу не было — Нева не была покрыта льдом». Для Мицкевича Россия — снежный монстр, который никогда не европеизируется. Можно согласиться с Бибихиным, что «Пушкин знает, насколько Россия другое, чем Европа, и двойное зрение дает ему видеть точнее»¹¹. Но вместе с тем для Пушкина в Петербурге совсем европейская слякоть, что, увы, не мешает разливу народной стихии. *Россия — это Европа, подверженная и ныне еще ударам стихийных сил, как раньше был им подвержен Запад, — вот его формула русской истории.*

¹¹ Бибихин В.В. Закон русской истории // Вопросы философии. 1998. № 7. С. 111.

9. Но любопытно, что далее русская культура все более расходилась со своим государством в отношении к Польше. Даже Достоевский, произнесший немало несправедливых слов по поводу поляков, написал пронзительное понимание польской судьбы в России, которая была для них подлинной каторгой, где «Мертвый дом» не знал границ.

В своих рассуждениях о Мертвом доме, о том, как трудно там было образованным людям, Достоевский раз за разом именно поляков как людей высокой культуры сталкивает с диким народом. «В казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные; их было человек шесть. Некоторые из них были люди образованные. <...> Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много — родину, семью, все, но среда его остается та же. *Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолудином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... Это — рыба, вытасценная на песок...* И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него вдесятеро мучительнейшее. Это истина... даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать»¹² (курсив мой. — В. К.).

В февральском «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский опубликовал свой программный рассказ

¹²Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. Л.: Наука, 1972. С. 54–55.

«Мужик Марей», где изображена была зверская, как он думал, кора, оболочка русского народа, хранящего тем не менее внутри себя свет. Но увидеть этот свет может не каждый, а лишь кровно причастный к этому народу. Он дает свое восприятие на контрасте с восприятием поляков, сочувствуя им, но и сожалея, что они не могут видеть этого света.

«Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, — все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. *Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно.* В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. *Наконец в сердце моем загорелась злоба.* Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: «Je hais ces brigands!» — проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо»¹³ (курсив мой. — В. К.).

Рассказчик возвращается в казарму, где в полубреду вспоминает ладанный облик мужика Марей, утешившего барского дитяню, и заключает: «Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. *Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце.* Встретил я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Марейях и никакого другого взгляда на этих людей,

¹³ Достоевский Ф.М. Мужик Марей // Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 22. С. 46.

кроме “Je hais ces brigands!” *Нет, эти поляки вынесли тогда больше нашего!*»¹⁴ (курсив мой. — В. К.).

10. Иными словами, русские образованные люди, чувствующие себя европейцами по культуре, в условиях русской несвободы увидели в образованных поляках родные души, людей, томящихся от дикости и варварства окружающей среды, с тех пор это чувство надконфессионального родства, родства по противостоянию толпе независимо от ее национальности и по противостоянию политическим играм наших правительств стало, на мой взгляд, тем фактором, который может показать дорогу на мостик, соединяющий наши две культуры.

¹⁴ *Достоевский Ф.М. Мужик Марей... С. 49–50.*

20. Национальная идея и безымянная Русь¹

Я буду по возможности краток. На заседании много интересного говорилось о национальной идентичности, но одновременно и о системном кризисе, грозящем России, да и человечеству. О человечестве говорить не буду, простите за узость мышления. Но тема России — постоянная тема моих размышлений и писаний. Начну немного вроде бы со стороны. Мне довелось несколько дней назад быть на вечере памяти Холокоста, где на холсте, натянутом рядом со сценой, были написаны замечательные слова: «Каждый человек имеет имя». Речь шла о шести миллионах евреев, погибших в массовых гекатомбах. Но практически все эти погибшие уже известны поименно. Но неужели никого из присутствующих не охватывал ужас, когда в наши дни — спустя шестьдесят лет! — по телевизору говорят о все новых и новых находках массовых захоронений неизвестных солдат, погибших, защищая Родину!? И цифры называются умопомрачительные — десятки тысяч людей, чьи имена нигде и никогда не были обозначены: ни в каких военных сводках, ни в каких штабных бумагах и т. д. А это те, кто спас ценой своей жизни страну. Что же за чудовищная неблагодарность и равнодушие! «Мы ленивы и нелюбопытны», — сказал как-то с тоской Пушкин, столкнувшись с гробом Грибоедова, когда извозчики не могли сказать, чей гроб они везут: «Грибоеда какого-то». Он обозначил самое

¹ Выступление в Никитском клубе (в цикле публичных дискуссий «Россия в глобальном контексте»).

главное — Россию как страну, не желающую знать имена своих лучших людей и героев, как страну безымянных людей. И это поразительная вещь. Я напомним классические строчки поэтессы середины XIX века Каролины Павловой: «Пусть сгинут наши имена, но возвеличится Россия». Личность уже обозначилась, а потому современники были шокированы и отвечали, что страна возвеличивается именами своих достойных сынов. Но пришел XX век, и великий поэт, так любовно воспевавший до революции свое имя: «мне больше всего нравится / моя собственная фамилия, / Владимир Маяковский», — вдруг после победы Октября восклицает: «Умри мой стих, умри как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши». И так далее. В «Русской идее» Владимир Соловьев почти как нечто невероятное, как бред, высказал предположение, что будущее России в нигилизме². Но подобную ситуацию почти как несомненную реальность предсказывал Иван Тургенев, назвав надвигавшуюся на страну когорту нигилистов «безымянной Русью» (в романе «Новь»).

Напомним заключительный разговор резонера романа «Новь» Паклина с народоволкой Машуриной, последние, резюмирующие строчки произведения:

— Вы уходите? — промолвил Паклин. — Где вы живете, по крайней мере?

— А где придется.

— Понимаю; вы не хотите, чтоб я об этом знал. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы все по приказанию Василия Николаевича действуете?

— На что вам знать?

— Или, может, кого другого, — Сидора Сидорыча?

Машурина не отвечала.

— Или вами распоряжается безымянный какой?

² Он писал: «А то, может быть, не обратиться ли нам еще и к нигилистам: ведь они, быть может, являют собой *будущее* России» (курсив В.С. Соловьева. — В. К.). (Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 222).

Машурина уже перешагнула порог.

— А может быть, и безымянный!

Она захлопнула дверь.

Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью.

«Безымянная Русь!» — сказал он наконец.

Мне кажется, это несчастье для страны, если она не помнит имен своих детей. О какой идентичности на этой почве мы можем говорить? Когда нет имени личностей, какое может быть имя у нации, у страны? Федотов дал лаконичный очерк такой ментальности (не забыв и «народников = народоволок»): «Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. “Мир”, т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности»³.

Но, может быть, сквозь все сложности исторической жизни народ ведет «национальная идея»? И эта идея относится к некоей всеобщности, обнимающей всех людей, всеобщности, не требующей выделения из массы личности. Ведь христианство, а Россия страна христианская, предполагает соборность. Правда, христианская соборность собирается из личностей, а не из стад. Стоит привести высказывание русского эмигранта XX века Василия Яновского, которому, как и многим русским эмигрантам, пришлось

³ Федотов Г.П. Народ и власть // Федотов Г.П. Собр. соч.: В 12 т. Т. IX / примеч. С.С. Бычкова. М.: Мартис, 2004. С. 308.

многое из привычного переоценить. Он писал: «Пора, пора вспомнить, что “национальная идея” — это выдумка немецкого, и очень языческого, романтизма. А мыслители, даже боровшиеся с прусскими системами и защищавшие христианскую церковь, все же ссылаются на пресловутую “национальную душу” с таким видом, как будто она является реальностью христианского опыта.

У отцов церкви или у святых, не говоря о евангелистах, понятия “национальной души” не найдешь! Этой сомнительной ценностью они не оперируют. У них упор на личное, персонально отобранное, очищенное в огне Святого Духа.

Национальная душа существует в натуральном, дохристианском, архистадном порядке жизни. “Иудеи жаждут чудес” — это национальная идея до второго рождения: “Эллины ищут мудрости...” “...А мы проповедуем Христа распятого”. Все христиане: и эллины, и иудеи, и японцы, и римляне — отныне имеют уже только одно спасительное Имя, одну дверь, один путь. В пределах христианской теологии орудовать “национальной идеей” так же бессмысленно, как укладываться на кушетку Фрейда или, задрав штаны, бежать за Дарвином»⁴.

Существует, однако, высказанная Достоевским формула — о всечеловечности. Это, конечно, ближе к христианскому пафосу, чем национальная идея. Мелкий штрих: мы воспринимаем этот термин как идею Достоевского, хотя нечто подобное говорил раньше Гете. Но дело не в приоритетах; важно отметить, на мой взгляд, что идея всечеловечности сопоставима с другой идеей — идеей космополитизма. Часто говорят, что космополитизм родился в Римской империи, но он родился раньше, он родился в эпоху Александра Македонского и первый космополит был, как известно, Диоген, который называл себя гражданином мира. Космополитами называли себя стоики, Петрарка,

⁴ Яновский В. Поля Елисейские. Книга памяти. М.: Астрель, 2012. С. 237.

Стендаль, да и первые христиане говорили о себе как о людях, не имеющих отечества. Как писал апостол Павел в послании к Евреям: «и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то *отечество*, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр., 11, 13–16). Термин этот актуализировал с негативным смыслом перед революцией Василий Розанов, а потом при Сталине, как мы помним, наступила эпоха так называемого космополитизма, когда достаточно было назвать человека космополитом, чтоб приговорить если не к смерти, то по крайней мере к концлагерю. В этой ситуации стоит задуматься над коннотацией понятий: всечеловек и гражданин мира. Всечеловеки, по Достоевскому, только русские, остальные не могут быть всечеловеками, хотя исключения, конечно, бывают (доктор Гааз), но именно как исключение. Продумаем это противопоставление. Гражданин мира — это человек, живущий во всемирной империи (римской, британской, российской), это человек, который осознает свою личностную идентичность, он осознает свое Я, более того, *имеет право* на личную обособленность. Всечеловек живет ради всемирного братства, юридически не фиксируя свою личность, она в каком-то смысле беззащитна. В английском языке слово «я» (I) всегда пишется как заглавная буква. Я — гражданин мира, я на первом месте. На самом деле, всечеловечность это эвфемизм, русский вариант космополитизма. Но необходимо, очевидно, чтобы личностное начало себя акцентировало. Конечно, это вообще *мы все*, что-то размытое, мы — русские. Опять-таки что такое — русские? Тоже любопытная вещь. Денис Драгунский справедливо говорил, что русский — это понятие, родившееся недавно. Но вроде бы у Пушкина оно уже работало: «Молчи, покорствуй русской силе» (так восклицает Руслан). У Пушкина русскость, однако, атрибут не

национальности, а большой державы. Не случайно Георгий Федотов назвал поэта «певцом империи и свободы». В сказке «Руслан и Людмила» положительно помянуты разные этносы: варяг Рогдай, «воитель смелый, мечом раздвинувший пределы...», мудрый Финн, обаятельный «младой хазарский хан Ратмир». Все они принадлежат России, ее жизни, ее быту, ее судьбе — как личности со своим «я».

Но, вообще-то говоря, национальная идея в ее реальном смысле родилась как идея антиимперская. Империя предполагала *наднациональную идею*, которая объединяла все этносы, как, скажем, объединяла петровскую и екатерининскую Россию идея европеизма. Европеизм объединял и татар, и русских, и калмыков, и поляков, и немцев. Это была цель, к которой все стремились. Сложная и отдельная проблема — это православная церковь, по сути своей противостоявшая имперскости. Она несла, как показала история, национальную идею: мы православные, а потому русские. Это правда, что крестившийся в православную веру автоматически становился русским. Об этом писал Михаил Катков, это была статистика тех лет. К чему же привела национальная идея? Как погибла русская империя? По словам Георгия Федотова, два последних царя — Александр III и Николай II — выученики славянофильства, уничтожили имперскую идею, а следом пала и сама империя. Вместо Санкт-Петербурга появляется Петроград, город, потерявший своего святого, что потом привело его к переименованию в город Ленина, человека абсолютно враждебного христианству, ну и т. д. Не буду перечислять все последствия этой совершенно губительной идеи. Русификация окраин, на которую ответом был сумасшедший взрыв национальных энергий, который сметает империю. И второй раз мы видели этот распад, он происходил на наших глазах, когда Россия попыталась отъединиться от союзных республик. Почему мы должны, как говорил писатель и депутат Валентин Распутин, помогать каким-то другим республикам. Мы сами по себе, мы им ничего

не должны. Ну, конечно, ничего не должны. Вот они и откололись. И возвращаться не собираются. Но развалился не Советский Союз, развалилась Россия как империя. На мой взгляд, тенденция, поднимающая национальную идею как высшую, не решает проблему идентичности, а скорее ее уничтожает, поскольку идентичность российского человека всегда была, по крайней мере с петровских реформ, если не от Рюрика, в том, что он подданный некой многонациональной государственной общности. Вот этому имперскому сознанию, когда оно стала погибать в национализме царского двора, родился естественной антитезой интернационализм, который стал вариантом имперскости для народов России, хотя и в других терминах и на другом совершено уровне. Я категорически не принимаю большевизм как явление античеловеческое, но интернациональная идея заново скрепила русскую империю, правда, превратив ее в деспотию и уничтожив те начатки человеческой личности, которые просвечивали в идее всечеловечности. В своей послевоенной книге Бердяев пытался найти позитивные моменты в стране, победившей гитлеровский нацизм. Но при этом формулировал ситуацию ясно и честно: «В России завершительным моментом этой диалектики гуманизма был коммунизм. Он также имел гуманитарные истоки, он хотел бороться за освобождение человека от рабства. Но в результате социальный коллектив, в котором человек должен был быть освобожден от эксплуатации и насилия, делается поработителем человеческой личности. Утверждается примат общества над личностью, пролетариата — вернее, идеи пролетариата — над рабочим, над конкретным человеком. Человек, освобождающийся от идолопоклонства прошлого, впадает в новое идолопоклонство»⁵. И далее философ выдает жутковатую формулу: «Все русские идеологии всегда были тоталитарными, теократическими или

⁵Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 129.

социалистическими»⁶. Интернационализм продержался недолго, рухнул, а как следствие, распалась и русско-советская империя.

Так вот, я хочу завершить свое выступление, вернувшись к идее всечеловечности, которая, на мой взгляд, выглядит нелепо, пока мы не утвердим идею личности, своего Я, пока не преодолеем безымянность. Чтобы «я» русского человека звучало, причем *поименно* у каждого человека. Пока этого не будет, в России по-прежнему, на мой взгляд, невозможна будет самоидентификация, достойная великой страны.

⁶Бердяев Н. Русская идея... С. 293.

Часть V. КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ

Существуют географические карты, карты политические, дорожные карты, карты памяти мобильных телефонов и компьютеров, наконец, карты игральные. Перед читателем карта моей памяти, моей собственной, которую я заполняю по мере моих сил и свободного времени. Насколько она увеличится — не знаю. Пока это всего лишь наброски к большой карте.

21. Иван Фролов, или Человек-эпоха (выступление на круглом столе в журнале «Вопросы философии»)

Всякий человек живет в своем времени, обживает его, пристраивается к нему, сопротивляется ему, если хватает сил. Но есть люди, с которыми эпоха рифмуется, без которых не понять ее глубинный смысл, ее пафос, направленность ее движения. К сожалению, но, как ни странно (хотя к этой странности мы привыкли), только смерть бросает яркий и окончательный свет на жизнь человеческую. Человек умер, и сразу по-другому он видится. И естественно, когда умирает большой человек, то начинаешь думать волей-неволей не только о том, что он значил в твоей жизни, но что вообще он значил в исто-

рии. Академик И.Т. Фролов именно тот человек, личность которого, безусловно, вскоре станет предметом исторического изучения. Это не о каждом можно сказать. Мне кажется, что Иван Тимофеевич — человек, через судьбу которого можно понять эпоху, ту большую эпоху, большую по времени, я уж не говорю по значительности, которую мы прожили, и попытаться как-то ее определить. Сегодня наша задача (помимо сердечного соболезнования) оставить как можно больше штрихов к его жизни для будущего историка.

Поразительно, у сколь многих людей их жизнь оказалась связанной с жизнью Фролова. Это не случайно. Мне очень многое объяснила фраза, сказанная им на его собственном семидесятилетии в Институте человека: я первый раз услышал от него так прямо выраженное кредо (хотя, казалось, общался с ним четверть века — по работе, разумеется, и думал, что понимаю его). Фролов сказал: «Хочешь быть свободным, иди во власть — таково было мое кредо». Я был поражен афористичностью и емкостью фразы, за которой виделась продуманная собственная судьба, план и цель жизни. Ведь если определять всю постхрущевскую эпоху как эпоху правозащитников и диссидентов, то позицию Ивана Тимофеевича Фролова можно определить как весьма своеобразную форму противостояния дикости и варварству власти, и в этом смысле некий тип поведения, который вел к перестройке и попытке основанной на разуме демократизации страны. Я попытаюсь обосновать свой тезис.

Начну с того факта, что, став главным редактором, он сменил редколлегию, собрал самых сильных тогда философов — от Ойзермана до Лекторского, Мамардашвили, Митрохина и Зиновьева. Иван Тимофеевич был тот человек, который защищал право на неортодоксальную мысль (причем умело и удачно), для этого он выбрал свою форму защиты, а именно такую, без которой вооб-

ще было бы невозможно развитие общества (не забудем, что страх перед плебейским бунтом был тогда в крови у каждого российского интеллигента, поэтому искались пути движения без бунта). Это был способ защиты и отстаивания своей позиции, предложенный еще Христом и работавший во все темные заидеологизированные века, спасая философов и вообще свободную мысль. На вопрос, надо ли платить подать кесарю, Богочеловек попросил показать динарий и, указав на изображенный на монете лик кесаря, «сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк: 20, 25).

По этой формуле себя вел и Фролов. Причем отстаивал он не только свою свободу, но свободу и возможность сравнительно независимого положения многих людей, а главное — дела, поэтому столько разных людей оказались в орбите его жизни. И здесь все-таки без личного эпизода не обойтись. Я очень долго после аспирантуры ходил без работы — поскольку и *Кантор*, и *беспартийный*. О возможности работы в «Вопросах философии» мне сказал М.К. Мамардашвили, но добавил, что решает не он, а Фролов. Надо добавить, что сложность моего трудоустройства была в том, что секретарь МК по идеологии В.Н. Ягодкин дал разносную критику статьям моего отца (К.М. Кантора), опубликованным в «ВФ». Более того, Ягодкин грозился вообще журнал закрыть за эти статьи (еще попал под эту высокопартийную критику Борис Юдин). Так что прежде чем меня приглашать для беседы, Фролов должен был принять вполне мужское и мужественное решение наплевать на критику вышестоящих инстанций, сделать вид, что и вправду у нас сын за отца не отвечает, а на самом деле ему было приятно взять на работу сына опального. Надо сказать, к этому времени в журнале уже начал работать Б.Г. Юдин. Когда я пришел в «ВФ» (это был январь 1974 года), Иван Тимофеевич после очень короткой беседы предложил мне какую-то

статью отредактировать, на какую-то дать отзыв, и еще я должен был показать свои публикации. Я все сделал — отредактировал, отрецензировал, принес свою статью о Каткове из «Вопросов литературы», сам не очень-то желая идти работать в журнал, хотелось вольной писательской жизни. Но деваться некуда, семью кормить надо — и я прихожу к Фролову, а он говорит: «Все хорошо, все в порядке. Работать можете. Один важный вопрос. Вы член партии?». Я не был членом партии. Я говорю: «Н-нет». «Что же делать?» — сказал он. Я задумался — что же делать, но все-таки стало вдруг как-то обидно, вроде хотел, вроде не хотел, но это были мои колебания. А тут — некая бессмыслица, злая объективность. И тут меня осенило: «Но я член ВЛКСМ». «Слава Богу», — сказал Фролов, и меня зачислили (с 4 февраля того же года). А через два месяца я благополучно вышел из рядов ВЛКСМ по возрасту и никуда больше не вступал. Я хочу сказать, что в «Вопросах философии» — и это поразительный факт — почти половина сотрудников была беспартийной.

Л.И. Греков: Да нет. Гораздо меньше.

В.К. Кантор: Давайте посчитаем.

Л.И. Греков: Я следил за этим.

Реплика из зала: Теперь хоть знаем, кто в редакции этим занимался. Но плохо следили. Вот сидящие здесь Борис Григорьевич Юдин и Владимир Карлович Кантор не были членами партии, между прочим. Борис вступил потом. А еще Кормер не был. Анатолий Яковлевич Шаров, руководитель отдела критики, тоже не был.

Л.И. Греков: Четыре.

В.К. Кантор: Извините, беспартийным был еще старейший наш сотрудник — Армен Арзаканян. А пять человек из двенадцати научных консультантов — это совсем не мало по тем временам.

Л.И. Греков: Но они работали в журнале в разное время.

В.К. Кантор: Да нет, одновременно. И это заслуга Фролова. Было пять беспартийных редакторов, которые вели весьма ответственные разделы журнала — историю зарубежной философии, философию науки, эстетику и этику, современную западную мысль, критику и библиографию. Когда я кому-нибудь говорил, что являюсь сотрудником «Вопросов философии», мне говорили: «Ну вам, как члену партии, я могу нечто рассказать». Я делал постное лицо и слушал. Порой много интересного слышал. Этому спокойному восприятию того, что глубоко не приемлешь, меня, скажем, тоже опять-таки Фролов научил. Раз ты считаешь, что я член партии, — считай. Идея была простая. Кесарю то, что кесарю принадлежит, но дальше будем делать то, что мы хотим. А хотели мы делать простые вещи, но принципиально важные. По возможности, показать нашим читателям на разных примерах, что человеческая и философская мысль не умерла, не застыла в советских формах, что на Западе мысль развивается, а не остановилась на марксизме. Фролов вводил в научный и общественный оборот темы, о которых до него казалось невозможным говорить открыто в советской философии. Вот мы сделали ритуальный жест, опубликовали важного начальника, а потом, пожалуйста, глобальные проблемы, проблемы общечеловеческие, а не чисто партийные или классовые. Или вдруг круглый стол «Наука и искусство», который мне предложено было вести сразу, как только я попал в журнал (1974 год). Какое отношение это имело к партийности искусства, народности искусства, критике западного вырождающегося искусства, которые тогда считались важнейшими для советской эстетики темами? Но журнал вольничал, поднимал не те проблемы, которые *разрешено было* поднимать.

Мои знакомые из литературной среды восхищались независимостью Ивана Тимофеевича, говоря, что только Твардовский и Фролов осмеливаются иметь свою по-

зицию. Некогда ученые-естественники шарахались от философов, видя в них прежде всего партийных догматиков, мешающих движению живой мысли. Именно Иван Тимофеевич Фролов сумел привлечь на сторону пробуждавшейся философской мысли крупнейших ученых нашей страны. В журнале стали печататься и Капица, и Гинзбург, и Астауров, и Волькенштейн и др. Пришли в журнал и писатели — В. Тендряков, В. Розов, Л. Зорин и др. На мой взгляд, Фролов был их плеяды тех русских людей, которые по-настоящему, сознательно пытались строить русскую культуру, с ненавистью к халтуре, уважением к профессионализму и с очень широким европейским кругозором. Причем этот европейский кругозор имел для них всегда приоритетное значение. Выросший в советской среде, но воспитанный на европейской науке и отечественной классике Фролов относился к тому типу людей, которых обычно именуют *русскими европейцами*.

Причем Иван Тимофеевич оставался верен себе, перестав быть главным редактором, своим творчеством иницируя новую проблематику в журнале, а через журнал делая эти темы легальными в широком научном обороте. Как пример могу напомнить одну из его статей, напечатанных еще до «перестройки» — «О жизни, смерти и бессмертии» (ВФ. 1983. № 1, 2), опубликованную при Семенове. Прохождение этой статьи я хорошо помню, ибо был ее редактором. Надо сказать, В.С. Семенов очень не хотел печатать эту статью, всячески препятствовал ее публикации, но отказать Ивану Тимофеевичу все же не мог. Фролов говорил на редколлегии: «Оттого, что *кто-то* болен и готов умереть, мы что, не должны теперь печатать тексты». Это проглотили, а спустя энное количество времени после выхода в свет статьи — две или три недели — *этот человек* («товарищ Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев» — так,

полностью, тогда писали в газетах и произносили с телеэкрана) действительно умер. Дальше получился совершенно гениальный сюрреалистический анекдот (как тому и положено выросший из реальности быта), о котором я не раз рассказывал друзьям — классическая кухонная история за рюмкой. Семенов вызывает меня к себе и говорит: «Вы слышали? Скончался Генеральный секретарь. Это вы с Фроловым виноваты». Это было и смешно, и жутковато, такое анекдотически-мистическое мышление партийного человека.

Реплика из зала: Серьезно сказал?

В.К. Кантор: Абсолютно всерьез. Это была уже настоящая мистика партийного мышления, когда причину события искали не в реальности, а в том, что кто-то смел как-то не так (т. е. самостоятельно) подумать. Партийная психология была абсолютной силой, ломавшей и данного конкретного человека, и любого встретившегося этому человеку на пути. Вот Фролов был этой силе неподвластен, был сильнее этой безличной силы.

Когда Вадим Рабинович рассуждал — высокопоэтически, конечно, и очень умно — на похоронах Ивана Тимофеевича в Институте человека о том, откуда взялось такое название института, мне показалось, что нечто важное он все же упустил. Я хотел бы добавить одно соображение. Институты человека есть в других европейских странах, но для России появление такого института было равно переосмыслению всей прежней системы ценностей. Вдруг не ВПШ, не международные отношения, не рабочее движение, а некая в глазах тогдашних партocrats абстракция — Институт человека. Что это за проблема человека такая? Откуда? Гораздо важнее для них были другие темы, связанные с политической и иной корыстью. Но почему возникает проблема человека? Это не просто человеческое в человеке. Вспомните эпоху, из которой Фролов вырос, — эпоху полной бесчеловечности. И сама идея человека, каждого, не только героя, признанно-

го страной, — каждого простого человека, который-то и есть ценность, была поворотом в общественном сознании. Вот, собственно, в чем была его борьба с въевшимися в душу установками сталинского режима.

Иван Фролов — это резкая антитеза предшествующему режиму — не меньшая, чем Солженицын и Зиновьев. Кстати, именно он, работая у Демичева, сумел поддержать Солженицына. Да, говорили, что он отдает кесарю кесарево. Да, он и вправду ходил в ЦК. Но это было место поселения советских кесарей, которые ожидали услышать определенные ритуальные слова, после чего отпускали на свободную работу, на оброк. Наверно, были у Фролова завистники... Как же, связи, академик, член Политбюро, главный редактор всех важнейших изданий! Впрочем, на то и существует сильный человек, чтоб у его ног копошились всякие «недотыкомки». Но очевидно было, что и поделаться с ним ничего нельзя, ибо, как я уже говорил, он нес в себе свой план жизни. И это чувствовалось и вызывало невольное уважение у самых разных людей.

Отличие Фролова от Солженицына и Зиновьева в том, что он, как это называлось тогда, «соблюдал правила игры» для того, чтобы постепенно менять эти правила. И, как он полагал, марксизм опасен не для свободы, а скорее для партноменклатуры. Не случайно некоторые тексты Маркса оставались неопубликованными и запрещенными к цитированию в СССР. Марксистский пафос свободной личности — вот что привлекало Фролова. Разве плохо было бы утвердить в стране эту идею? Но, в конце концов, чего требовали правозащитники? Они требовали соблюдения тех законов, которые имеются, они же не выступали за новые законы. Давайте исполнять те законы, которые есть. Именно это и говорил Фролов. В пределах этой системы четким и твердым исполнением тех норм, которые записаны на бумаге мы можем многое сделать. И он, действительно, многое сделал. Повторю, это была одна из важней-

ших форм преодоления тоталитаризма и всех его остатков в ментальности интеллигенции.

О его работах по философии науки надо говорить обстоятельно, это отдельная тема, и я уверен, что о них не раз еще скажут специалисты. Но вот его тексты по общепhilosophическим проблемам, хотя бы те, уже упоминавшиеся статьи о духовном наполнении человеческого бытия в аспекте переживания жизни и смерти, безусловно, сохраняют свою актуальность, глубину и, если так можно сказать, изящество в раскрытии проблемы. Считаю, что тексты Фролова — одни из интереснейших на эту тему, из тех, что у нас были. Да, строго говоря, до него эта тема в советской философии и не поднималась. И так во многом. Тем, как он руководил журналом, тем, что там печатал, просто своей позицией — широкой и раскованной — Иван Тимофеевич Фролов создавал атмосферу творчества и, если угодно, свободы. Практически создавал. Поле свободы и поле защиты этой свободы. А философия только и возможна в пространстве свободы, в рамках свободы.

Все, кто ни приходил к нам в журнал, говорили: «Ребята, да у вас оазис. У вас дышать можно, у вас говорить можно, у вас думать можно». Ибо здесь тоже работал принцип, с которым Фролов подходил к любому делу. Он отбирал в сотрудники тех, кто был способен к самостоятельной оценке и работе, которые могли читать тексты незашоренно. Прочем не было в нем даже малейшего признака ксенофобии — в редакции работали и тесно общались люди самых разных национальностей. Пусть без степеней, но свободнее, раскованнее, грамотнее, чем остепененные вузовские профессора, которые забывали, входя в редакцию, о своей важности, ибо здесь вступал в дело реальный критерий ценности текста — его оригинальность, талант, знание и профессионализм автора.

Далеко не про каждого человека скажешь, что он заслуживает искренней благодарности тех людей, с кото-

рыми сталкивался и которые, разумеется, способны на это чувство благодарности. Фролов сделал столько добра окружавшим его людям, что, несмотря на все трения и возникавшие с некоторыми из них взаимонепонимания, у меня нет ни малейшего сомнения в их очистившемся сейчас от мелких недоумений чувстве благодарности к этому выдающемуся человеку. Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что мы еще долго будем вспоминать об этой эпохе длиною в четверть века, особенно если она, не дай Бог, завершится, мы будем помнить, что мы пережили в нашей истории самую свободную эпоху, которая в России была, а одним из создателей этой эпохи был Иван Тимофеевич Фролов. За это и за многое другое ему спасибо.

22. Что-то вроде инициации (столкновение с Л.Ф. Ильичевым)

Скорее всего, Ильичев не раз печатался в журнале «Вопросы философии». Не мог не печататься. Но я тогда этого не знал. И он для меня был кем-то вроде чудовища из народных сказок или, точнее, городского полудиссидентского фольклора. Персонажем из абсолютно не относящегося к живым людям слоя правителей. Вообще-то замечали кто-нибудь, что даже еще недавно попавший во власть человек превращается в нечто казенное, вроде стула обтянутого зеленым сукном. Недавно я слышал выступление чиновника, сказавшего, что он в администрации всего полгода, но печать на нем уже стояла, и слова он употреблял абсолютно чужие, ничьи, казенные.

Надо сказать, что по натуре, по жизни, в советское время я воспитал в себе принципиальное аутсайдерство. Никогда никуда не избирался, не лез даже в школьную власть. Мне хватило того, что после первого класса меня назначили в пионерлагере командиром отряда. А потом и в пионерах, и в комсомоле увиливал от всех возможных начальственных постов. Никаких протестных жестов, просто претило. Тут надо добавить биографическую подробность, что моя *бабушка была членом партии с 1903 года*. По тем временам — редкая птица. И, надо сказать, эта биографическая деталь меня часто выручала. Родители тоже были членами партии. В школе мне очень хотелось поверить в идеи, излагаемые от имени партии. Но уже слишком было большое расхождение между словами и тем, что я видел. Кажется, отношение интеллигенции к этому учреждению выражал анекдот начала 1970-х годов:

«Кто такие члены КПСС?» Ответ: «Согласные глухие». Шутку повторяли и партийцы. Это уже веял дух времени... Последний год в аспирантуре меня вынудили собрать документы на вступление в партию. Я собрал, но так и не отнес их в партбюро. Не мог себя заставить сделать последний шаг и в партию не вступил. Но после аспирантуры партийность взяла меня за горло. На работу беспартийный Кантор не мог устроиться. Так пробродил я от одного учреждения до другого несколько месяцев. И вдруг оказал в главном в стране философском издании.

В журнал «Вопросы философии» в 1974 году я попал по протекции Мераба Мамардашвили, лекции которого ходил слушать, а потом в послелекционных разговорах он узнал, что я без работы. И отправил в журнал, где сам работал заместителем главного редактора. Но решал не он, а главный, Иван Фролов. Опять же необходимо добавить, что и Мамардашвили, и Фролов учились в университете вместе с моим отцом. Прежде чем взять меня на работу, Иван Фролов предложил мне отредактировать одну статью, написать отзыв на другую и показать свои публикации. В журнале «Вопросы литературы» у меня была большая статья о Михаиле Каткове как трагической фигуре русской истории, совсем не ортодоксальная. Но, видимо, это ему и понравилось. Наконец, меня вызвали в журнал, пригласили в кабинет Главного. Фролов сидел за столом, в углу в кресле сидел Мераб.

Фролов сказал: «Отзыв хорошо написали, отредактировали тоже нормально, сами писать умеете. Вы нам приходите. Последний вопрос: вы член партии?». Я посмотрел вопросительно на Мераба, тот сквозь темные очки смотрел на свою трубку, вертел ее в руках, начал набивать табаком. И неожиданно я сообразил: «Но я же член ВЛКСМ». Я уже года три не платил взносов, а тут вспомнил, что там состоят до 28 лет. А мне еще 27, а потом меня оттуда никто не выгонял. Я и сказал про комсомольское членство. «Слава Богу!» — воскликнул главный редактор. И я был принят на работу.

Месяца через два случился первый намек на необходимость инициации. Ведь, если разобраться, что такое инициация? Это, когда ты становишься таким, как все, на равных правах вступаешь в стаю. Фролов вызвал меня в кабинет: «Нам разнарядку спустили, дают одно место для вступления в партию. Я хочу, чтобы ты подал бумаги». Это был караул. Получая уже два месяца зарплату, остаться опять без копейки не хотелось. Но в партию не хотелось еще больше. Попробовал отшутиться: «А в какую партию, Иван Тимофеевич?» Он поднял брови: «То есть?» Продолжая свою полушутку, я пробормотал: «Я бы предпочел кадетскую». Он оторопело посмотрел на меня, потом засмеялся: «Ладно, иди». И больше подобных вопросов не возникало.

Но испытание было еще впереди. Назвать ли его инициацией? Не знаю. Судить читателю.

Был такой в советское время политический деятель Леонид Федорович Ильичев. Говорят, принимал серьезное участие в разгроме выставки в Манеже в 1963 году, потом запретил фильм «Застава Ильича». Остряки хохмили, что на пути фильма встала «застава Ильичева». Человек был весьма важный: в 1958—1961 годах заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК партии, в 1961—1965 годах секретарь ЦК КПСС и председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС.

В конце 1974 года он был заместителем министра иностранных дел. Тут-то мне и передал Фролов его статью о советской эстетике. Добавлю, что вроде бы в журнал он обратился по праву, почти как в свою вотчину. Он был доктором философских наук, одно время главным редактором «Правды», с 1960 года — академиком АН СССР по отделению философии и права, лауреатом Ленинской премии и т. п. Все это я понял много позже. Нет, то, что он академик и замминистра, я знал. Но как-то было на это наплевать. Вообще, как сейчас вспоминаю, мне чины и власть всегда были по фигу. Никогда к ним не стремился, а потому от властных людей особо не зависел. А к моменту получения

статьи Ильичева еще помнил, что несколько месяцев прожил без работы, что это возможно, хотя и трудно.

Названия статьи не помню, а номера журнала за 1974 год давно мною куда-то очень далеко засунуты, но была она о советской эстетике, где все специалисты назывались поименно и все были объявлены чуждыми «нашей идеологии»: от Михаила Лифшица, Моисея Кагана и Леонида Столовича до Михаила Овсянникова и Константина Долгова. Встречалось там и имя Анатолия Егорова, о котором я имел смутное представление. Правда, кто-то сказал мне, что это зять Сулова.

Честно сказать, я был в растерянности. Я понимал, что журнал, очевидно, все равно будет вынужден это напечатать. А, стало быть, мне как человеку, считающему себя порядочным, придется подать заявление «по собственному желанию». Мой лучший друг и советчик был в эти годы отец. Я позвонил и рассказал ему ситуацию. На что он сказал: «Уйти ты всегда успеешь, поговори с Фроловым, объясни ему». Я так и сделал, показав самые погромные места в статье. Фролов, надо сказать, посмотрел на меня с любопытством: «И что вы предлагаете», — переходя с начальственно-отеческого «ты» на вежливото-отстраненный тон. «Что? Не печатать». Он сидел за столом, я стоял рядом, показывая ему скверные места в статье. Он поднял на меня глаза. «Так сразу нельзя никому отказывать. Тем более заместителю министра. Надо попросить его доработать текст. Пожалуйста, напишите академику, где, на ваш взгляд, он не прав и почему вы с ним не согласны. Но подробно!..»

Задача была в том, чтобы не сдать вепрю, но избежать его кльков и в конечном счете победить, то есть настоять на своем. Примерно я представлял, каким оружием владеет мой противник. Как потом выяснилось — очень примерно. Но этого знания мне хватило. Более того, мое непонимание субординации оказалось самым сильным оружием.

И я принялся писать: «Уважаемый Леонид Федорович! Я прочитал вашу интересную статью, но при этом имеют-

ся вопросы к тексту, которые требуют разъяснения. Также есть целый ряд недоумений и, на мой взгляд, неточностей, требующих исправления. Ваша критика, я бы сказал, критика наотмашь наших ведущих эстетиков, очевидно, не может быть принята журналом. Дело в том, что, ругая советских эстетиков за их непонимание “сущности эстетического” и т. п., Вы, по сути дела, совпадаете с нашими идеологическим противниками, тоже объявляющими советскую эстетику жалкой и ничтожной. Тем самым льете воду на их мельницу!» Эти ходом я гордился, понимая, что чем грубее и шаблоннее, тем лучше! И так на пяти страницах, с демагогическими фокусами, которые понимал, и, к удивлению своему, сумел использовать.

Но оставалась проблема.... Чья подпись должна стоять в конце письма? Я поставил число, но подпись — на усмотрение Главного. В конце концов он должен это решить. Первый экземпляр я отнес в кабинет Фролову, второй дал читать ребятам (т. е. коллегам по журналу). Друзья сказали, что, конечно, подписать должен Главный. Все же адресат замминистра, мне такое письмо подписывать не по чину. Наконец, летучка. Фролов вышел из своего кабинета, держа в руке эти пять листочков. Сел за стол, положил их перед собой. Паузу он умел держать не хуже актера. Посмотрел на собравшихся, потом сказал, обращаясь к мне: «Что ж, я в вас не ошибся. Хорошее письмо написали. Я тут пару фраз в конце добавил, а остальное без изменений». Я взял листочки, в конце текста было дописано две фразы: «Редакция благодарит Вас за сотрудничество с журналом. И готова оказать посильное содействие в доработке статьи». Я вскинул глаза, а он сказал спокойным голосом: «Будем печатать, разумеется, а вы доработаете. Отдайте Галине Францевне, чтобы перепечатала на хорошей бумаге. И отправляйте автору». Я все же спросил, почти выкрикнул: «А подпись-то чья?» Все замерли. Фролов усмехнулся: «Как чья? Ваша. Вы же редактор».

Редакция дружно, хотя и немного нервно, захихикала. Потом, кажется, Володя Кормер и Борис Юдин, а может

быть, и каждый по очереди пояснили мне, что главный тем самым оставляет себе дорогу к отступлению. Хотя и разделяет мое отношение, раз решил Ильичеву послать такое письмо. Письмо я отдал на перепечатку, его отослали адресату, и, честно говоря, дня через три я про него забыл. Молодость, другие дела. Забыл напрочь. Прошло недели две. Я вел статью другого академика, вроде бы Маркова, не помню. Вдруг в понедельник (день тяжелый) меня позвали к телефону, который находился перед кабинетом главного редактора, в маленькой комнатке секретариата. На редакцию было два телефона — общий в секретариате и отдельный у главного редактора.

Я взял трубку, и, прикрывая ее рукой, спросил: «Кто?». Галина Францевна ответила: «Академик». «Марков?» — спросил я, почти не сомневаясь в ответе. «Нет, кто-то пострашнее», — сказала она глуховато. Тогда я приложил трубку к уху и сказал: «Алло».

Далее прошу читателя вникнуть в то, как происходил этот разговор, своего рода сюрреалистическая сцена, сюрреализма которой тогда не понимал никто (это мне сейчас ясно, спустя почти сорок лет). Но было понятно, что Ильичев был в шоке, он недоумевал, что происходит. Крыша, наверно, у него не поехала, но задрожала. Я же не то, чтобы был очень смелым, но никогда не испытывая чинопочитания, именно поэтому не лез с начальниками в конфликт, полагая это бессмысленным.

«Здравствуйте, Владимир Карлович, — сказал важный голос, — с Вами Леонид Федорович говорит». Абсолютно не соображая, кто бы это мог быть (Ильичева я называл только Ильичевым, никогда по имени-отчеству), я ответил нейтральным тоном: «Здравствуйте». А сам лихорадочно пытался сообразить, кто со мной говорит. Заискивания в моем голосе не было, было вопрошание. Собеседник этого не понял и продолжил: «Прочитал я ваше письмо. Вы слишком оптимистически смотрите на нашу эстетику». Тогда я сообразил, с кем говорю, и начал нести какую-то словесную околесицу, которую никогда бы себе не по-

зволил в нормальной ситуации: «Ну, знаете ли, просто по долгу службы я *держу руку на пульсе нашей эстетики*. Поэтому знаю о ней все до нюансов и не могу с вами согласиться». Конечно, что ни фраза, то шедевр, но закурсивленная особенно. Просто врезалась в память. Ильичев словно даже поперхнулся, но сказал. «Мне понравились заключительные строчки вашего письма, что вы готовы помочь в доработке статьи («Прав был Фролов», — проскочило в голове). Но надо бы встретиться и обсудить». И тут благодаря своему политическому невежеству я нанес удар, сам не сознавая, что бью наотмашь, а может, даже и в запрещенное место: «Ну, что ж, *приезжайте*. С удовольствием побеседую с вами». Это было абсолютное нарушение субординации. Кажется, он даже хрюкнул от неожиданности. И вдруг принялся оправдываться: «Вы знаете, я ведь очень занят. Может, Вы ко мне приедете, я машину пришлю. Скажем, сегодня». Стоявший рядом Володя Мудрагей (впоследствии заместитель главного редактора нашего журнала) крутил пальцем у лба и делал страшные глаза. Не понимая, что он хочет мне сообщить, я подумал, что до конца рабочего дня, то есть до шести вечера остается всего полчаса и куда-то тащиться мне неохота. Я совершенно не понимал, что советский (да и не только советский) чиновник работает до того времени, как ему прикажет начальник, и ответил: «Нет, сегодня я категорически не могу». Он, видимо, впал в ступор от того, что субординация снова была нарушена. Очевидно, пользуясь словом Вольтера, я был то, что французский классик именовал *Простодушный*. «А завтра?» — спросил он не очень уверенно. *Завтра* был вторник, мне назначила свидание среди дня девушка, которой я тогда домогался. Разумеется, я ответил, что вторник мне тоже не подходит. «А что вы скажете о среде?» — еще настойчиво спрашивал замминистра. Должен пояснить, что среда была так называемым библиотечным днем, когда мы имели право не ходить в редакцию, и каждый использовал его по своему разумению. Ехать в этот день к Ильичеву мне

категорически не хотелось. И я опять отказался. На уже неуверенное предложение четверга я ответил согласием, в этот день обычно проходило заседание редколлегии. Оно начиналось в три часа, и идея сорваться с заседания под благовидным предлогом показалась мне разумной.

И я согласился на четверг. «Позвоните мне в десять утра в этот день», — сказал Ильичев. А Мудрагей сказал: «Только не вздумай явиться к нему в своих болгарских джинсах. Костюм надень, если есть». «Наверно, есть», — неуверенно ответил я. С костюмами у меня всегда были нелады. Но вторую половину дня среды и утро четверга я провел на даче, совершенно забыв о звонке Ильичеву. Домой я вернулся примерно в одиннадцать, к часу надо было быть на работе. И тут (дома!) я вспомнил про костюм, про Ильичева и про звонок к нему в десять ноль-ноль. Судорожно порывшись в карманах джинсовой куртки, я нашел бумажку с телефонным академика. И, немного нервничая, набрал номер, ожидая какого-нибудь не очень приятного разговора. Телефон соединил меня с кем-то, голос, напоминавший голос домработниц из кинофильмов, спросил меня: «А кто спрашивает Леонида Федоровича?». Я назвался. «Я у телефона, — ответил тот же голос, но уже тоном замминистра. — Извините, что в десять часов не мог Вам ответить. Мы министра проводжали». Я вежливо ответил, что, мол, ничего страшного, что давайте договариваться о встрече. Он немного неуверенно, похоже, уже сомневаясь в моей послушности, ответил: «А вы не могли бы мне позвонить примерно часа в два? Тогда точно и договоримся». «Мог бы», — ответил я. И, надев любимый костюм, поехал в редакцию.

В редакции, как всегда, декорации менялись быстро. В прошлом номере вышла статья человека, которого в шутку звали «человек из Бангкока», он там работал. Так вот этот автор позвонил в редакцию и сказал, что приедет к концу редколлегии с целью пропить весь свой гонорар. По тем временам и тем деньгам это получалась неплохая посиделка. Редакция готовилась к этому событию, собираясь, насколько от нее это зависело, как можно скорее

завершить редколлегию. Конечно, к Ильичеву ехать мне уже расхотелось, но я помнил, что в два надо позвонить. Положение редактора обязывало, независимо от того, кто был автором. Я и позвонил, но никто не подошел.

Перед началом редколлегии рассказал друзьям, заметив, что больше звонить не буду. И получил ответ, что время еще есть, что «человек из Бангкока» подойдет лишь к шести вечера, что все же позвонить надо. Началась редколлегия, примерно через полчаса, одурев от сидения, шепнул Фролову, что моего звонка ждет Ильичев, вышел из комнаты и пошел в секретариат. Снова набрал номер. На этот раз трубку снял секретарь и через минуту (даже меньше) соединил меня с шефом. И состоялся разговор.

Ильичев: «Опять был не точен. Извините. Но тут такие дела были. Чуть у нас А. (назвал он одну африканскую страну) не оттяпали, пришлось этим заниматься».

Конечно, я знал анекдот, когда на вопрос «С кем граничит Советский Союз?» следовал ответ: «С кем хочет, с тем и граничит». Но у меня хватило ума удержаться от вопроса: «А что, разве А. наша?» Хотя слова были готовы с языка, но сказал другое: «Понятно. Ну что же, значит, нашу встречу переносим?»

Ильичев: «Нет-нет, я вас сегодня жду».

Я: «Я уже было решил, что вы не можете, другую встречу назначил...»

Ильичев: «Нет-нет, я уже машину за вами послал».

Делать было нечего, я вызвал кого-то из друзей и попросил оставить мне записку, куда они пойдут пропивать гонорар «человека из Бангкока». Было уже почти четыре.

Я взял портфель вернулся в секретариат, куда был вход с улицы. Тогда-то первый раз в жизни я увидел *хозяина*. Еще от порога донеслось ласково-льстивое: «Где бы я мог найти Владимира Карловича?» Голос был почти умильный. Я взглянул на вошедшего. Был он не очень низенький, но совсем не казался высоким, вроде не слабый, но и впечатления силы от него не исходило, глаза были

скорее бесцветные и ждущие то ли окрика, то ли приказа-ния. И не от кого-нибудь, а от меня. Я назвался. Он подбежал, точнее, словно по паркету протанцевал с мою сторону. «Здравствуйте, Владимир Карлович! Меня за вами Леонид Федорович прислал». Это бесконечное, на протяжении всего дня, умильно-почтительное именование меня по имени-отчеству в сочетании с именем-отчеством начальника как бы подчеркивало весьма уважительное ко мне отношение. Он добавил вдруг: «Машину к крыльцу подогнать не удалось, придется ножками пройтись». Я, начиная вступать в новый мир, ответил: «Что поделаешь! Долго нам ехать?» «Не волнуйтесь, — ответил он, — я вас двориками домчу».

Теперь немного топографии, хотя я в ней и не силен. Институт философии, в котором размещался наш журнал, находился и пока еще находится (хотя зубы точатся на здание в центре Москвы) по адресу: Волхонка, 14, а Министерство иностранных дел на Смоленской. Пешком пройти двориками нормально, иногда в Смоленский гастроном мы так и ходили. Но на машине? Тем не менее какие-то проулки мы проехали и вдруг оказались во дворе МИДа. «Вы меня проводите?» — спросил я шофера. «Нет, мне туда нельзя. Пройдете мимо часового, он предупрежден, и подниметесь на шестой этаж (точно не помню, запомнилось слово «шестой»). А там уж и Леонид Федорович». Прямо как наставления добру молодцу из русской сказки, как проникнуть в какую-нибудь заколдованную гору, где ждет его не то счастье, не то дракон, не то Кощей. Как было сказано, так и оказалось. Ни о чем не спрашивая, часовой пропустил меня в холл, сидевшие там охранники, тоже не требуя документов, молча показали, где лифт. И я поехал на шестой этаж.

Тут надо представить непредставимое, вообразить невообразимое — степень моего тогдашнего политического и административного невежества. Я абсолютно не представлял, где может находиться кабинет главного или почти главного начальника. Никому и в голову не могло прийти

(ни друзьям, ни начальникам, ни холуям), что я буду идти по коридору и вертеть головой, ища по сторонам кабинет, на двери которого стояло бы имя Ильичева. Коридор бы длинный, но ни на одной двери искомой фамилии не было. Даже мелькнула мысль, что шофер ошибся и направил меня не на тот этаж. Я уже дошел почти до конца, прямо передо мной обозначилась дверь более массивная. Только я подумал, что это и есть нужный мне пункт назначения, как вдруг сбоку от этой массивной двери открылась другая и из нее вышел, почти выскочил мужчина средних лет в хорошем и дорогом костюме, в галстук, чисто выбритый (тут я понял, насколько в этом коридоре неуместна моя борода) и, протягивая руку мне навстречу, воскликнул: «Здравствуйте, Владимир Карлович!». Я попытался быстро сообразить, не Ильичев ли это, но человек сказал: «Пойдемте, Леонид Федорович вас ждет». И распахнул передо мной дубовую дверь.

За дверью была приемная с небольшим столом. За столом сидела секретарша, которая привстала мне навстречу. Мужчина махнул ей рукой и открыл дверь к начальнику. Далее послышалось абсолютно административно-интимное: «Леонид Федорович, к вам Владимир Карлович!» Это как бы даже уравнивало меня с его начальником. Не редактор, а Владимир Карлович!

Я вошел в кабинет. Стоял стол, за столом полки с книгами, по корешкам видно, что полит- и партиздат, за столом сидел человек, на мой тогдашний взгляд, пожилой, но, видно, что крепкий и цепкий, чем-то напомнил мне барбоса из мультфильма. Первая фраза, которую он произнес, обращаясь ко мне, была несколько неожиданна, но вполне логична для крупного чиновника: «Зачем вам борода, Владимир Карлович?»

Я ответил нелепой фразой: «Знаете, бритье отнимает много времени. А дел у меня немало». Уже потом, вспоминая мое общение с Ильичевым, я понял, что все мои фразы были нелепы и алогичны. Просто попал я совсем в другую среду, где надо было дышать жабрами, а не легкими.

Но Ильичеву мое косноязычие, видимо, понравилось. «Это хорошо, — сказал он, — когда человек ценит время. Многие этого не понимают. Я, например, так занят, что некогда заняться доработкой статьи». Я оценил предусмотрительность Фролова, но ничего не сказал, ожидая его вопросов. Он сделал жест рукой: «Присаживайтесь к столу, побеседуем». Я сел напротив него, он достал сигарету и закурил. Тут я вспомнил, что забыл сигареты в ящике своего стола на работе. И автоматически сказал, могу ли, мол, попросить у него сигарету. Я, конечно, ожидал какие-нибудь импортные сигареты, все же замминистра иностранных дел, но он протянул маленькую пачку наших сигарет «Новость», хотя и с фильтром. Я подумал: «Вот жмот». И отказался, сказав, что такие не курю. Уже через несколько дней, когда я рассказал об этом в редакции, друзья меня обсмеяли. Оказалось, что сигареты «Новость» любил курить Леонид Ильич Брежнев, и специально для него выпускалась партия таких сигарет, набитых импортным, очень хорошим табаком, мне оставалось только пожалеть о своем промахе: упущенного не воротишь.

«Ну что ж, — начал беседу Ильичев, — расскажите мне, откуда вы такой оптимист? Что вы кончали?» Я ответил, что МГУ, а потом аспирантуру Института истории искусств. «Кто там сейчас директор?» — быстро спросил Ильичев. «Владимир Семенович Кружков», — спокойно ответил я, понимая, что имя вполне партийное. И угадал. «Да мы с ним вместе Институт красной профессуры в тридцать седьмом закончили. Светлое было время», — скорее всего это была ностальгия по молодости, хотя, может, и не только. Но я, понятное дело, вздрогнул. Для меня этот год имел другую окраску.

Деталей биографии Кружкова я не знал. Знал, что в 1944—1949 годах он был директором ИМЭЛ (Институт Маркса — Энгельса — Ленина), в середине 1950-х годов попал в дело Г. Александрова, так называемого министра культуры и отдыха. Как шептали свободомыслы

в Институте, Кружков был тогда не только членком АН СССР и замзавотделом ЦК КПСС, но и участником «философского ансамбля ласки и пляски имени Александрова». Рассказывали, что в «Юманите» было опубликовано фото оргии, после чего началось расследование, но Кружков отделался легче прочих, доказав, что девушек он не имел, а только мазал им соски вареньем. Его сослали вначале редактором какой-то уральской газеты, потом он стал профессором Уральского университета. И, будучи аспирантом, я слышал выступление своего директора всего однажды на каком-то научном совещании в Институте, где наши интеллектуалы попытались поднять проблему отчуждения, мол, что проблема эта существует и при социализме. Неожиданно Кружков поддержал прогрессистов, сказав, что проблема отчуждения при социализме, конечно, существует, но что она решается очень просто, поскольку враждебные и антисоциальные элементы отчуждаются от общества в тюрьмы и концлагеря.

«Да, — продолжил замминистра, — хорошо, что вы мне о нем напомнили. Давно не общались. Вот оно время! А ведь дружили. Одновременно свою карьеру начали. Очень образованный всегда был, член-корреспондент все же, директором не случайно стал. Вы можете передать ему привет?» Я пожал плечами: «Я уже почти год в Институте не был. Много работы». «Ну, тогда ладно, — ответил он. — Но вернемся к моей статье. Так что же хорошего видите в работе названных мною ученых?» Я был рад, во-первых, он назвал тех, кого он занес в черный список, учеными, во-вторых, хотел выяснить, что в их работах хорошего. «Как что? — удивился я. — Это же очевидно. Верность коммунистической идеологии и отстаивание ее идеалов». Он возразил: «Однако вы оптимист». Но я был тверд: «Просто надо знать, кто курирует советскую эстетику». «И кто же?» — спросил он, будто и не подозревал этого. Но я-то и в самом деле был уверен, что он не знает, и с торжеством человека, наводящего порядок в мозгах собеседника сказал: «Как кто? Анатолий

Григорьевич Егоров». Ильичев загасил сигарету и уставился на меня сквозь очки: «И что?» Тогда, будучи политически абсолютным невеждой и в каком-то смысле идиотом, я очень важно ответил: «Понимаете, нападая на нашу эстетику, получается, что вы нападаете на Анатолия Григорьевича Егорова, а тем самым и на Михаила Андреевича Сулова!» Он сделал вид, что слышит это в первый раз и что это никогда ему в голову не приходило, и воскликнул: «Вот что значит, что человек на своем месте и думает о том, что мне и в голову не приходило!»

Тут я должен пояснить читателю, каковы были отношения Ильичева и Егорова (а они были! да еще какие!), чтобы было можно оценить сюрреализм этой сцены. Уже много позже я вычитал, что Егоров долго был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, т. е. заместителем Ильичева. Когда в 1962 году Ильичев был произведен в академики, Егоров как его заместитель стал членом-корреспондентом АН СССР. В 1965 году Егоров стал главным редактором журнала «Коммунист», в 1974 году директором Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и полным академиком. Он был бессменным председателем Научного совета по эстетике при Президиуме АН СССР, а потом и президентом Российского эстетического общества. Конечно же, Ильичев все это знал, да еще как, а передо мной просто валял ваньку.

Что же это было? Не знаю. То ли он хотел притопить Егорова и впрямь подзабыл в азарте, что у того слишком мощное родство, то ли испугался, что *идиот* из «Вопросов философии» может как-то дать знать Сулову о его промахе. Во всяком случае возражать он не стал, наоборот. Очень даже вежливо попросил заняться редактурой его статьи и поинтересовался, сколько времени может занять эта редактура. А я сидел и злился, что пьянка с «человеком из Бангкока» уже идет и идет без меня. И я ответил, глядя на него с иронией ничего не понимавшего юнца: «Не знаю, как пойдет». Тогда он сделал жест, ко-

торый по его представлениям должен был меня осчастливить. «Знаете, — сказал он, — я готовлю из моих статей последних лет книгу. И непременно в конце книги выражу вам благодарность за помощь при подготовке материала к этой книге». Почти не задумавшись, я твердо отказался: «Не надо! Что вы! Это просто моя работа, моя обязанность». Слишком я высокого мнения был о себе и живо вообразил позор на всю жизнь, позор подготовки книги Ильичева, позор, который потянется за мной навсегда. Думаю, он был поражен, но, скорее всего, приписал это моей скромности: «Ничего, не боги горшки обжигают. И ваш труд пригодился Ильичеву. Раньше-то вы, небось, Ильичева только издали на трибунах видели, а теперь вот сидите за одним столом». Надо сказать, что на демонстрации я ходил только в детстве, когда меня брали с собой родители, а по телевизору эти действия никогда не смотрел. И я искренно и простодушно ответил: «Честно говоря, я вас первый раз вижу». И этим, кажется, обидел и оскорбил академика, но он сдержался. «Что ж, всего доброго. Но машину я отпустил». Торопясь уйти, я не очень вежливо ответил: «Ничего, я и на городском транспорте доберусь».

Рассказ мой о визите был живописен, но Фролов поинтересовался, чем закончился разговор. Я ответил, что сошлись на том, что я редактирую текст. «Когда закончите редактуру, позвоните ему. Даже если не успеете закончить, все равно недели через три позвоните, расскажите ему, как идут дела. Так надо». Я кивнул, но, видимо, в душе сидела такая идиосинкразия к этой истории, что я просто забыл про обещание позвонить. Через месяц Фролов напомнил мне о звонке. Не долго думая, я соврал, что звонил и не смог дозвониться: «Может, в Китай уехал?» — добавил я, прекрасно понимая, что проверить меня невозможно. Но в начале сентября мне позвонил сам Ильичев и спросил, как его статья. Растерявшись (а я даже не прикасался к ней), я ответил опять какой-то дикой фразой: «*Проходит предварительную обдирку*». Он растерянно ответил: «Хорошо, это хорошо».

Но уже в начале октября меня вызвал к себе в кабинет Фролов и сказал: «Хватит в игрушки играть. В двенадцатом номере статья Ильичева должна выйти». Если кто редактировал написанный казенными словами и оборотами текст, тот понимает, что править стилистически его невысказано, можно только вычеркивать. Консистенция подобных сочинений такова, что абзацы и страницы сами сползаются, будто ничего оттуда и не было вынато.

Статья вышла в двенадцатом номере. На последней летучке перед Новым годом Фролов произносил поздравительную речь, уделив несколько минут и моей истории со статьей Ильичева: «Особо должен отметить работу нашего молодого сотрудника. Ильичев передает ему персональную благодарность за тщательную работу над его текстом. А я не могу не поздравить Кантора с тем, что он сумел держать в руках, насколько это было возможно, самого Ильичева, который, в конце концов, даже не был уверен, что Кантор пропустит его статью, — Фролов рассмеялся. — Он уже у меня спрашивал, каково происхождение Владимира Карловича и тому подобное. Я сказал, что он может не беспокоиться: очень хорошая семья, его *бабушка член партии с 1903 года*. Кажется, Ильичев не поверил, но замолчал».

Фролов, конечно, понимал, с кем я связался и на кого наускаивал, человек он был весьма опытный, прошедший школу партийного аппарата, но, видимо, его забавлял абсолютно мальчишеский задор его сотрудника, не осознающего веса и значимости своего противника. И он поддерживал сотрудника, *прикрыл его*. Другого объяснения у меня нет. Уже после того, как Фролова убрали с поста главного редактора, Ильичев печатался в журнале без проволочек, да мне не доверяли вести его тексты.

23. Под бесконечным присмотром, или Предсказание на долгие времена

Новогоднее гадание

Странно, но как в старинных романах, все началось с новогоднего гадания, точнее, начали в Новый год вертеть блюдце. Никто из гостей не занимался этим профессионально, хозяйева, то есть мы с моей первой женой тем более. Выпили уже немало, под гитару попели, в буриме поиграли, но спать еще не хотелось. Домой ехать гостям было далеко, спальные места — на кухне, на полу, на двух диванах — уже были распределены, но спать никто не ложился. Чья была идея — вертеть блюдце и пытаться судьбу, категорически не помню. Кое-как вспомнили, нашли нужные сведения, написали алфавит на краях блюдца, расчистили стол, зажгли свечи, поставили нечто вроде пограничного столбика, который должен был отмечать буквы. Первым загадал ревнивый муж, задав прямой вопрос: «Как зовут любовника моей жены?» «Дух не поймет, — возразил кто-то. — Надо имя женщины назвать». Все неуверенно хмыкнули. «Хорошо, — согласился муж, — как зовут любовника Катерины?» И вдруг блюдце медленно начало вращаться. Руки играющих лежали на столе. «Следите кто-нибудь за столбиком, который буквы фиксирует!» — крикнул муж. Пашка Гутт, художник, мастер по литью, общий приятель, к любовным шашням собравшихся отношения не имевший, недавно развед-

шийся, но сохранивший все же нормальное отношение к женщинам, хотя жена ему сначала изменила, а потом и оставила, сказал: «Ладно, я буду». Красавица-блондинка пышная Катька, уже заметно беременная, крикнула: «Пусть Паша, я ему доверяю». Похоже, что она все же нервничала. И тот принялся складывать: «Эс, е, эм, е, эн. Вроде все». Все переглянулись, не понимая. «Ну и что за глупость получилась?» — спросила Катька. Квадратный, широкоплечий Семен-журналист воскликнул: «Да ну, давайте еще поем. Я еще свою любимую не пел!» И затащил тогдашний шлягер «Пи-исма...», не произнося мягких звуков. Муж посмотрел на Катерину, но ничего не сказал. Моя сообразительная свояченица сказала: «Как-то неправильно мы придумали. Нужно духу исторические вопросы задавать. Например, кто величайший полководец в русско-французских войнах пушкинского периода?» И блюдце вдруг снова закрутилось. Честно говоря, все, не шибко патриотически настроенные, ждали ответа «Наполеон». Но буквы пошли другие. Павел произносил их вслух: «Бе, а, ре, ка, эл, а, и краткое. Чего-то у меня не складывается». Немного знавший о наполеоновских войнах, я твердо прочитал слово духа блюдца: «Барклай. Единственный, кто и вправду разбил Наполеона в Битве народов». Оказывается, о Барклае никто и не думал. Тут же вспыхнул застарелый, как древний нарыв, спор, не было ли оставление Москвы Кутузовым его величайшей победой над французским полководцем?..

Малость побазлав, решили перейти к современной политике. Изрядно поддатые, спорили о том, как точно сформулировать вопрос. Наконец, выработали общий вопрос: «Кто будет править нашей страной в ближайшие годы?» И блюдце закрутилось. Пашка шевелил губами, тихо произнося буквы, решив, видимо, не путать друзей. Но, крутанувшись всего ничего, блюдце остановилось. «Ничего не понимаю, — сказал Гутт, — всего три согласные. Так не бывает. Давай еще раз». Все почему-то ждали фамилию

Громыко и согласился на повтор. Но блюдце упорно называло три согласных буквы. «Да ты произнеси их вслух», — потребовал муж-рогоносец, желавший всюду правды. Пашка Гутт. Блюдце снова задвигалось, а Гутт повторял буквы: «Ка, гэ, бэ. Ну и что?» И вдруг заорал: «КГБ, что ли?!» Мы замерли. И тогда самый вдумчивый и рассудительный, будущий доктор искусствоведения и профессор, Мишка Алленов сказал, немного растягивая слова: «Но этого не может быть. Не может быть по определению. Во-первых, мы просили имя, во-вторых, организация не может править, она должна быть персонифицирована». Я не удержался, чтобы не встрять: «А партия?» Мишка был хорошим спорщиком: «Там всегда были вожди. И Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев... А КГБ — нечто неопределенное, да и страшновато звучит». Надо сказать, что никому из нас с органами напрямую сталкиваться не приходилось, хотя весь тамиздат — от «Архипелага ГУЛАГ», «Круга первого», «Колымских рассказов» до «Крутого маршрута» — был читан и перечитан. Даже решили, что Евгения Гинзбург лучше Аксенова, что Аксенов может гордиться своей матерью. Такая уж была в те годы советская интеллигенция.

Появление американца

В следующем году на смену Брежневу пришел Председатель Комитета госбезопасности Андропов. Он стал Генеральным секретарем партии. Сразу ничего не изменилось. Хотя пошли разговоры, что Андропов хочет избавить страну от фальшивых речей, что на вопрос помощников, к каким идеям им надо на новом этапе обращаться, он завел их в свою библиотеку за кабинетом, показал стеллажи, заставленные собранием сочинений Ленина, и сказал: «Здесь все написано. Мне к этому нечего добавить». Это должно было означать скромность нового властителя. Разумеется, о гадании мы помнили, но все говорили, что в отличие от КПСС ГБ знает реальное положение в стране.

И это хорошо. Говорили, что Андропов приказал устраивать чекистские рейды по ресторанам и саунам, отлавливая там чиновников, развлекающихся в рабочее время. Это тоже вроде бы хорошо говорило о новом начальнике.

Но интеллигентская кухонная жизнь продолжалась своим чередом. Гости, пьянки, песни. Как-то подруга жены Таня Никольская, вышедшая замуж за польского астрофизика Ромку Юшкевича, пришла в гости с мужем и его американским коллегой Тони Рутманом. Пришедшие принесли хорошую заморскую выпивку типа виски и джина. И пошел сумбурный как всегда разговор, говорили на гуманитарные темы, поскольку астрофизика была для нас с женой абсолютной черной дырой. Татьяна, конечно, сказала, что я давно пишу прозу, но что меня пока не печатают.

Тони тут же сказал, что он тоже пишет прозу, фантастику, в духе Роберта Шекли. Но тоже еще не печатал. Как я понимал, у нас были разные причины непечатания. Тони сказал, что ему приходилось помогать русским друзьям. Он даже фиктивно женился на одной русской девушке, чтобы она могла в Америку уехать. Его же бабушка и дедушка уехали в США из Одессы. «О чем пишешь?» — спросил Тони. Говорил хорошо, но акцент был очевидный.

Я только что (1983) закончил роман-сказку на 14 а. л., вполне приключенческую, в итоге получившую название «Победитель крыс» (по совету младшего брата). А вначале называлась «Болезнь и выздоровление», о том, как заболевшему мальчику по имени Борис, (так во многих моих ранних повестях звался мой alter ego) в бреду чудится крысиное царство, с которым он вступает в борьбу. Выздоровление сопряжено было с победой. Победив в сказочном мире крысиное царство, он выздоравливает в реальном мире. Тони, мгновенно, видимо, просчитав, как книгу можно подать на Западе, предложил мне передать рукопись, он ее переправит на Запад, где она с гарантией будет опубликована. Я твердо отказался, чем немало его удивил.

Хотя ни одно советское издательство роман не брало. А во внутренней рецензии в издательстве «Молодая гвардия» известный создатель фантастических сказок про девочку Алису Кир Булычев начал свой текст так: «По моему объективному мнению...» Так вот, по его объективному мнению, роман был написан автором для диссидентских друзей, чтобы читать его перед камином за бутылкой джина таким же, как он, врагам советской власти. Странное у него было представление о наших полунищих квартирах, где о каминах даже никто не думал. После такого отзыва редактор издательства попросил меня срочно забрать рукопись: мало ли что! Потом я отправил роман на конкурс в странной неопытности, что как в сказках выигрывает лучший, а не знакомый. Долго в это верил. Чтобы открыть незнакомое имя, надо иметь смелость мысли. А где она? Я помню, как в «Дружбе народов» пара моих рассказов, прошедшая все инстанции (так что редаппарат меня уже поздравлял), были остановлены и возвращены автору (то есть мне) на последней стадии. Это было сделано аккуратным, маленьким, тихо и ласково полуулыбающимся армянином Тер-Акопяном, кажется, заместителем главного редактора. У него было два соображения, что, во-первых, он совсем меня не знает, а, во-вторых, пишу я про интеллигенцию, и он не понимает, зачем я все это пишу. Никому не интересный предмет. И ведь ни одного моего текста не пропустил, хотя раз пять отдел прозы подавал мои тексты и А.С. Берзер написала на мои рассказы хвалебную рецензию. Но Тер-Акопян был тверд, как сухие армянские горы, где давно не было дождей.

Почему не хотел публикации на Западе? Нисколько не осуждая тех, кто печатался в другой стране — от Декарта и Спинозы до Гроссмана и Солженицына, отвечаю так. У них были, как им казались, сверхидеи, которые могут изменить мир. Я же менять мир не хотел, понимая, что от моего слова, как и от слова вышеназванных, это не зависит. Разговор же о человеческой судьбе не является интересом разных

разведок. Потому что писал не для спецслужб — наших и тамошних. Мои тексты были текстами — не советскими и не антисоветскими. Они ни на кого не были рассчитаны, и я не хотел, чтобы их понимали и принимали не по моей программе. Это были рассказы о жизни, достаточно острые, чтобы их не печатали здесь, но никогда сознательно политически не заостренные. Просто в режиме, конгруэнтном тоталитарному, всякая независимость воспринимается как «вражеская вылазка». Но мир в XX веке был уже устроен так, что не ангажированная литература, попав в другую систему поневоле начинала казаться ангажированной. Назвать это сознательным аутсайдерством? Возможно. Во всяком случае, когда кончилось прямое противостояние людодерству и людоедству (тогда выбор был очевиден), принимать чью-либо сторону казалось мелким и неприличным, а результат такого выбора — скоропортящимся продуктом. Все же чувство независимости и собственного достоинства, хоть и усложняет жизнь, позволяет быть верным себе. И других грехов хватает — отношения с женщинами, друзьями, детьми...

Об этих грехах и писал. Но ГБ недаром назывались внутренними органами, они лезли туда, где их быть не должно было. Лезли в частную жизнь, выталкивая законопослушных людей в оппозицию. А поскольку судьба человека складывается на пересечении разных линий, в том числе исторических и современных властных, писатель не может их не касаться. Впрочем, даже описания природы, в которую сбежали Пришвин и Паустовский, при желании можно было воспринять как антисоветский выпад. Ходил в те времена анекдот. Почему опасны неуправляемые ассоциации? А что это такое? Ну, к примеру, смотрите вы на красивый пейзаж, а сами думаете: «А начальство-то наше говно». Похоже, что моя проза шла по схеме неуправляемых ассоциаций.

Вначале под шумок завершения перестройки сказку «Победитель крыс» напечатали тиражом 225 тыс. экзем-

пляров. Взялось за это издательство им. Сабашниковых. Женой издателя была моя однокурсница Лариса Заковоротная. Но тут случилось ГКЧП. И типографы с перепугу остановили тираж. Я был невероятно расстроен, решив, что роман так никогда и не выйдет. Но дня через три ГКЧП вдруг лопнул, типографы быстро справились с книгой, напечатав лично для себя лишних 200 экз. Тираж пошел в продажу под припев продавцов книжных ларьков: «Книга о трудном детстве и победе Бориса Ельцина!» А потом крысы словно испугались. Они ведь продолжали править миром, пусть и в измененных обличьях. И хотя роман разошелся в разных интернетных системах — Word. PDF. FB2, о нем пишут в инете, издательства переиздавать книгу отказываются.

Американцы и литература

Но я изрядно забежал вперед. Тони я ответил, что в издательстве «Советский писатель» уже четыре года лежат рукописи двух моих повестей, что всю редакторскую правку я уже прошел. А срок издания обычно три года, так что вот-вот книга и выйдет. Не стал только говорить, что там есть и покровитель — писатель и друг отца Николай Семенович Евдокимов, который, конечно, как я полагал, дал мне шанс, направив рукопись в издательство.

«Как хочешь», — ответил дружелюбно Тони. Он начал приходить в гости, предварительно позвонив из телефона-автомата. Это то, что ГБ не фиксировало. Как-то привел пару друзей астрофизиков — высокого полного брюнета Грегора и молоденькую необыкновенно хорошенькую финку Тину с синими глазами, белыми волосами, высокой грудью, очень ладную при невысоком росте, короче, такую хорошенькую, каким бывают только юные красавицы-финки. Правда, девушка была тоже уже американка. Как-то в жизни людей быстро происходила эта американизация. Похоже, что Тина очень нравилась Тони,

он пытался за ней ухаживать, но она явно предпочитала высокого Грегора, а не рыжевато-интеллектуала Тони. Прижималась своей нежной грудью к спине высокого брюнета, заглядывая ему через плечо, когда он что-то писал. А Тони отворачивался в такие моменты.

Говорили о величии астрофизики, хором рассказывали о великом Хокинге, парализованном астрофизике, которого называли современным Эйнштейном и которого помощник-индус возит на каталке, переводит его слова и все его высказывания — в общем, гений. Они показывали фото человека, который у нас дальше школы для слабоумных не пошел бы. И все же снова заговорили о литературе, о том, что наша система противоречит свободному развитию творчества. «Вот тебе мешает писать ваша система?» — допытывался у меня высокий Грегор. Мне очень хотелось сделать гостю приятное и сказать, что мешает. Но я не мог понять, как мне кто-то, кроме близких да работы, которой приходилось отдавать время (хотя она порой и сюжеты подбрасывала), может помешать сидеть за машинкой и писать свою прозу, сколько влезет. Мешало только то, что совсем не всегда получалось, что я хотел, а иногда и вовсе не получалось, и тогда я надолго откладывал в стол недописанное. «Да нет, не мешает», — смущенно ответил я, а они посмотрели на меня не то с сожалением, как на приспособленца, не то как на недоумка. Тони, который уже со мной подружился, постарался мне помочь: «Но ведь тебя не печатают!» «Да, — обрадовался я, хотя чему тут было радоваться. — Не печатают!» Они переглянулись. «Может, мы тебе можем помочь?»

Я абсолютная случайность. Меня не должно было быть. Меня в принципе должны были выкинуть в помойную яму, а я стал профессором. Им этого было не понять.

И я отрицательно покачал головой. И все же потом многое поворотилось и как? Почему вдруг их явление сыграло некую роль? Началось с какого-то пустяка. Они позвони-

ли мне из отеля и пригласили в «Арагви». Я возразил, что мы в рестораны не ходим, зарплаты на это не хватает. Но Грегор важно сказал, выделив это слово: «Мы вас *приглашаем*». Я не понял и повторил слова о недостатке денег, предложив встретиться у нас дома. Грегор важно пояснил не очень цивилизованному русскому, что раз они приглашают, то берут расходы на себя. Что-то нас с женой тогда смутило, только мы не поняли, что именно. За соседним с нами столиком сидели очень элегантно одетые три парня кавказского типа. Потом вдруг они послали на наш столик бутылку коньяка, потом подсели сами. Заговорили о литературе, о том, что писатель должен смело писать, что думает. Я говорил, что настоящий писатель всегда так и пишет. О чем дальше шел разговор, я не помню, меня изрядно повело с коньяка, мы обычно пили водку. Тони как-то вдруг скуксился, обычно оживленный, он отмалчивался или отвечал односложно. А потом вдруг встал и сказал, что пора расплачиваться, подозвал официанта и отдал деньги. Я почему-то подумал, что он подсчитал и понял, что слишком много денег им приходится платить. Его американские друзья смотрели на него с удивлением, но не возражали. Кавказские ребята уговаривали еще посидеть. Мы с женой как приглашенные (а потому не платящие), разумеется, сразу поднялись. Потом, гораздо позже, я сообразил, что Тони уже имел мелкий опыт с подсаживающимися к столику милыми ребятами.

Как бы милиция

Хотя, как выяснилось полгода спустя, наивности у него было гораздо больше, чем опытности. Правда, за эти полгода, неожиданный опыт стали приобретать мы. Вначале мы заметили, что у нашего подъезда бесконечно дежурит милицейская машина. Надо, наверное, сказать, что обитали мы в доме, где жила профессура Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в которой мой дед работал

заведующим кафедрой геологии, пока его не посадили. Но все это было в прошлом. Так что машине не придали никакого значения, и примерно месяц так продолжалось. До следующего эпизода. Был уже конец мая, настроение весеннее, хорошее. Я вошел в подъезд, в подъезд своего дома по адресу Красностуденческий проезд, дом 15, кв. 5. И принялся подниматься на свой третий этаж. На площадке второго этажа, немного посторонившись, мимо меня прошли два милиционера в полной форме, даже с портупееми. И один другому, продолжая разговор, бросил: «Нет, в пятой квартире никого нет. Я там долго простоял. Ни звука». Он говорил о моей квартире, но я не решился их остановить и спросить. Они спустились, хлопнула дверь подъезда, а я открыл свою квартиру. Никаких изменений.

Мы очень странно представляли себе и существующую действительность, и историю. Мы воспитывались на Пушкине, Лермонтове, Чехове, мы знали, что иного выхода из Первой мировой войны, кроме Октябрьской революции, быть не могло. Да-да, был мрак самодержавия. А потом? Песня: «Вышли из мрака железные ленинцы, мир за собой повели...» Иначе страна пропала бы. Мы знали, что потом был сталинизм, но до этого были храбрые комиссары двадцатых годов, которые не щадили своей жизни ради идеи и ради народа, был Олеко Дундич, был Чапаев, были партизанские отряды, воевавшие в Сибири против японцев, был Лазо, который «бился в тесной печурке», был железный поток, рожденные бурей, орлята, сотня юных бойцов из буденовских войск. Ну и комсомольцы, которые уходили на гражданскую войну, причем ему был дан приказ на запад, ей в другую сторону. Неужели все это зря было? «Летели тачанки и кони храпели, и гордые песни казнимые пели», — писал Коржавин. Неужели зря? Неужели история каждый раз обманывает людей? Что же искать? То, что нравственно? Защита близких, ненависть к предательству, свобода Родины. Но ведь об этом и официоз твердил. А за официозом стоял еще при

Ленине созданный холмогорский лагерь смерти, потом Беломоро-Балтийский канал, казни писателей и поэтов, Колыма, украинский голодомор... Книги Солженицына, Шаламова, Гинзбург, Надежды Мандельштам, «Реквием» Ахматовой... Мы знали о злодеяниях гэбэшников, но почему-то перестали их бояться. Что-то перегорело в общественном сознании. Произошла явная поляризация, появилось много людей, которые не то, чтобы боролись с этой системой, просто не хотели с ней дружить, старались жить помимо нее. Когда в 1992 году, уже будучи женат во второй раз, я очутился в Германии, получив стипендию фонда Генриха Бёлля, то подарил свою вторую книгу «Историческая справка» Льву Копелеву. Копелев как раз дал добро на эту стипендию. И он, прочитав мою прозу, говорил сотрудникам: «Ich mag, wie er schreibt», а мне сказал: «Мне нравится ваш слог. Но мы каждой строчкой боролись с советской властью, а вы пишете так, будто ее нет!» Строго говоря, для моего поколения, моего круга ее и не было. Или, точнее, была, но как погода, за которой все же надо следить. Ни для меня, ни для обеих моих жен.

Поэтому ни жена, ни я не испугались. Даже некий азарт проснулся, как в детской игре в казаки-разбойники. Только было непонятно, кто казаки, а кто разбойники. Самое ужасное, что казалось, что никто. Просто адреналину добавлялось. Я иду к автобусу, по нашей боковой улочке за мной едет милицейская машина. Так повторяется не раз. Как-то я спросил, почему мне такая честь, что милиция провожает меня от дома до автобуса. «А вы знаете, — сказал один из двух, — в наших переулках хулиганья много. Всякое может случиться. А ведь наша задача беречь покой советских граждан. Вы ведь советский гражданин?» Я согласился: «А кто же еще?» Он мне улыбнулся: «Ну, вот видите!..»

Самое забавное, для меня во всяком случае, произошло в начале лета 1984 года, когда мы с моей первой женой собирались на дачу. Я вышел из дому в джинсах, рубашке навыпуск, с холщевой сумкой через плечо и пошел к трам-

вайной остановке. И вдруг на этой узенькой тропке передо мной возник высокий и широкоплечий милиционер, поднял руку и сказал вежливо: «У меня к вам вопрос. Вы здесь проживаете?» Я ответил: «Да». «И прописаны здесь?» «Да» «А вы могли бы паспорт предъявить?» Самое удивительное, что паспорт у меня был с собой, никогда постоянно не носил, а тут шел в какую-то официальную контору и взял с собой. «Пожалуйста», — и с чувством идиотической гордости я протянул свою «краснокожую паспортину». Мент внимательно пролистал документ, потом козырнул и вернул его мне, добавив: «А, может, и впрямь вам лучше уехать в свою Америку, чтобы к вам никто не приставал». Я передернул плечами: «Америка вовсе не моя». Мент ответил: «Ну как знаете. Сердечно советую». Я ничего не сказал (говорить было нечего) и пошел к трамваю.

А через пару недель мы уехали на дачу до начала сентября.

Снова Новый год

Почему-то на 1984 год мы решили собрать много народу. Конечно, американцев, или «штатников», как называла их подруга жены, мы не могли не позвать. Новогоднюю ночь все же приятнее проводить в семейной обстановке среди друзей. И семья той нет, уже четверть века как с первой женой в разводе, но осталась душевная тяжесть от какого-то неправильного устройства жизни и своей сомнительной роли в этом устройении. Тем нелепее кажется, что каких-то мало известных мне людей, с которыми меня ничего не связывало, кроме двух-трех вечерних посиделок, я называл своими друзьями. Не только с тех пор не переписываемся, но даже не помню их. Честно сказать, от американцев мы ждали заморских напитков типа джина, виски, ликера. Они привезли довольно много бутылок, вывалили на стол несколько банок красной и черной икры, кусок балыка и несколько подносов нарезанной и упакованной семги. Такой упаковки мы раньше

не видели. Были они оживлены и веселы с мороза. С ними неожиданно для нас пришло еще двое молодых парней тоже лет тридцати, как-то похожих друг на друга. Они внесли огромные букеты цветов, словно и не зимнее было время.

Тони еще втащил из прихожей коробку с елочными игрушками. Со смехом пришедшие пятеро иностранцев начали наряжать елку. Двух новеньких поначалу мы тоже сочли американцами. Ввалились московские приятели в новогодних масках со скабрёзными шуточками: «Красная шапочка, ты куда собралась? На елочку?» «Нет, на палочку!» Пришла с певцом Семеном недавно родившая пышнотелая Катерина, оставив ревнивого мужа с маленькой дочкой. «Спать уложит, усыпит и придет», — сказала она о муже и пошла к зеркалу укладывать пышные волосы. «Ох, Катерина, — сказал невысокий усатый художник по прозвищу Джеб, — добалуешься!» И обернулся к американцам: «Гляжу, американского полка прибыло! Меня Джеб зовут. Тони и Грегора знаю, на Тину все мы облизываемся. А вы оба кто? Да я не спрашиваю, кому служите. Понятно, что ЦРУ. Зовут-то как?» Тот, у которого костюм был потемнее, протянул руку и назвал: «Игорь». Второй в костюме посветлее тоже представился: «Анатолий». Джеб охнул: «Так вы не американцы?» Тут и мы все подгрести. «Да нет, — охотно объяснил Грегор, — они русские, как и вы. Также творят чего-то и также советскую власть не принимают. Мы с ними вчера на улице познакомились. Потом в ресторане сидели. Настоящие антисоветчики». Мне стало как-то не по себе. «Это они зря, — сказал, продолжая ерничать Джеб, — мы-то тут собрались все советские люди и без советской власти никуда!» Пашка Гутт, высокий человек с сильными руками, работавший с металлом, взял Грегора за плечо и вывел его на кухню, где посадил на табурет и сказал: «У нас не принято приводить в чужой дом случайных людей, знакомцев, в сущности». Грегор побледнел и смутился: «Я не подумал. Но, поверь, они хорошие ребята».

Потом тем не менее сели за стол, принялись пить, есть, петь песни. Чего-то, однако, мне было не по себе. Возможно, от слов Тони: «У тебя движение какое-то с твоей книгой есть?» Любившая поговорить моя первая жена Мила неожиданно и довольно резко сказала: «А тебе что за дело? ЦРУ интересуется?» Тони вздрогнул. «Милка, да ты что!» Я ответил спокойно: «Было две рецензии. Одна хорошая, другая ругательная. Это был тормоз, но полгода как вторую переписали на позитивную. Хотя все равно движения пока нет». Дело в том, что проза очень долго гуляла по журналам — рецензии были более чем положительные, да и имена более чем уважаемые: Виктор Розов, Симон Соловейчик, Анна Берзер... Были, понятно, и отрицательные. Я уже поминал Кира Булычева по поводу романа-сказки. А тут о повести «Два дома», повести о детстве мальчика, написал внутреннюю рецензию некий поэт Алексей Прийма, обвиняя меня в том, что я, очевидно, подражаю прозе Серебряного века, что не совместимо с принципами социалистического реализма и что этой прозой вполне могут заинтересоваться соответствующие органы, а для советского журнала такие тексты абсолютно не приемлемы. Честно сказать, из прозы Серебряного века я читал тогда разве что Ивана Бунина да Леонида Андреева. Все остальное я прочитал много позже. Но удар был грамотный. Московский журнал на букву «З» сделал вид, что испугался. Хотя, наверно, руководители этого печатного органа понимали, кому дают рукопись на отзыв. Я шутил тогда, что по объему рецензии уже превышают объем повести. Мне же было тридцать восемь, а движения никакого. И тогда друг отца Николай Семенович Евдокимов предложил подать рукопись в издательство «Советский писатель», сам написал первую рецензию. Вторую по его просьбе написал Всеволод Сурганов. Сначала ругательную, потом исправил ее по настоянию Евдокимова. И рукопись потихоньку поехала.

Игорь и Анатолий наклонились ко мне почти одновременно: «Небось, Софье Власьевне достается? Такое же

надо распространять...» Я и вправду был удивлен: «А кто такая эта Софья Власьевна?» Они почти хором воскликнули: «Ты что не знаешь? Так же все нормальные люди советскую власть называют». Я пожал плечами: «Не знаю». Пашка Гутт привстал: «Да чего Вы к Володке пристали? У него покойная бабушка все же член партии с 1903 года». Разговор ушел в сторону. Только Тони, в очередной раз отвергнутый Тиной, вдруг шепнул мне на ухо: «Если что надо будет, ты мне скажи. Что-нибудь придумаем». Я сказал: «Тони, отстань, мы уже с тобой об этом говорили». Курили, выпивали, окурки гасили прямо в пустые блюдца из-под салата. Стоял запах из смеси дыма, перегара и еды. И разговор уехал от литературы к буриме, песням по гитаре, анекдотам, шарадам. Моя жена Мила была одной из лучших гитаристок и певиц под гитару, которых я в своей жизни слышал. Но дар свой она являла только в дружеском кругу. Зато когда пела, разговоры замолкали. Молодые люди, Игорь и Анатолий, тоже заткнулись и слушали, при этом умело и как-то очень профессионально наполняли бокалы соседей. Нынешний опыт подсказывает мне сравнение: почти как обслуга на светских приемах. Пили и пели часов до четырех утра. Потом кто-то остался ночевать, но американцы и их новые русские знакомые уехали на вызванных такси. Московские друзья расположились кто где. Молодую мать Катерину увез на машине ее муж.

Не очень серьезное любопытство органов

Эта главка скорее не рассказ, а пересказ. Прошло дней десять после Нового года. И вдруг Катерина срочно звонит моей жене Милке и предлагает погулять в парке вместе, она с младенцем и коляской, а Милка просто так. Жена моя, насколько помню, была не большая любительница свежего воздуха, предпочитая сигарету и гитару. Но в голосе Катерины звучало столько интриги, что она сорвалась,

поскольку после сигареты любила нечто запрещенное властью. А тут как раз пахнуло таким запрещением.

Рассказ Катерины был несложен, но адреналину прибавлял, да и нас отчасти делал в чем-то политически важной единицей. Утром ей позвонили с Лубянки и попросили заехать в такое-то время в такой-то кабинет. Она быстро ответила, что не может, поскольку является кормящей матерью, муж на работе и ей не на кого оставить ребенка. «Да-да, — сказал вежливый голос. — Мы в курсе. Но вы же гуляете с коляской во дворе в такое-то время». Катерина, растерявшись, подтвердила. «Так вот сегодня, на такой-то лавочке, вас будет ждать лейтенант Имярек. Ничего страшного, не волнуйтесь, чтобы молоко, не дай Бог, не пропало, просто десять минут беседы». И Катерина согласилась, гордо добавив, что если вовремя лейтенанта не будет, она его ждать не станет. «Не беспокойтесь, — успокоил ее вежливый голос гэбэшного начальника по телефону. — Он не опоздает». Действительно, вежливый элегантный человек в светло-коричневой дубленке, пыжиковой шапке сидел на лавочке, встав ей навстречу, предъявил удостоверение, снова убрал его во внутренний карман, сел и предложил ей сесть рядом.

«Мы знаем, — начал он, — что Вы дружите с Владимиром Кантором и провели этот Новый год у него дома». Катька гениально нашла тон (если только потом не присочинила): «Это что такое? Нечего на меня мужиков навешивать! Я дружу не с Владимиром Кантором, а с его женой Милой, мы вместе работаем». Лейтенант возразил: «Но вы ведь были у них на Новый год?» «Ну была! И что?» Он достал из внутреннего кармана дубленки конверт, но еще не открывая спросил: «А вы можете характеризовать как-то семью Владимира Кантора, разумеется, с политической точки зрения». Слава богу, та ни на секунду не задумалась: «Настоящая советская семья. Можно сказать, образцовая. И хочу сказать, что с хорошей советской традицией.

У Владимира бабушка — член партии большевиков с тысяча девятьсот третьего года». Этот аргумент казался нам всегда безошибочным. Но лейтенант сказал: «Бабушка бабушкой, но с кем они сейчас общаются? Вот посмотрите». Он раскрыл конверт и выложил дюжины три свежих фотографий, где в полном объеме и разных видах и ракурсах был изображен Новый год и лица всех бывших там гостей. Он принялся раскладывать фотки.

«Ну? — спросил он. — Можете мне рассказать, кто есть кто?» Катька поняла, что не узнать меня и мою жену она не может, и быстро взяла в руки наши фото, назвав нас, по поводу остальных сделала ужимку неузнавания, пытаюсь сообразить при этом, как эти «Игорь» и «Анатолий» сумели всех сфотографировать. Фотоаппарата у них не было, о мобильных тогда и слыхом никто не слыхивал. Да и не было у них в руках ничего постороннего... Разве что пуговицей, как в шпионских романах. «Вот Владимир, а это Мила, его жена». Человек в дубленке взял у нее из рук эти фотографии и спросил: «Этих мы сами знаем, а другие?» У Катерины чесался язык сказать, что здесь она фотографов не видит. Но ответила заветной фразой, какой интеллигенция считала нужной отвечать на вопросы гэбэшников: «Да я довольно быстро напилась, поэтому никого не запомнила, а раньше никого и не видела». Он поднял брови: «Как напились? Вы же кормящая мать...» Она простодушно посмотрела на мужчину в дубленке: «Дочку я уже покормила, она дома оставалась с мужем, он ее спать укладывал, вот я себе и позволила». Он в ответ пристально смотрел на нее, она глаз не опустила, только хлопала ими как девочка Мальвина.

— И это правда?

— Разумеется, правда.

— Ну, что ж, — сказал он. — Спасибо вам за помощь и извините за беспокойство. Надеюсь, вы понимаете, что никому не должны рассказывать о нашем разговоре.

— Конечно, понимаю.

Он собрал фотографии в конверт, поднялся и пошел к выходу со двора, где его ждала машина. А Катерина бросилась домой к телефону.

Ключевой разговор

А через два дня мне вдруг позвонил Николай Семенович Евдокимов: «Ну, здравствуй, Вовка! Как дела? Хотел бы с тобой поговорить». Я ответил: «Конечно, я вас слушаю». Он ответил: «Нет, не так! Хочу, чтобы ты ко мне приехал. Разговор очень важный! И немедленно». Жена спросила: «Ты куда? Что случилось?» Я передернул плечами, как всегда, когда нервничал: «К Евдокимову». «Что ему на ночь глядя понадобилось? Тащиться на проспект Мира в такую поздноту... Может, на завтра перенести?» Я чего-то нервно напрягся: «Ты не понимаешь. Я не могу ему отказать. Он друг отца, и, что и для тебя, думаю, тоже важно, именно от него зависит издание моей книги. Мне сорок скоро, ни одной строчки не опубликовано». Но ей не хотелось, чтобы муж срывался по первому требованию литературного чиновника. А Николай Семенович был тогда членом Правления Союза писателей, что для нее означало «прихлебатель властей», чиновник. Как-то в нашем круге все делилось на белое и черное. И в этом контексте Евдокимов относился к черному цвету. Но для меня он еще был друг отца, написавший в 1949 году, когда отца исключали из партии и выгоняли из универа за «космополитизм», письмо в его защиту. Это была моя история. И я в ней жил. Поэтому, покачав головой, я все же поехал на ночь глядя к Евдокимову.

От метро был путь вдоль проезжей дороги с одной стороны и странной смеси пятиэтажек и потемневших от возраста деревянных домиков. Восьмиэтажный восьмиподъездный дом стоял в глубине двора. Я подошел к седьмому

подъезду, нажал кнопки домофона и поднялся на четвертый этаж. Николай Семенович, которого я привык звать дядя Коля, встретил меня в домашнем вельветовом костюме, ухмыльнулся и сказал: «Что, письменник, испугался? Прибежал сразу. Жена-то не ворчала, что к какому-то старперу помчался? Ну, ты не сердись на нее, молодежь всегда ригористичной была. Сейчас переоденусь, пойдем прогуляемся. А ты пока книги посмотри». Библиотека у него была большая, но в основном современные писатели — советские и западные, из тех, что доставались только членам Союза по распределению. Надев теплое барашковое пальто, Евдокимов сказал: «Ну, пошли, по дворам побродим. Я тебе тут шикарную голубятню покажу, сосед наш построил». Вначале я не понял, при чем здесь голубятня, потом сообразил: *для телефона*. Мы и гулять-то шли *для телефона*. Советская интеллигенция была убеждена, что госбезопасность прослушивает не только телефонные разговоры, но и разговоры, которые ведутся в комнате, где есть телефон.

Мы вышли на улицу, прошли мимо дома, дядя Коля шел молча. Наконец, свернули на тропу в сторону от писательской постройки. И тут он сказал, будто продолжал разговор: «Сегодня был съезд правления секретариата. Поэтому я тебя и позвал. Ты только не подумай, что тебя в секретари приглашают. До этого тебе далеко. Мы обсуждали литературу молодых, и все хором говорили, что у молодых нет никаких умственных запросов и философских рассуждений. Верченко сказал, что готов помочь публикации любого интеллектуального текста. “Кто может назвать такой?” — спросил он. Извини, но я назвал твои “Два дома”. Он вдруг кивнул и сказал: “Я слышал”». Дядя Коля вдруг искоса посмотрел на меня: «Откуда он слышал? Ты ему что-нибудь говорил?» Я чуть не подскочил: «Да вы что? Я и про Верченко первый раз слышу». «Ну ты наив... Ты и вправду ничего не знаешь?» Я даже ру-

ками всплеснул: «Да вы что, Николай Семенович!» Он довольно улыбнулся и сказал: «Это хорошо, потому что без присмотра недобра очень много. Верченко в Союзе на должности человека, который присматривает. Мы всю жизнь под присмотром. Мы всегда дети. Можно ли дать детям жить по своему хотению? Натворят ведь черт-те что. Я сказал про твою бабушку, что она член партии с 1903 года, ни в каких группировках замешана не была, всегда придерживалась линии партии. И что ты из настоящей советской семьи, что я с твоим отцом еще с Дворца пионеров дружу, что твой отец Карл в партию во время войны вступил, что служил он в элитных частях Aviации дальнего действия (АДД).

А Верченко спрашивает тогда: “Знаем мы таких, вроде Литвинова. Зачем же он с американцами крутится. Он же филолог, я выяснял. Секретов вроде никаких не знает, передать ему туда нечего? Может, антисоветчину какую пишет? И прославиться *там* хочет? Как думаешь?” Я ему возражаю: “Не думаю. Я читал, что он пишет. Ничего похожего. Я за него отвечаю. Слово коммуниста”. “Ну, смотри, — говорит, — понимаешь, какую ответственность на себя берешь? Ты-то ведь член партии?” “Тоже во время войны вступил”. Верченко мне руку на плечо положил и говорит: “Ну что ж, мы с тобой два коммуниста берем его на свою ответственность. Согласен?”

Конечно, согласен, говорю.

“Но откуда у него американские связи постарайся узнать. А так пусть печатают книгу. Я им скажу, кому надо. Вот тебе и вся история. Не мог тебе не рассказать”».

Он вдруг как-то искоса глянул на меня: «А откуда американцы? Приятели жены? Говорят, она больно много болтает, разговорчива слишком. Ты ей скажи, чтобы выбирала, с кем откровенничать можно, а с кем не очень».

«Скажу, конечно. Но жена здесь ни при чем. Я все же дома хозяин». Он усмехнулся: «Ну, тогда оба язык не рас-

пускайте. Ладно, дуй домой, а то, небось жена беспокоится, куда пропал».

Я снова сказал: «Спасибо!»

Он махнул рукой, как бы указывая мне путь к троллейбусу и метро: «Не за что. А книга твоя пойдет».

Она пошла и после чудовищной правки контрольного редактора вышла в 1985 году, в аккурат когда мне исполнилось сорок лет. Поздновато, конечно, для молодого писателя. Десять лет провалялась по редакциям и издательствам. Но, как говорил Карл Мангейм, в тоталитарном (или подобном тоталитарному) обществе человек чувствует себя до старости ребенком, которого начальник ведет по правильному пути. А ребенок должен испытывать только чувство благодарности.

20 апреля 2013 года

24. Почти катастрофа, или «В нашей серенькой эстетике...» К рассуждению о плагиате и крамоле

Читая сегодня относительно свободную интернетную печать, со своими тараканами, конечно, а главное, мелкими укусами своих научных соперников, я даже позавидовал тому, как сегодня дело делается — почти как гуманитарная помощь. И совесть почти чиста, поскольку клевета не приведет к политической и юридической гибели соперника, может, и к научной гибели не приведет. Все это происходит в контексте развернувшейся кампании против плагиата. Удивительное дело. Ведь любая идеология не может существовать без повторов, без пересказов, а точнее — без плагиата. Но эта усиленная кампания против плагиата спущена сверху, внутри же дезавуируют за ненаучность. Друг друга не едят, только кусают, поскольку самостоятельность, то есть по-старому «крамола», не может еще стать моментом обвинения. Но подождем...

Лет сорок назад было сложнее. Били наотмашь. Били так, чтобы противник уже не мог встать. Мне один литературовед, руководитель моего диплома П.В. Палиевский, рассказывал, что в сороковые годы был знаменитый доносчик Я. Эльсберг, который так трусил, что понимал — только утопив противника, он может выиграть научный спор. Утопить — то есть посадить. Палиевский был со мной довольно откровенен, я, похоже, был любимым дипломником. Его фраза «Владимир Кантор — надежда русского славянофильства» гуляла тогда по факультету. Самое удивительное, что тогда это было сказано всерьез. Палиевский

все же ориентировался на ранних славянофилов и западников, мысли которых во многом пересекались, а уж идейные расхождения не мешали убеждению, что независимость мысли, как писал Хомяков о Чаадаеве, важна более всего в темные времена, напоминая игру «жив курилка». Я вырастал в эпоху не очень светлую, но все же в относительно травоядное время, хотя возврат к этой травоядности сегодня почему-то тревожит, как обратный ход поршня. От поедания травы легко можно перейти к мясоедению.

Впрочем, не хочу тонуть в сегодняшней трясине. Не потому, что боюсь. Тогда не боялся, а теперь и трясина пока мелкая. Но хочется рассказать байку из прошлого на ту же примерно тему. Тема, увы, актуальна и сегодня. Сегодня плагиат ищут в диссертациях, находят (в основном у чиновников). В советское время искали крамолу, находили, даже если ее не было, а был хотя бы лишь намек на нее. Крамолой же считалась любая самостоятельность мысли. Непонятно, почему ныне удивляются плагиату. Плагиат (смысловой) был в те времена способом выживания научного работника. Традиция не умирает, просто видоизменяется.

Мне исполнилось 29 лет. Диссертацию я написал об общественной борьбе в русской эстетике XIX века — помимо вступительной главы там была глава о Михаиле Каткове как мыслителе, пережившим кризис либерализма, о Достоевском как выразителе религиозной эстетики в России и, наконец, о Чернышевском как радикальном постепеновце. Первая фигура была совсем непроходная по тем временам, но глава о Каткове была опубликована в «Вопросах литературы», тем самым получив знак качества; о Достоевском — в «Науке и религии», о Чернышевском — в ленинградской «Русской литературе». Но дело даже не в этом. Просто в трактовке идей каждого мыслителя был несоветский поворот мысли.

С научным руководителем мне повезло. Это был Георгий Иванович Куницын, сибиряк с реки Оби, за простоту поднятый наверх, работавший в ЦК, но вылетевший оттуда за

попытку утвердить «чистоту марксизма». Его опустили до уровня завсектором эстетики Института истории искусств. Он был занят отстаиванием марксистско-ленинской партийности как правды жизни, поэтому его абсолютно не интересовала русская эстетика XIX века, и я писал, что хотел. Наконец, диссертация была написана, но даже не обсуждена на секторе, поскольку негоже беспартийному Кантору защищать диссертацию по марксистско-ленинской эстетике. И обсуждение было бессмысленно, это все понимали. В партию я так и не вступил, бродил в поисках работы и места, где можно защититься. А тут и мне удача привалила, я был взят на работу по протекции Мераба Мамардашвили в «Вопросы философии». И все предложения ехать защищать диссертацию в провинцию, где она была бы сразу угроблена на корню, отпали. Журнал был не то, что креатурой Института философии, но существовал с ним в одной системе — в системе АН СССР. Сотрудник журнала мог претендовать на защиту в Институте философии. Здесь я досдал нужный экзамен по истории философии, здесь прошло обсуждение текста, были предварительно утверждены оппоненты и назначен день защиты. Все же мир не без добрых людей, знакомый отца сумел уговорить З.В. Смирнову, специалистку по Герцену, доктора философских наук, стать первым оппонентом, вторым оппонентом Куницын уломал статью Юрия Ивановича Суровцева, главного редактора одного литературного журнала, кандидата филологических наук. Человек он был неплохой, даже грамотный, языки знал, использовал их служебно; написал книгу «В лабиринте ревизионизма. Эрнст Фишер, его идеология и эстетика» (М., 1972), направленную против австрийского левого философа, члена Коммунистической партии Австрии, то есть еврокоммуниста, то есть врага советской идеологии, за что и получил Юрий Иванович пост главного редактора. Но ко мне относился неплохо, ему нравилась моя начитанность. Да и широкий был человек, добрый. Именно он привел меня в журнал «Вопросы литературы» — как автора.

Но сразу после предварительного утверждения оппонентов меня позвал к себе второй оппонент и сказал, что он перечитал диссертацию, нашел ее по взглядам совершенно антисоветской и потому, хорошо относясь ко мне и не желая навредить моей дальнейшей карьере (то, о чем я вообще никогда не думал), отказывается от оппонирования. Иначе он будет вынужден, как честный человек, назвать вещи своими именами, то есть назвать мой текст враждебным нашей идеологии.

Мне ничего не оставалось, как забрать переплетенный том диссертации, поблагодарить и уйти. Том переплетал Лев Турчинский, пропивали этот переплет мы с ним и Володей Кормером, даже пролили стакан водки на диссер. Я испугался, но Кормер успокоил: «На счастье, — ухмыльнулся он своей вольтеровской ухмылкой. — Члены Ученого совета понюхают и все утвердят». Короче, пошел к ним в стекляшку за советом. Кормер покачал головой: «Надо к Мерабу идти, дело хреновое», — и тут же встал из-за стола. И мы отправились к Мамардашвили. Почти никто из редакции не звал его по имени-отчеству — Мераб Константинович. Борис Юдин наклонился к нему, сказал, что Володьку топят, и изложил последние события: «Мераб, надо что-то делать». Тот сразу все понял и принял как задачу — задачу и необходимость преодоления. Покусывая трубку, он сказал: «Нужен персонаж, которого сызнова утвердил бы Ученый совет и который бы не струсил». Тут надо добавить, что в эти дни вышли как раз две статьи третьего секретаря МГК, секретаря по идеологии В.Н. Ягодкина, в которых он на разных основаниях, но критиковал за антипартийность работы моего отца и моего научного руководителя Г.И. Куницына. По всем линиям, казалось, нас ожидало полное поражение. И вдруг Мераб махнул трубкой: «А что если Костю Долгова? Бывший моряк, партиец, эстетик, в ЦК работал, ему сам Егоров оппонировал, а теперь он директор издательства “Искусство”! Это то, что нужно!» Для меня Константин Михайлович

Долгов был большой начальник, а для Мераба — бывший однокурсник, причем относившийся к Мерабу с пиететом. «А это реально?» — робко спросил я. «Соедини меня с ним», — кивнул Мераб на телефон. «Звони», — подтвердил Кормер. И первая фраза Мераба была безошибочной: «Костя, ведь ты не испугаешься помочь нашему другу?» Долгов согласился.

Я сказал Мерабу, что готов написать для Долгова «рыбу» — оставалось несколько дней. «И не вздумай, — сказал тот. — Твое дело уломать Ученый совет, хотя он должен уломаться. Так я думаю». Он правильно думал. Совет согласился, «уломался», а Долгов взял текст и сказал, что будет его внимательно читать и напишет отзыв сам. День защиты назначили на четверг, для меня это было важным обстоятельством. Я рассчитывал, что редакция сможет прийти на защиту, поскольку ожидал, что зал, где собралось тогдашнее научное сообщество, да и Ученый совет после статей Ягодкина, после гулявшего по Институту слуха, что один оппонент испугался крамольности моего сочинения, короче, все они приложат силы, чтобы диссертацию утопить. Минут за двадцать до защиты я все же подошел к главному редактору нашего журнала Ивану Фролову и спросил, может ли редакция пойти на защиту «поболеть» за меня. Защиту назначили на час. В час была летучка, в три редколлегия. Фролов отвел глаза в сторону и сказал, что защита — это мое частное дело и он не может срывать из-за нее работу журнала.

Редакция располагалась на первом этаже, зал заседаний Ученого совета на пятом. И защита началась, зал гудел недоброжелательством. Были зачитаны мои данные. При словах «беспартийный» кто-то громко хмыкнул, а кто-то довольно внятно произнес: «И он еще надеется защитить кандидатскую по философии! Они что там, в “Вопросах”, с ума посходили. Они бы нам сюда еще Бердяева прислали!» Начало погрому было положено. Я минут десять, как и требовалось, рассказывал о содержании диссертации.

Потом пошли вопросы к диссертанту. «Разве вы не знаете ленинского определения Каткова как махрового реакционера? Как вы можете ставить рядом фигуру религиозного фанатика Достоевского и революционного демократа Чернышевского, во взглядах которого при этом указывается на стремление к европеизму, а не к крестьянскому бунту. У кого из советских ученых вы могли такое вычитать?» Все они чувствовали себя наследниками большого Дракона, который, конечно, сдох, но дракончики-то остались. Особенно был хорош один, фраза которого долго ходила по Институту. Специалист по этике, он работал в секторе научного коммунизма, являлся доктором философских наук и со свойственной советским гуманитариям определенностью говорил: «Человека в нашей стране необходимо воспитывать всеми возможными способами и средствами — вплоть до расстрела». Да, конечно, это был настоящий дракончик. В отличие от нынешних, которые, как слизи, просто не дают дышать, по крайней мере стараются это сделать. «Сливают» институты, сокращают научных работников за ненадобностью, отказываются от Академии наук как не зависимой от государства структуры... Но это к слову, хотя слово «слизни» по отношению к этим персонажам мне нравится.

Я отвечал, понимая, что любой ответ может привести лишь к моей научной катастрофе, нет, не научной, конечно, а к академической. Самое обидное, что моя жена, первая моя жена, гитаристка и певунья, а также прекрасный, когда хотела, кулинар, уже готовила дома стол, чтобы достойно отметить удачную защиту. Впрочем, эта мысль как появилась, так и исчезла. Я вдруг почувствовал, что мне «шьют дело», что я вырастаю в фигуру матерого идеологического диверсанта. К тому же вспомнили и отца, которого когда-то пытались обвинить в злостном космополитизме. Куницын, научный руководитель, хотел что-то возразить, но Каткова, конечно, он не читал, да и сам был замаран (зал знал о статье Ягодкина) в идеологической нетвердости.

Я понимал, что через минут двадцать начнется редколлегия, и никто из друзей на защиту не придет. И тут — произошло чудо. Открылась дверь и один за другим вошли одиннадцать научных консультантов журнала «Вопросы философии», я был двенадцатым. Мужики все были здоровые, усмешливые, глаз острый и умный. Мне даже показалось, что публика в зале замерла, как если бы перед купеческим обозом, который считал, что опасные места уже миновали, и купцы даже расслабились, в темном лесу неожиданно из кустов появилась шайка разбойников. Мы, конечно, использовали образ атамана Кудеяра и двенадцати разбойников в своем редакционном фольклоре. Например:

Жило двенадцать разбойников,
С ними Фролов-атаман.
Много редакторы пролили
Крови честных христиан.

Сидевшие в зале знали одно: свои статьи они должны будут отнести этим разбойникам, редакторам самого крупного и едва ли не единственного журнала по философии в СССР. Напав на меня, они как-то расслабились, забыли об этом, а потом, поскольку от журнала никто не пришел, решили, что новенького решили выбросить драконышам на съедение. Редакция оглядела зал, пристально всматриваясь в каждого из сидевших, потом заняла два стола перед кафедрой, а Володя Кормер подошел ко мне и шепнул: «Все же Фролов настоящий мужик. Он просто отменил редколлегию». И вернулся к друзьям. Снова открылась дверь, вошел Мераб Мамардашвили, но сел за отдельный стол, как бы отделившись от разбойничьей засады.

Разбойники сдвинули два стола, перешептывались, время от времени поднимая головы и выхватывая отдельные имена из диссертации. Я сравнивал позицию раннего Чернышевского с Платоном, подробно говорил о Каткове, звучало имя научного руководителя диплома —

Палиевского. Зинаида Васильевна Смирнова прочитала академический отзыв, похвалила, указала недочеты, но в целом произнесла необходимую фразу, что диссертант заслуживает искомую им ученую степень. При этом она, все понимая (старая школа!), приветливо улыбалась пришедшей ко мне поддержке. Эти одиннадцать, чувствовавшие себя немножко разбойниками, но отчасти не то мушкетерами, не то гвардейцами кардинала, скорее все же мушкетерами, с интересом уставились на Долгова. Что скажет он? Долгов обещал Мамардашвили, что поддержит, но отзыв писал сам, никто не знал, что в отзыве. Но Константин Михайлович Долгов не подвел, не зря его звал Мераб! Такого заковыристого панегирика я никогда раньше не слышал о своих работах. Он говорил о лучших традициях русской философии в моей диссертации, которые при этом фундированы настоящей марксистской методологией, да и сама тема, выбранная диссертантом, совпадает с последними постановлениями ЦК КПСС.

Надо сказать, я-то успокоился еще до выступления Долгова. Приход грозной когорты решил все проблемы, остальное были детали. Самое интересное, что нас нельзя было назвать стаей, стайного инстинкта не было. Мне такое понятие и в голову тогда не приходило. Стайность рождалась на моих глазах, но чуть позже, примерно в начале 1980-х годов, причем вроде и в нашем кругу тоже. Когда я видел, как молодые интеллигентные мальчики, особенно литературоведы, ходили определенными компаниями в сауну — не с тем, чтобы погреться, водки попить, девушек потискать — а с тем, чтобы завязать контакты, поддерживать их и т. п. То есть стая — это вполне прагматическое образование. Волки держатся стаей, чтобы выжить. Дружба поднимается над прагматикой.

Есть замечательная пословица в России: «Не было счастья — да несчастье помогло!» Защита начиналась с ощущения грядущего крушения «Титаника», все знали, что он потонет, должен потонуть. Как повторяла в таких случаях

мама, прошедшая войну и нахватавшаяся немецких слов: «Zum Grunde gehen». Ожидавшаяся катастрофа, однако, превратилась в триумф. В завершение своей речи, произнеся необходимые замечания, сказав, что диссертация отвечает всем необходимым требованиям, Долгов вдруг, и, кажется, неожиданно для самого себя, воскликнул: «И вообще диссертация заслуживает публикации отдельной книгой. Пусть диссертант поищет издательство, а мы на защите запишем это пожелание в стенограмму». Все замолчали. Такое определение было редкостью, тем более на защите, от которой ожидали краха, провала. Но Мераб понимал необходимость доводить дело до конца, и с места раздался его голос: «Костя, так ты директор издательства “Искусство”, диссертация по эстетике... Так почему бы тебе не заключить с автором договор?» Тут и стало понятно, что слова о книге вырвались у оппонента случайно. Он явно растерялся, ведь совсем не ясно, как воспримут книгу, написанную по крамольной диссертации. Как выяснилось уже по выходе книги, понимал он все точно. Известный Михаил Трифионович Иовчук потребовал потом разбирательства книги в Академии общественных наук при ЦК КПСС, где был хозяином. Он написал и отправил в журнал и другие инстанции двенадцать страниц инвективы, которая, может, и сохранилась в его бумагах, но я запомнил из этого текста только одну фразу: «Кантор замахивается на русскую культуру». Но сейчас речь не об этом. Надо сказать, что Долгов собрался и как человек мужественный спокойно ответил: «Пусть завтра приходит ко мне в издательство, составим договор». Так и появилась в результате — через три с небольшим года — моя первая книга «Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба» (М., 1978).

Дальше была своя история, которая разворачивалась в суете, в звонках жене Миле, что все благополучно, что сейчас ловим машины и едем. Приглашены были все, но члены Ученого совета и оппоненты побоялись: тогда был один из очередных полубессмысленных указов, запрещавший

банкеты по завершении защиты. Поэтому поехали просто на «дружеский вечер», а присутствие членов Ученого совета придало бы посиделке характер банкета. Поехали не только сотрудники журнала, но немало и тех, что просто пришли, поехал мой научный руководитель Куницын, поехал Мераб. И вот уже когда сидели за столами, выпили по первой рюмке, стало понятно, над чем склонялись во время защиты головы редакционных разбойников и почему раздавались тихие, сразу прекращавшиеся взрывы хохота. Поднялся один из старейших (ему было уже за сорок) сотрудников журнала Рейнгольд (Ренька) Садов, вынул из кармана пиджака листок бумажки и, встряхивая редкими волосами, захлеб прочитал:

Сага о Канторе
На защиту кандидатской диссертации
В нашей серенькой эстетике
Вдруг наметились просветики.

Обнаружил диссертант
Офигительный талант,
Про искусства назначенье
Написал он сочиненье.

Было много чудиков:
Был Белинский, был Катков,
Чернышевский и Платон,
Палиевский и Гапон.

Радикалы, монархисты,
Нимфоманки, онанисты.

Дули все в одну дуду,
Забывая красоту,
Что искусства назначенье —
Социальное служенье,
Что искусство без приказа,
Социального заказа,
Как шампанское без газа,
Как сортир без унитаза.

Кантор-младший парень хваткий
Рассудил все по порядку,
Показал он без прикрас,
Где сортир, где унитаз.

Всех расставил он по полкам,
Всем сумел намылить холку:
Либералам. Прогрессистам,
Русофилам-мазохистам.

Кантор — подлинный эстет:
Верил в промискуитет,
Верил в русского мужчину,
В водку с пивом и общину.

Требовал убрать цензуру,
Чтоб поднять литературу.
Утверждал — всё суета,
Мир спасает красота!
(А идейную борьбу
Вроде он видал в гробу.)

Но потом он испугался,
Как бы кто вдруг не придрался.
Стал серьезно размышлять
И при этом поддавать...

* * *

...Как-то после доброй пьянки,
Пробудившись спозаранку,
Рассудил он, что спасет
Только *классовый* подход.

Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин —
Всех он куда надо вставил...
Из партийного решенья
Сделал чудное введение.

Диссертация готова...
Вот зовет Мераб Долгова.
Собрался большой хурал,
Всё приняли «на ура».

И теперь мы на банкете
Пропиваем перлы эти...

Вот и сагочке конец...
Суки! Где же холодец?!!!

*Владимир Кормер, Рейнгольд Садов,
Владимир Мудрагей, Борис Юдин
17 октября 1974 года*

Очевидно, до застолья он что-то пошептал моей жене. И после последнего восклицания на два конца стола поставили два больших блюда с холодцом. Как и принято произносились тосты, повторять их не буду. Объясню одно: я позволил себе цитирование «Саги» без цензуры, ибо завоевание постсоветского пространства — это внедрение мата в почти официальный и уж во всяком случае в литературный язык. Здесь же все эти слова писались не для эпатажа и пижонства, а просто для разгула и веселья. Пьянка разрасталась, в голове застряли обрывки спора Мамардашвили и Куницына. Георгий Иванович выпил немало, но, как здоровый сибиряк, оставался в форме, Мераб как всегда почти ничего не пил. «Ну хорошо! — кричал Куницын. — Ленина я тебе отдаю. Но Маркса не отдам! Я за Маркса убить могу!» «Отдашь и Маркса», — спокойно ответил грузин. И, похоже, что победил, потому что через час Георгий Иванович сидел один, угрюмый, подливал себе в стакан и почти не закусывал. На этом ставлю точку.

У бразильского драматурга Гильерме Фигейредо была пьеса «Лиса и виноград», строившаяся на простом противопоставлении. Раб, даже совершивший преступление, не наказывался. Но если преступником сочтут свободного человека, то его по приказу власти бросают в пропасть. И баснописец Эзоп предпочел пропасть рабству.

Повторю только, что власть, желающая строить идеологическую структуру, должна перестать бороться с плагиатом. Плагиат — это дыхание власти. И расширить свою борьбу с инакомыслием до проверки науки на предмет кра-

молы. Когда это случится, то опыт нашего поколения тоже пригодится. Сегодняшняя ситуация кажется несладкой, противной-то уж точно. Но если считать, что интеллектуалы, несмотря на дрящущиеся в течение столетий погромы, расстрелы, костры из книг, аресты, запреты на работу, все же нужны в конечном счете даже самой злобной власти (пушки, ракеты изобретают ученые, искусство и гуманитарная наука тоже необходимы как ширма — мол, мы тоже относимся к цивилизованному человечеству). Нынешнюю глупость власти они тоже переживут. Тяжело, конечно, как говорил герой «Белого солнца пустыни». Зато перед каждым маячит пропасть, куда бросают свободных людей. Хотя, конечно, не всегда. Но любую эпоху переживает все-таки дух именно этих людей. Поэтому главное — видеть исторический контекст. И понимать преимущество разума перед дикостью.

25. Магия слова в эпоху застоя

В связи с годовщиной, тридцатилетием со дня смерти Брежнева (10 ноября 1982 года), вспомнил эпизод из истории журанала «Вопросы философии». Некоторое (не очень большое) время до смерти Генерального секретаря я опубликовал в журнале полный текст Мих. Щербатова «О повреждении нравов в России» с предисловием Натана Эйдельмана. История публикации — это почти авантюрный роман. Было понятно, что текст с таким названием журнал не примет, во главе все же стоит специалист по теории научного коммунизма — Вадим Сергеевич Семенов. Тогда мы договорились с Эйдельманом, что он придет, прочтет доклад на тему русской истории и архивных находок. Надо сказать, что Натан Яковлевич был человек чрезвычайно обаятельный и потрясающий рассказчик. Редакция и часть редколлегии не ожидали, что человек может так умно и одновременно увлекательно рассказывать о русской истории, архивных находках и т. п. После доклада-лекции Эйдельман сообщил, что обнаружил полную версию знаменитого текста Щербатова и готов передать его в журнал для публикации.

Поскольку привел Эйдельмана в журнал я, мне и поручили вести публикацию. Надо было дать правильную психологическую установку главному редактору, и я сказал: так как это настолько фантастический материал, то мы должны поставить его в ближайший, то есть девятый номер. «Зачем торопиться? — спросил Главный. — Я еще подумаю. В любом случае не раньше десятого номера».

«Кранты твоему Щербатову, — сказали сослуживцы. — Он никогда это не напечатает». Но установка уже была сформулирована и цель обозначена иная. «Нет, девятый», — сказал я. Главный вспыхнул: «А я говорю десятый! И прошу мне не перечить!» Я нудно твердил о девятом, стараясь не переборщить. Конечно, Главный настоял на своем. В чем я и не сомневался. Моя задача была простая: чтобы текст был опубликован. И журнал опубликовал Щербатова в десятом номере.

Когда номер уже вышел, меня вдруг вызвал тогдашний ответственный секретарь журнала Л.И. Греков и сказал: «Вы как-то сумели обмануть редколлегию и напечатали этот опус. Имярек прочитал и сказал, что положит номер на стол Генеральному». Не подумав, я ляпнул: «Да не волнуйтесь. Еще не известно, что раньше на стол ляжет: номер или Генеральный». «Что?!» Далее всем понятная немая сцена. Генеральный это соревнование выиграл.

Но история эта разветвленная. Вторая ветвь такова.

Здесь речь пойдет о советской демагогии, переходящей в советскую мистику. После публикации текста Щербатова меня вызвал еще и главный редактор (прототип главного редактора из моего романа «Крокодил») и сказал: «Вот вы печатаете незнамо что, а меня на ковер вызвали и выговаривали, что в тексте Щербатова очевидные аллюзии на современную действительность». К демагогии мы были тогда приучены: это была палка как для нападения на нас, так и наша защита. И я ответил: «Кому это могло прийти в голову сравнивать действительность самодержавной России восемнадцатого века с действительностью страны развитого социализма?» Главный задумался: «Вы мне хорошую мысль подсказали».

Чтобы понять до конца, что произошло дальше, прошу у читателей несколько минут внимания, потому что историю необходимо поставить в контекст некоего историко-философского размышления. В 1909 году П.А. Флоренский

сделал доклад «Общечеловеческие корни идеализма». Доклад был в том же году опубликован. Флоренский доказывал, что внутри любой религиозной доктрины, пока она влиятельна и действует на широкую публику, лежит магическая основа, когда слово наполняется невероятной духовной энергией. Он писал: «Слово кудесника само по себе есть новое творение, мощное, дробящее скалы, ввергающее смоковницу в море идвигающее горой, низводящее луну на землю, останавливающее облака, меняющее все человеческие отношения, все могущее. <...> Слово кудесника сильнее воды, тяжелее золота, выше горы, крепче железа и горючего камня алатыря. <...> Вещее заклятие — это судьба мира, рок мира. Да и что такое рок, как не приговор, как не изречение, как не слово, как не заклятие? <...> Слово кудесника вещно. Оно — сама вещь. Оно, поэтому, всегда есть имя. Магия действия есть магия слов; магия слов — магия имен»¹. Именно в контексте этого рассуждения стоит прочесть текст Степуна из его «Мыслей о России» (1927): «Конечно, никакой пролетариат в России не властвует, но все же большевики властвуют его именем! А разве имя отделимо от нарекаемой им реальности? Разве оно не составляет одной из наиболее существенных частей ее?»² Вслушаемся: *имя как существенная часть реальности*, не отделимая от нее. Флоренский рассуждал вроде бы о корнях идеализма Платона, но, разумеется, замах был шире и позволял применить эту методологию и к историческим явлениям и событиям. Именно это и проделал Степун. Весь большевизм — это магия слов. Флоренский, по сути,

¹ Флоренский П.А. *Общечеловеческие корни идеализма* // Философские науки. 1999. № 1. С. 111–112.

² Степун Ф.А. *Мысли о России. Очерк VIII (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция)* // Степун Ф.А. *Сочинения*. М.: РОССПЭН, 2000. С. 315.

взывает к дохристианской магической структуре сознания³, он же говорит, что для русского народа христианство плотно соседствует с магизмом, более того, воспринимается как род магизма. Именно опора на этот магизм и была у большевиков. Уже самоназвание «большевики», получившееся случайно, было замечательно использовано в борьбе с оппонентами: большевики — это те, которых больше, у которых ума и власти больше. Это отметил как-то Андрей Синявский. Он так же помянул о слове «советы», которое воспринимались, как нечто привычно-общинное, помогающее, и в этом смысле тоже эксплуатировалось большевиками, хотя советы были органом диктатуры. Ленин опирался на лозунги, меняя их соответственно политическому моменту. А лозунги — это не что иное, как заклинание: «Да будет!» Да и все высказывания Ленина — заклинательны. Вот знаменитая формула: «Учение Маркса всесильно, потому что верно». Логически высказывание бессодержательно, даже тавтологично. Но заклинательно — полно мощи. Для простолудина такое высказывание вполне убедительно. Вроде есть внутри фразы объяснение посылки («потому что»), хотя это объяснение ничего не объясняет. Не объясняет, но совершает магическое действие: «Да будет!» Это магическое восприятие слова сохранялось на всем протяжении коммунистической власти. Хотя мож-

³ Не случайно почти сразу это заметил Бердяев. Вообще Бердяев считал, что Флоренский отрекся от тайны Христа, от христианского учения как пути к свободе личности: «Самое мучительное и неприятное в книге свящ. Флоренского («Столп и утверждение истины». — В. К.) — его нелюбовь к свободе, равнодушие к свободе, непонимание христианской свободы, свободы в Духе. Даже слово свобода почти нигде не употребляется. <...> Его религия — не религия свободы, ему чужд пафос свободы» (*Бердяев Н.А. Стилизованное православие* (о. Павел Флоренский) // *Н.А. Бердяев о русской философии*. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 152.

но и повернуть его: «Учение Маркса верно, потому что всесильно!»

Историю продолжаю. Параллельно с щербатовским текстом шла статья Ивана Фролова «О жизни, смерти и бессмертии». Я был редактором и фроловской статьи. Редколлегия трусила пропустить ее, поскольку Генеральный секретарь дышал на ладан. В эти дни ему стало хуже, как знало наше начальство. Потом стало лучше, Фролов был человек влиятельный, статью пропустили. И только она вышла, как Генеральный умер. Главный редактор Семенов, когда играли траурную музыку, велел редакции встать и стоять минуту, сказав при этом: «Чтобы стояли, как вся страна!» А дальше — советская мистика. Когда редакция отстояла положенное время, он вызвал меня в кабинет и как-то растерянно, но вместе с тем убежденно сказал: «Это вы с Фроловым виноваты». В том смысле, что мы виноваты в смерти генсека. Вот она магия, о которой говорил Флоренский. Осуществилась вполне. Ведь ничто не говорится просто так. Но как надо было верить в силу слова!

26. Проклятие советолога

Написав о советской мистике (о главном редакторе «ВФ» и смерти Брежнева), я невольно подумал и о мистике антисоветской. Вот об этом сейчас и расскажу. Длинновато, но иначе не объяснить ситуации. Антагонисты большевиков тоже несли в себе мистическое начало, веру в силу слова. Я впервые надолго попал в Западную Европу в 1992 году, получив стипендию фонда Генриха Бёлля. Самое смешное, что присланных мне денег хватило только на авиабилет в одну сторону. Удивительно, что его продали. Но продали. И пограничный немецкий контроль пропустил, хотя теперь требуется показывать обратный билет. Но тогда еще продолжалась постсоветская неразбериха. Друзьям, смеясь, говорил, что исполнил давнюю мечту советского интеллигента: получил билет на Запад в одну сторону. Я всегда был далек от партийных кругов, коммунистическая идеология вызывала брезгливость и неприязнь. А тут и советская власть кончилась. Ушла демагогия коммунистического образа жизни, вернее, не ушла, но перестала определять жизнь. Я пришел в некую гармонию с самим собой. По логике от противного западные философы — противники коммунистической идеологии казались носителями не то чтобы света, но кем-то вроде «рыцарей с Запада» Арагорна или Гэндальфа. Роман Толкиена перевел мой друг тех лет Андрей Кистяковский, подарил мне третий экземпляр машинописи, который переплел другой мой друг Лев Турчинский. Книгой-рукописью зачитывался не только я, но и мой сын, и его друзья. Сын даже выпилил из обломка рельса железный меч, чтобы походить на

Арагорна. Когда книга вышла, я написал на нее рецензию. В результате журнал, опубликовавший рецензию, попал в поле зрения органов, получив письмо от якобы специалиста, писавшего о «хулиганском переводе» и обещавшего автора и рецензента пригласить «погостить» на Игарку. Редакция просила меня ответить на это письмо. Я ответил. Но это, впрочем, другая история.

И вот в октябре или ноябре 1992 года я получил приглашение в Швейцарию, во Фрибург, на конференцию. Приглашение было несколько неожиданным. Я уже собрался в Москву, упаковал вещи. Но три дня на эту конференцию у меня еще было. И вправду, с поезда я успел только заехать домой за вещами и вернуться на Кёльнский вокзал (домой ехал поездом). Конечно, я был еще вполне советским человеком, не понимал, что Швейцария требует (особенно конференция) костюма и галстука. То есть понимал. Но мне неохота было распаковывать чемодан, куда кое-как уложил костюм, и я поехал в грубошерстном свитере. На конференции делал доклад о европейском смысле России, чем вызвал, как теперь понимаю, очевидное изумление многолетних борцов с советским режимом, привыкшим считать Россию если и не империей зла, то уж (так тогда говорили) «Верхней Вольтой с ракетами». Но никак не Европой. В какой-то момент я это понял, но смутиться не успел. На помощь мне пришел патриарх антисоветизма Юзеф Бохеньский (1902—1995), основатель советологии, как о нем теперь говорят. Нет, он не поддержал меня, но повел себя так, что я понял условность разделения на правое и левое и, более того, вдруг, испытывая ужас, увидел *варварство* «рыцаря Запада».

Там я увидел, что антисоветчик Бохеньский по безумию вполне равен партийно-коммунистическому функционеру. Надо сказать, что среди западных ученых, тоже борцов с коммунистической идеологией, у меня были и друзья. Во Фрибург приехали на ту же конференцию двое из них — Карл Граф Баллестрем из Католического университета города Айхштетта (Бавария), а также когда-то пригласивший

меня в свой университет на два месяца и ставший мне близким другом Ассен Игнатов, эмигрант из Болгарии, блестящий знаток русской до- и пореволюционной философии, автор книг и статей на немецком языке. В Германии он оказался после разных сложностей судьбы. Скажу пока одно: жена донесла на него в болгарские репрессивные органы, что он против коммунистических идей. Как честная партийка она сказала ему об этом. В этот момент Ассен улетал на конференцию в Бельгию. Ему позволили улететь, ожидая, что (так уже не раз бывало) он вернется к своему удаву как кролик. Однако Ассен вдруг попросил политического убежища в Бельгии, потом перебрался в Германию. Но о нем как-нибудь отдельно, в другой раз. Он-то и предложил Эдуарду Свидерскому, устроителю конференции, пригласить меня в Швейцарию. Теперь надо ввести еще одного персонажа. Это был философ из Польши, имя и фамилию которого, к своему стыду, я запамятовал. Кажется, не то имя, не то фамилия звучали наподобие Марека¹. Он мне подарил даже свою статью о Фихте, но мой немецкий тогда был очень даже швах, и я кому-то передарил этот текст. Так что не могу назвать одного из главных действующих лиц. Зато самого главного персонажа назвать могу, лицо более чем известное. Повторяю: это известный философ католического толка, тоже поляк Юзеф Мария Бохеньский, эмигрант, осевший в Швейцарии.

И вот во время одного из заседаний конференции открылась дверь, и вошел высокий в белой мантии (какое-то белое

¹Когда я опубликовал этот текст в интернет-журнале «Гэфтер», то получил письмо от Марии Кортуновой, в котором она назвала мне имя этого философа: «Профессор Марек Зимек, он считается самым крупным специалистом в Польше по Фихте, Канту, Гегелю и Марксу». Это был настоящий подарок. Сам бы я вряд ли вспомнил. А спустя неделю мой варшавский друг Эдвард Холда прислал и статью из Википедии о Зимеке, откуда я беру даты его жизни: (ur. 27 listopada 1942 w Krakowie, zm. 30 maja 2011 w Warszawie).

одеяние с развевающимися полами) человек с оттопыренными ушами (вроде нашего Победоносцева) в сопровождении мужчины в черном пасторском костюме (помощник, служка? — не знаю). Прямо Гэндальф Белый! Через секунду я и не думал о своих вопросах. Сидевший рядом со мной Ассен Игнатов шепнул: «Смотри, это сам Бохеньский. Ведь ты никогда не видел его, бедный мой друг из империи зла». Не успел я отшутиться, как вошедший в белом одеянии красиво и страстно воздел руки к небу и обратился к ведущему конференцию: «Свидерский, ты почему пригласил сына этого негодяя из Польши?! Он был номенклатурным работником и травил меня в свое время!! Пусть покинет этот зал». Все посмотрели на философа Марека из Польши. «Он хороший специалист», — ответил, оправдываясь, подтянутый и спортивный Свидерский, у которого, возможно, были свои основания пригласить сына номенклатурного работника. Шло массовое приручение людей из соцлагеря, хоть маломальски проявивших себя в чем-то. Свидерский опекал философов. Марек побледнел, даже задрожал, растерянно встал, пожал плечами и хотел было выйти. Философский форум робко молчал. Ведь сам Бохеньский сказал! И тут вдруг поднялся высокий, сухой, как положено родовитому аристократу (Бохеньский, несмотря на рост, был полноват), Карл Граф Баллестрем. Свой титул он сделал своим вторым именем. Поднявшись, он обратился к Бохеньскому. Голос его, надо сказать, был абсолютно тверд: «Дорогой профессор Бохеньский, я ваш ученик, смею думать, что хороший ученик, поэтому хочу повторить Вам Ваши же уроки. Вы учили меня, как бороться с коммунистической идеологией, но Вы же учили меня и основам этики. Вы всегда говорили, что сын за отца не отвечает и что человека надо судить по его делам. Дела интеллектуала — это его тексты. Тексты господина Марека отличные». Поступок в той ситуации, что и говорить, был достойный и смелый.

И наступила тишина. Честное слово, все замолкли. Бохеньский, слушая Баллестрема, даже руки свои опустил.

Но тут снова их вскинул и выкрикнул: «Баллестрем, проклинаю тебя и твое потомство!» Он был оскорблен, вел себя как оскорбленный самодур, забыв в тот момент, что он еще и священник. И вышел быстро за дверь, сопровождаемый помощником в черном.

День завершился как-то скованно и тоскливо. Никто об этом случае ничего не говорил.

Через день я вернулся в Кёльн. А на следующий день поездом отправился в Москву. Было много других забот (например, как избежать грабежей во время железнодорожного путешествия по России). И об эпизоде с Бохенским я забыл. Дома тоже было немало проблем, требовалось как-то выживать в постперестроечное время. Но через месяц позвонил мне Ассен Игнатов, с которым мы сдружились за время моего четырехмесячного житья в Германии. «Знаешь, — сказал он мне тревожным голосом, — проклятие Бохенского подействовало. У Баллестрема заболел младший сын Томас. Тяжело заболел. Рак. Проклятие не даст ему выздороветь». Томаса Баллестрема я несколько раз видел. Необычайно красивый молодой человек с вьющимися светлыми волосами. «Наверно, надо позвонить профессору Баллестрему?» — спросил я. «Думаю, он переживает, — сказал по-прежнему тревожно и немного суеверно Ассен, — не надо». Но так получилось, что у меня через полгода была двухмесячная стипендия в Айхштетт, где, как всегда, Баллестрем позвал (и привез на машине: вилла его была за городом) меня с женой и дочкой в гости. За столом был и Томас, бледный, почти без волос, но живой и выздоравливающий. Немецкая медицина, молодость и сила воли родителей справились с болезнью.

Вот такая странная история о том, как заклинательное проклятие западного начальника подействовало лишь частично. У нас расправлялись круче. Но все же это кусочек истории философской жизни XX века. Бохенский умер девяноста трех лет от роду в 1995 году. Карл Граф Баллестрем пережил его на двенадцать лет.

27. Могила Чаадаева

Все мы знаем о радостях и нелепостях любви. Но если это любовь не к человеку, не к собаке, не к коту, а к чужой культуре? Скажем, к России... В силу своих интересов я много общался с русистами. В советское время я был невыездной, поэтому если с кем и общался, то это были приезжавшие сюда специалисты. Да и было это всего дважды. Как-то приехали польские философы, я встречал их в аэропорту от журнала «Вопросы философии». Кажется, шел 1978 год. Один (Юзеф Боргош), профессор, был автором переведенной у нас книги о Фоме Аквинском, второй, доцент, писал, разумеется, о европейском любимце — Льве Толстом, который изображал, на их взгляд, реальную Россию — с балами, псовой охотой, сплошными графьями и князьями. И, конечно, Платонами Каратаевыми. Желая быть любезным с гостями, я по дороге, повернувшись к ним, заметил как бы между прочим о славянских корнях Ницше, о том, что Гофман был женат на полячке и прекрасно знал польский фольклор. Они с польской вежливостью слушали, хотя не очень одобрительно что-то ворчали. Чтобы расположить их к себе — все же я был принимающей стороной — я стал усердно именовать их на польский лад панами: «Пан профессор, — говорил я, — и вы, пан доцент». И вдруг профессор меня прервал довольно недружелюбно, сказав: «не пан профессор, не пан доцент, а товажищ генерал и товажищ полковник». Так я впервые понял, какая реальная профессия у этих славистов. Потом, правда, мне удалось устроить их в отель, где администрация перепутала номера и не хотела даже кормить

приехавших. Они были благодарны и не напоминали мне больше о своих званиях. Уже позже, когда я начал ездить на Запад, то убедился, что отлично знавшие русский язык, *без акцента*, знавшие даже пословицы и поговорки, в том числе современные, учились, конечно, в специальных заведениях. Кстати, реальные слависты, тоже влюбленные в Россию, всегда говорили с очень заметным акцентом. Как правило, у каждого из «отлично знавших» была кафедра и по одной книге, не больше. Но здесь я буду рассказывать не о блистательно говорящих на русском специалистах, я о них ничего не знаю. Просто один эпизод из столкновения реальной славистики с российскими реалиями.

Дело в том, что наш журнал состоял в коллегиальных отношениях с философами из Польши, Венгрии и ГДР. Осенью, кажется, 1984 года (дату могу перепутать — потом объясню почему) по обмену к нам приехала венгерская славистка. Главный редактор В.С. Семенов, конечно, меня не послал бы на встречу. Наверно, *польские товарищи* все же что-то наклеузничали о моей нелояльности. Да Главный и сам не послал бы меня, подозревая во мне *вольномыслие*, но, как потом выяснилось, мое имя как желательного встречающего назвала сама венгерская славистка. Чего-то она почерпнула из моих редко тогда публиковавшихся статей. Звали ее Эржибет... Фамилии называть не буду. Не из скромности, а потому, что все время встречи я звал ее Эржибет, она меня Владимиром. А ее письма и книга, которую она мне прислала, в результате разнообразных семейных пертурбаций, пропали и проверить ее фамилию не могу. А придумывать не хочется.

Это была красивая, черноволосая и черноглазая женщина лет около сорока. У нее было три просьбы, которые она высказала прямо в аэропорту. Она просила, чтобы я, во-первых, устроил ей встречу с Владимиром Кантором, во-вторых, с Натаном Эйдельманом, а в-третьих, проводил ее к могиле Петра Чаадаева. Она не знала меня в лицо, поэтому обрадовалась, что ее первую просьбу я так легко

исполнил. Я отвез ее в отель, и мы проговорили несколько часов за бутылкой красного венгерского вина. Она, несмотря на типичные иллюзии иностранцев о поголовной духовности русского народа, все же нечто готова была воспринять, все-таки писала о Чаадаеве, которого, однако, понимала как предшественника славянофилов. Вечером я дозвонился до Эйдельмана. Он назначил встречу у себя дома. На следующий день мы приехали к нему. Об обаянии Натана говорить невозможно, надо было его чувствовать.

Самым сложным для меня был визит на Донское кладбище, на могилу Чаадаева. К своему стыду, должен сознаться, что до той поры я ни разу не был на могиле Чаадаева. Хотя тексты его любил. Более того, уговорил в 1983 году английского на тот момент (ныне американского) исследователя Ричарда Темпеста подготовить публикацию архивных писем Чаадаева (о его работе в архивах рассказали коллеги). Он принес тексты с блестящими комментариями, предисловие написал В.Г. Хорос. Казалось бы, подарок для журнала. Но редколлегия наотрез отказалась: «Зачем нам этот полузабытый мыслитель? Опубликовать эти письма можно в каком-нибудь сборнике для аспирантов, тиражом примерно 300 экземпляров. Все же у “Вопросов философии” тираж несколько тысяч. Кому это надо?» Я злился, апеллировал к тому, что Чаадаев, *как и декабристы, стоял у истоков русского «освободительного движения»* (Чаадаев был вне всяких движений, но так называли борьбу с самодержавием, которой в те годы уже и в помине не было.) От меня отмахивались как от слабоумного демагога, который хочет провести на мякине опытных идеологических мужей, твердо знающих, кого можно печатать, а кого нельзя. Убедил только тем, что неудобно будет отказать английскому ученому, который положительно пишет о России. Опубликовали в 12 номере, который почему-то традиционно считается менее читаемым.

Но венгерка, похоже, прочитала. Более того, узнала, кто был редактором этой публикации. У меня для нее была

еще одна история, которую тогда не записал. Известно, что Чаадаев жил на Басманной у Е.Г. Левашевой. Об этом и Темпест написал. Приведу отрывок из его статьи: «Еще в 1839 г. умерла Е.Г. Левашева, близкий друг мыслителя, во флигеле дома которой на Старой Басманной Чаадаев поселился в конце 1833 г. Он продолжал жить на той же квартире, теперь постепенно разрушавшейся. Здоровье его начало сдавать, нервы расстроились. Его стали тревожить предчувствия близкой и внезапной смерти»¹. Несмотря на успех в салонах, такое душевное состояние — глубокого, глухого одиночества — длилось практически до конца жизни. Не случайны его слова брату в письме 1852 г.: «Чем буду жить потом, не твое дело: жизнь моя и без того давно загадка»². Так вот, летом 1983 года, путешествуя со своим другом Александром Косицыным по Поветлужью, обмеряя полуразрушенные церкви и записывая их истории, наблюдая сохранившуюся послереволюционную разруху, мы зашли в селе Воскресенском в местный клуб, где я неожиданно обнаружил письмо племянника Екатерины Левашевой П.Я. Чаадаеву.

Позднее я не удержался и вставил это письмо в свой рассказ «Историческая справка» (1986), опасаясь, что иначе оно пропадет³. Рассказ был написан от третьего лица: «Он встал из-за стола и принялся листать книги, стоявшие на стеллажах. Взял в руки “Записки краеведов”. Место издания — Горький, год издания — 1980. И тут вспомнил, что, похоже, об этом сборнике говорила благолепная старушка, дочь страхового агента. Быстро открыл оглавление. Оно! Статья Н.Ю. Сергутиной “Валерий Николаевич Левашев”.

¹ *Темпест Р.* Письма П.Я. Чаадаева // Вопросы философии. 1983. № 12. С. 181.

² Там же. С. 132.

³ См. о судьбе Левашевых мою новеллу: *Кантор В.* Историческая справка. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990. С. 327–362.

Лихорадочно нашел нужную страницу, сел за стол, вытащил из кармана куртки мятый блокнот, шариковую ручку. Наткнулся глазами на строчки: “В левашевском архиве на Ветлуге имелись чаадаевские рукописи, которые, возможно, еще отыщутся в горьковских архивных, музейных, библиотечных фондах”. И несколькими строчками ниже в подтверждение своих слов автор статьи приводила в собственном переводе с французского письмо В.Н. Левашева П.Я. Чаадаеву.

Тимашев замер. Хоть и не он открыл, но все равно, все равно! Неизвестные штрихи и факты из жизни великого мыслителя, родоначальника русской философии, друга Пушкина и тому подобное!

Он читал и записывал, дрожа от восторга, понятного только историкам и библиофилам: “Только вчера, дорогой Петр Яковлевич, я прочел Ваше столь любезное письмо — Дельвиг забыл передать мне его. Спешу поблагодарить Вас за память; я никогда не забуду, что Вы были другом моей матери, и это главный источник моего уважения и любви к Вам. Я оставил службу, весьма мне досаждавшую, чтобы обосноваться в деревне и оставаться там до полной выплаты всех наших частных долгов... В бумагах отца я нашел несколько Ваших рукописей, дорогой Петр Яковлевич, и прочел их с несказанным удовольствием. Они напомнили мне счастливые и спокойные дни, проведенные в кругу семьи. Эти письма, прочитанные мною со всем вниманием, на какое я только способен, вызвали во мне горячее, но почти несбыточное желание — я хотел бы получить все Ваши рукописи, так как желал бы посвятить свою жизнь чтению и наукам. Прощайте, дражайший Петр Яковлевич, будьте здоровы и не забывайте того, кто Вас искренне любит. Валерий”».

Все это было еще для меня свежим событием, и я рассказал Эржибет об этом письме и даже прочитал слова Валерия из своего блокнота. После чего ее решение посетить могилу Чаадаева, разумеется, окрепло. Читатель спросит, в чем

проблема? Повторю, я никогда не был на его могиле, не знал, где она, а позориться перед зарубежной слависткой не хотелось. Поспрашивал друзей. Но самое точное указание было, что все же на Донском кладбище, которое находится в Донском монастыре. Правда, добавил приятель-искусствовед, в Донском есть музей, там должны знать, где могила. И прежде чем вести венгерку искать могилу, решил под каким-нибудь предлогом заглянуть в музей.

Так я и сделал. Доехав на такси до монастыря, зайдя со спутницей внутрь, я все же сказал Эржибет, что хочу заглянуть в музей, чтобы нам дали план. Тогда не придется плутать меж могил (а я-де, давно был и точное местоположение чаадаевской могилы не помню). Заодно, мол, посмотрим и другие захоронения. Она согласно кивнула головой и осталась дожидаться меня у входа в музей под высоким деревом. Поднявшись на второй этаж, я зашел в рабочую комнату, где стояли столы и сидели за бумагами сотрудники. Поздоровавшись, я сразу признался: «Ребята, я обещал иностранной славистке показать могилу Чаадаева, а где она — не знаю. Да заодно хотел бы купить план Донского кладбища». В ответ услышал растерянное мычание, что, во-первых, плана кладбища на данный момент у них нет, а тот сотрудник, который знает все про могилу Чаадаева, придет на работу только после обеда. Но скорее всего могила в дальнем углу.

И я спустился к Эржибет в некоторой растерянности, и мы отправились на поиски могилы в указанную сторону. Блуждая среди могил, захоронение Чаадаева мы никак не могли найти. Эржибет начала злиться и ворчать со своим европейским акцентом: «Почему эти русские ничего не знают про историю своих великих людей, не знают даже, где они захоронены». Я понимал, что это обращено и ко мне. Эржибет догадалась, о чем я подумал, смутилась и очень по-женски попыталась меня утешить. Погладив меня по плечу, она сказала: «Владимир, прости, я не о тебе, я о тех людях, которые здесь работают. Они же за это деньги получают. Может, еще раз к ним сходить. Вдруг пришел

человек, который знает про могилу». Но я понимал, что будет новый позор. Послеобеденное время еще не наступило, знаток не пришел, а эти ни хрена не знали.

И тут я увидел пару мужиков, длинного с большими залысинами и толстого коротышку, которые стояли, прислонившись к ограде. На ограде стояла бутылка водки и пара стаканов, была расстелена бумажка, на которой лежал кусок *растительной ливерной колбасы* (может, кто из советских людей вспомнит этот пищевой ужас!). В стаканах была налита светлая жидкость, похоже, что уже по второму разу. Я подошел и спросил, понимая нелепость своего вопроса: «Мужики, может, знаете или просто видели... Короче, меня и вот эту иностранную даму интересует могила Петра Чаадаева. Может, подскажите?» Длинный спокойно допил свою порцию и сказал: «А что? Знаем! Плоская такая. На ней еще распивать удобно. И посуду поставить, и самим присесть». Он махнул рукой куда-то вбок. «А не покажешь?» — спросил я, чувствуя, что пошел фарт. «Хряк, проводи», — сказал высокий. Толстяк обиделся, но повел. Правда до самой могилы не довел, просто подвел на расстояние, с которого плоская могила была видна. Я побежал к Эржибет.

И она была потрясена: «Простой народ, простые русские люди знают про могилу Чаадаева! Потрясающе!» Объяснять ей причину этого знания простыми мужиками я не стал, и мы быстро пошли к могиле. Все верно, это была она. Но тут уже был потрясен я. Плоская могила, сообщение, что здесь захоронен П.Я. Чаадаев, — все верно. Потрясло меня другое. Это был шок! На могиле лежало два свежих цветка: справа красная роза, слева красная гвоздика. У меня крыша поехала! Что уж говорить об Эржибет! Она достала свою импортную мыльницу и сфотографировала могилу со всех сторон, время от времени восклицая: «Простой народ! Цветы! Роза! Цветы! Простой народ!» Потом меня на фоне этих цветов, потом просила, чтобы я и ее запечатлел на том же фоне.

Не могу не сознаться, что я был воодушевлен не меньше ее. Посмотрев на часы, увидел, что специалист по Чаадаеву уже должен прийти. И предложил Эржибет снова заглянуть в музей. Мы поднялись вместе. Эржибет все время восклицала: «У Чаадаева на могиле цветы!» Специалист поднялся ей навстречу. И широко улыбаясь, сказал: «Да, появился тут неподалеку уже два месяца какой-то чудик! Цветы кладет, но мы его ни разу не застукали».

Потом Эржибет говорила мне и писала в письмах, что очень благодарна мне. Благодарна, что я показал ей близость русского народа великим русским мыслителям, что она об этом пишет книгу. Книгу она написала и прислала мне. В книге было несколько фотографий могилы Чаадаева с цветами, и она на фоне этой могилы.

К сожалению, через год я получил письмо из Венгрии, что Эржибет неожиданно скончалась.

Но чаадаевская история (с моим участием) на этом не закончилась. Из крупных работ начала перестройки можно назвать прежде других книгу Б. Тарасова («Чаадаев», М.: Молодая гвардия, 1986). В 1987 году, спустя 151 год после первой публикации, отечественный читатель получил и сравнительно полный состав сочинений Чаадаева, собранных Б.Н. Тарасовым. Журнал «Вопросы литературы» попросил меня сделать рецензию на эту книгу. Рецензия выросла в статью, которую журнал все же опубликовал, «Имя роковое» (Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская культура) (Вопросы литературы. 1988. № 3). Этот текст казался многим почти свободным, во всяком случае перестроечным. Смешно сказать, но никто не говорил о Чаадаеве, все говорили о том, как журнал это пропустил. Но все же о Чаадаеве, точнее о его восприятии, я вскоре услышал неожиданное, и все благодаря этой статье.

Как-то в «Вопросах философии» появился мужик, что-то среднее между полярником, сибиряком и лагерником. Большие красные руки, выглядевшие опасным оружием, очень обветренное лицо, красное, почти задубелое. Ростом

больше 180 см. «Мне бы с Владимиром Кантором поговорить», — хриплым голосом сказал он, обращаясь к нашей даме, заведующей редакцией. Та вздрогнула, посмотрела на него, потом на меня, глазами спросив, готов ли я говорить или *уже ушел*. «Это я», — сказал я. Он пожал мне руку, которая утонула в его ладони: «Где здесь поговорить можно, чтобы никто не помешал». Я повел его на площадку черной лестницы. «Эй, — крикнул растерянно Мудрагей, немного напуганный размерами и суровостью голоса моего спутника, — у нас летучка через десять минут, не забывай». Это было вранье, но оно означало, что через десять минут друзья придут мне на выручку, хотя тот же Мудрагей едва доставал мужику до плеча. И все же мне стало как-то спокойнее. Присев на подоконник на лестничной площадке, незнакомец представился, назвав фамилию, прозвучавшую знакомо. Увидев в моих глазах проблеск узнавания, он добавил: «Про меня Володя Высоцкий песню написал». Посмертное амикошонство мне никогда не нравилось, но тут я вдруг поверил, что он имеет на это право. И песню вспомнил. «Ну а я-то при чем?» — спросил я. Он сразу ответил: «Да я прочитал твою статью о Чаадаеве и пришел сказать спасибо!..» И снова я пожал плечами: «Какая связь?»

Он схватил меня за плечо. «Мы с ним на Магадане познакомились. Там он и песню про меня написал. Марина привезла ему года за три до его смерти из Парижа двухтомник Чаадаева. Володя прочитал и очень его полюбил. Ведь последние песни Володи как чефир, они пропитаны Чаадаевым. Он заказал его портрет и повесил к себе на стену кабинета. Я прочитал твою статью и нашел тебя. Хотел тебе это рассказать, чтобы ты это знал. Не знаю, зачем, но захотел». Он также резко встал, снова сжал мою руку и вышел, прошел сквозь редакцию и скрылся. Редакционные друзья перевели дух, расправили плечи. Хотя, если что, он бы нас всех раскидал.

Больше я его никогда не видел. Но почему-то поверил его рассказу. Ведь подлинное в культуре не умирает, «нам

не дано предугадать, как слово наше отзовется» (Тютчев). Но оно отзывается. Запретный бард воспринял слова запретного мыслителя. Я вспомнил фразу Тютчева о портрете Чаадаева, «что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...» Эту цитату я приводил в своей статье. Впрочем, лицо Высоцкого тоже такого же типа.

8—9 апреля 2013 года

28. Возможность дышать, или Лекарство от официоза

Даже сейчас, вспоминая ту систему слов, выражений, клише, штампов, обязательных сочетаний внутри предложений, тавтологические формулы партийных текстов, длинные наименования «руководителей партии и народа», которые заполняли воздух «информационного поля» (нынешний мусор постмодерна) советской жизни, чувствуешь, как перехватывает горло и нечем становится дышать. А уж в журнале, который по принятой модели тогдашней пропаганды должен был обеспечивать теоретическую основу советской идеологии (ибо считалось, что именно философия составляет духовный центр марксистско-ленинского учения), воздух мог бы быть, казалось, таким душным и вязким, что живому слову, здесь вроде бы ничего другого не оставалось, как взять да помереть. Начиная от передовых статей к каждому юбилею или съезду и почти к каждому постановлению ЦК, писавшихся сотрудниками журнала, и кончая «стандартными братскими приветствиями», которые рассылались в «дружественные журналы» стран «победившего социализма», все создавало такую атмосферу, которая и нас, и наших читателей должна была бы лишить нормального воздуха. Но воздух оставался, и слово выживало. Почему? Об этом и речь.

Причем нам-то было хуже. Читатель мог не читать этих передовых и всяческого официоза, а мы не могли всего этого не писать и не редактировать. Один из моих ригористических друзей тогдашних лет (Андрей Кистяковский, прекрасный переводчик с английского, который вел одно

время фонд Солженицына помощи политзаключенным) говорил, что жить в двоемыслии постыдно, что надо с этим рвать и пр. Разумеется, был такой путь, диссидентский, героический, им пошел сам Андрей, пошел сотрудник журнала и наш друг Владимир Кормер, издавший свой роман на Западе. Сегодня, в общем-то, видно, что дракон тоталитаризма уже терял тогда силы, зубы его тупились, он пускал отравляющую слюну, но уже ничего не мог поделывать с частной жизнью, которая существовала сама по себе, воспринимая идеологическую жизнь как некий ритуал, который ни к чему не обязывал. Может, где-то дракон и высиживал змеиное яйцо будущего драконыша, но в те годы про это никто ничего не знал и не подозревал. Было понятно, что дракон еще может сожрать, но также понятно и то, что его уже можно обвести вокруг пальца, делая вид, что выполняешь требуемые им ритуалы.

Там, наверху, были правила, почти игровые, уже потерявшая жизненность большевистская мистерия, сохраняла, однако, подобие страшных обрядов, но уже без кровавых жертвоприношений. Редакция и часть редколлегии тоже играли в эту игру, большей частью выигрывая, потому что наверху играли всерьез, не подозревая, что играют, а мы и впрямь играли. И журнал все же был из тех журналов, которые свободомыслящая (как говорилось в старину) интеллигенция выписывала и читала.

Но все равно было противно. И хотя читался тамиздат и самиздат, оставалась повседневная журнальная жизнь, где требовали *«переломить ситуацию на позитивные рельсы»* и сообщали, что *«развитой социализм имеет все черты настоящей теории»*. Комично, но и тоскливо. Водка была спасением, но все же плохим, ненадежным спасением: «не помогли мне ни Верка, ни водка», как пел Высоцкий: «С водки похмелье, а с Верки что взять!» Конечно, этим спасеньем пользовались многие интеллектуалы, достаточно вспомнить Веничку Ерофеева и его поэму «Москва — Петушки».

Тема пьянства философских людей, переплетавшегося с пьянством людей из других кругов, в знаменитых «стекляшках» и «деревяшках» вокруг Волхонки и Смоленской, потом попала в литературу (см., к примеру, «Зияющие высоты» А. Зиновьева). Столкновения были там полны шуток, хохм, словесных и на уровне жестов. Помнится, такая двойная жизнь (с одной стороны, центральный философский журнал, почти идеологический, с другой — московская низовая культура, алкаши, менты, полууголовники) даже бодрила, создавала чувство раскрепощенности.

Разумеется, были и другие защитные механизмы, сохранявшие психику. Надо при этом сказать, что именно потому, что редакция в основном состояла из людей духовно свободных, журнал казался, да и был одним из весьма малого количества оазисов, где, как говорили приходившие снаружи люди, можно было дышать. Это нам было душно, это мы искали воздуха, но окружающие находили его, поскольку одна-две статьи на номер всегда поднимались над казенным уровнем (мы печатали таких, например, авторов, которые не могли публиковаться в других местах и которые сегодня широко известны не только у нас, но и за рубежом: Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили и ряд других). По застойным временам это было совсем не мало. А первые (*за многие годы*) публикации в нашем журнале Чаадаева, Щербатова, Ортеги-и-Гассета и впрямь становились заметными событиями.

Секрет выживания был секрет получения воздуха в безвоздушной атмосфере. Прежде всего была внутренняя установка не принимать официозную бодягу всерьез. *А потом — была игра в слова.* Игра ведь сродни свободе. Сочинение слов и выражений, доводивших до абсурда привычные официальные клише. Причем делалось это не для создания высокой литературы, а просто для жизни. Клишированные выражения официоза, вроде «*акулы пещерного антикоммунизма*» или «*инвалиды холодной войны*», мы старались в передовых статьях вставить в

такой контекст, чтобы любому читателю (внимательному, разумеется) стал понятен их запредельный абсурд. Своего рода бесконечное говорение на своеобразном варианте эзопова языка. Как-то произошла такая история. Писали мы передовую статью. А в каждой такой статье полагалось сказать и показать, как наши идеологические противники клеветают на марксизм-ленинизм и советскую систему. И тогда пришла нам в голову замечательная мысль написать самим, что мы думаем об этой системе. И, написавши обязательную фразу: «Наши идеологические противники пытаются оклеветать Советский Союз, заявляя, что...», — далее мы выложили все, что за долгие годы накопилось и накипело. Ссылок в передовых не требовалось, поэтому все сошло с рук. Но, думаю, что предложенный нами взгляд изнутри был много жестче и точнее, чем высокооплаченные игры советологов. Заметил *шуточку* только один философ (обойдемся без фамилии), который сказал: «Ну и где это вы такое вычитать могли! Да им на Западе и не снилось так написать!»

А уж всяческие шарады, шутки, игра в «чепуху» на политические темы длились на протяжении рабочего дня.

Но, повторю, главным у журналистов, даже философских, все же была в свободное время игра в слова. И одним из «игроков» был сотрудник редакции А. Я. Шаров, чьи тексты тех далеких лет мы предлагаем сегодняшнему читателю. Это — шуточный римейк чеховских рассказов и словарь эпитетов. Зачем это сегодня? Во-первых, это было смешно тогда, смешно и сейчас. Во-вторых, это своего рода исторический документ, рассказывающий *о способах духовного выживания в тех условиях, которые были направлены против духа, о том противоядии*, которым мы пользовались. А в-третьих, пособие для наших потомков, если они, не дай бог, попадут в аналогичную ситуацию.

Меня всегда интересовало, каков на самом деле механизм возникновения фольклора, как появляются сказки,

шутки, пословицы. Написано об этом много от Проппа до структуралистов. Но одно дело читать об этом, другое дело наблюдать изо дня в день, как такой фольклор возникает. И, разумеется, коллективного творчества в подобном деле нет, коллектив принимает или не принимает сочиненное кем-то, коллектив создает атмосферу некоего свободомыслия. Именно тем человеком, кто задавал уровень нашим шуткам, меланхолически замечавшим время от времени, когда шел уж совсем дикий официоз, что пора переделать знаменитую формулу Протагора, которая-де ныне должна звучать так: «Советский человек есть мера всех вещей», стал Толя Шаров. На идеологические заклинания и цитаты из классиков он также вполголоса важно произносил, перефразируя известный лозунг: «Без царя в голове, а правительство рабочее». Шуток такого рода могу привести множество, они, к сожалению, не все запомнились, но они как раз и были тем впускаемым в душную комнату кислородом, который позволял дышать.

Приложение

Анатолий Шаров

Хамелеон

(почти по Чехову)

Через Старую площадь идет главный редактор Очумелов в новой дубленке и с кипой условных принятых за основу статей. За ним шагает ответственный секретарь Туркин с портфелем, доверху наполненным стенограммами редколлегий. Кругом тишина... На площади ни души... Закрытые двери подъездов ЦК и МГК глядят на свет божий уныло, как сытые пасти; около них нет даже милиции.

— Опять зарубил, окаянный! — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, помогите! Нынче не велено рубить все статьи подряд! Держите статью Аллена! А...а!

Слышен визг цековских работников. Очумелов глядит в сторону и видит: из подъезда отдела науки и учебных заведений, прыгая на одной ноге и оглядываясь, бежит человек. Слышен вторичный визг и крик: «Не пропускать статью!» Из окон ЦК высовываются сонные физиономии, и скоро около подъезда отдела науки и учебных заведений, словно из-под земли выросши, собирается толпа ответственных работников.

— Никак беспорядок, Семен Петрович! — говорит ответственный секретарь.

Очумелов делает полуоборот направо и шагает к сборищу. Около самого подъезда, видит он, стоит человек в расстегнутом пиджаке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе какую-то статью. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, Гришка!» Да и сама рука имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает консультанта отдела эстетики Кантора. Он стоит в центре толпы, растопырив ноги и дрожа всем телом, как борзой щенок. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому случаю тут? — спрашивает его Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем статью?.. Кто кричал?

— Иду я, Семен Петрович, никого не трогаю... — начинает Кантор, кашляя в кулак, — насчет статьи Аллена к Николаю Варфоломеичу. И вдруг этот подлый ни с того ни с сего за руку... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая... Пущай мне заплатят, потому я после этой статьи, может, еще год пальцем не пошевельну. Этого, Семен Петрович, и в постановлениях съезда нет, чтобы от всякого Гришки терпеть... Ежели каждый будет рубить мои статьи, то лучше и не жить на свете.

— Гм!.. Хорошо... — говорит Петров строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья статья, говоришь? Я этого так не оставлю! Я покажу ему, как хорошие статьи рубить! Пора обратить внимание на подобных товарищей, не желающих подчиняться историческим решениям! Туркин, — обращается главный редактор к ответственному секретарю, — узнай точнее, кто автор статьи! Кто этот Аллен, спрашиваю?

— Это, кажись, из «новых философов», — говорит кто-то из Отдела пропаганды. — Они наемни на эту тему, почитай, цельный сборник выпустили.

— Из «новых философов»? Гм!.. Достань-ка, Туркин, стенограмму обсуждений... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед внеочередным пленумом... Одного только я не понимаю: как ты мог ее пропустить? — обращается Очумелов к Кантору. — Нешто она дотягивает до нашего уровня? Статья маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, сам переделал ее на свой манер, а потом пришла в твою голову идея, чтобы дать на редколлегию. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей.

— Он, Семен Петрович, статьей мне в харю для смеха, а я, не будь дурак, статью и зарубил... Вздорный человек Кантор, Семен Петрович!

— Врешь, Гришка! Не видал статьи, стало быть, зачем врать? Главный редактор умный человек и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Леонидом Ильичом. А ежели я вру, то пушай меня новая Конституция рассудит... Там прямо сказано... Нынче все равны... У меня у самого бабка с Ильичом разговаривала, ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, этот не «новый философ»... — глубокомысленно замечает кто-то из Международного отдела. — У «новых философов» таких статей нет. У них все больше про «онтологию власти», про разные там репрессалии...

— Вы это верно знаете?

— Верно, Семен Петрович.

— Я и сам знаю... «Новые философы» — авторы солидные, породистые, а этот Аллен — черт знает что! Ни вида, ни концепции... Подлость одна только. И этакого автора подерживать!? Где же, Кантор, у вас ум? Да попадись такая статейка в «Коммунист» или в «Политсамообразование», то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы ни на какие постановления, а моментально — не дыши!

— А может быть, это французский марксист... — думает вслух ответственный секретарь. — В нашей картотеке данных на него нет. Намедни в «Философских науках» похожую статью видел.

— Вестимо, марксист! — говорит голос из Отдела пропаганды.

— Гм!... Возьми-ка, брат Туркин, стенограмму обратно. Что-то ветром подуло... Знобит. Ты отнесешь статью в Отдел культуры и спросишь там. Скажешь, что статья пришла, мол, самотеком. И скажи, что мы ее еще раз посмотрим, повнимательнее. Она, может быть, ценная, а ежели каждый инструктор ЦК вроде Гришки будет нам в нос тыкать, то долго ли испортить? Статья — нежное создание... А ты, Кантор, опусти руку, нечего ее выставлять, сам виноват!..

— А вот как раз идет Пысин из сектора печати, его спросим. Эй, Марат Абдурахманович, поди-ка, милый, сюда! Погляди-ка на статью. Марксистская?

— Выдумали! Этаких у них отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего! Я должен прямо сказать: она антимарксистская! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что антимарксистская, стало быть, и антимарксистская... Зарубить статью, вот и все.

— Это не марксистская... — продолжает Пысин. — Это одного прогрессивного деятеля, члена общества «Франция — СССР», что намерен в Москву приехал. Марксисты не охочи до этих проблем, а этот деятель охочь.

— Да разве они приехали? Мосье Аллен? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, Господи! А я и не знал. Погостить приехали?

— В гости, по приглашению Союза обществ дружбы с зарубежными странами.

— Ишь ты, Господи... Соскучились по реальному социализму... А я ведь и не знал! Так это ихняя статейка? Очень рад... Возьми ее, Туркин. Статеечка ничего себе... Живая такая... Гришку смутила... Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь, Кантор? Сердишься, шельма... Цуцык этакий...

Туркин забирает статью и кладет в портфель. Толпа хочет над Кантором.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в дубленку, продолжает свой путь по Старой площади.

*Анатолий Шаров***У нас и у них**

(словарь-пособие для пишущих передовые, юбилейные, предсъездовские, послесъездовские и прочие статьи)

	у нас	у них
Авантюра	у нас нет	грязная, агрессивная, военная, вьетнамская
Ажиотаж См. также: Возня, Шумиха	у нас нет	нездоровый, искусственный
Атаки См. также: Нападки	у нас нет	ожесточенные, непрерывные, яростные
Борьба	упорная, настойчивая, мужественная, героическая	конкурентная, ожесточенная
Взаимопонимание	полное	у них нет
Взгляд	трезвый	у них нет
Влияние	благотворное, огромное	тлетворное
Возня См. также: Шумиха	у нас нет	грязная, подозрительная, недостойная, провокационная
Вой См. также: Вопли	у нас нет	истощный, злобный
Вопли См. также: Вой	у нас нет	истощные, дикие
Вопрос	коренной, животрепещущий, главный	провокационный
Вояж	у нас нет	провокационный, очередной, предвыборный
Вымысел	у нас нет	чудовищный, грязный, досужий, убогий
Гнев	справедливый, всенародный	бессильный
Гордость	законная	у них нет
Горизонты	необъятные, широкие, новые	у них нет

Действия	решительные, успешные	подрывные, провокационные, незаконные, неприглядные, наглые, циничные и т. д.
Дела См. также: Свершения	славные, величественные, кровное (дело)	бесславные, черные, грязные, темные (делишки)
Демонстрация	наглядная, внушительная, яркая	у них нет
Завеса	у нас нет	пропагандистская
Завоевания	исторические, великие	у них нет
Злоба	у нас нет	бессильная
Значение	всемирно-историческое, огромное	у них нет
Игра	у нас нет	недостойная, грязная, закулисная, двойная
Идеализм	у нас нет	махровый, утонченный
Идеи	бессмертные, ленинские	бредовые, обветшалые, ложные, порочные
Идейка	у нас нет	тощая, низкопробная
Идеология	жизнеутверждающая, научная	враждебная, растленная, глубоко чуждая народу
Инсинуация	у нас нет	грязная, подлая
Итоги	величественные	мрачные, печальные
Клевета	у нас нет	черная, подлая, чудовищная, бессовестная, злонамеренная, грязная
Конец	у нас нет	бесславный, неизбежный, закономерный
Крах См. также: Провал, Поражение	У нас нет	сокрушительный, полный, неизбежный, окончательный
Курс	испытанный, верный, ленинский	авантюристический, антинародный, ошибочный
Ложь См. также: Вымысел, Клевета	у нас нет	низкопробная, убогая, наглая, беспардонная
Машина	у нас нет	пропагандистская м. голосования

Мнение	единодушное	предвзятое
Молодчики	у нас нет	фашиствующие
Мораль	коммунистическая, гуманистическая	прогнившая, растленная, грязная, частнособ- ственническая, ханже- ская, лицемерная
Нажим	у нас нет	грубый
Нападки	у нас нет	злобные, враждебные
Народ	свободолюбивый, ми- ролюбивый, трудолю- бивый, талантливый, советский, весь	у них нет
Наследники	законные	у них нет
Наступление	генеральное, стратеги- ческое	см.: Поражение
Ненависть	священная	лютая, звериная, зооло- гическая
Образец	классический, лучший, немеркнувший	у них нет
Обсуждение	всенародное, плодотворное, полезное	у них нет
Опыт	исторический, бога- тейший, практический, жизненный	печальный
Основа	надежная, прочная, солидная	шаткая
Отпор	должный, гневный, дружный, достойный, единодушный, нарастающий	у них нет
Отрава	у нас нет	идеологическая
Отребье См. также: Охвостье	у нас нет	фашистское
Отчет См. также: Расчет	трезвый	у них нет
Охвостье См. также: Отребье	у нас нет	эмигрантское
Памятник	вечный	у них нет
Пачкотня	у нас нет	грязная
Перспективы	грандиозные	у них нет

Планы	величественные, грандиозные	несбыточные, обреченные на провал, п. Пентагона
Победа	всемирно-историческая, блистательная, полная и окончательная	Пиррова
Подвиг	беспримерный, немеркнувший, героический	у них нет
Подготовка	активная	лихорадочная
Подъем См. также: Рост	крутой, всенародный, политический и трудовой, решительный, закономерный, быстрый, всемерный, невиданный, новый	у них нет
Поиск	творческий, настойчивый, постоянный	у них нет
Политика	научно обоснованная, мудрая, миролюбивая, внутренняя и внешняя	авантюристическая, антинародная, лицемерная, двурушническая, реакционная
Попытка	плодотворная	неудавшаяся, тщетная, с негодными средствами
Поражение См. также: Крах	временное	полное и окончательное, неизбежное
Поступь См. также: Шаги	твердая, уверенная, могучая п. пятилетки	у них нет
Потуги См. также: Пронски	у нас нет	тщетные, жалкие, бесплодные, бессильные
Почва	твердая, благодатная	зыбкая, скользкая
Практика	социалистического и коммунистического строительства, повседневная	порочная
Преданность	беззаветная	собачья
Предначертания	исторические, гениальные	у них нет
Пресса	у нас нет	желтая, продажная, бульварная

Прибыли или барыши	у нас нет	баснословные
Принципы	проверенные жизнью, твердые, незыблемые, ленинские	у них нет
Провал См. также: Крах	у нас нет	полный, позорный, окончательный, неизбежный
Пронски См. также: Потуги	у нас нет	злобные, реакционные, враждебные, грязные
Просчет	у нас нет	неизбежный
Протест	гневный	необоснованный
Психоз См. также: Угар	у нас нет	массовый, милитаристский, военный
Развитие	дальнейшее, последовательное, полное	катастрофическое, медленное, уродливое, однобокое
Расчет	трезвый, верный, дальновидный, хозяйственный	см.: Просчет
Реакция	у нас нет	махровая, черная, оголтелая, по всей линии
Резервы	неиспользованные, неисчерпаемые, могучие, неисчислимы	у них нет
Результат	см. итоги	плачевный, ничтожный
Родник	неиссякаемый, живой, живительный	у них нет
Роль	возрастающая, историческая, гигантская, заметная, крупная	зловещая, ничтожная, незаметная
Рост	непрерывный, быстрый, неуклонный, крутой	р. преступности
Свет	немеркнущий	у них нет
Свершения См. также: Дела, Победа	исторические	у них нет
Свистопляска См. также: Шабаш	у нас нет	реваншистская, дикая
Связь	тесная	преступная

Слава	боевая, трудовая, неуверяемая	недобрая, печальная, скандальная
Соки	живительные	последние (которые они высасывают)
Стряпня См. также: Пачкотня	у нас нет	неуклюжая, низкопробная, грязная
Труд	созидательный, вдохновенный, упорный, героический	подневольный, тяжкий, рабский, каторжный, изнурительный, унижительный, низкооплачиваемый
Трудности	временные, отдельные, т. роста, некоторые, известные	постоянные, непреодолимые, огромные, неразрешимые
Угар См. также: Психоз	у нас нет	шовинистический, реваншистский, националистический, милитаристский, военный
Удовлетворение	глубокое, полное, моральное	у них нет
Усилия см. также: Потуги	титанические, дружные, героические	тщетные, все
Утверждения	см.: Принципы	необоснованные, лживые, наглые, клеветнические
Фальшивка	у нас нет	гнусная, низкопробная, убогая
Чутье	классовое	у них нет
Шабаш См. также: Свистопляска	у нас нет	реваншистский, антикоммунистический
Шаги	семимильные, гигантские, саженьи, ш. пятилетки	неверные, неуверенные, робкие
Шумиха См. также: Ажиотаж, Возня	у нас нет	пропагандистская, провокационная, подозрительная
Энергия	творческая, невиданная, растущая, удвоенная, утроенная	у них нет
Энтузиазм	трудовой, огромный, невиданный	былой

29. Реальность той стороны луны.

Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик

Та сторона луны — это тайна, о которой знали только специалисты, космонавты и астрономы. Что уж говорить о тех, кто там провел не один день. Я говорю так отчетливо, ибо знаю, что мой родной дядя, брат отца, как раз и был человек лунной природы. Обманная, загадочная луна. Ведь Запад, где он жил годами (с 1930-х до середины 1950-х годов) — это все другая сторона луны, на которую я никогда не ступлю. Не ступлю, как разведчик, как герой. А для него это была реальность. А можно и по-другому сказать: вся страна была покрыта сетью архипелагов, и кроме Архипелага ГУЛАГ был и архипелаг СМЕРШ, архипелаг военной разведки, ЧК и пр. Не говорю уж об архипелагах структур, работавших на власть. Все архипелаги подчинялись нечеловеческим законам, но внешне были почти как люди. Хотя, быть может, у них были свои неземные поверхности.

Не знаю, в каждой ли семье бывает любимый подростком дядя, который при этом, а может, и благодаря тому, выглядит немного загадочно. Как в английских таинственных романах Диккенса или Уилки Коллинза, Стивенсона или Конан Дойла, в основном англичане — мастера криминального жанра и создатели самой мощной разведки.

Я даже знал от отца разведческий псевдоним дяди «Лео из Ла Риоха». Были еще кодовые имена — Турбан, Нарсисо, последний почему-то запомнился особенно — Кораблев. Лео, однако, был основной. Но дома не было принято об этом говорить. Потом уже, прочитав мемуары, где о нем говорилось вскользь, понял уже окончательно

происхождение клички. Цитирую начало этих казенных мемуаров с пояснениями:

Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 году в Аргентине в городе Ла-Риоха. Не совсем понятно, почему по документам он значится Павлович, а не Моисеевич или Михайлович, как его братья. Отец, Моисей Кантор, был по образованию геолог, а по роду деятельности — революционер. В годы первой русской революции участвовал в экспроприациях, которые устраивали анархисты, после таких акций они раздавали захваченные средства нуждающимся. Был арестован, отсидел 11 месяцев в тюрьме. В 1909 году бежал из ссылки и вместе с женой, Лидией Коробициной, учительницей химии и тоже революционеркой, и двумя детьми эмигрировал в Аргентину. Там Кантор работал геологом, профессором университета. В Аргентине у супругов родился третий сын, Алексей.

В 1924 году семья возвратилась в СССР. Алексей пошел учиться в ФЗУ, вступил в комсомол. В 18 лет пошел служить на Балтийский флот. После службы шесть лет ходил на торговых судах. Во время испанской войны попал в Испанию переводчиком, работал с военно-морским атташе и главным военно-морским советником, будущим адмиралом флота Советского Союза Н. Г. Кузнецовым. Алексей Павлович покинул Испанию одним из последних, в конце 1938 года. За проявленную доблесть и мужество в боевых операциях при оказании помощи командованию ВМФ Республиканской Испании Коробицин А.П. *награжден орденом Красного Знамени*. Вернувшись из Испании, попал на работу в разведку, стал резидентом в Мексике. Не отзови его Центр в 1941 году, может статься, и судьба его сложилась бы по-иному...»

Два пояснения.

1. Бежали они в Константинополь на лодке контрабандиста, перед турецким берегом начался шторм, но спастись их никто не выходил. Тогда лодочник сорвал с ребенка штанишки и раздвинул ножки, показав публике, что это мальчик. И несколько лодок вышло в море. Мальчиков турки спасали. А уж оттуда через пару лет перебрались в Аргентину.

2. ОБ ОТЧЕСТВЕ: дед ушел к другой женщине, моей бабушке, матери отца. Свой брак они зарегистрировали в Эквадоре

в 1923 году, когда отцу уже был год. Это свидетельство нашел в столе, отдал папе, но он куда-то его убрал. Три сына среагировали на уход отца по-разному. Дядя Саша так и остался Александром Моисеевичем Кантором, всю войну проработал диктором на радио, вещавшем на испанском языке. Дядя Лева взял фамилию матери, отчество — по имени другого деда, став Львом Александровичем Коробициным. Во время войны капитан морской пехоты Коробичин погиб, закрыв своим телом немецкий взвод. А судьба дяди Алеши совсем другая. Он тоже взял фамилию матери, а отчество возникло как отчество его деда Александра Павловича Коробичина, старообрядческого священника. У меня есть фотография, в центре которой сидит милая высокая русоволосая интеллигентная женщина, Лидия Александровна Коробичина, первая жена деда, дочь старообрядческого попа, а вокруг нее сыновья — трое крупных парней. Дядя Алеша меньше ростом, чем два брата, взгляд лукавый и умный. Роста он и впрямь был невысокого. Если у отца был рост один метр 76 см, то у дяди Алеши был рост метр 72.

О дяде Алеше Коробичине я знал уже лет с восьми только то, что он воевал в Испании, потом надолго исчезал, отец говорил, что он служит капитаном на кораблях дальнего плавания. Моряк! Капитан! Конечно, герой! Больше ничего не знал. А потом вдруг в 1956 году, мне 11 лет, он поехал с нами (папой, мамой и мной) отдыхать в Джубгу. Маленькая деревушка на берегу Черного моря, здесь в море впадала река, по этой реке под свисающими переветными ветвями мы как-то по предложению дяди Алеши поплыли на двух лодках вверх по течению. В реке шныряли рыбки, некоторые довольно крупные, мы с мальчишкой-соседом ловили их по утрам. Страшноваты были змеи, не очень большие, тонкие, гибкие, с маленькими головками, но мы их боялись, поскольку не знали, ядовиты они или нет. Сейчас иногда я думаю, что моего дядю Алешу, улыбчивого и добродушного, те, которые подозревали о его профессии, тоже могли опасаться, не нанесет ли он смертельный удар. Уже потом, лет семь-восемь спустя я как-то спросил его, носил ли он оружие (мальчишке лестно видеть героя), на

что дядя Алеша усмехнулся: «Как правило, нет, только если нужно было по роли» «А как же — заранее изнемогая от мальчишеского героизма, — спросил я, а сражаться?» Он вдруг рассмеялся: «В моем деле сражаются умом. Я почти никогда не стрелял, если не был в бою».

Но это уже был более поздний разговор. А пока мы плыли по реке, над нами свисали ветви, похожие на лианы, тень от деревьев спасала нас от жары. А через километров пять выше по реке мы наткнулись на плетеный мост, как в приключенческих книгах: деревянные дощечки днища, ветви и лианы как перила. Конечно же, мы прошли по нему: рядом с дядей Алешей ничего не было страшно. Странное спокойствие. Потом это спокойствие подтвердилось странным образом. На следующий день мы гуляли в парке, и вдруг на шею отца попал энцефалитный клещ. Мама первая заметила и закричала. Отец даже не почувствовал, а тут, услышав крик, повернулся, увидел клеща и попытался ударить по нему ладонью, чтобы убить его. Реакция дяди Алеши меня поразила. Он перехватил руку отца и сказал: «А вот этого делать не надо. Не тронь его!» Отец заметно занервничал. Дядя Алеша рассмеялся своим тихим улыбчивым смехом. «Когда мы партизанили в Гомельских лесах, мы нарочно ловили этих клещей, сажали на руку и смотрели, как они вгрызались и протачивали себе дорогу». Мама нервничала: «Алеша, хватит шутить! А как вы спасались?» Он провел рукой по усам и опять усмехнулся: «А очень просто. Капали на то место, куда клещ вьелся, каплю керосина, он сразу и вылезал». Но керосина ведь у нас с собой не было, хотя в съемной приморской комнате керосинка стояла. Но успеем ли мы дойти-добежать до комнаты, мы уже далеко ушли в лес.

Родители и вправду испугались, я, глядя на них, тоже. Это было неожиданная опасность среди жаркого и расслабляющего отдыха. Хотя это казалось, если взглянуть как бы со стороны, словно рассказанная кем-то, каким-то безумцем, история, которых вообще-то быть не должно в этом мире. «История человеческой жиз-

ни — это история, рассказанная безумцем», — как писал Шекспир. А я был довольно начитан. Здесь немножко запахло безумием. Но родители всерьез рассуждали об опасности, тогда дядя Алеша встал, сходил к мужикам, приехавшим на машинах, взял у них пузырек с бензином и вернулся. Несколько капель и клещ, работая всеми лапками, начал выбирать. Дядя Алеша стряхнул его на землю и раздавил. У меня все это было в голове как-то сразу перемешано. Вроде это было, наверно, на самом деле, когда-то было страшно, а теперь это просто почти бытовая шутка. Как история из книги.

А потом пошли на пристань нырять и плавать. И опять мое представление немного сломалось. Дядя Алеша — моряк, капитан, герой. Когда к нам домой приезжал его друг Машевич из Латинской Америки, он качал меня на носке ботинка и пел: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Ведь улыбка — это флаг корабля!» И я понимал, что это про дядю Алешу. Сам дядя Алеша относился к Машевичу немного иронически. Уже много позже сказал мне: «С ним было трудно работать. У него в каждом кармане было по пистолету на боевом взводе. Верный шанс — провалиться». Я удивился: «А вы разве не отстреливались?» Надо было видеть его смущенно-ласковую улыбку: «Никогда. Мне никогда по роли не приходилось это делать. Ведь побеждаешь умом, а не пулей. А когда приходилось стрелять, стрелял. Но это уже на Гомельщине, в партизанах».

Я ждал. Как он красиво нырнет и уплывет далеко-далеко, уж во всяком случае не хуже местных деревенских приморских пацанов. Сказать, что он разочаровал меня — было бы неправдой. Просто я тут же решил, что так и должно быть. А он как-то солдатиком спрыгнул с мостков, минут пятнадцать поплавал вокруг деревянной пристани, почти по-собачьи, потом влез на доски причала и развалился загорать. К этим доскам только раз в неделю приходил теплоход, о котором кричали рупоры: «К пристани прибывает теплоход “Агат” типа “Жемчужина”». И играли «Мишку»: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная

задора и огня?..» К вечеру теплоход отчаливал. Оставался просто деревянный настил.

И странное дело: вместо историй о военных приключениях (хотя потом я понял, что по-настоящему воевавшие не любят рассказывать военные истории) дядя Алеша рассказывал о том, что пытается напечатать свою первую книгу рассказов о Мексике «Жизнь в рассрочку» (1957). Как уже потом я понял, что его выперли на пенсию, в отставку. Сорок шесть лет — не время даже для военной пенсии. Он как-то сам сквозь зубы бросал, что те, кто мог его поддержать, были к началу 1950-х уже расстреляны. Новое начальство его уважало, но не могло преодолеть обстоятельства, что у дяди Алеши не было военного образования. Хотя навоевано им было не несколько генеральских званий. Без дела он сидеть не мог, видел многое, писательский дар был очевиден, хотя не про все можно было писать. Но сюжеты он находил. Много видел, в любом случае можно найти нечто неожиданное. Как в любом кусочке жизни, если ее видеть.

Его хоронили в 1966 году, панихида была в ЦДЛ, я еще вернусь к этому сюжету. Выступали писатели и говорили, что свою главную книгу Алеша не написал. И тогда генерал из военной разведки вдруг сказал: «Нет, написал, но вы ее никогда не прочтете». Название книги знал отец (хотя и он не читал). Книга называлась «Искусство перевоплощения». Я ее тоже никогда не видел.

Пока же речь шла о том, что цензура не пропускала рукопись, поскольку трудно было объяснить, почему советский капитан знает такие тонкие детали мексиканского быта. Дядя Алеша острил: «Я им предложил, чтобы книга вышла под псевдонимом АЛЬПАКО. То есть так якобы зовут реального автора — мексиканца АЛЬПАКО. Но дальше слова: “В переводе Алексея Павловича Коробицина”. Смеются, но отказываются». Шутка и впрямь была прозрачна, хотя для дураков, может, и не очень понятна. Книга все же вышла под его именем, может, военное начальство прикрикнуло на писательскую цензуру — не знаю.

Но лето кончилось, и теперь я видел любимого дядю не чаще двух-трех раз в год. А он и вправду был любимый дядя, тот человек, глядя на которого, физиономия почему-то расплывалась от удовольствия и счастья. О его военных делах мы не говорили, он выпустил новую книгу «Хуан Маркадо — мститель и Техаса» (1962), где работал сюжет двойничества, о котором я позже писал в своих литературоведческих и культурфилософских текстах. Было два брата-близнеца мексиканцы, но один — Хуан Маркадо — вырос в бедной семье, второй — Рикардо Агирре — в богатой гасиенде. Во время восстания Хуана Маркадо, богатый брат спасает близнеца-бедняка. И узнает тайну. А когда в бою с американскими войсками Хуан погибает, брат называется его именем, показывая родимое пятно, которое вроде бы отличало братьев. И только верные друзья понимают героизм Раймонда, восстание Хуана Маркадо продолжается. Думаю, что книга была написана столь искренно, ибо момент мужества и самопожертвования был, конечно, у героев от автора.

В том году я заканчивал десятый класс. Заканчивал скверно, у меня было две двойки в году (то есть переэкзаменовки) и тройка по поведению. Литератор хотел меня перевоспитать, да и все почему-то думали о моем перевоспитании. Очень часто вместо школы я шел мимо нее в Тимирязевской парк, гулял там и размышлял обо всем сразу. О том, почему никто не желает дружить со мной так, как я хотел бы, как «три мушкетера», например. И чтобы был такой брат, как в романе дяди Алеши. Но младший хотел быть первым, а потому дружбы не получалось.

На мою удачу была введена одиннадцатилетка, поэтому у меня был шанс пересдать предметы и остаться в школе. Двойки были по литературе и русскому языку. Идейные расхождения с учителем решались просто. Вначале он играл в свободолобивого преподавателя, требовал, чтобы мы с ним спорили. Придумал ШПТ, что значило школьный поэтический (потом полифонический) театр. Пытавшиеся играть в свободных приняли с восторгом полифонические представ-

ления о том, как Пушкина убил император Николай и как русская поэзия мстила за него. Правда, местный остряк, хулиган и двоечник, вырезал на школьном столе: «Покупайте ДДТ и травите ШПТ». У это учителя было много любимцев, быстро усвоивших советскую систему; его называли и называют «культовый учитель по литературе». К 80-летию выпустили книгу о нем, где я стою на первом месте среди его удач: *«Его учительский путь в Москве начался в девятой специальной школе. Среди ее выпускников-гуманитариев — Владимир Кантор, Нина Брагинская, Татьяна Венедиктова, Марк Фрейдкин»*. Да, это была школа Юлия Анатольевича Халфина. Спорить было можно, но так, чтобы правота все равно была на стороне препа. Пока не стало ясно, что в результате спора надо было прийти к его же тезису — вполне большевистская система. Вроде считается так-то, но коммунистическая идеология все равно права. За мои несогласия я получил две двойки в году и обещание, что переэкзаменовку я никогда не сдам и пойду учиться в вечернюю школу. «Это будет для тебя хорошая школа жизни», — сказал он. Спасибо завучу, с которой я спорил, но у которой хватило соображения не давать мне волчий билет. Но на тройке по поведению в году Халфин настоял за то, что я «имел наглость временами отвечать ему резко и настраивать против него класс». Мечь писателя всегда словесна. В романе «Крепость» я изобразил его как подловатого человека по имени Григорий Александрович Когрин (он же *Герц Ушерович*). Понятное дело, что антисемитских мотивов не было, но мне хотелось показать, как человек строит из себя русского, даже православие принял. Когрин обвинил моего героя в покушении на него, хотя знал, что булыжник в него кинул местный хулиган. А он верил, что русский народ не способен к злу, если его интеллигент не подучит, как Иван Карамазов Смердякова. Самое безумное в этой истории было, что весь класс считал, что лучше меня в классе литературы никто не знает, что я больше всех читал. Такое простое нарушение логики преподавания явилось своего рода маленьким уро-

ком жизни, что дело не в реальности, а в мозгах того, кто решает твою судьбу, в безумном решении начальника.

Но к этим двум двойкам решила примазаться толстая и рыжая англичанка Марья Ниловна, всеми не любимая. За что меня она не любила, не знаю, я всегда был на неплохом счету. Но ведь переправить четверку на двойку в общем ажиотаже можно. Встретив меня в коридоре, спросила: «Что, Кантор, скоро расстанемся? Больше в школе не увидимся?» Уже в полном отчаянии от всех своих неприятностей, я неожиданно сострил, довольно зло: «А что, Мария Ниловна, вас из школы увольняют?» Она остолбенела, а я, получив маленькую сатисфакцию, поехал домой.

Дома ждал меня непростой разговор, хотя отец готов был меня поддержать. Но крестьянское начало мамы требовало, чтобы, даже не соглашаясь с барином, все равно участок выкосить, как надо. Изгнанная дважды с работы, она принимала как должное — не протестовать, а противопоставить несправедливости — работу. В университете она занялась генетикой по совету друга деда и нашего соседа по дому Антона Романовича Жебрака, известного биолога. Надо сказать, мама нервничала поначалу, но дядя Алеша, который оказался в тот момент в Москве, вывезенный из гомельских лесов, сказал, что она справится, что отец (то есть мой дед) направил ее к хорошему человеку. Но мама, уже решив что-то, делала, так как полагала, лучше ее никто не сделает; она, выражаясь языком характеристики, «проявила себя как хороший исследователь», ее хвалил сам Раппопорт. И потом именно за это она и была уволена как любимая ученица знаменитого российского биолога-генетика Иосифа Абрамовича Раппопорта, одного из основоположников отечественной генетики, выступившего на знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ против Лысенко. Надо добавить, что Раппопорт прошел всю войну, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками был представлен к Герою Советского Союза, вме-

сто этого был награжден орденом Отечественной войны, а также получил американский орден «Легион Почета», что, наверно, впоследствии вызывало подозрения. В 1949 году за несогласие с решениями сессии ВАСХНИЛ Раппопорт был исключен из ВКП(б). Он был едва ли не единственный, кто осмелился выступить против сталинского биолога Лысенко. А маму просто выгнали с работы, она пошла чернорабочей. Хотели восстановить эмэнэсом, но в 1949 году все же оставили на прежней работе — копать, корчевать и пр., за то что не согласилась поменять еврейскую фамилию мужа «Кантор» на девичью русскую. И еще одно добавление. Когда мама вернулась в науку, поступив на работу в Институт садоводства в Бирюлево (НИЗИСНП), она вывела новый вид (соединение земляники и клубники) — земклунику, очень любимую одно время дачниками, так вот самый популярный сорт она назвала «РАПОРТ», в честь Раппопорта. Это был знак любви и признательности, мать умела быть благодарной за науку. Об этом говорится сегодня в биологических справочниках, цитирую статью «Что за чудо, посмотри-ка — созревает ЗЕМКЛУНИКА»: «В 70-х годах прошлого века селекционеру Татьяне Сергеевне Кантор удалось получить уникальный гибрид. Гибрид между клубникой мускатной и земляникой садовой крупноплодной. <...> Татьяна Сергеевна Кантор ушла из жизни, так и не успев официально зарегистрировать эти сорта. Тем не менее они радуют садоводов вот уже четвертый десяток лет. <...> Во Франции получен землянично-клубничный гибрид под названием Ville de Paris». Стоит зайти на сайт «Земклуника», где многое рассказывается. Правда, как и учителю, ей за ее открытие досталось от начальства. Когда маму начали приглашать во Францию тамошние коллеги-селекционеры, ее еще до пенсионного возраста уволили, сильно сократив тогдашнюю пенсию, земклунику объявили достижением Института садоводства, а на международные конференции ездил его директор. Правда, названия сортов поменять он не посмел. Мама же, чтобы выработать нужный пенсионный срок, на старости лет снова последний год

отработала чернорабочей. И директор Василий Григорьевич Трушечкин (кстати, тоже участник войны с наградами, о которых теперь не знаю, что и думать) не постеснялся ее взять на эту должность именно в том институте, где было сделано открытие. Начальство у нас всегда умело использовать людей, сделавших нечто, но по возможности не давало шансов на личный успех. Прямо по Высоцкому: «Кому сказать спасибо, что живой?!» В нашей истории всякое бывало. Но вернусь к своей переэкзаменовке.

Разговор получился, слава Богу, в смягченных тонах. Отец и дядя Алеша пили армянский коньяк под лимон, мама готовила чай. У обоих глаза были совсем не строгие. «Да ладно, Карл, — сказал дядя Алеша, — вспомни, какие мы были. Как ты из лесной школы в Испанию сбежать пытался. А как я в порту дрался. Меня же привезли в матросском костюмчике, и меня тут же в порту избили и раздели, а я дубиной огрел местного начальника, потом почти голышом до нашего отца бежал. А ты англичанке остроумно ответил, молодец». «Ну, хорошо, — сказал отец, уже немного хмельной, — с литературой я понимаю, но почему все же тебе чуть пару по-английски не вкатили». Я снова пересказал свой, как мне казалось, остроумный ответ и добавил, что по-английски на уровне школьной программы я вполне понимаю. Дядя Алеша ухмыльнулся. «Ты считаешь, что это и есть знание языка? Язык требует вживания, ты в нем себя должен как в своей одежде чувствовать». — «Как это?» Тут у меня мелькнуло соображение, что я получу сейчас какой-нибудь шпионско-лингвистический урок. Дядя Алеша сидел немного размягченный, бутылка армянского коньяка была наполовину выпита. «Необходимо то, что я называю лингвистическим нахальством. Надо говорить так, будто ты понимаешь. Я так немецкий выучил». «Как это? А вы разве не немца там играли?» Он покачал головой: «Иногда. А тогда я был мексиканским подданным. Да, если уж вспоминать, ситуация была плачевная. Я уплывал последним пароходом из Гамбурга. И вдруг эсесовская проверка. А документы мне приготовили немецкие подпольщики, это была такая липо-

вая работа, что мне самому страшно было глядеть на них. Тем более показывать эсесовцам. И когда предложили сойти провожающих на берег, я вылетел на берег. Надо было что-то решать, мысль в тревоге работает быстро, если ты не трус. Я взял такси и поехал в мексиканское консульство. Там сидел, как всегда пьяный, консул. Он мне протянул стакан текилы (есть такой хмельной латиноамериканский напиток). Я отказался и начал орать на него, что он не исполняет своих прямых обязанностей, что в моем паспорте до сих пор нет мексиканской визы. А мексиканская виза со всеми ее картинками занимала как раз две страницы. Он лениво шлепнул визу, прикрыв две сомнительных страницы. И я смело вернулся на корабль. Все обошлось».

Примерно на этих словах беседа переползла на другие темы. А я дал себе слово учить иностранные языки как следует. Прошла пара лет, я поступил на вечернее отделение филологического факультета МГУ, фамилия понизила мне проходной балл, с 20 до 18. Это тоже выглядело занятно. Я понимал, что шансов с моей фамилией попасть на филологический у меня маловато, шел 1963 год. Первый экзамен — сочинение, в этом я был уверен, с подросткового возраста заставив себя помнить всю орфографию и синтаксис, учителя говорили, что у меня абсолютная грамотность. Потом английский, который, помня слова дяди Алеши, я учил днем, утром, вечером, слушал пластинки, читал все, что попадалось под руку. И английский я сдал на отлично. История тоже — отлично. Оставалась устная литература и устный русский. Билет достался удачный, и по литературе, и по русскому языку темы я знал. Я все ответил и видел, что принимавшие были довольны. «А что у вас за сочинение?» И достала мое сочинение из лежащей стопки. Оценка была — тройка, удовлетворительно. «Ну, вы понимаете, что больше четверки мы поставить вам не можем». Следующий день был днем, когда можно было опротестовать оценки. Я пошел выяснять по поводу сочинения. Доцент достала мою тетрадку, протянула мне: «Сами смотрите». Замечаний не было ни на одной странице, ни одна строчка не была подчер-

кнута, нигде знака вопроса, но в конце сочинения выведена красными чернилами тройка. Я ошалело показал на оценку и на отсутствие замечаний. Дама-доцент даже покраснела, взяла мой экзаменационный лист, увидела две пятерки и четверку. Очевидно, у нее было разрешение повышать на балл. И я получил четверку, и так обрадовался, что дальше права качать не пошел. Опыта не было. Мог и пятерки добиться. Тогда учился бы на дневном, а так, и то с помощью отцовского коллеги, с трудом попал на вечернее отделение. Просто не было указания, что брать нужно тех, кто на самом деле знает что-то.

Дяде Алеше про это мне рассказывать не хотелось. Уж он бы настоял на своем. Так мне казалось. Почему-то я не задумывался, как это он, такой умный, ловкий, еще не старый, был отправлен в отставку. Но все же разговор состоялся через месяц после поступления, когда некоторых студентов начали вызывать в Особый отдел на собеседование. Меня тоже вызвали, но на вопрос, кто мой любимый писатель, я как всегда честно, ответил Достоевский, особенно «Преступление и наказание» и «Бесы». Потому, что там рассказано многое, что заставляет задуматься. «Молодец, — сказал молодой чиновник в пиджаке и галстучке, — думай, это полезно. Но все же не забудь, как Фадеев изобразил в “Разгроме” интеллигента Мечика как предателя. Вот эту предательскую интеллигентскую суть должен ты в себе вытравливать». Потом ходили по очереди мои однокурсники. А вечером Мишка П., с которым я за этот месяц сдружился, родственник известного литературоведа, шел со мной до метро «Площадь Революции», все что-то хотел рассказать, наконец, у метро отвел в сторону. «Вовка, разговор есть, — он нервничал, потел, протирал очки, но хотел выглядеть значительным. — Знаешь, что мне в Особом отделе предложили работать с ними, рассказывать о сомнительных разговорах и тому подобное. Представляешь, какой они нам дали шанс! Не рассказывать ничего реального, а придумывать разговоры и вкладывать их в уста сволочей. Понял? Это же удача!» Я тупо молчал, потому что расте-

рялся. Потом сказал: «Но это же можно и невинного оклеветать!» Мишка возразил: «Не невинного, а негодяя».

Я ехал домой в смутных мыслях. В чем-то Мишка казался мне прав, но чего-то было страшновато, хотя вроде бояться было нечего. Но не хотелось только руку в пасть крокодилу вкладывать, откусит ненароком. Дома неожиданно оказался дядя Алеша, который сказал: «Слышал о твоих неприятностях. Но поверь, это пустяки, о которых не надо даже думать. Или у тебя еще проблемы?» Мама повела нас на кухню, где расставила чашки, налила чай, вынула коробку конфет, насыпала в плетеную из тонкой витой проволоки корзиночку разные сорта печенья. Прихлебывая чай, он улыбался и поглядывал на меня: «Ну?» И я рассказал про Особый отдел, про разговор с Мишкой и наши рассуждения, что, вступив в контакт с органами, мы можем принести пользу друзьям. И вообще интеллигентным людям. Папа вопросительно посмотрел на брата: «Алеша, здесь нужен твой совет. А то я такого наговорю, что лучше не надо». Он явно нервничал. «Карл, не суетись, на все есть житейский опыт, у меня он был неплохой. Думаю, у тебя такого не было. Из любой ситуации надо искать выход, а не идти напролом». И мне: «Вовка, ты что-то ему обещал или только слушал?» — «Только слушал». — «Ну вот и молодец. Ума хватило. Теперь меня послушай. История немного другая, но важен принцип. Думаю, у тебя и здесь хватит ума этот принцип извлечь из моего». — «Я постараюсь».

Потрогав указательным и средним пальцами свои небольшие латиноамериканские усы, так он делал, когда не то нервничал, не то думал, как лучше сформулировать мысль: «Я расскажу историю 1947 года, я только что вернулся из очередной *командировки*, думал на пару месяцев отпуск получить, но меня вызвал командир и показал список арестованных и расстрелянных, ГБ не любило военную разведку. Но, глянув на мою усталую физиономию, сказал, что, так и быть, он мне два месяца даст, но чтобы я был осторожнее, а потом отправит сразу на следующее задание».

Вообще, думая сегодня, как они сражались с немцами, ожидая каждый момент удара в спину от своих, и сражались, и верили. Какой-то изврат сознания. Но это пустые рассуждения в сторону. Продолжу рассказ: «В кабинете меня встретил полковник из органов, называл даже не товарищ майор, а Алексей Павлович. И сказал, что они внимательно ознакомились с его работой и очень его работу ценят. Поэтому они хотели бы, чтобы он и с ними поработал. Ведь на одну страну работаем. Я ответил, что это большая честь, но хотел бы несколько дней обдумать предложение. “Конечно, конечно. Недели вам хватит?” Я ответил, что хватит. Через неделю я пришел и сказал, что абсолютно согласен. Полковник так посмотрел на меня и спросил: “Ваше решение серьезно? Не передумаете?” И я простодушно ответил: “Конечно, нет. Я посоветовался с моим начальством, и мне разрешили!” Он даже подскочил: “Вы что наделали. Вы же подписку давали о неразглашении нашего разговора”. Я честно ответил, что никакой подписки я не давал. “Да, — спохватился инструктор, — я с вас не брал такой подписки. Но мы же знаем, в какой структуре вы работаете, вы это сами должны были понимать!” Я пожал плечами: “Но вы же тоже должны понимать, что, работая в ТАКОЙ структуре, я не мог не поставить в известность о вашем предложении мое начальство”. Он махнул рукой: “Ладно, вы свободны!” и я ушел, ПОНИМАЯ, что меня ждут неприятности. Но я также понимал, что предложение о совместной работе означало то, что я должен был доносить на мое начальство».

Как написано в одной из бумаг о нем, в 1947 году он вынужден был из военной разведки уволиться из-за отказа перейти в МГБ. Но ушел он позже, после 1949 года, когда космополитизм коснулся всех. Правда, дядю Алешу, по его обмолвкам, отправили в другую командировку, и до 1955 года он был мексиканским консулом в США в Кливленде. Но твердых данных на такого рода людей нет.

Дядя Алеша отхлебнул чай, потом сказал: «Дело, конечно, не в месте, где человек работает, хотя отпечаток есть. Но меня однажды спас от смерти человек, курировавший

от органов советское радио во время войны. Это когда я партизанил. Как и все в жизни, любой эпизод начинается с большой неприятности. Нас должны были выбросить в один район Белоруссии, но летчик промахнулся, слишком сильно с земли по самолету немцы били, и выбросил, где смог. Это были Гомельские леса. У меня был радиопередатчик и двое сослуживцев, но очень неудобные в Гомельских лесах. Один немец-спартаковец, ротфронтовец, другой австриец-коммунист. И все бы ничего, но они ни слова по-русски не говорил, кроме «Да здравствует товарищ Сталин». На беду мы еще были и в форме эсесовцев. Мы даже парашюты зарыть не успели, как нас местные лесовики схватили и собирались расстрелять, а одежку нашу поделить. Они обсуждали, не подозревая, что я-то все понимаю. Послушав, я понял, что надо что-то быстро говорить. И я сказал: «Вы, бляди, совсем оборзели? Вам давно никто муде не драл? Хотите, сучары? Могу устроить!» Мужики опешили: «Чего? Свой, что ли? А чего фрицевские тряпки нацепили на себя?» Дело испортили немцы, закричавшие «Рот фронт!» и что-то в этом духе. Мужики, называвшие себя партизанами, одетые в полушубки и валенки, с винтовками или охотничьими ружьями через плечо, скрутили их и потащили куда-то через кусты, говоря, что командир с ними разберется». Как сказал дядя Алеша, а я ему поверил, много пряталось по лесам мужиков, которые и воевать не воевали, но считали себя вправе забирать продукты у крестьян для поддержки своей боеспособности. Их притащили в землянку, где за столом сидел уже немало выпивший командир, который сказал: «Раз есть рация, пусть передадут в Москву, что отряд под командованием такого-то уничтожил столько-то живой силы, техники, пусти под откос три поезда». Дядя Алеша пытался возражать, что у них другое задание, что такой информации от них не ждут. Тогда командир приказал привязать их к деревьям и расстрелять. Стреляли, правда, над головами, а потом бросили в яму, куда два раза в день кидали хлеб, опускали кувшин воды, а по вечерам расстреливали. И срок им дали трое суток. Если через трое суток Совинформбюро не пере-

даст нужную информацию, их расстреляют. Радиogramму пришлось передать, и дядя Алеша подписался суперсекретным псевдонимом «Лео». Это был псевдоним на случай ЧП. Но начальство не сочло их ситуацию ЧП: «Мы Алексея с другим заданием посылали, и этой информации от него не ждем». А в гомельском лесу их расстреливали каждый вечер. Иногда командир кроме кружки воды предлагал кружку самогона. Но дядя Алеша, как начальник маленькой группы, запретил пить. Так и жили в ледяной земляной яме. На третий день их вытащили в землянку, посадили за стол со связанными руками. Перед ними сидел густобородый командир с помощниками, стояла бутылка самогона, лежали пласты сала, а еще перед каждым лежали пистолеты. В центре стола стоял радиоприемник, рядом радиопередатчик разведчиков. Как говорил дядя Алеша, все они были бледные и напуганные, разведчики, ожидая близкой смерти, а партизаны не были до конца уверены, тех ли они собираются расстрелять и не придется ли отвечать собственной шкурой, если придут представители с Большой земли. Уже после рассказа, я вспомнил роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Как американец попадает в испанский партизанский отряд, где оказывается чужим, хотя пришел с заданием от республиканского руководства.

Пробило двенадцать часов. Последняя сводка от Совинформбюро. И вдруг голос Левитана сообщает, что в Гомельских лесах такой-то партизанский отряд под командованием такого-то командира уничтожил... живой силы, техники и пр. Произошло волшебное превращение, им развязали руки, принялись лебезить, кормить и поить. Это было чудо, но сотворенное человеческими руками. Когда радиogramма была получена в Ставке, начальство выполнять просьбу Лео не сочло нужным. На счастье в этот момент в кабинете был друг дяди Алеши, который осмелился вмешаться в разговор: «Но раз Алеша просит, значит это ему нужно для какой-то игры. Мы все его знаем и знаем, что попусту он такой текст не пошлет». Говорившего не послали подальше, поскольку он принадлежал другой организации, которая по негласно-

му соглашению была выше других. И дядя Алеша сказал: «Дело не в организации, а в человеке. Организация портит, но человек может оказаться сильнее. Вот и подумай, сможет ли твой друг сделать то, что сделал Митяй? Что же о начальстве, то у начальства всегда мозги плохо вращаются». И начальство сказало Митяю, что его ведомства эта проблема не касается, что они сами разберутся. Единственное, что сумел сделать Митяй, — переписать радиограмму и с тем уйти. А потом он пошел в контору Совинформбюро и стал просить их передать текст. От себя, по его просьбе, без разрешения начальства. Разумеется, те отказали. И тогда Митяй купил себе батон и несколько пачек кефира и остался жить на лестнице Совинформбюро. Постелил газеты на ступеньки — на них и жил, ел, спал, ночевал. Конечно, его давно бы выгнали, если бы не удостоверение органов. Но и то — они регулярно звонили его начальству. Но там махнули рукой, дружбу, как ни странно, и они уважали. Но Митяй не просто спал, четыре раза в день он заходил в рубку Совинформбюро и снова выкладывал перед ними записку с данными. С каждым разом усиливая натиск, понимая, что отсчет идет уже не на дни, а на часы, даже минуты. И он победил. В последние минуты передача была сляпана, а мы были спасены.

Дальше начались другие проблемы. Нам пришлось влиться в отряд, где командир хотел прятаться, а не фашистов убивать. Но воевать пришлось, отряд окружили. Воевать он не умел, в первом бою и погиб. Большая земля потребовала, чтобы я принял командование. Если ты когда-нибудь прочтешь роман “По ком звонит колокол” Хемингуэя, там был американский разведчик Роберт Джордан, которого послали к партизанам помочь в борьбе с франкистами, история романтическая, но невеселая. Мост он взорвал, но погиб. Я не погиб, но еле живой был вывезен на Большую землю. А Мария, майор медслужбы, ты ее знаешь, стала моей женой. Да, ее звали очень строго: Виолетта Николаевна. Вообще, имена жен моих дядей были экзотические. Скажем, у старшего была жена по имени Зумруд.

А вот данные из его характеристики:

А в апреле его в звании старшего лейтенанта включили в разведывательную группу «Лео», которая должна была действовать в немецком тылу. Командовал группой Алексей Коробичин, его старый знакомый еще по Мексике. В ее состав, кроме Коробичина («Лео») и Кравченко («Панчо»), входил радист Г. Антоненко («Поль») и два австрийских антифашиста — И. Штейнер («Тарас») и М. Ляйтнер («Максим»). Это их едва не погубило.

В июне 1942-го группа была сброшена в районе Чечерска Гомельской области. После высадки «Лео» должен был встретиться с командиром партизанского отряда. Однако группа сбилась с дороги и вышла хоть и к партизанам, да не к тем. Узнав, что среди разведчиков есть австрийцы, партизаны арестовали группу. Двенадцать дней их держали под арестом, требуя признаться, с какой целью немцы забросили их в лес. Все утряслось, после того как партизаны связались с Москвой.

Восемь месяцев и одну неделю отряд успешно действовал в тылу врага. Так, например, 15 ноября 1942 года «Лео» передал в Центр: «Группа под командованием моим и Панчо совместно отрядом Федорова занимается диверсионной работой. Пущены под откос 11 воинских эшелонов, уничтожено 5 грузовых, 11 легковых машин. Убито 1485 солдат и офицеров, ранено 327 офицеров, в том числе генерал войск СС и подполковник».

Непрерывные бои с врагом поставили группу в тяжелое положение. 10 февраля 1943-го «Лео» радиовал: «Ежедневные бои не позволяют дать координаты. Макс ранен. Тарас ранен. Есть обмороженные». Последней каплей стало «тяжелое отравление во время голодания» (из рапорта майора медслужбы). 5 марта 1943 года группу вывезли на самолете в Москву.

История ГБ с моим однокурсником так ничем и не закончилась (или закончилась). Но я про это не знал. Во всяком случае на эту тему мы с ним не говорили больше. Потом были всякие истории, политические, на Западе и у нас. То убили Джона Кеннеди (потом, когда я был в Штатах, мне рассказали местные, что он не выплатил долг мафии), то наши монстры разобрались с Никитой, стоило ему прижать партаппарат. Но не расстреляли. И это считалось большим завоеванием хрущевской демократии. Помню разговор Наума Коржавина (Эмка Мандель) и дяди Алеши. Эмка все время повторял, что Никита кро-

ви не хочет, что с ним можно договориться, я бы с ним за рюмкой посидел. «Посидеть можно, — отвечал дядя Алеша, — но в некоторых случаях в дело все равно вступают другие обязанности. Если надо, то и застрелить придется». Я сразу сообразил, что он говорит о своей истории в партизанском отряде. Но разговоры разговорами, но Никиту все же сняли. И тут все начали вопросительно смотреть на Мишку П. Очевидно, он многим уже трепанул о предложении, которое ему сделали. А Мишка старался выглядеть загадочным, важным и неприступным.

К власти пришел Брежнев, интеллигенция стала говорить о том, что брови Брежнева — это усы Сталина, поднятые на должную высоту. Это говорило о равнодушии образованного общества к идеологии, за которую дядя Алеша воевал в Испании. Думаю, ему было грустно, хотя понимал он многое, а уж видел и того больше. *Но каким-то образом люди его опыта и закала, не совершавшие при этом подлостей, знавшие, что они сражаются не только за идею, а за нечто другое, которое казалось важным для спасения мира в человечестве, удивительно умели хранить и нести в себе чувство человеческого достоинства. Качество в XX веке редчайшее. Говорю это, не преувеличивая. Напомню хотя бы Сахарова. Сегодня вроде тоже политические игры, но они какие-то не всерьез. Те люди тоже играли, но очень серьезно, поскольку, прошу простить за банальность, ставка в той игре была уж больно высока.*

В 1964 году в «Юности» (очень престижный по тем временам журнал) в трех номерах был опубликован последний роман дяди Алеши «Тайна музея восковых фигур»; книжный вариант вышел уже после его смерти в 1968 году.

Роман читался, пользовался популярностью, поскольку была там не только криминальная линия, но и символически-мистическая — опять о двойниках. Сторож при входе в музей был копией восковой фигуры, как бы два привратника при входе. И когда преступник по ошибке свернул голову кукле, то умер и настоящий живой человек — пропала воз-

возможность зарабатывать на кусок хлеба. Кто был всю жизнь его двойником — не знаю, но такая тема зря писателя не волнует. В последнем романе вижу некую разгадку. Он сам был своим двойником, разведчик, который переиграл сам себя. Убили его двойника, умерла идея, выхода не было — надо было умирать. Он и умер в 1966 году.

Его фотографий в семейном архиве сохранилось очень мало. Две я привожу, есть еще фото, где он среди братьев в Аргентине. Но она уж слишком домашняя. На всех снимках у дяди поразительные глаза, внимательные, но без вызова; человек все видит, но ничего не скажет.

Умирал он от рака легких. Знаю, что навещали его родственники, очень часто ходила моя бабушка, та самая женщина, что увела отца Алеши. Но так случилось, что они подружились, вместе воевали в Испании, где бабушка была военной переводчицей в Барселоне у нашего командования, получила за Испанию орден Боевого Красного Знамени. Сама иронизировала, что, когда франкисты неожиданно атаковали Барселону, все республиканское и советское военное руководство, бросив карты и бумаги, тем более переводчицу, попрыгали в машины и умчались. Бабушка, как преданная делу коммунистка, к тому же аккуратная женщина, собрала все бумаги, спрятала их в ридикюль, спокойно (она блестяще владела испанским языком) миновала франкистские посты и несколько дней прожила у своей испанской подруги. Когда франкистов выбили, наше командование, зная, что оно побросало все карты, и не найдя их, могло ожидать только расстрела. И тут переводчица приносит пропажу. Кто-то сгоряча предложил ее расстрелять, чтобы она не проболталась. Горячего человека уняли, а бабушку представили к ордену. С тех пор с Алешей она дружила. Он ее уважал. Умирая, просил о помощи, просил принести яд. Видимо, боли были невыносимые. «Ида, ты же сильная, дай мне яд. Большевики должны помогать друг другу». Это она рассказывала, но она не дала, ответив ему: «Существует партийная этика. Нельзя». А он заплакал. Она его жале-

ла, но яду не дала: «Алеша, ты сильный, ты должен все выдержать». Сама она была сильной. Уже после смерти дяди Алеша были торжества по поводу испанской войны; она же воевала, имела орден Боевого Красного Знамени, несколько медалей. И бабушку пригласили. Она умела сидеть на собраниях. И слушать партийную болтовню. Но тут по ошибке после директора института, говорившего о героизме республиканцев, о первой победе в схватке с фашизмом и т. п., слово дали ей. И она простодушно, но внятно произнесла: «Чего мы торжествуем? Я вот ехала и думала, газеты читала... Война-то была проиграна, проиграна позорно. Все про это знают, знают и про сталинские лагеря, которые прошли интербригадовцы и наши офицеры. Я ведь чудом уцелела. Повиниться бы надо перед памятью погибших». Никто тронуть ее не посмел, старый большевик, участник испанской войны, орденоносец, и речь ее кое-как замотали. Бабушка умела заботиться, когда видела шанс на борьбу с болезнью, но здесь шанса не было, и к дяде Алеше относилась она как к человеку, который должен был выдержать испытание.

Хоронили его в ЦДЛ. Почему в ЦДЛ — не знаю. Наверно потому, что его уже приняли в Союз советских писателей, и он очень этим гордился, а писатели хоронили своих. Пришел и я с женой. Спустя годы могу сказать, что я настолько ему верил, что его слов хватило на четверть века моей первой семейной жизни. Мы поженились в 1965 году, дядя Алеша приехал к нам с отцом в гости. Посидел молча, послушал молодые перепалки, а потом, уходя, сказал: «Вовка, проводи меня». Когда мы шли к Войковскому метро, он помялся, но сказал: «Поверь мне, человек к человеку долго притирается. Не наделяй по горячности глупостей. Поживи год-другой, тогда и решай». Прожил я, как уже писал, много дольше, с 1965 по 1988 год. О чем не жалею. Было всякое, хорошего больше, а в плохом и моей вины было немало, а может, и много. Но дело не в этом. Мы в первый раз попали в ЦДЛ и с любопытством разглядывали писателей. Пожалуй, впервые тогда я понял, что писатели, ставшие массой, толпой, такая же масса, какие создавали имидж вождям народов, масса,

которую боялся Элиас Канетти. Почему-то не было на их лицах писательской одухотворенности, а почти каждый, понимая, что хоронят человека необычного, старался несколько слов об этой необычности сказать, говоря, что главной книги Алексей Павлович написать не успел, но вот выступающему что-то из нее рассказывал. Я, не зная никого, шатался по углам, ожидая момента, когда позовут попрощаться. И вдруг в соседней маленькой комнате я увидел группу сравнительно молодых генералов, которые препирались, что именно надо сказать. Судя по форме, которую я тогда уже немного различал, это была военная разведка. Слушать их разговор было неудобно, да и как-то не по-советски. И только я пошел назад в переполненную залу, как один из генералов отодвинул сослуживцев и решительно подошел к гробу. И сразу заговорил, буквально перебив предыдущего оратора: «Вот все вы смотрели только что фильм “Кто Вы доктор Зорге?” Это и вправду был один из наших крупнейших разведчиков, но его позиция была сложная: ему приходилось работать сразу на три разведки — советскую, немецкую и японскую, поэтому его роль была как бы исходно разоблаченного разведчика. Вы говорите, что Алеша не написал своей главной книги, что его жизнь — целый роман. Это так, но даже больше, чем так. Так вот, Алексей Павлович по своему масштабу был много крупнее Зорге, он был *ни разу не разоблаченный* советский разведчик. Понятно ли вам, что это значит? К сожалению, награды не всегда находят героев. Алексей Павлович помимо орденов был представлен к званию Герой Советского Союза, но так его и не получил». Генерал мял в руках бумажку, которая, как потом выяснилось, была рабочей характеристикой. Он оставил ее на краю гроба, а я подобрал. В этой характеристике дядю еще называют капитаном. Потом стали писать — майор. Впрочем, вот эта характеристика:

КАПИТАН Коробицин Алексей Павлович — 1910—1966.

Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 г. в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. Его отец был политический эмигрант, бежавший из царской ссылки в 1907 г.

Вместе с семьей в 1924 г. Алексей Павлович вернулся на родину в Советский Союз. Товарищ Коробицин А.П. член КПСС.

С 1936 г. по 1938 г. Алексей Павлович находился в Испании, где принимал участие в операциях против фашистских мятежников.

В 1939 г. был отправлен на ответственную работу за рубеж. Будучи в спецкомандировке т. Коробицин решал сложные разведывательные задачи.

В период Великой Отечественной войны Коробицин А.П. работает в тылу немецко-фашистских войск на территории Белоруссии.

Там он руководит действиями разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов.

В 1943–45 г. разведывательно-диверсионные группы под его командованием подорвано и уничтожено 13 вражеских железнодорожных эшелонов с живой силой и боеприпасами, десятки автомашин, ликвидирован генерал войск СС, добыто ряд ценных сведений о противнике.

Коробицин А.П. является одним из лучших советских разведчиков. Разносторонне образованный, смелый, инициативный, беззаветно преданный родине и делу нашей партии.

Капитан Коробицин не щадя своей жизни боролся против врага и везде, куда бы ни направляло его командование, образцово выполнял поставленные задачи.

За боевую работу в тылу противника Алексея Павловича награждают орденом «Красная Звезда» и медалью «Партизану Отечественной войны I степени», а за активное участие в боях против фашистов в Испании — орденом «Красное Знамя».

Это была обычная характеристика, к которой в начало приляпали даты жизни. Это было очевидно. Здесь ни звука о том, что он работал консулом Мексики в американском штате Кливленд (откуда и возник роман «Тайна музея восковых фигур»). Ни слова о спасении нашего флота, который он сумел заснять и показать переделку наших кораблей на американский лад. Ко мне подошел Мишка П.: «Ну вот видишь, порядочность и разведка совместимы. А я не знал, что Алексей Коробицин твой дядя. Никогда никому не рассказывал. Молодец!»

Прошло года два. Если честно, я жил с каким-то странным ощущением, что дядя Алеша жив, просто уехал на-

долго, как часто уезжал. Разговоры о нем были не частые. Один — неожиданный. Сестра моей мамы была замужем за контр-адмиралом, который, с одной стороны, был немножко антисемитом (не верил, что евреи умеют воевать, поэтому с дядей Алешей и отцом о войне разговаривал в ироническом тоне), с другой, по долгу службы был связан с военной разведкой. Помню их неожиданный приход к нам в гости уже после смерти дяди Алеши. Настоял на приходе дядя Витя (Виктор Александрович Петров), стройный, похожий на молодого Утесова, бравый военный в морской форме. Настоящий морской капитан. Мы сели за стол и вдруг он предложил выпить за героическую жизнь дяди Алеши, повинившись, что не подозревал, что бывают такие смелые люди, хотя сам был тоже не робкий мужик. Во время войны им выстрелили из торпедного аппарата, так спасся он и еще трое. А тут он рассказал, что его и еще нескольких начальников из того же ведомства водили в контору, где вывешены фотографии выдающихся советских разведчиков. «И знаешь, Карл, — сказал он, — фотография Алеши была второй или третьей в ряду. Я горжусь, что я его знал».

Такова была одна из посмертных встреч.

Но затем произошло нечто необычное. В декабре 2012 года я был на международной конференции по Достоевскому, которую регулярно проводит Игорь Волгин. Там я случайно в номере Волгина на небольшой выпивке разговорился с замечательной во всех смыслах писательской парой — Еленой Черниковой и Ефимом Бершиным. Поскольку все свои книги я раздарил, у меня для подарка оставался только Мемуар о моем отце, где поминался и Наум Коржавин, и Алексей Коробицин... Я рассказал также, что почти сорок лет прожил неподалеку от пруда, где Нечаев утопил студента Иванова.

Спустя какое-то время вдруг получаю мейл, да не один, привожу их по порядку:

Читаю журнал с огромной радостью и с изрядным ужасом убеждаюсь в миллионный раз, что в определенном возрасте и

определенным людям с л у ч а й н о даже за столом посидеть невозможно. Пересечения, слова, топонимы, мысли, даже мелькнувший Иванов (жертва Нечаева), — все так вовремя, будто мне лично писали Вы эту работу.

...А Людмила Коробицина (Иерусалим) не знакома Вам?

Елена Черникова

Я ответил:

«23.12.2012, 17:48,

Дорогие Лена и Ефим,

это и вправду просто чудеса. Кто она и что она? Вы давно ее знаете?

А что с ее мужем Левой? Ее не знаю, а его помню. Очень давно это было. Женат он был тогда на девушке из медицинского. Как-то глухо прозвучало в ее тексте что-то об органах в связи с ним...

И ответ Лены:

Были мы в октябре в Израиле. Ефима пригласили читать стихи в Иерусалиме вместе с Игорем Иртеньевым, Аллой Боссарт, Галиной Климовой, Сергеем Надеевым и Александром Грицманом (США). Он прочитал, а после выступления на него накинулся народ. И даже на меня (типа «легко ли быть женой гения»). Я как-то вывернулась, а его затискали. Потом ко мне подошла женщина (это была Людмила) и попросила разрешения выразить Ефиму свой восторг. Он ей надписал свой сборник стихов. Она дала нам свой иерусалимский телефон и пригласила звонить ей наутро, чтобы как-нибудь еще пообщаться. Наутро не сложилось звонить-общаться, но адреса были даны, а позже она прислала нам в Москву свою книгу (оказалось, превосходные очерки *русской* деревенской жизни). Я ей обещала переслать книгу Ефима «Маски духа» (роман), но еще не выслала. Она, музыкант по основному образованию, сейчас пишет песни на его стихи. Прислала черновые наброски.

Сегодня утром она прислала Ефиму поздравления с праздниками — строго в тот момент, когда я получила от Вас вопрос, не Львовна ли она.

Совместив одно с другим, я поняла, что вот они чудеса и есть. Ее адрес у Вас там в моем письме.

Елена Черникова

И, наконец, третье письмо, которое я осмеливаюсь процитировать:

Владимир, сегодня утром мы с Ефимом (Бершиным, моим мужем) написали Людмиле, а она в ответ прислала ссылку (см. ниже), из которой следует, что именно по линии Александра Коробицина она и является Коробициной. Такие чудеса.

Здесь у Лены опечатка. Надо — Алексея.

Далее была ссылка на livejournal Людмилы.

И вот как развернулась судьба семьи великого разведчика:

25 Ноябрь 2011 @ 20:56

ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕННОЙ КНИГИ.

Разрозненные, не связанные отрывки не очень твердого на голову человека:

Алексей Павлович Коробицин прожил замечательную, поистине героическую жизнь, полную борьбы, захватывающих приключений и самоотверженного служения воинскому долгу. Многие годы он посвятил отважному делу советского разведчика. Видимо, и сейчас не пришло еще время до конца рассказать об Алексее Павловиче Коробицине.

Солдаты невидимого фронта долгие и долгие годы остаются неизвестными, но не пропавшими без вести героями.

Сейчас на ленинградской верфи строится большой океанский корабль, который будет носить имя Алексея Коробицина. Скоро корабль спустят на воду, и теплоход «АЛЕКСЕЙ КОРОБИЦИН» уйдет в свой первый рейс. Он станет бороздить морские просторы. А на флагштоке океанского судна будет гордо реять красный советский флаг, под которым боролся Алексей Павлович Коробицин. Для него этот огненный стяг был дороже всего на свете. «Юр. Корольков 1968 г. (предисловие к книге А. Коробицина «ТАЙНА МУЗЕЯ ВОСКОВЫХ ФИГУР»).

Надо сказать, что, насколько мне известно, такой корабль так в море и не вышел.

Алексей Павлович остался «пропавшим без вести героем»... А зачем ворошить память? Сын А.П. Коробицина уехал в Израиль, друг — Наум Коржавин (Эмка Мандель) — в Америку... (в книге Коробицина его стихи помещены, по дружбе...) Да к тому же Коробицин, в прошлом АЛЕКС ОСКАР КАНТОР из Буйнес Айреса, с отчеством МОИСЕЕВИЧ, которого родители-коммунисты привезли в Советский Союз, был уже никому не нужен. В январе 1975 года я воссоединяюсь со своим мужем Лёвушкой Коробициным, которого органы, по просьбе матери, 2-го профессора кафедры психиатрии в Москве, Виолетты Николаевны Фавориной, упростили «подписать документ о сотрудничестве...» и отправили в Израиль на 9-ть месяцев раньше меня, которую срочно положили в больницу лечить туберкулез, объяснив, что ситуация с моим здоровьем катастрофическая... Охранял меня в больнице от этой болезни и «дружил» со мной плюгавенький коммунист из Перу, которого навещала Ибарурис. Отправив Лёвушку, органы забыли нас развести, так спешили. Оставаясь официальной женой, я имела право на выезд за мужем, для воссоединения... Вот только меня «забыли» ввести в курс дела, связанного с заданием Родины моему мужу, а также взяли с меня положенные деньги за вынужденный насильственный отказ от гражданства. Два билета на самолет в Тель-Авив (через Вену), мне и дочери, оплатило Голландское посольство...

Таковы последние известия об Алексее Павловиче Коробицине, дошедшие до меня. Но, кажется, люди, долго ходившие по той стороне луны, продолжают жить немного иначе, чем все люди, уходящие на тот свет. Их след незаметен, как лунная дорожка. Только чудится, что она есть; но есть ли она на самом деле?

Именно такую лунную дорожку я и хотел показать читателю.

30. Необходимость «планки», или Преодоление современности (слово об отце)

Писать о жизни отца сыну трудно. Человек нечто делает, это понимают и оценивают современники (редко), чаще потомки. Сын может рассказать то, что не видели и не знали другие. Такова моя задача: рассказать, каким я его видел всю свою жизнь, каким он мне представлялся. Разумеется, говоря о философе, важно, даже необходимо определить его интеллектуальные интересы, по возможности показать, как они выросли из его поведения, отношения к людям, к трудностям и удачам, — из судьбы человека, которая и определяет философское высказывание.

Прошу у читателя прощения, но начну с *детского*. Каждое утро, лет с трех и до школы, отец водил меня в детский сад (у мамы работа начиналась очень рано, когда садики все были закрыты). Дорога шла через парк и занимала минут пятнадцать. И вот всю эту дорогу отец читал мне стихи. Постоянно звучали Пушкин и Маяковский. Он помнил их поэмами, «Онегина» знал наизусть всего. Мне эти поэты казались почти друзьями. И только в школе я узнал, что они жили в разные века. Но отец думал и дышал поэзией, сам писал стихи, считал долго себя поэтом, пока не стал философом, ощутив в себе другое призвание. Хотя музыка небесных сфер, на мой взгляд, и в поэзии, и в философии звучит похоже. Но недаром все же его последняя книга была о Маяковском («Тринадцатый апостол»), поэте, со стихами которого он жил начиная с 14 лет, строками которого часто думал. Пушкин тоже был не случаен. По семейному преданию, начиная с тридцатых годов мой дед совершенно

не мог читать современной литературы, купил шеститомник Пушкина, только его и читал. Когда в середине шестидесятых В.И. Толстых предложил отцу написать статью в сборник о моде, он это сделал, назвав ее «Мода как стиль жизни», неожиданно дав анализ проблемы на примере текста пушкинского «Онегина». Как недавно написал Толстых: «Статья Карла Кантора, на мой взгляд, мудрая и здравая, стала украшением книги <...> “Мода: за и против”»¹.

Необычность отца для меня, для соседей, для друзей определялась не только стихами и философией (бытом он жить не умел, хотя и разбирался в моде и более 15 лет вел журнал «Декоративное искусство СССР»), но и тем, что он был, в сущности, выходцем из другого мира. Красивый, черноволосый, он родился в Аргентине, в Буэнос-Айресе, полное его имя было Карлос Оскар Сальвадор, и в Советскую Россию был привезен в возрасте четырех лет. Там оставалась его родная сестра, аргентинская поэтесса Лиля Герреро, писавшая стихи и пьесы, переведшая на испанский Пушкина, четыре тома стихов Маяковского, да и других советских поэтов и прозаиков, ей посвящена книга отца о Маяковском. Время от времени (уже в хрущевские времена) она приезжала в СССР, в Москву, всегда жила у нас, во дворе соседи смотрели на нее (на живую иностранку с Запада!) из всех окон. Она привозила странную мелкую пластику, которую расставляла по полкам, необычный русский язык, интерес окружающих и визиты молодых поэтов (запомнил Вознесенского и Евтушенко), мечтавших о переводе их стихов на испанский. Мечтали об этом и молодые философы, ходившие к отцу в гости. Скажем, Александр Зиновьев принес ей свою рукопись о «Капитале» Маркса. Сестра водила отца к разным известным поэтам, я запомнил только рассказ о Пастернаке, с удивлением говорившем: «Все же *там* (т. е. за пределами его дачи в Переделкино)

¹ Сейчас так не пишут. Сборник статей / под ред. В.И. Толстых. М.: РОССПЭН, 2010. С. 150.

еще рифмуют». Потом тетка вышла из аргентинской компартии, заявив, что ее руководство лакействует перед советскими коммунистами, и больше поэтессу Лилу Герреро в СССР не пускали.

Конечно, он нравился женщинам. Хотя слухи о его романах, которые до меня доходили, насколько я знаю, весьма преувеличены (уже много позже отец был достаточно откровенен со мной). Еще в школе он влюбился в мою мать, она ждала его с войны, и на всю жизнь осталась его спутницей. И поэтому два слова о маме, без которой жизнь и работа отца, мне кажется, не очень понятны. Мало того, что она, молодой генетик, попала «под колеса» страшной сессии ВАСХНИЛ в 1948 году, в следующем году начальство выяснило, что она замужем за евреем. Шла страшная антисемитская кампания по борьбе с «безродными космополитами». Ее вызвали в дирекцию, произнесли прочувствованные слова, что она еще молодая и красивая русская женщина вполне может найти себе другого мужа или хотя бы развестись и вернуть себе девичью русскую фамилию. Мама вспыхнула: «Как вы смеете!» Но они смели! И маму перевели из научных сотрудников в чернорабочие. Отец много взял от своей жены, не только русское терпение и стойкость в бедах, но даже в идейном плане. Могу сказать, что мама была замечательным генетиком, создавшим новые виды растений, садоводом многое скажет выведенная ею *земклуника*, гибрид клубники и лесной земляники, и *сморжовник*, гибрид смородины и крыжовника. Помню портрет американского селекционера Лютера Бербанка (отца культурного картофеля) на стене ее комнаты, когда правоверные биологи вешали портреты Мичурина и Лысенко. Ее дважды изгоняли с работы, несколько лет она работала и чернорабочей, и лаборанткой. Отец признавался не раз, что на идею гена истории его натолкнули мамыны работы. Само название его главной книги — «Двойная спираль истории» — говорит о ее генетическом происхождении. Из последних работ: кроме книги о Маяковском

он написал нечто, по форме напоминающее «Vita Nuova» Данте, под названием «Таниада», стихи, перемежающиеся прозой, — рассказ о маме и их любви.

Вообще-то сегодня это может показаться странным, но отец мерил себя, свою любовь, жизнь своей семьи, будущих детей соотношением с судьбой страны. Из Челябинска, где находилась часть АДД (авиация дальнего действия), в которой он служил, он писал маме:

Война эта —
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
всё и везде.
Я льюсь
по отрогам Урала.
И если моя — Миасс,
твоя судьба — Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Что б ни были мы
и где б,
Но только бы
Землю России
реки наших судеб,
иссохшую, оросили.

Это была для него точка отсчета. Этим он жил. Сохранились поразительные письма его курсантов, воевавших на передовой. Позволю себе привести отрывок из одного письма: «Здравствуйте многоуважаемый наш учитель, вернее наш “отец” тов. Кантор К.М. Конечно, извините нас, что так Вам долго не писали письма. В виду того что жизнь наша была на колесах до этих пор. <...> При благоприятной погоде мы воюем, т. е. выполняем боевые задания. Спасибо вам тов. Кантор за ваши труды, прило-

женные в нас. <...> Сообщаем вам тов. Кантор: Журавлев и Пилипенко погибли смертью храбрых русских воинов. <...> Ваши дети Стариков П.М., Самородников».

Он жил, веря в то, чем жил. Вступая во время войны в партию, верил, что так он принимает на себя всю полноту ответственности в страшное время, сохраняет свою честь. Он, рожденный в Аргентине, никогда не был внутренним эмигрантом (хотя среди его друзей было много диссидентов), никогда не стремился эмигрировать. Он думал, что верность себе можно и нужно сохранить при любых обстоятельствах. Ненавидя всяческие проявления тоталитарного мышления, он хотел сохранить идею коммунизма, которая с юности виделась ему спасением человечества. При этом сумел воспитать детей, полностью не принимавших существующий режим.

Тут я должен рассказать один сюжет: будучи марксистом и ленинцем, отец не принимал категорически Сталина. Поэтому чуть не был посажен в 1949 году по доносу тогдашнего его друга Ивана Суханова, написавшего, что «Карл Кантор говорит против Сталина, что, мол, при Ленине такого антисемитизма быть не могло». Донос был отправлен в парторганизацию МГУ и в органы. Возникло то, что называется, *дело*. О доносе знали все; сокурсники и преподаватели перестали с ним здороваться, переходили на другую сторону тротуара. Из философов у нас дома с того момента появлялись только два человека (назову их по именам, как называли родители) — Ваня Иванов и Саша Зиновьев. Как я теперь понимаю, Ваня Иванов (позже я с ним не встречался) был просто нормальный русский человек, не понимавший, что другая национальность — это грех, и державший себя без колебаний. Поэт Наум Коржавин, живший у нас дома в начале 1950-х годов после Караганды, когда познакомился с этим человеком, как-то сказал отцу: «Вот такого же Ваню Иванова убил Нечаев». Саша Зиновьев, как вечный оппозиционер и ерник, произнес фразу, давно растиражированную его поклонниками.

Он сказал: «Карл, а ты что еврей?» На растерянное «да», ответил: «В другой раз будешь умнее!» Какой другой раз?.. Алогизм шутки не помешал дружбе. Из нефилософов, двое друзей отцовской юности, писатель Николай Евдокимов и кинорежиссер Григорий Чухрай (тогда почти неизвестные, лишь один был у них чин — фронтовики), отослали в партбюро философского факультета по письму в поддержку отца, что они ручаются за него своей честью (немодное в то время слово). Но все же такие люди были!

Собрали общеуниверситетское партсобрание. Коллеги были беспощадны: «Волчий билет!», «Расстрелять Иуду!», «Пусть похлебают лагерную баланду!» Спас отца (о чем он всегда вспоминал с постоянной благодарностью) секретарь парткома Михаил Алексеевич Прокофьев, химик-органик, не философ. Подчеркиваю это. Думаю, что к крикам философской толпы отнесся с презрением. Потом он стал министром просвещения СССР. В начале 1980-х годов отец увидел его по телевизору и сказал: «Как он напоминает человека, который меня, в сущности, спас». Но был так далек от партийного функционерства, что даже не уследил карьерного роста своего спасителя. А дело было так. Наслушавшись инвектив со стороны философов, Прокофьев попросил слова и начал свою речь со слов, сразу изменивших тональность происходившего: «Что случилось с нашим ТОВАРИЩЕМ (товарищем! а не гражданином, не врагом!), коммунистом Карлом Кантором? Как мы могли допустить такую беду с человеком, летчиком Авиации дальнего действия, вступившим в партию во время войны, отличником, заводилой, открывшим нам поэзию Маяковского! Это наша вина, товарищи! Наша недоработка! Поэтому предлагаю самое строгое наказание, которое может постигнуть коммуниста. Предлагаю объявить коммунисту Кантору строгий выговор с занесением в личное дело». Это было по тем временам суровое решение, почти волчий билет, но не сравнимое по своей мягкости с «лагерной баландой» и т. п. После собрания отца «профилакти-

чески», как потом мне объяснили понимающие люди, продержали несколько дней на Лубянке.

Его не посадили и не выгнали, но, несмотря на красный диплом, в аспирантуру отец не попал, в 1952 году ему дали «свободное распределение», и он с трудом устроился вести семинарские занятия по истории партии в Рыбном институте. В 1953—1957 годах преподавал истмат в Гидромелиоративном институте. С 1957 года — заместитель главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», в сущности, это была должность «умного еврея». Взял его на эту работу главный редактор журнала и главный художник Москвы Михаил Филиппович Ладур, который, приглашая отца на работу, сказал: «Как цыган чует лошадь, так я чувствую людей». В 1964 году его вытасил на защиту кандидатской в Плехановку А.И. Ракилов, где отец и защитился по теме «Теоретические проблемы технической эстетики». По сути, он стал одним из тех, кто пытался возродить отечественную традицию промышленного искусства, введя термин технической эстетики, понятия дизайна и маркетинга, которые тогда казались пришедшими совсем из другого мира. В эту сторону ему удалось повернуть и «Декоративное искусство». Отец проработал в журнале более пятнадцати лет и был снят с должности (уже главного редактора) М.А. Сусловым за публикацию статьи И. Эренбурга о Марке Шагале (очень советский сюжет). Рассказывали, что Суслов вызвал зав. отделом искусства ЦК КПСС и бросил на стол журнал со статьей, спросив: «Кто ему позволил?» На что получил ответ: «Уже уволен». И отца уволили «задним числом».

Куда бы я ни приходил, все знали меня как сына Карла Кантора. Наум Коржавин (для друзей Эмка, Эмка Мандель) включил меня в надпись на своей первой книге «Годы» (1963): «Тане, Карлу, Иде Исааковне и Вове без лишних слов с обычным дружеским чувством. Эмма. 5.IX.63 г.». Это был некий знак приобщенности к кругу интеллектуалов. Надо сказать, что и в редакцию журнала «Вопросы философии» я попал благодаря протекции

Мераба Мамардашвили, с которым отец не то чтобы дружил, но находился во взаимноуважительных отношениях. Я ходил на лекции Мераба, после лекций он приглашал меня и нескольких знакомых в «Националь» на чашку кофе. И там за чашкой кофе он из случайного разговора выяснил, что я уже несколько месяцев без работы. И Мераб отправил меня в журнал, сказав: «У нас как раз свободное место. А сына Карла Фролов должен взять». Так оно и вышло. Причем Фролов проявил немалое мужество, поскольку в этот момент в одной из центральных газет была статья секретаря по идеологии МГК КПСС В. Ягодкина против отца.

Быть сыном было хорошо, очень долго я почти без колебаний и критики воспринимал все слова отца. Годам к тридцати начались попытки самостоятельного мышления. Я даже написал повесть «Я другой». В те годы мне иногда говорили: «Ты выступаешь против идей отца». Самое поразительное, что он это понимал, но еще более поразительно, что, читая мои тексты, давал советы как бы изнутри этих текстов, показывая, как можно лучше развернуть ту или иную аргументацию. Ему очень нравилась самостоятельность, не было никакой обиды. Это сохранило нашу дружбу.

Отца любили друзья и родственники. Алексей Коробицин, знаменитый разведчик, писатель, его сводный брат, надписал свою первую книгу «Жизнь в рассрочку»: «Брату Карлу, самому младшему и самому умному». Таких надписей было немало. Скажем, Владимир Тасалов надписал свою книгу «Прометей или Орфей» так: «Карлу! Дарю книгу с восторгом, напоминающим восторг человека, радостно сдающегося в плен!» Кстати, восторг был взаимным. Восторг отца по отношению к талантливым людям и их произведениям, делам был основой его отношения к миру. Как-то он дал мне книгу Эриха Соловьева о немецком экзистенциализме и сказал, что если я хочу что-то понимать в философии, то должен прочитать эту книгу. Все имена думающих советских философов я узнавал по рассказам, где личное знакомство

и приятельство играло немалую роль, многие бывали у нас дома. Помню, как у нас дома Наум Коржавин читал стихи. Причем такого тогда не слышал никто. 10 марта 1953 года он читал свой стих «На смерть Сталина».

Его хоронят громко и поспешно
Соратники, на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться, все забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...

Надо представить время, эти безумные похороны, ставшие новой Ходынккой, рыдания многих миллионов, чтобы понять ошеломление от этих слов, тревогу мамы и неожиданную радость в глазах отца. И испуг философов из Института, но уже никто не донес. Время поменялось.

Много позже, читая мемуары Надежды Мандельштам и Анны Ахматовой, я вспоминал эти строки об отсутствии друзей у Сталина, и на этом фоне высказанное по телефону желание Пастернака поговорить с вождем «о жизни и смерти», т. е. подружиться, выглядело обычным подхалимажем. Особенно, если учесть, что в этот момент он должен был защитить Мандельштама, от чего увильнул. Более того, после ареста Мандельштама воспел Сталина:

А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

На теме Пастернака я немного задержусь.

Когда сообщили в газетах, что скончался «член Литфонда Борис Пастернак», отец отреагировал стихами. Хотя Пастернака и не очень уже принимал:

Какие-то прохожие, проезжие,
Пыль, чад и суета сует.
И называют все это поэзией
Достойной наших трагедийных лет.

Какие-то бездарные поделки —
Им красная цена в базарный день пятак...
А под Москвою, в Переделкино,
Затравлен насмерть Пастернак.

Его хоронят, где-то рядом станция...
Нет, нет, сюда никто не опоздал.
Идут как прежде мимо поезда,
У гроба не свои, а иностранцы.

Это было написано в период гонений, когда нынешние почитатели старались делать вид, что такого поэта нет. И все-таки была у отца абсолютная независимость мысли. Когда в постсоветское время *из Пастернака сделали кумира*, а вчера поносившие стали произносить славословия, превращая его в главного и независимого русского поэта советской эпохи, отец в своей книге о Маяковском написал о сервиллизме Бориса Леонидовича, о его приспособленчестве и внутренней согнутости перед властью².

Благодаря занятию дизайном, промышленным искусством, отец вышел на проблему проектирования, которую он хотел прочитать (и написать) как философскую идею. Даже проговаривал много раз, что придумал некую философическую клеточку мироздания, вроде платоновской идеи или монады Лейбница, которую он назвал ПРОЕКТОН. Но так и не написал в той полноте, какую идея заслуживала. У него на столе долго лежала выписка из «Фрагментов» Фридриха Шлегеля: «Проект — это субъективный зародыш становящегося объекта. Совершенный проект должен быть одновременно и всецело субъектив-

²См. Кантор К. Тринадцатый апостол. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 157.

ным и всецело объективным — единым неделимым и живым индивидом»³.

В каком-то смысле его дети были его проектом. Я приведу стихотворение, которое отец написал к моему дню рождения в 1980 году. Мне исполнилось тогда 35 лет, я работал в «Вопросах философии», был женат, у меня уже был большой сын, я написал две повести, «Два дома» и «Я другой», и десяток рассказов. Прозу мою не печатали, читали ее два-три человека; один из них, Владимир Федорович Кормер, замечательный писатель, которого тоже не печатали, говорил мне: «Это нормально. Было бы хуже, если б печатали». Можно было провести жизнь за вечерними застольями, махнув на себя рукой, как многие тогда делали. Я помню, как морщился отец, видя, как я трачу время. И в итоге я усвоил его позицию. Это была стоическая неприязнь к внешнему успеху, которую он мне привил раз и навсегда. Хотя сам любил, чтобы его слушали и восхищались. Человек противоречив. Но меня он спас, объяснив нечто важное — к тому же в стихах. Должен еще сказать, иначе не очень понятна будет первая строка стихотворения. Я назван Владимиром в честь Маяковского. А теперь отцовские строчки:

В Начале все же было Слово,
И это Слово было — «Вова!»

Потом.... Слабеет память тела
Быстрее памяти души...
Потом, наверно, было «дело»...
Но ты об этом не пиши.

.....
В Начале, точно, было Слово.
В Начале, После и Всегда.
Теперь опять, как и тогда,
Его я повторяю снова:

³ Шлегель Ф. Фрагменты // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 290.

«Будь Словом, Вова! Плоть — трава,
Оставь слова, слова, слова».

28 марта 1980 года

С тех пор я написал немало слов — повестей, романов и рассказов, много научных статей и монографий. Какие-то были замечены, большинство нет. Но было еще самое важное, чему меня тогда сумел научить отец, что я хотел бы выделить как доминанту его духовной позиции: несмотря на внешний успех или неуспех — *отец требовал от себя и своих детей, как говорят спортсмены, «держат планку»*. Ориентироваться на высокое — наплевать, поймут сейчас или вообще не поймут, или прочтут тебя когда-либо много позже. Но необходимо говорить только то, что чувствуешь и думаешь.

Он и свои тексты писал, годами не печатая. Известная теперь «Двойная спираль истории» до 2002 года лежала в разбросанных рукописях почти 20 лет. И еще он советовал: «Когда пишешь даже о самом великом мыслителе и писателе, не бойся посмотреть на него критически — иначе никогда не скажешь своего, утонешь в чужих идеях». И вместе с тем у каждого должен быть свой проводник в мир идей — скажем, у Мераба Мамардашвили это были Декарт и Кант, у отца — Маркс и Маяковский, для меня остаются значимыми два мыслителя — Достоевский и Соловьев. Кумиров у отца не было. Были учителя и духовные водители. Это давало ему точку опоры, духовной, не внешней.

Последние годы отец вернулся к проблеме философии истории, которая, по сути, всегда стояла в центре его интересов, пробиваясь в его работах по эстетике и дизайну. Он ввел понятие «парадигмы всемирной истории» как парадигмы истории культуры в ее движении к свободе индивида, уточняя его другим понятием — «паттерн», т. е. проект конкретных культурно-исторических типов. Есть паттерны истории западноевропейской, российской и др. С его точки зрения, нет общества — ни русского, ни западноевро-

пейского, ни китайского, — в котором бы укоренялся лишь один тип паттерна. Тип культуры связан с определенным народом и формируется в процессе жизнедеятельности определенного общества, этноса, народа. Но он обладает способностью перемещаться в другие общества, входить в них наряду с другими паттернами, которые в нем укоренены. Отец выделял три фундаментальных типа паттернальной культуры: персоноцентрический, социоцентрический и смешанный. В российской культуре, на его взгляд, доминирует смешанный — персоно-социоцентрический. Если парадигмальность в культуре может быть понята как ее изменчивость, способность к развитию, выходу за однажды достигнутые пределы, то паттернальность культуры есть выражение ее наследственности. Развитие всемирной истории, в отличие от движения доистории, не может быть реализовано без парадигмальных проектов (как пример — иудео-христианская религия).

Внешне, бытово, он был часто зависим от тех, кто в данный момент мог о нем заботиться. Он мог капризничать. Но в трудные и плохие минуты удивительно стоически принимал судьбу. Так получилось, что в ночь на 9 февраля 2008 года в больнице из его близких был я один. Он, видимо, понял раньше меня, что умирает. И дальше была поразительная твердость. Вспомнил маму, просил поцеловать внучку и внуков, сказать им, что они талантливы и он рад, что успел это увидеть, посожалел, что редко видел правнука, говорил о женщине, которую любил последний год. Я пытался сказать, что мы еще попируем по выходе «Тринадцатого апостола». Он закрыл глаза, произнес спокойно: «Уже без меня. Главное, чтобы том вышел».

Написано им много. Насколько помню, он писал всегда. Опубликовано гораздо меньше. О печатании его текстов чаще всего и говорить не приходилось. Сначала его тексты называли «евромарксистскими», а потому печатали с трудом. Как говорил тогда Володя Кормер: «Если бы Карл Моисеевич жил во Франции, мы бы сейчас изучали

его, а не Гароди». А потом его не очень печатали за то, что он остался марксистом, когда марксизм перестал быть общеобязательным мировоззрением. Он продолжал думать и писать, что хотел. И говорил о том, чтобы оставить слова, а не утвердиться посредством слов. Высшая оценка все равно приходит после смерти, дается на Божьем суде, достигая нашей Земли отголоском. Сейчас этот отголосок начинает звучать по поводу его собственного творчества.

Последние папины стихи, неожиданные для меня (он был таким русофилом), совершенно библейские по интонации, были написаны примерно за месяц до смерти. Написав, он прочитал мне вслух, потом оставил стих среди своих бумаг на столе. Слава Богу, что тогда же я переписал их в свой блокнот.

Скончался век, исчерпан срок,
Пройдет и время.
И вечность явится, как Бог,
С лицом еврея.

Это был экспромт.

Россия в европейском контексте (вместо заключения)

Мыслима ли Европа без России?

Начнем рассуждение от противного. Вообразим, что Россия провалилась в тартарары и Западная Европа перестала ее опасаться. Но что такое «тартарары»? Не случилось ли уже однажды такое — в начале прошлого века, когда, по выражению русского философа Федора Степуна, Россия рухнула в «преисподнюю небытия»? Так всем показалось, да так отчасти и было. Во всяком случае три миллиона наиболее развитых, культурных и энергичных русских людей волей или неволей (были, скажем, высланы на «философском пароходе») покинули в эти годы свою страну и обосновались на Западе, создав там мощную русскую диаспору. Мало того, что они оказались великими комментаторами «русских событий», их русский опыт помог им разобраться и в катаклизме, надвигавшемся на Западную Европу. И, пожалуй, первое, что они попытались донести до западноевропейцев, что Россия — это часть Европы и что ее падение в бездну потянет за собой и другие страны. Так, Мережковский писал: «Мировая война слишком глубоко вдвинула Россию в Европу, чтобы можно было их разделить. Должно учесть, как следует, безмерность того, что сейчас происходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае безумно на-

деяться, что зазиявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездна эта не втянет в себя и другие народы. Мы — первые, но не последние. <...> Наша русская беда — только часть беды всемирной»¹.

Для русских мыслителей, «русских европейцев», высланных или вынужденно эмигрировавших в первые годы большевизма, были ясны два обстоятельства: 1. *Винить в происшедшем можно только себя* (Степун в первые же годы эмиграции писал: «Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как не в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах»²); 2. *И понимать нашу сопричастность общевропейскому катаклизму*. После прихода Гитлера к власти, когда катастрофа настигла и Германию, русский мыслитель-эмигрант Георгий Федотов резюмировал: «Еще обвал — и большая, живая страна, выносившая на своих плечах около половины культуры Запада, провалилась если не в небытие, то за пределы нашего исторического времени. В другой век. В другую историю — древнюю, среднюю или ультра-современную? Во всяком случае в тот век, где меряют достоинство человека чистотою крови, где метят евреев желтым крестом... где жгут ведьм и еретиков. <...> Вот уже третье предостережение. Первой провалилась Россия. За ней Италия. Теперь Германия. Провалилась уже половина Европы. Половина ли только? Большая часть Европы уже под водами, а мы, уцелевшие, на крайнем Западе, смотрим на волнующуюся бездну, подступающую к нам, готовую слизнуть остатки материка»³. А стало быть,

¹ Мережковский Д.С. Царство Антихриста // Мережковский Д.С. Царство Антихриста. СПб.: РХГУ, 2001. С. 22.

² Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Степун Ф. Сочинения / вступ. ст., подг. текста, примеч. и библиография В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 242.

³ Федотов Г. Демократия спит // Новый Град. 1933. № 7. С. 25.

специфику наших грехов и бед надо искать в контексте общеевропейской судьбы. Впрочем, еще Фридрих Шлегель как-то заметил, что «французскую революцию можно рассматривать <...> как почти универсальное землетрясение <...> как революцию по преимуществу. <...> Но можно рассматривать ее и как средоточие и вершину французского национального характера, где сконцентрированы все его парадоксы». В этом двуедином подходе и заключен подлинно «исторический взгляд»⁴.

Такой двойной подход (самоанализ национальной специфики и понимание общеевропейского контекста), примененный к анализу своей истории людьми, испытавшими все возможные превратности и удары судьбы, сообщает невероятную силу их текстам, побуждающую нас к дальнейшим размышлениям. Великий Данте сказал в «Божественной комедии», написанной (за исключением первых семи песен «Ада») в изгнании:

...тот страдает высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастьи...

Данте. Ад. V, 121–123

А «высшие муки» рождают и высшие прозрения. Об этих же русских эмигрантах-мыслителях напомним слова М. Цветаевой:

Поколение, где краше
Был — кто жарче страдал.

«Поколению с сиренью...», 1935

Особенно ясным это становится, если вспомнить катаклизмы XX столетия, потрясшие и западную Европу, и Россию. Казалось, что более страшных антагонизмов между Востоком и Западом, чем в этом веке, человечество

⁴ Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 313.

не знало. Быть может, гораздо сильнее прочих пострадала Россия: внутренние катастрофы наложились на внешние чудовищно разрушительные войны и т. п.

Виновата ли в этом разгулявшаяся российская стихия или правильнее искать причину потрясений в европейских идеях, которые, как не раз писалось, в любом обличье (в данном случае марксизм) губительны для российского национального организма. Короче, что немцу здорово, то русскому смерть. Напротив, западные советологи утверждали, что именно Россия породила принцип тоталитаризма, который чуть не сгубил Европу. Короче, и наши самобытники, и наши враги с Запада категорически отделяли Россию от Европы, как взаимно аннигилирующие силы.

Впрочем, такая умственная ситуация имеет давнюю историю. Напомню, что с самого начала XIX века, когда Россия обрела культурно-философское и художественное самосознание, ее мыслители столкнулись с западноевропейской идеей о внеевропейском пути России и усвоили ее. Именно эту идею особого пути, на котором мы обгоним Европу, станем, по словам Чаадаева, ее «совестным судом», подхватило большинство российских мыслителей самых разных пристрастий и направлений: и ненавидевшие Запад, и обожавшие его, тосковавшие, что Россия никогда не сможет усвоить себе европейские идеалы и принципы, — от западников до славянофилов (Чаадаев, Самарин, Герцен, Данилевский и др.). Причем они не очень-то скрывали, что позаимствовали эту идею у Запада. К примеру, Герцен считал, что «сам Запад» указал на сходство «нашего народного быта» (общины), «нашего клада» с «великой идеей» будущего человечества — социализмом. То есть «сам Запад» указал, чем мы должны заниматься, «сам Запад» заинтересовался нашей самобытностью, «сам Запад» сказал, что у нас есть какой-то клад. Но неплохо было бы и самим себя постараться понять.

Русские европейцы — кто они, их начало и каковы их роль и задача

Трезвый голос русских европейцев от Чаадаева, Пушкина и Тургенева до Вл. Соловьева, Чехова и Бунина слышался не очень отчетливо. Эти художники чувствовали себя частью Европы, «были знанием Европы, а Европа не знала» (Наум Коржавин), не знала их, но любопытно и другое: их творчество (о чем сегодня забыто!) воспринималось поначалу общественным сознанием как *нерусское*. Пушкин жаловался:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет.

Дельвигу, 1821

Разве что в начале века полемика западничества и славянофильства была преодолена, и появилась плеяда мыслителей, сделавших идею русского европеизма определяющей. Хотя в реальной жизни их было много больше. Не только «лишние люди» — герои русской классики, но и серьезные практики, противопоставившие романтическому утопизму славянофилов и западников трезвый взгляд на потребности страны. Кроме скитальца и лишнего человека, писал Г.П. Федотов, «мы знаем и другой тип русского европейца — того, который не потерял связи с родиной, а иногда и веры отцов. Именно эти люди строили Империю, воевали и законодательствовали, насаждали просвещение. Это подлинные “птенцы гнезда Петрова”, хотя справедливость требует признать, что родились они на свет еще до Петра. Их генеалогия начинается с боярина Матвеева, Ордина-Нащокина — быть может, даже с Курбского. <...> В управлении и суде, во всех либеральных профессиях, в земстве и, конечно, прежде всего в Университете, европейцы выносили главным образом всю тяжесть мучительной в России культурной работы. Почти все они уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможного дела. Отсюда их непопу-

лярность в стране, живущей в течение поколений испарениями гражданской войны. Но в каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников — где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то *русский европеец ее строил*⁵ (курсив мой. — В. К.). Романтическому идеализму была противопоставлена идея возврата в реальную Европу: от преобразований Петра I до «теории малых дел», возникшей на рубеже веков. Из деятелей начала XX века назову имена Милокова, Бердяева, Федотова, Бунина, Степуна. Но не только мыслители. Стоит вдуматься в тот факт, что после 1917 года более трех миллионов наших соотечественников — в сущности, маленькая страна! — покинули Россию и обосновались в Европе, став не только теоретически, но и фактически русскими европейцами. Ибо отстаивали они принцип свободной христианской личности, принцип, который и есть то средоточие духовного родства сформированной христианством Западной Европы и прорывавшейся к духовной свободе России, потерпевшей крах на взлете.

Ибо начиналось движение России в Европу с принятия христианства, по сути своей европейской религии. Рожденное в Палестине, христианство прошло горнило Рима, а через Рим охватило всю Европу. Новгородско-Киевская Русь была законной частью Европы, форпостом против нашествия степных варваров. Отрезанная монголо-татарским нашествием от западной Европы, Россия из восточной Европы в течение нескольких столетий была невнятной для европейцев Московией. Многовековое владычество Степи повлияло на становление Русского государства, искривив траекторию

⁵ Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 179.

его развития и отделив от европейских соседей. Казалось бы, христианство — фактор, единящий нас с Европой, но наше православное христианство специфично. Степь оставила нам духовную связь только с Византией. Византия же откололась от динамично развивающегося западноевропейского мира. После гибели Византийской империи именно Московская Русь оказалась ее духопреемницей, приняв как завет и ее разрыв с Западом. Эту вражду культивировала и Орда, в принципе враждебная *городской* Европе. Конечно, Русь вышла из язычества, она не стала мусульманской, и в этом безусловная заслуга православия. Но все же его роль была двойственная, ибо, как заметил Пушкин в письме к Чаадаеву, православие, оставив нас христианами, отделило от остального европейско-христианского мира. Не случайна экуменическая попытка великого русского мыслителя Владимира Соловьева, стремившегося открыть православие навстречу миру, которая (и это стоит подчекнуть) возникла не на пустом месте.

Важным эпизодом культурно-политической коммуникации России и Западной Европы стоит назвать *Ферраро-Флорентийский собор 1439 года*. Я имею в виду «Хождение на Флорентийский собор», состоявшееся в 1437—1440 годах и записанное по свежим следам безымянным суздальским монахом. На этом Соборе византийским императором, патриархом и римским папой была подписана уния, собиравшая в единое целое христианскую Европу, дабы противостоять туркам-сельджукам, мусульманам. Однако московский митрополит Исидор, подписавший вместе с патриархом эту унию, по возвращении в Москву был низложен, уния расторгнута и выбран новый митрополит. Духовный контакт России с Европой был отныне затруднен на многие столетия, и в каком-то смысле все наше западничество есть побочный результат разрыва, отказа Руси войти в «концерт европейских народов».

Не вдаваясь в конфессиональные тонкости этого сложного вопроса, сыгравшие свою роль в расторжении унии, отметим исторические причины неприятия этого соглашения.

Во-первых, византийцы сами приучили русских не доверять *латинянам*. На эту причину указывали многие, например Василий Розанов. Известно, что в традиционных обществах привычки живут весьма долго. Во-вторых, на тот момент у Руси отсутствовала реальная потребность в союзе с далеким Римом. Византия боялась наступавших на нее турок, а Русь *уже* была захвачена татарами, отвыкла от Европы, не имея с ней контактов, во всяком случае видела в ней не союзника, а скорее конфессионального противника.

И тем не менее коммуникация русских людей с Европой на ее территории состоялась, закрепилась в литературе, а стало быть, и в сознании. Что же поразило русского путешественника прежде всего? Его именно *поразило*, поэтому почти в каждом абзаце он пишет о своем великом «удивлении» вещам, открывавшимся его взору. Он удивлен и восхищен богатством, разработанностью и насыщенностью религиозной жизни Западной Европы: множество церквей, монастырей, так, например, в городе Бамберге в праздник Петра и Павла «ходили по городу триста попов с крестами»⁶. Описание изобилия и разнообразия удивительных для него и восхищающих его чудес технического толка имеется в рассказе почти о каждом городе. Вот, к примеру, самое скупое описание: «И за этим городом находится город Нюрнберг, весьма большой и укрепленный. И людей в нем много, и товаров. И в нем из белого камня выстроены с большим мастерством удивительные здания, и каналы возведены к тому городу с огромным трудом и умением; а кроме того, вода подведена к фонтанам с большим искусством, нежели во всех ранее описанных городах; и рассказать об этом невозможно, и понять это нельзя»⁷. Страницы же, посвященные возвра-

⁶ Хождение на Флорентийский собор // Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века / вступ. ст. Д.С. Лихачева; сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М.: Художественная литература, 1981. С. 477.

⁷ Там же.

щению на родину, заняты сухим перечислением населенных пунктов, где описаны лишь переживания, связанные с опасением «больших разбоев» на лесных дорогах.

Однако самой решительной и удачной попыткой возвратного движения России к Западной Европе была деятельность Петра Великого на Балтийском (Варяжском) море, где он сознательно строит столицу и наполняет город античными статуями и скульптурами, ориентируя его не на второй, а на первый Рим и наделяя римскими чертами даже свой герб. Россия после долгой татарской и московской изоляции *возвращалась в Европу при Петре Великом как империя*. Именно как империю воспринимал Россию Запад и приветствовал европейскую инициативу «северного великана». Не забудем, что империя выступила в петровскую эпоху как гарант свободы разнообразия. «Всяк сущий в ней язык», — так Пушкин определил равноправие населявших русскую империю этносов. И петровская ориентация на римскую имперскость вовсе не означала внесение язычества в страну. Ведь в Римской империи формировались базовые ценности современной европейской цивилизации, включая и христианство.

Созданная Петром Великим русская империя была открыта всем народам («Все флаги будут в гости к нам», — писал Пушкин), но прежде всего открыта она была Европе, с которой Россия вновь, как во времена Новгородско-Киевской Руси, ощутила внутреннее единство. Построенный гением Петра столичный град Санкт-Петербург создал духовное напряжение в России, структурировал новую Россию, превратил страну в империю.

Новую столицу Петр строил, опираясь на идею Рима. Стоит напомнить очень верное и глубокое наблюдение российских исследователей о том, что семиотическая соотнесенность с идеей «Москва — третий Рим» неожиданно открывается в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. «В этом новом кон-

тексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но и в ее гербе <...> герб Петербурга содержит в себе трансформированные мотивы герба города Рима»⁸. Рим создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. «Мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве, — писал, рассуждая об идее империи в начале XX века, Бердяев, — вековая мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с Римом, как понятием духовным, а не географическим»⁹.

Отказ от ценностей Московского царства, заявление Петра, когда ему поднесли титул императора, что Россия не будет очередной Византией, павшей от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о сознательном историософском выборе Преобразователем новой ориентации в историческом и геополитическом пространстве: «Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; *надлежит стараться о пользе общей*, являемой Богом нам очевидно внутри и вне, *от чего народ получит облегчение*»¹⁰ (курсив мой. — В. К.). До националистического переворота Николая I все идейно-политические установки Петра сохраняли свою жизненную

⁸Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Успенский Б.А. Избранные труды: В 2 т. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 63–64.

⁹Бердяев Н.А. Конец Европы // Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. С. 117.

¹⁰Петр Великий в его изречениях. М.: Художественная литература, 1991. С. 88.

силу. Любопытно отметить, что, принимая титул императора, Петр не только указывал на свою европейскую ориентацию, но и демонстрировал отказ как от византийского, так и татарского наследия. Империя означала наднациональную парадигму, где европеизм играл роль сверхидеи, на которую ориентировались все народы государства. Завоевав Древнюю Грецию, Рим оказался наследником древнегреческой религии и культуры, на этой почве преодолев национальную узость и сделав шаг к мировому величию. Но и Европа XVIII века воспринимала себя прямым воспроизведением, восстановлением Древней Греции: «Европа в настоящее время представляет собой увеличенную копию того, образцом чего раньше в миниатюре была Греция»¹¹. Стало быть, и новый Рим — Россия — мог смело следовать примеру первого Рима, заимствуя культуру, технику и науку у Европы, не унижая, но возвеличивая себя, вбирая Европу в себя, как некогда Рим вобрал Элладу.

Похороны Петра Великого в Санкт-Петербурге стали религиозным и исторически знаковым событием. Рассматривая восприятие современниками Петра Великого как нового императора Константина Великого, вспомним об ориентации Петра на первый Рим, город *святого Петра, похороненного в вечном городе*. Но также и о том, что Москва приобрела статус хранительницы православия, когда в нее переехал при Иване Калите и был впоследствии *там похоронен русский митрополит Петр*. «Новая столица Российской империи, — пишет современная исследовательница, — была вписана в христианский контекст, традиция была соблюдена. <...> Три священные могилы трех Петров: св. апостола Петра — хранителя христианского Рима и всего “земного града” в соборе Св. Петра в Риме; св. Петра, митрополита Всея Руси — в Успенском соборе в Москве <...> связавшем Второй Рим и Третий. Наконец, могилы Петра Великого в Петропавловском соборе и первого христианско-

¹¹ Юм Д. О возникновении и развитии искусств и наук // Юм Д. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1966. С. 637.

го императора Константина <...> в храме Святых Апостолов Константинополя — создают для верующей Руси надежную опору соединения светской имперской, вселенской христианской и отечественной истории»¹².

После катастрофы Октябрьской революции близость Петербурга великому Риму становится для русских эмигрантов несомненной, и эта мысль звучит страстно, тоскливо, преувеличенно, но звучит. В 1926 году Георгий Федотов написал: «Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?»¹³

Но именно эта позиция — отстаивание базовых европейско-христианских ценностей в любой стране, которая так или иначе связана генетически с христианством, рождала стоический характер русских европейцев, помогая им не потерять себя в хаосе и разброде XX столетия. Более того, эта позиция позволила им сохранить понимание России как европейской страны, просто волею обстоятельств, стечением событий оказавшейся временно по ту сторону Европы, как и некоторые западноевропейские страны (Германия, Италия).

¹² *Киселева М.С.* Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 327.

¹³ *Федотов Г.П.* Три столицы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. Т. 1. С. 51.

В своем выступлении «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 года) великий русский писатель Иван Бунин сформулировал кредо возникшей русской диаспоры: «Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. <...> Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это *нечто* заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся. <...> В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени дано нам действовать и представлять? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей... <...> А кроме того есть еще нечто, что гораздо больше даже и России, и особенно ее материальных интересов. Это — Бог и моя душа. “Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!” Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть»¹⁴. В материковой России, как писал Бердяев, происходил в этот момент отказ от наследия Петра и Пушкина, что означало решительную антиевропеизацию России. Позже, правда, стало понятно, что можно и вернуться к Пушкину, объявив его «сталинским» поэтом. Я немного утрирую, но именно так восприняла русская эмиграция советские торжества в честь Пушкина в 1937 году.

¹⁴ Бунин И. Великий дурман. М., 1997. С. 127–129.

Антихристианство как общее проклятие Запада и России

Сегодня для некоторых публицистов пережитая Россией эпоха тоталитаризма — повод с гордостью утверждать, что ни один народ Европы не вылезал из такой черной дыры, как Россия, а значит, и судить нас надо по другим критериям, нежели Европе. Это и так (ибо западноевропейской «столбовой дорогой» мы не шли), но и не совсем так (ибо все наши попытки построить «государство правды» и стать «избранным народом» опирались на европейские идеалы). Однако, как показывает история, сходства больше, чем различия. Только это надо увидеть.

Ведь возможен и иной вопрос, а стал ли уже сам Запад Европы в полном смысле Западной Европой, способной отстаивать европейские идеи независимости личности и свободы.

Как показал опыт нынешнего столетия, и внутри европейских стран возможно «вертикальное вторжение варварства» (Ортега-и-Гассет), правда, в странах окраинных по отношению к «европейской Европе» (Германия, Испания, Италия, Россия). Эволюция техники и экономики шла одновременно с развитием европейского типа общества, которое стало определяться в прошлом веке сугубо социально-экономически как буржуазно-капиталистическое. Под видом социальной (и в этом смысле — европейской!) революции Россия на самом деле отвергла европейский путь развития, попыталась найти самобытный, внеевропейский, точнее, внезападный тип устройства своего бытия. Недавнее ослабление изоляционистской концепции России ставит вопрос о соотношении нашего опыта с опытом стран, тоже переживших тоталитаризм.

Тоталитаризм по своей сути был антихристианским и, стало быть, антиевропейским движением, противопоставлявшим разуму мифологически устроенное сознание, опиравшимся на стихийные устремления масс жить *в не-*

свободе, без проблем (тип подобного миропонимания был угадан Достоевским в поэме о Великом Инквизиторе). По словам Гете, разумом живут единицы, *личности*, но именно их усилиями создается, крепится и структурируется материк европейской культуры. Любой иррационализм направлен на деструкцию личности, на деструкцию христианского откровения свободы и независимости человека, на размывание основ европейской жизни. Очень жестоко об опасности дехристианизации Европы сказал Мережковский: «Христианство — начало Европы, и конец христианства — конец Европы. Можно бы сказать европейцам: для вас христианство “миф”? Берегитесь, как бы вам самим не сделаться мифом!»¹⁵

Возрождение освободило личность, поставив разум человека фундаментом его самопостроения и взаимоотношений с миром. Все открытия — интеллектуальные и художественные — поддерживали эту возникшую независимость личности, ее выход из системы Средневековья, которое, хотя лелеяло и растило в себе христианское мировоззрение, еще сохраняло черты язычества, особенно в народном сознании. Тоталитарные режимы, в сущности, возродили племенные, языческие идеи дохристианской почвы. В 1930 году Томас Манн в речи «Призыв к разуму» утверждал, что иррационализм XX века поднял на щит животворные силы бессознательного, силы, творящие смутное, темное, он отверг дух, считая его убивающим жизнь. Из этих идей многое было воспринято национал-социализмом.

Личность как открытие европейской истории

Когда-то русские мыслители строили следующую схему: германские народы принесли в мир идею своевольной личности, когда в России господствовали род и община. В XVIII веке в России возникает личность. Как полагали

¹⁵ Мережковский Д.С. Царство Антихриста. С. 23.

наиболее трезвые и самобытно мыслящие русские историки и философы, Запад должен ограничить себя идеями коллективизма, а Россия — усилить личностное развитие. О том, что тема личности является коренной проблемой становления России, ее развития и выхода на уровень европейской цивилизации, писалось в нашей литературе не раз. Уже к середине XIX века было отчетливо осознано, что история движется там, где есть развитая личность, только при этом условии страна входит в круг цивилизованных наций, способных к прогрессу. Как писал русский историк и философ К.Д. Кавелин: «Личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, есть необходимое условие всякого духовного развития народа»¹⁶.

Однако идеи коллективизма, направленные на обуздание разгула индивидуализма на Западе, были с легкостью усвоены общинной Россией и привели ее к коллапсу. А затем эта катастрофа повлияла и на судьбу Западной Европы — через фашизм, утвердивший принципы антиличностного развития общества. Не случайно накануне расцвета фашизма в той же Германии господствовали идеи *контрвестернизации*. Почвеннические европейские идеологи выступали за Европу, но против Запада, как носителя «гнилостного индивидуалистического сознания», который все великие *культуры* низводит до *цивилизации*. Скажем, Шпенглер как представитель окраинной, менее западной страны, нежели другие европейские страны, был одним из вдохновителей, может быть, последней попытки Германии пойти своим особым, «немецким», путем. И его неприятие «Запада» (ведь точный перевод названия его трактата *Der Untergang des Abendlandes* — «Гибель Запада») является одним из предвестий третьего пути Европы, чуть было не превратившего Европу в азиатскую деспотию.

¹⁶Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М.: Правда, 1989. С. 22.

Однако мы не должны забывать, что уже, так сказать, на *этимологически-генетическом* уровне всякая культура, принадлежащая Европе, по сути, принадлежит Западу: «Древнегреческое обозначение “Европа” происходит от семитского корня “Эреб” или “Ириба”, что означает “Запад” (в противовес Азии — от слова “Асу”, означающего “Восток”)»¹⁷. Именно поэтому так называемое западничество всегда было наиболее продуктивно в структурировании европейского направления развития своих стран, то есть противостоящего антиличностному азиатскому деспотизму. Напомню слова блестящего итальянского писателя, художника и мыслителя Альберто Савинио: «Как определить состояние, при котором та или иная почва способна впитать европеизм живым и плодовитым? На мой взгляд, этим состоянием является в первую очередь “западничество”. Почва тем благотворнее для европеизма, чем больше в ней западничества. <...> Западничество преходяще и в каждой стране проявляется по-своему. Одно время Греция была западной, теперь она считается восточной. Западной в свою очередь была Италия, сегодня же Рим — это южный Вавилон»¹⁸.

Можно ли понимать Россию как часть Европы? Или это не более чем досужие домыслы нынешних европейских оптимистов? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем понять одно важное обстоятельство, а именно: во всех своих сбоях, откатах, провалах и уродствах Россия искала себя в Европе, ибо когда-то там была. Она родилась на берегу Балтийского моря, игравшего для северных европейских народов ту же роль, что Средиземное море играло для южных. Балтика — колыбель североевропейских народов. И в ней вырастала Новгородско-Киевская Русь. В начале своего становления она — страна христианская, отрезанная нашествием кочевников от остального христианского материка. «Татары не посмели перейти наши западные границы

¹⁷История Европы: В 8 т. Т. 1. М.: Наука, 1992. С. 5.

¹⁸Савинио А. Вся жизнь. М.: Известия, 1990. С. 52–53.

и оставить нас в тылу, — писал Пушкин Чаадаеву. — Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких хлопот». И добавлял, что «будущий историк» вряд ли «поставит нас вне Европы»¹⁹. И именно на Балтику снова привел Русь великий преобразователь, привел и огромное пространство христианизированной Скифии.

Начало нашего решительного и, несмотря на откаты, безостановочного движения к европейскому матерiku можно датировать XVII веком. В известном смысле это был возврат или попытка возврата к европейскому прологу нашей истории — к Новгородско-Киевской Руси. Можем ли мы, однако, зажечь по-европейски? Способны ли к созданию личностной культуры? Русская поэзия, как не раз отмечалось, стала второй церковью в России. Что же такое русская поэзия, русская литература?

Русская литература — путь единения с христианской Европой

Как христианство влияло на человечество, создавая из варваров цивилизованных людей, так и русская литература, выросшая на христианстве, оказалась фактором гуманистического просветления русской ментальности. Даже с дерзкой попыткой устами светских мыслителей и литераторов в самом православии утвердить, внушить православным князьям церкви возрожденческие идеалы, как если бы они искони присутствовали в нашей церкви. Хотя, надо сказать, в Новгородско-Киевской Руси эти эле-

¹⁹Переписка А.С. Пушкина / ред. К.И. Тенькин; вступ. ст. И.Б. Мушиной; коммент. В.З. Вацура и др.: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 289.

менты присутствовали, поэтому было что возрождать, например старчество, исчезнувшее из Московской Руси, но тесно связанное с ролью личностного начала в христианстве. Сошлюсь на великий роман Достоевского «Братья Карамазовы»: «Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик. <...> Вся келья была очень необширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон — одна из них богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающей его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках».

Очевидно, что перед нами портрет православного экumenиста, который в искусстве европейского Возрождения ищет вдохновения для возрождения и созидания российской жизни и российской культуры. Писатель символически сближает простонародные литографии и католический крест с итальянскими гравюрами. Интересно, что Иван Карамазов называет старца Зосиму Pater Seraphicus: «Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus», — говорит он Алеше. Известно, что Pater'ом Seraphicus'ом называли Франциска Ассизского (1181—1226). Он является в «Божественной комедии» Данте, в Фаусте» Гёте. Оба эти писателя были в сфере внимания Достоевского. Алеша, любимый герой писателя, принимает характеристику старца, данную Иваном: «“Pater Seraphicus” — это имя он откуда-то взял — откуда? — промелькнуло у Алеши. — Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу... Вот и скит, Господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня...» А стало быть,

и сам Достоевский в высших точках христианской духовности видит единство Востока и Запада Европы.

Принцип личности есть христианский, а следовательно, и европейский. Именно христианство духовно и исторически структурировало Европу. Но надо ли сегодня принимать христианство именно как религиозную доктрину?

Человечество не раз предпринимало попытки построения универсалистских цивилизаций. Сейчас продолжается, пока наиболее успешное, построение новой мировой цивилизации, начало которой положено европейски-христианской культурой. Ее экстенсивное движение оказалось возможным в результате секуляризации христианского мира (отождествлявшегося до XV века с Западной Европой). Сыграв свою роль воспитателя, христианство благотворно воздействовало на попавшую в поле его излучения человеческую ментальность, внушив гуманистические нормы поведения и морали. Теперь эти нормы существуют как бы внерелигиозно, определяя жизнь значительной части человечества. Именно поэтому влияние новой универсальной цивилизации переживают не только христианские страны, отколовшиеся от основного ядра в результате геополитических и антиисторических катаклизмов (Чехия, Польша, Словакия, Греция, Болгария, Сербия и др.), но и культуры, выросшие в лоне совсем вроде бы чуждых религий — от мира ислама до Японии, Тайваня, Южной Кореи и т. д.

Что же Россия? Надо заметить, что ныне, едва ли не впервые в нашей истории (если не считать неудачную попытку предреволюционных лет, когда из-за косности российского самодержавия Россия потеряла свой шанс на установление конституционной монархии наподобие английской) не только обсуждаются, но и *практически* решаются *политические* вопросы устройства правового государства. В определяющих духовную ситуацию значительных слоях населения можно заметить категорическое нежелание возвращаться в патерналистское, патриархальное, лишенное способности существовать в современной истории общество.

Способны ли мы к личностному развитию?

Большевицкий, а затем сталинский режимы, как мы знаем, поначалу хотели разорвать с традицией. Культура, однако, существует не только в пространстве, но и во времени. И как современные греки, уже давно не напоминающие эллинов, знают, что на этом «месторазвитии» существовали Гомер, Перикл и Платон, так и сталинская идеократия должна была получить благословение русской классики. А смыслы русской классики были еще живы и не могли не воздействовать на сознание весьма многих (образование стало всеобщим). Существовала и европейская наука, на которой вырастали миллионы студентов, наука, вносящая принципы рационального мышления в общий иррациональный миф социалистического мира. Нельзя также не учитывать роль российской диаспоры. Когда-то именно еврейская диаспора создала Библию, впоследствии сцементировавшую в целое разбросанный по миру народ. В советскую Россию доходили имена и тексты Бердяева, Ходасевича, Бунина, Набокова... Существовала и внутренняя эмиграция: Ахматова, Пастернак, Булгаков... Их слова, их идеи приходили в столкновение с азами советской школы, зажигая божественные искры в юных умах.

Опыт показывал, опровергая известную и расхожую идею *плодоносной почвы*, что процесс роста талантов зависит не только от матери-земли, но и от наработанных историей *личностных — российско-европейских — прозрений*. Георгий Федотов не без иронии замечал: «Оставаясь в границах органических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не производит. Семя падает сверху в ее лоно, которое лишь питает его. <...> Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с материнским лоном народа»²⁰.

²⁰ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 214.

И на это необходимо идти, если страна хочет обрести самостоятельное движение.

Россия на такой путь способна, во всяком случае никаких культурно-генетических противопоказаний к тому не имеется. Пример — судьба диаспоры, причем деятели ее — по стилю жизни западноевропейцы — явились *хранителями и создателями* российской культуры. А ведь когда Достоевский считал, что «мы в Европе лишь стрюцкие», что русский старается выделаться в англичанина, немца или француза, чтоб выглядеть европейцем. Оказалось, что два века послепетровского воспитания сумели создать русских, которые в Европе оставались русскими, но *русскими европейцами*.

Но и в России появились *диссиденты*, заговорившие о *правах человека*. Они требовали европейской свободы. В унисон этим требованиям зазвучали Бродский, Окуджава и Высоцкий. Своим творчеством они доказали *возможность личности в постсталинской России*, преемственность духовных смыслов отечественной культуры. Не случайно, скажем, Высоцкому досталась русская и одновременно европейская *Жар-птица*, или *Царь-девица*, Марина Влади, обращаясь к которой, он гордо сказал в своей последней песне:

Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Значит, завоевания христианской свободы, «христианский аристократизм *всякого человека*» (С. Франк) укоренились в России, значит, оно есть, это пространство свободы. На его поиск вынуждена сейчас следом за поэтом отправиться вся страна:

И из смрада, где косо висят образа,
Я, башку очертя, гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
И где люди живут, и — как люди живут.

То, что Россия, преодолевая все свои советские комплексы, хочет вернуться в Европу, понятно. Но почему и европейцы хотят того же? Да потому, что окончательное включение России в европейский ареал (как некогда Америки) — при всей сложности этого процесса и политических и экономических противоречиях — означает дальнейшее развитие европейской цивилизации. «Мировая история, — писал австрийский культуролог Вольфганг Краус, — кажется, измыслила для Запада спасительный, едва ли не целительный кризис, который с помощью терапии всевозможных потрясений и опасностей, даже шока, заставляет Запад вновь осознать себя и вступить в новый период развития»²¹.

Смысл этого нового периода в дальнейшей «европеизации Европы», превращении ее в противоречивое, но гармоничное целое, соединяющее Восток и Запад Европы. Только на этом пути возможно будущее для человечества, отягощенного слишком большим количеством смертоносного оружия, способного много раз уничтожить всякую жизнь на планете. Европа поначалу была всего лишь небольшой частью Азии. Она возникла как культурно-историческое образование на крошечном полуострове и с тех пор постоянно расширяет свои пределы посредством прежде всего культурно-экономической экспансии и включения всех иных регионов земного шара в свою историческую парадигму. Восстановление *личностного принципа* позволяет Европе найти инструмент и методику надкультурного и наднационального единения человечества.

XX век был ознаменован не просто дехристианизацией, «убийством Бога», которое предсказывал Достоевский и подтвердил Ницше, но ударом по данному, самому главному принципу, на котором строилась европейско-христианская цивилизация. Победа масс, победа идеи коллективизма показала непродуктивность общинной установки. Новое

²¹ Краус В. Европа будущего. СПб.: Фантакт, 1995. С. 125.

Возрождение, которое поведет к расцвету Европы, возможно только на основе независимости и свободы индивида. Задача XXI столетия — утверждение и развитие личностного принципа, необходимость которого в его чистом виде без конфессиональных и идеологических форм, надо полагать, уяснена как Западом, так и Востоком Европы. А для России этот путь означает возврат на Родину, ибо, как замечательно написал русский мыслитель-эмигрант, переживший закат сталинизма (я имею в виду Владимира Вейдле, философа, искусствоведа, публициста и писателя): «Пора вернуться в Россию. Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора вернуться на родину. Они и сами это знают, с каждым годом все лучше, без нашего совета»²². Этими словами хотелось бы закончить книгу. Хотелось бы, чтобы они исполнились.

²² Вейдле В. Возвращение на родину // Воздушные пути. Альманах III. Нью-Йорк, 1963. С. 57.

Об авторе

Владимир Карлович Кантор — доктор философских наук, профессор философского факультета Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ-ВШЭ), член редколлегии журнала «Вопросы философии», член Союза российских писателей, прозаик, стипендиат фонда Генриха Бёлля (Германия, 1992), лауреат нескольких отечественных премий, трижды номинирован на премию Букера, историк русской культуры, автор более пятисот опубликованных работ. Лауреат премии «Золотая вышка» за достижения в науке (2009, Москва).

Область научных интересов — философия русской истории и культуры. По европейскому рейтингу, публикуемому раз в 40 лет (январь 2005) парижским журналом *Le nouvel observateur* (hors serie), вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности, как «*законный продолжатель творчества Ф.М. Достоевского и В.С Соловьева*». Произведения Владимира Кантора переводились на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, сербский, эстонский языки.

Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора

Проза

Два дома. Повести. М.: Советский писатель, 1985.

Крокодил. Роман // Нева. 1990. № 4.

Историческая справка. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990.

Победитель крыс. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1991.

Поезд «Кёльн – Москва». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7.

Мутное время. Из цикла «Сны» // Золотой век. 1995. № 7.

Крепость. Роман (журнальный вариант) // Октябрь. 1996. № 6, 7.

Чур. Роман-сказка. М.: Московский философский фонд, 1998.

Соседи. Повесть // Октябрь. 1998. № 10.

Двадома и окрестности. Повесть и рассказы. М.: Московский философский фонд. 2000.

Рождественская история, или Записки из полумертвого дома. Повесть // Октябрь. 2002. № 9.

Крокодил. Роман. М.: Московский философский фонд, 2002.

Записки из полумертвого дома. Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Крепость. Роман (*сокращенный вариант*). М.: РОССПЭН, 2004 (Серия «Письмена времени»).

Krokodyl. Roman. *Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcinska.* Warszawa: Dialog, 2007.

Гид. Немного сказочная повесть // Звезда. 2007. № 6.

Соседи. Арабески. М.: Время, 2008.

Смерть пенсионера // Звезда. 2008. № 10.

Krokodill. Romaan. Vene keelest tõlkinud Jüri Ojamaa. Tallinn: Loomingu Raamatukogu, 2009 / 3–5.

Смерть пенсионера. Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010.

Сто долларов. Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4.

Zwei Erzählungen. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012.

Наливное яблоко. Повествования. М.: Летний сад, 2012.

Morte di un pensionato. Venezia-Mestre: Amos Ediziooni. 2013 *per la tradizione Emilia Magnanini.*

Помрачение. Роман. М.: Летний сад, 2013.

Запах мысли. Повесть (*готовится к публикации в журнале*).

Монографии

Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М.: Искусство, 1978.

«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. М.: Художественная литература, 1983.

«Средь бурь гражданских и тревоги...» Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.

В поисках личности. Опыт русской классики. М.: Московский философский фонд, 1994 (Серия «Россия и Запад»).

«...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Исторические очерки. М.: РОССПЭН, 1997.

Russija je evropska zemlja. Mukotrpan put ka civilizaciji. *Prevela s ruskog Mirjana Grbic.* (Biblioteka XX vek). Beograd, 2001.

Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999.

Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001.

Русская классика, или Бытие России. М.: РОССПЭН, 2005 (Серия «Российские Пропилеи»).

Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. Stuttgart: *ibidem*-Verlag, 2006.

Между произволом и свободой. К вопросу о русской ментальности. М.: РОССПЭН, 2007 (Серия «Россия в поисках себя...»)

Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. М.: РОССПЭН, 2008. (Серия «Российские Пропилеи»).

Das Westlertum und der Weg Russlands. Zur Entwicklung der russischen Literatur und Philosophie. Ediert von Dagmar Herrmann. Stuttgart: *ibidem*-Verlag, 2010.

«Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010 (Серия «Российские Пропилеи»).

«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011 (Серия «Российские Пропилеи»).

Сборники

Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. Подготовка текста, составление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. М.: Искусство, 1982 (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры. Составление, вступительная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: Искусство, 1987 (Серия «История эстетики в памятниках и документах»).

К.Д. Кавелин. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка текста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: Правда, 1989.

Метаморфозы артистизма. Составление, первая статья. М.: РИК, 1997.

Ф.А. Степун. Сочинения. Составление, вступительная статья, примечания и библиография В.К. Кантора (Серия «Из истории отечественной философской мысли»). М.: РОССПЭН, 2000.

Simon L. Frank. Licht in der Finsternis. Versuch einer christlichen Ethik und Sozialphilosophie. Einleitung und Kommentar von Vladimir Kantor. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2008.

Юрий Михайлович Лотман. Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России второй половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2009.

Федор Августович Степун. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (Серия «Социальная мысль России»). М.: Астрель, 2009.

Федор Августович Степун. Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора (в печати).

Александр Иванович Герцен. Избранные труды. Составление, предисловие, комментарии В.К. Кантора (Серия «Библиотека общественной мысли»). М.: РОССПЭН, 2010.

Федор Августович Степун. Сборник. Составление, вступительная статья В.К. Кантора (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

Петр Бернгардович Струве. Сборник. Составление, вступительная статья О.А. Жуковой и В.К. Кантора (Серия «Философия России первой половины XX века»). М.: РОССПЭН, 2012.

Федор Степун. Письма. Составление, археографическая работа, вступительная статья к тому, вступительные статьи к циклам писем и комментарии В.К. Кантора (Серия «Российские Пропилеи») М.: РОССПЭН, 2013.

Содержание

Об иллюзиях (вместо вступления)	5
Часть I. К СТАНОВЛЕНИЮ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ	23
1. Италия как духовный ориентир русской культуры: пять эпизодов кросс-культурной коммуникации	23
2. Зарождение, затухание и актуализация мифа «Москва — третий Рим»	38
3. Имперский контекст русского православия	59
4. О причинах поражения демократии в России (от времен Новгородско-Киевской Руси до начала XX века)	86
Часть II. ПЕТРОВСКАЯ РОССИЯ	115
5. Петр Великий как культурный герой	115
6. От Москвы к Петербургу: городская структура	130
7. Явление Михаила Ломоносова русской культуре	146
8. Радищев: попытка вернуться в Московскую Русь («Путешествие из Петербурга в Москву»: новое прочтение)	158
Часть III. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК	216
9. Пушкин: поэт и свобода, или Преодоление тяжести	216
10. Павел Катенин как теоретик искусства	240
11. Петербург Достоевского — непотонувшая Атлантида	247
12. Любовь к двойнику. Двойничество — миф или реальность русской культуры?	259
13. Голгофник versus Варавва. К полемике Чернышевского и Герцена о России	294

14. Университеты и профессорство в России	344
Часть IV. ВЕК ДВАДЦАТЫЙ	372
15. Серебряный век: культура против цивилизации, или Победа архаических смыслов	372
16. Федор Степун: «народная правда» против правового сознания как явления христианской политики	387
17. Христианский либерализм в России и Столыпин, или Почему либералы все-таки не победили?	406
18. Георгий Федотов: фашизм и большевизм как борьба с разумом	436
19. Российские и польские европейцы: близость и различие	466
20. Национальная идея и безымянная Русь	479
Часть V. КАРТА МОЕЙ ПАМЯТИ	487
21. Иван Фролов, или Человек-эпоха (выступление на круглом столе в журнале «Вопросы философии»)	487
22. Что-то вроде инициации (столкновение с Л.Ф. Ильичевым)	497
23. Под бесконечным присмотром, или Предсказание на долгие времена	513
24. Почти катастрофа, или «В нашей серенькой эстетике...» К рассуждению о плагиате и крамоле	534
25. Магия слова в эпоху застоя	547
26. Проклятие советолога	552
27. Могила Чаадаева	557
28. Возможность дышать, или Лекарство от официоза	567
29. Реальность той стороны луны. Мой дядя Алексей Коробицин, разведчик	582
30. Необходимость «планки», или Преодоление современ- ности (слово об отце)	610
Россия в европейском контексте (вместо заключения)	624
Об авторе	648
Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора	649

Научное издание

Актуальная культурология

Кантор Владимир Карлович

**ЛЮБОВЬ К ДВОЙНИКУ.
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.
ОЧЕРКИ**

Ведущий редактор *Н. А. Богатырева*

Редактор *Е. А. Кочанова*

Художественный редактор *А. К. Сорокин*

Художественное оформление *А. Ю. Никулин*

Технический редактор *М. М. Ветрова*

Выпускающий редактор *Н. Н. Доломанова*

Компьютерная верстка *Т. Т. Богданова*

Корректор *Е. Л. Бородина*

Л.Р. № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 10.10.2013.

Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 11. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)

127018, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1.

Тел.: (499) 685-15-75

